



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.  
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



92866





A. H.



**СОЧИНЕНІЯ**

**В. БЪЛИНСКАГО.**



*Belinski V. G.*  
" *A. M.*  
СОЧИНЕНІЯ

# В. БѢЛИНСКАГО.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ЕГО ФАКСИМИЛЕ.

## ЧАСТЬ СЕДМАЯ.

*Издание К. Солдатенкова и Н. Щепкина.*

---

ЦѢНА ЗА КАЖДУЮ ЧАСТЬ 1 Р. СЕР.

---

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ В. ГРАЧЕВА И КОМП.

1860.

*РК*

PG 2933  
B4  
1860  
v. 7

**ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ**

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурный  
Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, Мая 29 дня  
1860 года.

Ценсоръ *Н. Гиляровъ-Платоновъ.*

**1843.**

---

**ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.**





**I.**

**КРИТИКА.**



## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1842 ГОДУ.

---

Было время, когда журналы, въ Европѣ, по преимуществу назывались «зрителями»; теперь имя «обозрѣній» (revues) осталось за ними исключительно и значить то же самое, что у насъ, на Руси, слово «журналъ», а журналами называются тамъ газеты. Въ этихъ названіяхъ столько же основательности и толку, сколько у насъ неосновательности и безтолковости. Большая часть журналовъ у насъ выходитъ одинъ разъ въ мѣсяцъ, тогда какъ иностранное слово «журналъ» совершенно равнозначительно русскому «дневникъ» или «ежедневникъ». Слово «газета», оставшееся у насъ преимущественно за тѣми періодическими изданіями, которыя за границею называются «журналами», не выражаетъ никакого смысла, почему почти и оставлено въ Европѣ. Еще болѣе основательности и глубокаго смысла видно въ замѣненіи слова «зритель» словомъ «обозрѣніе»; эта перемѣна какъ нельзя лучше характеризуетъ собою двѣ эпохи: одну, когда люди только созерцали и смотрѣли на жизнь, какъ на занимательный спектакль, и другую, когда люди уже не довольствуются только тѣмъ, что смотреть глазами, а хотятъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, смотрѣть и умомъ. Предшествовавшая эпоха была созерцательная; настоящая эпоха сознательная. Отсюда-то и происходитъ эта живая,

безпокойная, тревожная потребность, едва кончивъ дѣло, обозрѣть его поскорѣе, едва пройдя нѣсколько шаговъ, оглянуться назадъ и отдать себѣ отчетъ въ пройденномъ пространствѣ. Это доказываетъ, что теперь факты — ничто, и одно знаніе фактовъ также ничто, но что все дѣло въ разумѣніи значенія фактовъ. Мы этимъ отнюдь не хотимъ сказать, чтобъ фактическое знаніе было ненужно, бесполезно: мы хотимъ сказать только, что знаніе фактовъ безъ разумѣнія ихъ еще не есть знаніе въ истинномъ и высшемъ значеніи этого слова. Безъ знанія фактовъ невозможно и разумѣніе ихъ, потому что когда нѣтъ фактовъ, какъ данныхъ, какъ предметовъ знанія, тогда нечего и уразумѣвать; слѣдовательно, и фактическое знаніе необходимо; только безъ философскаго знанія оно будетъ такимъ же призракомъ, какъ и философское знаніе безъ фактического подготовленія и основанія. И дѣйствительно, въ прежнюю, созерцательную эпоху, только смотрѣли на то, что дѣлалось на бѣломъ свѣтѣ, и посмотрѣвъ, записывали, что видѣли; теперь, смотря еще пристальнѣе, еще внимательнѣе, но, смотря, вникаютъ и судятъ, и тогда только почитаютъ себя что-нибудь увидѣвшими, когда откроютъ смыслъ и значеніе увидѣннаго, переведутъ фактъ на идею.

У насъ общественная жизнь преимущественно выражается въ литературѣ. Поэтому, ничего нѣтъ мудренаго, если всѣ наши журналы по преимуществу — журналы литературные, наполняемые или произведеніями литературы, или толками о литературѣ. Наука у насъ еще слишкомъ нѣжное и слабое растеніе, которому еще нѣкогда было даже пустить корни, не только развернуться пышнымъ и благоуханнымъ цвѣтомъ. Это, впрочемъ, не значитъ, чтобъ у насъ не было науки: это значитъ только, что наука на Руси до сихъ поръ еще что-то въ родѣ элевзинскихъ таинствъ, — исключительное достояніе небольшого избраннаго класса людей, а не цѣлаго общества,

какъ въ западной Европѣ. Многіе еще изъ посвящающихъ себя исключительно наукѣ, у насъ учатся не для знанія, а для аттестатовъ, открывающихъ путь къ разнымъ преимуществамъ по службѣ. Засѣданія ученыхъ обществъ въ глазахъ нашей публики—родъ спектакля, на который должно смотрѣть съ приличною важностію, не зѣвая. Самъ Араго не привлекъ бы, своими чтеніями и отчетами, разнообразной и полной просвѣщеннаго интереса толпы. Вотъ почему мы говоримъ, что наука на Руси пока еще—нѣжное и слабое растеніе, неуспѣвшее еще пустить корней въ новую, неразработанную для него почву, и поддерживаемое только благородными, великодушными усиліями просвѣщеннаго правительства. За то литературныя публичныя чтенія, затѣяныя сколько-нибудь извѣстнымъ въ литературѣ лицомъ, у насъ могутъ привлекать разнородную толпу, которая готова стекаться на нихъ всегда съ большимъ или меньшимъ интересомъ, и не только (такъ или сякъ) будетъ понимать ихъ, но еще и принимать ихъ съ этимъ восторгомъ, или съ этимъ неудовольствіемъ, которые всегда означаютъ живое участіе къ дѣлу литературы. Ужъ нечего и говорить о томъ, что всѣ сколько-нибудь замѣчательныя литературныя произведенія находятъ себѣ у насъ покупателей и почитателей; нѣкоторые журналы поддерживаются значительнымъ числомъ подписчиковъ, журнальныя мнѣнія раздѣляютъ публику на литературныя котеріи. Последнее обстоятельство особенно важно. Безъ литературнаго мнѣнія, сколько-нибудь оригинальнаго и самобытнаго, высказываемаго съ большимъ или меньшимъ умомъ и талантомъ, теперь и у насъ журналъ уже не можетъ имѣть успѣха. Критика, въ отношеніи къ успѣху и вліянію журнала, начинаетъ становиться едва ли не важнѣе самихъ повѣстей. Правда, подъ «критикою» у насъ еще не всѣ разумѣютъ разсмотрѣніе произведеній искусства на основаніи науки изящнаго; напротивъ, большая часть публики добро-

душно почитаетъ критикою всякую болтовню о литературныхъ предметахъ, всякую рецензію на пустую книжонку, — и потому у насъ стѣдуетъ только называть себя критикомъ, чтобъ прослыть критикомъ. Такъ, иной правоописательный сочинитель, въ жизнь свою ненаписавшій ни одной критической статьи, никогда и неслыхивавшій, что есть на свѣтѣ наука изящнаго, философія искусства, совершенно чуждый какого-нибудь взгляда на поэзію, какого-нибудь убѣжденія, тѣмъ не менѣе гордо величаетъ себя «критикомъ», потому только, что давно уже мараешь статейки въ плохой газетѣ, гдѣ бранить съ плеча всякій талантъ, всякій успѣхъ, заслоняющій его, или, помирившись съ подобнымъ себѣ витяземъ, потомъ бранить его, а послѣ опять мирится съ нимъ — до новой размолвки и новой мировой сдѣлки, и постоянно хвалить только себя и свои книжныя издѣлія. Но все это нисколько не противорѣчитъ высказанному нами мнѣнію о важной роли, которую играетъ критика въ нашихъ журналахъ, какъ выраженіе литературныхъ понятій, убѣжденій и мнѣній; притомъ же, наша критика состоитъ не изъ однихъ такихъ жалкихъ явленій, но по справедливости можетъ гордиться и утѣшительными исключеніями. Итакъ, этотъ успѣхъ журналистики, душа которой — критика, служить самымъ яснымъ и неопровержимымъ доказательствомъ, что литература наконецъ укоренилась на почвѣ русской національности, вошла въ жизнь общества, сдѣлалась его обычаемъ и живою потребностію и уже перестала быть внѣшнимъ нововведеніемъ, модою, или книжнымъ педантизмомъ. Поэтому, ничего нѣтъ удивительнаго, что у нашего общества литература стоитъ на первомъ планѣ, и что у насъ съ важностію разсуждаютъ и съ горячію спорятъ о томъ, о чемъ за границею говорятъ хладнокровно, какъ объ интересѣ важномъ, но уже второстепенномъ и отнюдь не исключительномъ.



Послѣ всего этого, должно казаться страннымъ, что въ современныхъ русскихъ журналахъ, за исключеніемъ «Отечественныхъ Записокъ», нѣтъ ни историческихъ, ни годовыхъ и никакихъ обзорѣній русской литературы. И это тѣмъ страннѣе, что съ небольшимъ за десять лѣтъ назадъ, обзорѣнія такого рода были въ большомъ ходу: ими наполнялись журналы, безъ нихъ не могли обходиться альманахи. Потомъ вдругъ какъ и не бывало литературныхъ обзорѣній! Кромѣ равнодушія къ дѣлу литературы, этому не можетъ быть другой причины: по словамъ мудрой русской пословицы — что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ. Скажутъ: вольно же ребячиться и толковать о пустякахъ! Хорошо; но если литература для кого-нибудь — пустяки, такъ пусть же тотъ и не издаетъ литературныхъ журналовъ, чтобъ не противорѣчить самому себѣ и не обнаружить, противъ своей воли, какихъ-нибудь совѣтъ не литературныхъ цѣлей, а напримѣръ, торговыхъ и т. п. Кто на литературу смотритъ какъ на что-то важное, въ глазахъ того обзорѣнія литературы не могутъ не имѣть большой важности. Литературныя обзорѣнія — это живая лѣтопись мнѣній различныхъ эпохъ; а какъ Россія во многихъ отношеніяхъ развивается непомѣрно быстро, то у насъ что годъ, то и эпоха, следовательно, и лѣтописи нашей литературы не могутъ не быть разнообразны, живы и интересны. Любопытно наблюдать за процессомъ мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ въ разное время, у разныхъ поколѣній; любопытно видѣть, какъ думали, напримѣръ, о Ломоносовѣ или Державинѣ въ ихъ время, и какъ думаютъ о нихъ теперь. Любопытно видѣть итоги каждаго года, и по нимъ слѣдить за каждымъ успѣхомъ литературы, за каждымъ ея шагомъ впередъ. И потому мы думаемъ, что публика не можетъ не одобрить принятаго нами намѣренія — начинать каждую первую книжку новаго года «Отечественныхъ Записокъ» взглядомъ на прошлогоднюю литера-

туру, — намѣреніе, которое уже сряду третій годъ постоянно выполняется нами, не въ примѣръ прочимъ журналамъ.

Литературныя обозрѣнія первый началъ Марлинскій. Его статьи въ этомъ родѣ имѣли чрезвычайный успѣхъ въ публикѣ. На нихъ смотрѣли какъ на что-то необыкновенное, гениальное. Теперь они не болѣе, какъ интересный фактъ для исторіи русской литературы. Теперь уже никого не изумлять фразы, что Ломоносовъ озарилъ своимъ явленіемъ Русь подобно сѣверному сіянію, что стихи Пушкина — жемчугъ, разсыпанный по бархату и т. п. Но въ свое время, обозрѣнія Марлинскаго были дѣйствительно необыкновеннымъ явленіемъ, которое не могло не показаться великимъ. Критика, до Марлинскаго, была книжною и педантическою, безъ истинной учености, безъ всякаго отношенія къ современному состоянію науки объ изящномъ. Истинному глубокомыслию и истинной учености прощается и тяжеловатость и педантизмъ, если они какъ-нибудь приросли къ ней; но педантизмъ и школьничество, невыкупаемые мыслію и основательностію — самая отвратительная вещь въ мірѣ. Наша ученая критика того времени не справлялась съ ходомъ времени и повторяла избитыя общія мѣста о старыхъ писателяхъ, упорно не признавая въ Пушкинѣ ни таланта, ни заслуги. Марлинскій заговорилъ о литературѣ языкомъ свѣтскаго человѣка, умнаго, образованнаго и талантливаго, заговорилъ языкомъ новымъ, небывалымъ, острымъ, блестящимъ. Ради этихъ, новыхъ тогда, достоинствъ, никто не замѣтилъ жидкости содержанія въ его часто до изысканности оригинальныхъ и блестящихъ фразахъ, неопредѣленности въ его характеристикахъ. Удержавъ, по старой памяти, кое-что изъ мнѣній прежняго времени, Марлинскій все это выражалъ однакожъ новымъ образомъ, отъ чего и старыя мысли приняли у него видъ новыхъ; увлекаясь очень понятнымъ пристрастіемъ къ современному, онъ иное хвалилъ не по достоинству,

но за то умѣлъ восхищаться всѣмъ истинно-прекраснымъ, и тяжело поражалъ своимъ фейерверочнымъ остроуміемъ посредственность и бездарность. Одно уже то, что онъ былъ страшнымъ врагомъ ложнаго классицизма и сильнымъ союзникомъ плохо понимаемаго и новаго, тогда, такъ называемаго романтизма, — одно уже это облакало въ мистическое величіе его достоинство какъ критика. Послѣ Марлинскаго неутомимымъ «обозрѣвателемъ» былъ весьма извѣстный въ свое время, но теперь совершенно забытый г. Орестъ Сомовъ. Въ его статьяхъ не было никакого литературнаго мнѣнія, никакого основанія, никакого блеска, и онѣ скоро всѣмъ надоѣли и обратились въ предметъ насмѣшекъ со стороны всѣхъ журналовъ. Потомъ, замѣчательнѣйшею статьею въ этомъ родѣ было «Обозрѣніе русской словесности 1829 года» г. И. Кирѣевского, напечатанное въ «Денницѣ» г. Максимовича. Въ статьѣ г. Кирѣевского чувствуется присутствіе мысли; по крайней мѣрѣ, есть нѣсколько отдѣльных мыслей, вѣрныхъ и оригинальныхъ; но приложеніе ихъ отзывается неопредѣленностію и не идетъ къ дѣлу. Г. Кирѣевскій не только безусловно и безотчетно превознесъ, а не оцѣнилъ, — ибо оцѣнка есть сужденіе, а не гимнъ хвалебный, — исторію Карамзина, но и разныя маленькія знаменитости того времени. Такъ, напр., онъ накинулъ «душегрѣйку новѣйшаго унынія» на греческую музу Дельвига, между тѣмъ, какъ въ подражаніяхъ Дельвига древнимъ еще менѣе античнаго, пластическаго и антологическаго, чѣмъ русскаго въ его русскихъ пѣсняхъ. Даже въ стихотвореніяхъ г. Шевырева г. Кирѣевскій нашелъ только одинъ недостатокъ — не отсутствіе поэзіи, которой въ нихъ совершенно нѣтъ, не дикую вычурность абстрактныхъ идей и напряженнаго выраженія, а — «излишество мысли»!... Это обозрѣніе возбудило противъ себя сильную враждебность въ журналахъ, сколько по своимъ парадоксамъ, столько и по нѣкоторымъ истинамъ, горькимъ и рѣзко-

высказаннымъ, которыя не всемъ могли понравиться. — Вообще, главный отличительный характеръ всехъ прежнихъ литературныхъ обозрѣній состоятъ въ томъ, что они обольщались мнимыми литературными сокровищами. Отрывокъ изъ неоконченной поэмы считался важнымъ приобрѣтеніемъ для литературы; плаксивая элегія, напечатанная въ альманахѣ, возбуждала толки и споры; всякая повѣстка считалась дивомъ. Теперь смѣшно и вспомнить, какъ все были заинтересованы коротенькими отрывочками изъ повѣсти Байскаго «Гайдамаки», повѣсти, дѣйствительно не дурной по разсказу, но тянувшейся нѣсколько лѣтъ и оставшейся безъ конца и связи. Даже романъ г. Б. Ф(Ѳ)едорова «Андрей Курбскій» возбуждалъ ожиданіе и толки. Числительное богатство принималось за качественное, и этому богатству конца не видѣли. Книгъ было немногимъ больше теперешняго, но за то почти каждая книга считалась важнымъ явленіемъ въ литературѣ; крохотные отрывочки въ крохотныхъ альманахахъ, каждое стихотвореніе, даже эпиграмма, — все это поименовывалось въ «обозрѣніяхъ» и причислялось къ общей суммѣ литературнаго богатства. Иначе и быть не могло. Всякая важная новость, смѣняющая собою надоевшую старину, принимается за одно съ достоинствомъ и совершенствомъ. Такъ называемый романтизмъ былъ тогда еще новостію и потому почти всякое «романтическое» произведеніе почиталось «превосходнымъ» произведеніемъ. Восхищеніе отнимало способъ думать и судить.

Въ чемъ же долженъ состоять характеръ литературныхъ обозрѣній нашего времени? И даже есть ли теперь что-нибудь, что обозрѣвать? Вѣдь теперь и книгъ меньше, и журналовъ меньше, стало-быть, и литература вообще бѣднѣе?

Такъ можетъ казаться, но не такъ это на дѣлѣ. Мы сейчасъ сказали, что богатство прежняго періода нашей литературы было больше числительное, нежели качественное, боль-

ше воображаемое, нежели существенное. Истинное ея богатство состояло въ произведеніяхъ Пушкина, да въ «Горѣ отъ Ума» Грибоедова; кое-что изъ остальнаго имѣло свое относительное достоинство, а большая часть — ровно ни какого, между тѣмъ, какъ все это принималось тогда почти съ такимъ же энтузіазмомъ, какъ и новыя произведенія Пушкина. Кто не считался тогда поэтомъ, кто не былъ знаменитъ? — Теперь едва ли повѣрять, если сказать, что съ небольшимъ лѣтъ за десять, имена гг. Олива, Карльгофа, Сомова, Писарева, Аладина, Раича, Погорѣльскаго, Яковлева (автора «Удивительнаго Человѣка»), Илличевскаго, Ротчева, Глаголева, и многихъ, многихъ другихъ считались чуть не знаменитостями литературными... Что касается до журналовъ, — ихъ было больше, потому что ихъ легче было издавать. Страсть печататься доставляла издателямъ или за самую умѣренную цѣну, или — и это болѣею частію, — совершенно-безденежно переводныя и оригинальныя статьи, которыми они и наполняли тощенькія и маленькія книжки своихъ журналовъ. «Телеграфъ» столько же по величинѣ своихъ книжекъ и по вѣншнему изяществу изданія, сколько и по внутреннему достоинству, справедливо считался первымъ и лучшимъ журналомъ въ Россіи; а между тѣмъ, каждый томъ «Телеграфа», заключавшій въ себѣ четыре книжки за два мѣсяца, едва ли не вполнину меньше былъ каждой книжки «Отечественныхъ Записокъ», выходящей одинъ разъ въ мѣсяцъ. Если разница во вѣншнемъ изяществѣ изданія «Телеграфа» не слишкомъ велика съ нынѣшними журналами, то взгляните на картинки модъ «Телеграфа» и сравните ихъ съ нынѣшними. Конечно, все это не составляетъ сущности, журнала, но мы и говоримъ не о сущности, а о трудности, съ которою, по причинѣ усилившихся требованій со стороны публики, теперь сопряжено изданіе журнала сравнительно съ прежними временами. Что же касается до сущности, то и тутъ какая огромная

разница! Тогда «Телеграфъ» щеголялъ повѣстями Марлинскаго, которыя считались созданіями величайшаго генія и приводили въ восторгъ и изумленіе почти всю читающую публику. Повѣсти г. Полеваго почитались тоже такими произведеніями, которыя могли бы служить украшеніемъ любому европейскому журналу, — и вѣрно многіе, подобно намъ, не могутъ теперь вспомнить безъ улыбки живѣйшаго удовольствія, какой сильный интересъ возбудили въ публикѣ «Живописецъ», «Блаженство Безумія» и «Эмма»: воспоминанія дѣтства такъ отрадны и сладостны, что мы не безъ сердечнаго трепета вспоминаемъ иногда романы Радклифъ, Дюкре-дю-Мениля и Августа Лафонтена и, смѣясь надъ ними, все-таки любимъ ихъ, какъ добрыхъ друзей нашего мечтательнаго дѣтства, какъ ослѣпшую отъ старости собачку, съ которою мы играли, когда она была еще щенкомъ!... И чтѣ говорить о повѣстяхъ г. Полеваго: — повѣсти г. Погодина многимъ нравились въ свое время; трудно повѣрять, а это было точно такъ: «Черная Немочь» надѣлала шуму... И вотъ оно — то богатство, какимъ горда была наша литература предшествовавшаго періода, который можно, не рискуя ошибиться, назвать «романтическимъ»!

Добрый и невинный романтизмъ! какъ боялись тебя классическіе парики, какимъ буйнымъ и неистовымъ почитали они тебя, сколько зла пророчили они отъ тебя, — тебя, бывшаго въ ихъ глазахъ страшнѣе чумы, опаснѣе огня! А ты, добрый и невинный романтизмъ, ты былъ просто — рѣзвое, шаловливое дитя, проказливый школьникъ, который сметилъ, что его «классическій» учитель ужасно глупъ, да и давай надъ нимъ потѣшаться, сдергивая колпакъ съ его дремлющей лысой головы, и нацѣпляя бумажки на заднія пуговицы его старомоднаго кафтана... И чтѣ же такое сдѣлалъ, если разсмотрѣть хорошенько, ты, такъ гордившійся и величавшійся своими заслугами? — Черезъ г. Летурнѣра, поправленнаго, съ грѣхомъ по-

поламъ, г-мъ Гизо, ты кое-какъ познакомился съ Шекспи-ромъ, да и началъ, съ голосу парижскихъ романтиковъ, кри-чать о сердцеѣдѣніи, о глубинѣ идей, о силѣ страстей, о вѣрномъ изображеніи дѣйствительности; а вѣдь — признайся (дѣло прошлое!): тебѣ въ Шекспирѣ полюбилися только побран-ки мужиковъ и солдатъ, разнообразіе и множество персона-жей, да несоблюденіе, дѣйствительно нелѣпаго, драматическа-го тріединства?... Написалъ ли ты хоть одну драму въ родѣ Шекспировыхъ драмъ? Перевелъ ли хоть одну изъ нихъ такъ, чтобъ можно было видѣть, что ты понялъ Шекспира? Правда, переведены у насъ двѣ драмы Шекспира достойнымъ его об-разомъ, да не тобою, мой верхоглядый романтизмъ: ты только изуродовалъ «Гамлета» да «Виндзорскихъ Проказницъ», поз-воливъ себѣ передѣлывать ихъ по своему идеалу... Такъ или сякъ, познакомился ты и съ Шиллеромъ; но чтѣмъ понялъ ты въ немъ?—ты понялъ, и то по своему, по-дѣтски, «дѣву незем-ную», да «любовь идеальную», а вѣчнаго глагола разума, а боже-ственной любви къ человѣчеству—ты и не предчувствовалъ въ Шиллерѣ; ты и не подозрѣвалъ въ немъ провозвѣстника двухъ великихъ словъ великаго будущаго—разума и человѣчества... И вотъ ты, съ радости, что не понялъ Шиллера, давай пи-сать, благозвучными Расиновскими стихами, Шиллеровскую драму, гдѣ донскіе казаки мечтаютъ «о Шиллерѣ, о славѣ, о любви»... Также, сводилъ тебя съ ума и «Гёцъ фонъ-Берлихин-генъ» Гёте — и ты пренебрежно перевелъ его романтическимъ языкомъ русскихъ мужичковъ... Много ты слышалъ и о «Фаустѣ» Гёте, наболталъ о немъ съ три короба, и наконецъ (не дрогнула же у тебя рука на такое беззаконное дѣло!)— и его перевелъ... Частію по французскимъ переводамъ, частію по дряннымъ русскійскимъ предложеніямъ, ты познакомился съ Вальтеръ Скоттомъ, и тебѣ, самонадѣянному юношѣ-само-учкѣ, показалось, что ты разгадалъ тайну таланта великаго



Шотландца, и что тебѣ ничего не стоить самому сдѣлаться такимъ же «романтикомъ». — И вотъ ты началъ тайкомъ перелистывать исторію Карамзина, браяя ее въ слухъ (какъ «классическое» произведеніе), и, бывало, возьмешь изъ нея напрокатъ какое-нибудь событіе, да лица два-три, завяжешь имъ глаза, да ипустишь ихъ играть въ жмурки съ картонными марионетками собственнаго твоего изобрѣтенія... И сколько повѣстей надѣлалъ ты изъ степенной русской исторіи, заставивъ чинныхъ русскихъ бояръ мстить по-черкесски, клясться не иначе, какъ смертию и адомъ, и кричать на каждой страницѣ: га!... Злодѣй, ты уцѣпился за новѣйшую исторію, которую изучилъ изъ «Московскихъ Вѣдомостей»; ты не пощадилъ и Наполеона, не убоился оскорбить его развѣчанной тѣни, и смѣло заставилъ его играть престранную роль въ твоихъ площадныхъ сказкахъ, сводить и знакомить его съ разными романтическими чудаками, незаконными дѣтьми твоей фантазіи... На горе себѣ, какъ-то познакомился ты съ геніальнымъ сумасбродомъ, съ Нѣшцемъ Гофманомъ, забредилъ «фантастическимъ», переболталъ его съ «идеальнымъ», подбавивъ въ эту амальгаму сентиментальной водицы изъ, памятныхъ тебѣ по дѣтству, романовъ Августа Лафонтена,—и потянулись у тебя длинною вереницею безобразныя повѣсти и романы, съ блаженствующими отъ сумасшествія, съ лунатиками, сомнамбулами, магнетизѣрами, идеальными кухарками, мѣщанскими поэтами, мечтателями, пряничными Аббаддоннами, сахарною любовью, мышиннымъ героизмомъ, и тому подобнымъ разнымъ вздоромъ... Но всѣхъ болѣе виноватъ ты передъ пѣвцомъ «Гяура» и «Манфреда»: лишь только слышалъ ты о немъ, какъ и началъ проклинать жизнь, ненавидѣть человѣчество, любоваться адомъ и вяло воспѣвать

... Поблѣкшій жизни цвѣтъ  
Безъ малаго въ восемнадцать лѣтъ...

Ты провозгласилъ Байрона пѣвцомъ отчаянія и эгоизма, блуждающею кометою, озарившею міръ кровавымъ заревомъ... Добрякъ! говорю тебѣ—ты не понялъ его, этого Байрона, ты не понялъ ни его идеала, ни его пафоса, ни его генія, ни его кровавыхъ слезъ, ни его безотраднaго и гордаго, на самомъ себѣ опершагося отчаянія, ни его души, столько же вѣжной, кроткой и любящей, сколько могучей, непреклонной и великой! Байронъ — это былъ Прометей нашего вѣка, прикованный къ скалѣ, терзаемый коршуномъ: могучій геній, на своей горе, заглянулъ впередъ, — и не рассмотрѣвъ, за мерцающею далью, обѣтованной земли будущаго, онъ проклялъ настоящее и объявилъ ему вражду непримиримую и вѣчную; нося въ груди своей страданія милліоновъ, онъ любилъ человѣчество, но презиралъ и ненавидѣлъ людей, между которыми видѣлъ себя одинокимъ и отверженнымъ, съ своею гордою борьбою, съ своею бессмертною скорбію... Не кометою, блуждающею и безобразною, былъ онъ, а новымъ духомъ, поборовшимъ за человѣчество, въ огненпернатомъ шлемѣ на головѣ, съ пламеннымъ мечомъ въ рукѣ, съ эгидою будущей победы, близкаго торжества... А ты, добрый и невинный романтизмъ русскій, создалъ себѣ, въ своемъ ребячествѣ, какой-то призракъ Байрона, столько же похожій на Байрона, сколько тѣнь, отбрасываемая на солнцѣ человѣкомъ, похожа на человѣка. Да и гдѣ, изъ чего было тебѣ создать истинный идеалъ Байрона? — гдѣ взялъ бы ты глубокаго сочувствія ко всему человѣческому, глухихъ рыданій, никому невидныхъ, но тѣмъ болѣе сокрушительныхъ, — ты, добрый юноша, съ глазами унылыми, но отъ модной тоски, — съ щеками нѣсколько блѣдными, но отъ ночныхъ пировъ и дикихъ хоровъ московскихъ Египтянокъ, въ просторѣчїи называемыхъ Цыганками, — съ характеромъ раздражительнымъ и нѣсколько нелюдимымъ, но отъ разстроеннаго пищеваренія, вслѣдствіе неразсчитаннаго усердія къ Вакху и Кому, — съ душою

праздною и скучною, но отъ излишней любви къ «сладостной лѣни»?... Не только ты, добрый и невинный романтизмъ, не только ты не понялъ новаго вонителя: его не понялъ и тотъ великій русскій поэтъ, котораго такъ несправедливо называлъ ты своимъ отцомъ, и котораго еще несправедливѣе называлъ ты то сѣвернымъ, то русскимъ Байрономъ...

Итакъ, гдѣ же твои заслуги, о нашъ безвременно скончавшійся романтизмъ? Ужъ не разгульныя ли пѣсни, писанныя бойкимъ четырехстопнымъ ямбомъ, «торопливымъ скороходомъ», въ которыхъ все такъ исполнено невинности и романтизма — и похмѣлье, и звонъ разбиваемаго стекла, и разгульный вѣнокъ, и пламенныхъ восторговъ кипитокъ?... Ужъ не подражанія ли древнимъ, въ которыхъ греческаго — одни гекзаметры, да и то русскіе, одни длинные составные эпитеты, клонящіе ко сну? Ужъ не...

Но довольно. Всѣхъ проказъ нашего романтизма не перескажешь. Какъ всѣ эпохи переходныя, когда старое безусловно отрицается во имя новаго, которое непонято, — романтизмъ нашъ былъ пусть и безплоденъ; отъ этого изъ него и не вышло ничего, кромѣ великолѣпнаго вздора программъ и подписокъ на ненаписанныя и неоконченныя сочиненія... И не у насъ однихъ романтизмъ былъ такъ безплоденъ, но и у Французовъ, у которыхъ онъ также былъ переходнымъ моментомъ и не чѣмъ-нибудь положительнымъ, а только реакціе псевдо-классицизму. Въ самомъ дѣлѣ, что прочнаго, великаго, вѣковаго и безсмертнаго произвели эти мнимо-геніальные представители юной Франціи? Люди они были, дѣйствительно, съ блестящими дарованіями; въ ихъ произведеніяхъ много блесковъ ума, живости, увлеченія: но эти легкія и скороспѣлыя произведенія были литературные подсиѣжники, пророчившіе весну, а не пышныя, благоуханныя розы роскошнаго мая. Минута родила ихъ — съ минутой и исчезли они, и кто теперь взглянетъ на

эти увядшіе, высохшіе и выдохшіеся цвѣты, кто питается ими, кромѣ тѣхъ, кому сама природа назначила въ пищу — сѣно?... Что такое теперь колоссальный гений — Викторъ Гюго? — человѣкъ, у котораго когда-то былъ блестящій талантъ, человѣкъ, который написалъ нѣсколько прекрасныхъ лирическихъ стихотвореній, вмѣстѣ съ множествомъ посредственныхъ и плохихъ, и котораго лирическая поэзія, взятая какъ нѣчто цѣлое, какъ отдѣльный міръ творчества, чужда всякаго характера, всякаго значенія, всякаго общаго пафоса. Что такое его пре-прославленная «Nôtre Dame de Paris»? Тяжелый плодъ напряженной фантазіи, tout de force блестящаго дарованія, которое раздувалось и пыжилось до генія; пестрая и лишенная всякаго единства картина ложныхъ положеній, ложныхъ страстей и ложныхъ чувствъ; океанъ изящной риторики, дикихъ мыслей, натянутыхъ фразъ, словомъ, всего, что способно приводить въ бѣшеный восторгъ только пылкихъ мальчиковъ... Что такое его драмы? — жалкія усилія безпокойнаго самолюбія, уродливыя клеветы на природу человѣка... А этотъ «скромный» Дюма, этотъ полу-Негръ полу-Французъ, который такъ гордъ бѣшенствомъ и свирѣпостію своихъ ощущеній, который, по собственному признанію, бралъ у Шекспира свое, какъ скоро находилъ его, и который съ добродушною наглостію и невиннымъ безстыдствомъ говорить о самомъ себѣ, какъ о великомъ гениі; этотъ Жаненъ, авторъ сатанинскихъ романовъ и паясническихъ фелетоновъ; этотъ господинъ де-Бальзакъ, Гомеръ Сенъ-Жерменскаго предмѣстья, знакомаго ему только съ улицы; этотъ чопорный де-Виньи, съ его вѣчнымъ идеаломъ страждущаго поэта, съ его вѣчною враждою къ успѣхамъ времени и постоянною вѣрностію вѣку маркизовъ и аббатовъ; этотъ мрачный Эженъ Сю; этотъ неистовый Жакобъ Библюфилъ, съ шутовскою макабрскою пляскою его фантазіи, прикованной къ мусору историческихъ древностей; этотъ сладко-мечтательный Ламартинъ...

что такое теперь всё они? Они такъ шумѣли, такъ силились выдать себя за титановъ, осаждающихъ Зевеса на его неприступномъ Олимпѣ! Всѣ думали, что они поворотятъ землю на ея оси; а вышло, что они — просто маленькіе-великіе люди, добрые ребята, которые очень довольны жизнію, когда у нихъ есть деньги, и которые, еще до гроба, пережили и свою славу, и свои творенія, и, не доживъ до старости, дожили до равнодушія и презрѣнія той толпы, которая нѣкогда видѣла въ нихъ своихъ идоловъ... А кто пережилъ свои творенія и свою славу, тотъ не великій писатель: велико только то, что переходитъ въ потомство... Величественный дубъ растетъ медленно, но живетъ долго; осина быстро бѣжитъ въ вышину, но не бываетъ огромнымъ деревомъ, и не вѣками, а годами измѣряется ея краткое существованіе. Въ то время, какъ французскіе романтики, эти маленькіе-великіе люди, уже пользовались всемірною извѣстностію, на судъ современнаго общества предстала женщина, съ великимъ, истиннымъ дарованіемъ: ея не поняли, за это, оклеветали. Но она шла своимъ путемъ, и рядъ созданий, одно другаго глубже, ознаменовалъ ея побѣдоносное шествіе, — и ея слава началась только съ того времени, какъ слава маленькихъ-великихъ людей уже кончилась. Причина этой разности очевидна: тамъ начало внѣшнее, снѣговое; тутъ — подземное, родниковое, внутреннее... Такъ называемый романтизмъ хлопоталъ изъ формъ, непонимая сущности дѣла, — и для формы онъ дѣйствительно много сдѣлалъ: онъ развязалъ руки таланту, спеленатому ложными правилами преданія. И нашъ романтизмъ принесъ такую же пользу нашей литературѣ: онъ разчистилъ ея арену, заваленную соромъ и дразгомъ псевдо-классическихъ предразсудковъ; онъ далеко разметалъ ихъ деревянные барьеры, уничтожилъ ихъ австралійскіе табу, и тѣмъ предуготовилъ возможность самобытной литературы. Теперь едва ли повѣрятъ тому, что стихи Пушкина классическимъ

колпакамъ казались вычурными, бессмысленными, искажающими русскій языкъ, нарушающими заветныя правила грамматики; а это было дѣйствительно такъ, и между тѣмъ колпакамъ вѣрили многіе; но когда расходились на просторѣ «романтики», то все догадались, что стихъ Пушкина благороденъ, изящно-простъ, національно-вѣренъ духу языка. Очевидно, что въ этомъ случаѣ романтики играли роль шакаловъ, наводящихъ льва на его добычу. Равнымъ образомъ, теперь едва ли повѣрять, если мы скажемъ, что созданія Пушкина считались нѣкогда дикими, уродливыми, безвкусными, неистовыми; но произведенія романтиковъ скоро показали всѣмъ, какъ созданія Пушкина чужды всего дикаго, неистоваго, какимъ глубокимъ и тонкимъ эстетическимъ вкусомъ запечатлѣны они. Очевидно, что въ этомъ случаѣ самое злоупотребленіе романтической свободы послужило къ утвержденію истинной свободы творчества. Кто воспитанъ на Корнелѣ и Расинѣ, тому помѣшаетъ понять Шекспира одна уже новостъ формы его драмъ; кто привыкъ къ формамъ, нерѣдко дикимъ, чудовищнымъ и нелѣпымъ «романтиковъ», кто восхищался съ молодости драмами Гюго, Дюма, Вернера, Грильпарцера и т. п., — тому легко будетъ понять потомъ Шекспира: ибо того уже никакая форма не поразитъ изумленіемъ, отнимающимъ способность возникнуть въ сущность поэтического созданія.

И что бы, вы думали, убило нашъ добрый и невинный романтизмъ, что заставило этого юношу скоростижно скончаться во цвѣтѣ лѣтъ? — Проза! Да, проза, проза и проза. Общество, которое только и читаетъ, что стихи, для котораго каждое стихотвореніе есть важный фактъ, великое событіе, — такое общество еще молодо до ребячества; оно еще только забавляется, а не мыслитъ. Переходъ къ прозѣ для него — большой шагъ впередъ. Мы подъ «стихами» разумѣемъ здѣсь не однѣ размѣренныя и заостренныя рифмою строчки: стихи

бываютъ и въ прозѣ, такъ же, какъ и проза бываетъ въ стихахъ. Такъ, напр., «Русланъ и Людмила», «Кавказскій Пленникъ», «Бахчисарайскій Фонтанъ» Пушкина—настоящіе стихи; «Онѣгинъ», «Цыганы», «Полтава», «Борисъ Годуновъ» — уже переходъ къ прозѣ; а такія поэмы, какъ «Сальери и Моцартъ», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Галубъ», «Каменный Гость» — уже чистая, безпримѣсная проза, гдѣ уже совсѣмъ нѣтъ стиховъ, хоть эти поэмы писаны и стихами. Напротивъ, повѣсти и романы г. Полеваго: «Симеонъ Кирдяпа», «Живописецъ», «Блаженство Безумія», «Эмма», «Дурочка», «Аббадонна» и проч. чистѣйшіе стихи, безъ всякой примѣси прозы, хоть писаны и прозою и хотя въ нихъ нѣтъ ни одного стиха, развѣ только въ эпиграфахъ... Мы, право, не шутимъ, и вы сами согласитесь, если не захотите прозу принимать какъ что-то противоположное стихамъ, а стихи—какъ что-то противоположное прозѣ. Стихи и проза — тутъ вся разница только въ формѣ, а не въ сущности, которую составляютъ не стихи и не проза, а поэзія. Вотъ другое дѣло, если прозу противопоставлять поэзіи, а поэзію — прозѣ; но мы здѣсь имѣемъ въ виду и не эту противоположность: мы подъ «прозою» разумѣемъ богатство внутренняго поэтическаго содержанія, мужественную зрѣлость и крѣпость мысли, сосредоточенную въ самой себѣ силу чувства, вѣрный тактъ дѣйствительности; а подъ «стихами» разумѣемъ неземную дѣву, идеальную любовь, дѣтское порываніе къ высокому и прекрасному, въ которыхъ нѣтъ никакого содержанія, прекрасныя, но чуждыя мысли чувства, глубокія, но лишеныя чувства и богатыя словами мысли, и т. п. Но какъ же, въ такомъ случаѣ, первыя поэмы Пушкина попали въ одну категорію съ повѣстями и романами г-на Полеваго? О, сохрани Богъ! Стихи въ стихахъ могутъ имѣть свои достоинства, какъ то: богатство фантазіи, жаръ чувства, художественность формы, и т. п.; но стихи въ прозѣ, по крайней мѣрѣ теперь,

рѣшительно никуда не годятся: они походятъ то на младенца въ англійской болѣзни, то на старца съ нарумяненными щеками, то на юношу добраго, чувствительнаго, живаго, пламеннаго, мечтательнаго, но тѣмъ не менѣе пустаго, — нѣчто въ родѣ того, что называется «ни рыба, ни мясо»...

Но наша мысль можетъ показаться многимъ не совѣтъ ясною, и потому прибавимъ еще нѣсколько словъ. Всякая идея проявляется въ двухъ крайностяхъ и серединѣ. Поэтому, есть люди, которые какъ-будто совершенно лишены души и сердца, въ которыхъ нѣтъ никакого порыва къ міру идеальному — это крайность; другіе, напротивъ, какъ-будто состоятъ только изъ души и сердца и какъ-будто рождаются гражданами идеальнаго міра — это другая крайность; между ими занимаютъ мѣсто люди ни то, ни сѣ, люди недоноски, люди, которые по-немножку понимаютъ все истинное, никогда не проникая въ глубь его, люди, у которыхъ есть чувство, но похожее на нервическую раздражительность, есть умъ, но похожій на мечтательность, есть порывы къ высшему міру, но у которыхъ этотъ «высшій міръ» внѣ дѣйствительности, что-то въ родѣ мечты, выражаемой словами: «куда-то, гдѣ-то, тамъ» и т. п. — это середина. Несносны люди перваго разряда; эти послѣдніе еще несноснѣе. У нихъ все слова, столько же громкія и отборныя, сколько и неопредѣленныя, но дѣла никогда не бываетъ; они исключительны преданы чувству, отъ ума имъ вѣетъ холодомъ, отъ дѣйствительности — разочарованіемъ; мечта составляетъ блаженство ихъ жизни; мысли они не любятъ и не понимаютъ. Подобные люди бываютъ такими или по натурѣ (и это самыя несносныя существа въ мірѣ), или вслѣдствіе неразвитости, ложнаго развитія и т. п. Тѣ и другіе вѣчно исполнены глубокихъ чувствъ и мыслей, для выраженія которыхъ, по ихъ словамъ, бѣденъ языкъ человѣческій. Но это клевета на языкъ человѣческій: что прочувствуетъ и пойметъ человѣкъ, то онъ выразитъ;



словъ не достаесть у людей только тогда, когда они выражаютъ то, чего сами не понимаютъ хорошенько. Человѣкъ ясно выражается, когда имъ владѣетъ мысль, но еще яснѣе, когда онъ владѣетъ мыслию. Если, напр., какой-нибудь критикъ, длинно и широко разглагольствуя о Державинѣ, наполнить свою статью одними возгласами о величїи этого поэта, не опредѣливъ ни содержанія, ни характера его поэзіи, а произведенія его будетъ уподоблять алмазамъ, рубинамъ, сапфирамъ, изумрудамъ и другимъ предметамъ ископаемаго царства (вмѣсто того, чтобъ раскрыть содержаніе этихъ произведеній и показать отношеніе содержанія къ формѣ), и потомъ все это сдобрить фразами: «сѣверный бардъ, потомокъ Багрима» и т. п., такъ что читатель, прочтя длинную критику, не въ состояніи будетъ передать изъ нея другому ни одной мысли, — это значить, что нашъ критикъ ровно ничего не понялъ въ Державинѣ, или свои ощущенія, возбужденныя въ немъ поэзіею Державина, принялъ за мысли, да и давай жаловаться на бѣдность языка человѣческаго... Есть и поэты, похожіе на такихъ критиковъ: вотъ у нихъ-то и въ прозѣ выходятъ все стихи, хотя безъ мѣры и безъ рифмъ... Говорятъ они — любо слушать; замолчатъ — никакъ не сообразишь, что они хотѣли сказать, и поневолѣ принимаешь ихъ прозу за стихи... Теперь самое неблагоприятное время для такихъ поэтовъ, ибо теперь никто не признаетъ великимъ полководцемъ того, кто не одержалъ ни одной побѣды, ни великимъ писателемъ — того, кто, за бѣдностію человѣческаго языка, не сказалъ того, что силился сказать. Такіе люди теперь напоминаютъ собою знаменитаго Ивана Александровича Хлестакова, который сказалъ о себѣ, въ письмѣ къ другу своему Тряпичкину, что «онъ хотѣлъ бы заняться чѣмъ-нибудь высокимъ, но свѣтская чернь непонимаетъ его». Другими словами, такіе люди — настоящіе «романтики», хотя бы они и выдавали себя за людей съ высшими взглядами...

Итакъ, романтизмъ нашъ убить прозою. Съ 1829 года, всѣ писатели наши бросились въ прозу. Самъ Пушкинъ обратился къ ней. Альманахи, какъ игрушки, всѣмъ надѣли и вышли изъ моды. Цѣна на стихи вдругъ упала. Вскорѣ явился новый поэтъ, сильное вліяніе котораго на литературу не замедлило обнаружиться. Вслѣдствіе этого вліянія, ужасно понизилась цѣна на русскіе историческіе и особенно нравственно-сатирическіе романы; прежнія повѣсти, особенно идеальныя — тѣ, которыхъ проза такъ похожа на стихи, совсѣмъ вышли изъ моды; противъ Марлинскаго началась сильная оппозиція; всѣ романисты и нувеллисты пустились въ юморъ, начали брать содержаніе для своихъ повѣстей изъ дѣйствительной жизни, рисовать чудаковъ и оригиналовъ; герои добродѣтели были отпущены на отдыхъ. 1835 и 1836 года были эпохою для русской литературы: въ первомъ вышли въ свѣтъ «Миргородъ» и «Арабески», во второмъ появился и въ печати и на сценѣ «Ревизоръ»... Въ то же время напечатались стихотворенія г. Бенедиктова, надѣлавшія столько шуму въ Петербургѣ и возбуждавшія такой восторгъ въ одномъ московскомъ критикѣ, что онъ поставилъ г. Бенедиктова выше Жуковскаго и Пушкина... Стихотворенія г. Бенедиктова были важнымъ фактомъ въ исторіи русской литературы: они повершили вопросъ о стихахъ, и съ того времени стихи (въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы принимаемъ это слово) совершенно окончили на Руси свое земное поприще... Являлись и другіе, находили себѣ даже поклонниковъ, но на минуту — отъ нихъ скоро отступали самые друзья ихъ: то были послѣдніе вспышки угасающей лампы... По смерти Пушкина, начали печататься въ «Современникѣ» оставшіяся послѣ него въ рукописи послѣднія произведенія его; но то была уже чистая проза въ стихахъ и ужасный ударъ стихамъ. Явился Лермонтовъ, съ стихами и съ прозою, — и въ его стихахъ и прозѣ была — чистая проза! Прощайте, стихи!

Будетъ ребячиться нашей литературѣ, довольно пошлала — пора и дѣломъ заняться...

И дѣйствительно, послѣдній періодъ русской литературы, періодъ прозаическій, рѣзко отличается отъ романтическаго какою-то мужественною зрѣlostію. Если хотите, онъ не богатъ числомъ произведеній, но за то, все, что явилось въ немъ посредственнаго и обыкновеннаго, все это или не пользовалось никакимъ успѣхомъ, или имѣло только успѣхъ мгновенный; а все то немногое, что выходило изъ ряда обыкновеннаго, ознаменовано печатью зрѣлой и мужественной силы, — осталось навсегда, и въ своемъ торжественномъ, побѣдоносномъ ходѣ, постепенно приобрѣтая вліяніе, прорѣзывало на почвѣ литературы и общества глубокіе слѣды. Сближеніе съ жизнію, съ дѣйствительностію, есть прямая причина мужественной зрѣлости послѣдняго періода нашей литературы. Слово «идеаль» только теперь получило свое истинное значеніе. Прежде, подъ этимъ словомъ разумѣли что-то въ родѣ не люблю не слушаю, лгать не мѣшай — какое-то соединеніе въ одномъ предметѣ всевозможныхъ добродѣтелей или всевозможныхъ пороковъ. Если герой романа, такъ ужъ и собой-то красавецъ, и на гитарѣ играетъ чудесно, и поетъ отлично, и стихи сочиняетъ, и дерется на всякомъ оружіи, и силу имѣетъ необыкновенную;

Когда жъ о честности высокой говорить,  
 Какимъ-то демономъ внушаемъ —  
 Глаза въ крови, лицо горитъ,  
 Самъ плачетъ, а мы всѣ рыдаемъ!

Если же злодѣй, то и не подходите близко: съѣсть, непременно съѣсть васъ живаго, извергъ такой, какого не увидишь и на сценѣ Александринскаго театра, въ драмахъ нашихъ доморощенныхъ трагиковъ... Теперь подъ «идеаломъ» разумѣютъ не преувеличеніе, не ложь, не ребяческую фантазію, а фактъ

дѣйствительности, такой, какъ она есть; но фактъ, не списанный съ дѣйствительности, а проведенный черезъ фантазію поэта, озаренный свѣтомъ общаго (а не исключительнаго, частнаго и случайнаго) значенія, «возведенный въ перлъ созданія», и потому болѣе похожій на самого себя, болѣе вѣрный самому себѣ, нежели самая рабская копія съ дѣйствительности вѣрна своему оригиналу. Такъ на портретѣ, сдѣланномъ великимъ живописцемъ, человѣкъ болѣе похожъ на самого себя, чѣмъ даже на свое отраженіе въ дагерротипѣ, ибо великій живописецъ рѣзкими чертами вывелъ наружу все, что таится внутри того человѣка и что, можетъ-быть, составляетъ тайну для самого этого человѣка. Теперь дѣйствительность относится къ искусству и литературѣ, какъ почва къ растеніямъ, которыя она возвращаетъ на своемъ лонѣ.

Все сказанное нами, для людей мыслящихъ не можетъ показаться отступленіемъ отъ предмета статьи, потому что все это не отступленіе, а характеристика и исторія послѣдняго періода русской литературы, въ отношеніи къ которому 1842 годъ былъ блистательнѣйшимъ пополненіемъ. Мы уже выше сказали, что обозрѣвать не значитъ пересчитывать по пальцамъ все, что вышло въ продолженіе извѣстнаго времени, но указать на замѣчательныя произведенія и опредѣлить ихъ значеніе и цѣну, — а этого мы немогли сдѣлать, не опредѣливъ предварительно характера и значенія всей литературы послѣдняго времени. При обозрѣніи поименномъ, не на многое придется намъ указывать и не о многомъ говорить. Причина этого — немногочисленность замѣчательныхъ явленій въ литературѣ прошлаго года, также принадлежащая къ особеннымъ чертамъ всей русской литературы послѣдняго ея періода. Но эта бѣдность не должна насъ печаливать: это благородная бѣдность, которая лучше мнимаго богатства прежняго времени. Появленіе въ одномъ году «Миргорода» и «Арабесокъ», въ другомъ

«Ревизора» стоить огромнаго количества даже хороших, но обыкновенных произведеній за многіе годы. Такимъ образомъ, 1840 годъ былъ ознаменованъ выходомъ «Героя Нашего Времени» и перваго собранія стихотвореній Лермонтова; 1841 — изданіемъ трехъ томовъ посмертныхъ сочиненій Пушкина; 1842—выходомъ «Мертвыхъ Душъ», одного изъ тѣхъ капитальныхъ произведеній, которыя составляютъ эпохи въ литературахъ.

Много было писано во всѣхъ журналахъ о «Мертвыхъ Душахъ»; много говорили и мы о нихъ. Повторять сказанное и нами и другими, нѣтъ никакой надобности. Впрочемъ, изъ этого еще нисколько не слѣдуетъ, чтобъ о «Мертвыхъ Душахъ» было сказано все, какъ нами, такъ и другими: мы собственно и не говорили еще о нихъ, а только спорили съ другими по поводу ихъ, и намъ еще предстоитъ впереди изложеніе окончательнаго, критически высказаннаго мнѣнія объ этомъ произведеніи; что касается до другихъ, они не перестали и долго еще не перестанутъ говорить о «Мертвыхъ Душахъ», всѣми силами стараясь увѣрить себя, что имъ нечего бояться этого произведенія... Итакъ, скажемъ здѣсь лишь нѣсколько словъ для уясненія—не произведенія Гоголя, а вопроса, возникшаго о немъ и въ публикѣ и въ литературѣ.

Какъ мнѣніе публики, такъ и мнѣніе журналовъ о «Мертвыхъ Душахъ» раздѣлились на три стороны: одни видятъ въ этомъ твореніи произведеніе, котораго хуже еще не писывалось ни на одномъ языкѣ человѣческомъ; другіе, наоборотъ, думаютъ, что только Гомеръ да Шекспиръ являются, въ своихъ произведеніяхъ, столь великими, какимъ явился Гоголь въ «Мертвыхъ Душахъ; третьи думаютъ, что это произведеніе дѣйствительно великое явленіе въ русской литературѣ, хотя и неидущее, по своему содержанію, ни въ какое сравненіе съ вѣковыми всемірно-историческими твореніями древнихъ и но-

выхъ литературъ западной Европы. Кто эти — одни, другіе и третьи, публика знаетъ, и потому мы не имѣемъ нужды никого называть по имени. Всѣ три мѣтнія равно заслуживаютъ большаго вниманія и равно должны подвергаться разсмотрѣнію, ибо каждое изъ нихъ явилось не случайно, а по необходимымъ причинамъ. Какъ въ числѣ изступленныхъ хвалителей «Мертвыхъ Душъ» есть люди, и не подозревающіе въ простотѣ своего дѣтскаго энтузіазма истиннаго значенія, слѣдовательно, и истиннаго величія этого произведенія, такъ и въ числѣ ожесточенныхъ хулителей «Мертвыхъ Душъ» есть люди, которые очень и очень хорошо смекаютъ всю огромность поэтического достоинства этого творенія. Но отсюда-то и выходитъ ихъ ожесточеніе. Нѣкоторые сами когда-то тянулись въ храмъ поэтического безсмертія; за новостію и дѣтствомъ нашей литературы, они имѣли свою долю успѣха, даже могли радоваться и хвалиться, что имѣютъ поклонниковъ, — и вдругъ является, неожиданно, непредвидѣнно, совершенно новая сфера творчества, особенный характеръ искусства, вслѣдствіе чего идеальныя и чувствительныя произведенія нашихъ поэтовъ вдругъ оказываются ребяческою болтовнею, дѣтскими невинными фантазіями... Согласитесь, что такое паденіе, безъ натиска критики, безъ недоброжелательства журналовъ, очень и очень горько?... Другіе подвизались на сатирическомъ поприщѣ, если не съ славою, то не безъ выгодъ инаго рода: сатиру они считали своей монополіей, смѣхъ — исключительно имъ принадлежащимъ орудіемъ, — и вдругъ остроты ихъ не смѣшны, картины ни на что не похожи, у ихъ сатиръ какъ-будто повыпадали зубы, охрипъ голосъ, ихъ уже не читаютъ, на нихъ не сердятся, они уже стали употребляться вмѣсто какого-то аршина для измѣренія бездарности... Чтò тутъ дѣлать? перечинить перья, начать писать на новый ладъ? — но вѣдь для этого нуженъ талантъ, а его не купишь, какъ

пучокъ перьевъ... Какъ хотите, а осталось одно: не признавать талантомъ виновника этого крутого поворота въ ходѣ литературы и во вкусѣ публики, увѣрять публику, что все написанное имъ—вздоръ, нелѣпость, пошлость... Но это не помогаетъ: время уже рѣшило страшный вопросъ — новый талантъ торжествуетъ, молча, не отвѣчая на брани, не благодаря за хвалы, даже какъ-будто вовсе отстраняясь отъ литературной сферы; надо перемѣнить тактику: является новое твореніе таланта, далеко оставившее за собою всѣ прежнія его произведенія, — давай жалѣть о погибшемъ талантѣ, который такъ много обѣщалъ, такъ хорошо писалъ нѣкогда (именно тогда, когда эти господа утверждали, что онъ писалъ все вздоры и нелѣпости); — его, видите, захвалили пріятели, а ихъ у него такъ много, что иныхъ онъ и въ лицо не знаетъ, съ иными же едва знакомъ... На чтѣ бы такое напасть въ новомъ твореніи таланта?—на сальности, на дурной тонъ; это понравится тѣмъ людямъ, которые никогда и во снѣ не видавъ большого свѣта, только о немъ и хлопчутъ, какъ-будто бы считая себя принадлежащими къ нему... Не мѣшаетъ замѣтить, что эти витязи большого свѣта чрезвычайно довольны были тономъ и остротами враговъ новаго таланта: живя въ неизмѣримой дали отъ большого свѣта, они считали этихъ сатирическихъ сочинителей людьми большого свѣта... Второй пунктъ — грамматика: къ ней прибѣгли, при этомъ важномъ случаѣ, даже тѣ, которые отвергали ея существованію... Третій пунктъ: — незнаніе русскаго языка; за этотъ аргументъ ухватились даже тѣ, которые пишутъ: «морь (ви. морей), мозговъ человѣческихъ, мечтъ» и т. п. Нападки за незнаніе грамматики и искаженіе языка — характеристическая черта исторіи русской литературы: славянофилы утверждали, что Карамзинъ не зналъ духа и правилъ русскаго языка и ужасно искажалъ его въ своихъ сочиненіяхъ; классики въ томъ же самомъ обвиняли Пушкина;

теперь очередь за Гоголемъ... Вспомнили мы еще довольно забавную черту въ этомъ родѣ: гг. Грець и Булгаринъ доказывали нѣкогда печатно, что г. Полевой не знаетъ грамматики, а г. Калайдовичъ напечаталъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» статью объ «Исторіи Русскаго Народа» въ отношеніи къ грамматикѣ и языку, и на каждой страницѣ этого превосходнаго, но, къ сожалѣнію, по-сю-пору неконченнаго творенія, нашелъ по крайней мѣрѣ по десяти грубыхъ ошибокъ противъ грамматики и языка... Господа! не пора ли бросить эту старую замашку? У какого писателя нѣтъ ошибокъ противъ грамматики, да только чьей? — вотъ вопросъ! Карамзинъ самъ былъ грамматикъ, передъ которой всѣ ваши грамматики ничего не значатъ; Пушкинъ тоже стѣитъ любой изъ вашихъ грамматикъ...

Твореніе, которое возбудило столько толковъ и споровъ, раздѣлило на котеріи и литераторовъ и публику, пріобрѣло себѣ и жаркихъ поклонниковъ, и ожесточенныхъ враговъ, на долгое время сдѣлалось предметомъ сужденій и споровъ общества; твореніе, которое прочтено и перечтено не только тѣми людьми, которые читаютъ всякую новую книгу, или всякое новое произведеніе, сколько-нибудь возбудившее общее вниманіе, но и такими лицами, у которыхъ нѣтъ ни времени, ни охоты читать стихи и сказочки, гдѣ несчастные любовники соединяются законными узами брака, по претерпеніи разныхъ бѣдствій, и въ довольствѣ, почетѣ и счастіи проводятъ остальное время жизни;—твореніе, которое, въ числѣ почти 3,000 экземпляровъ, все разошлось въ какіе-нибудь полгода:—такое твореніе не можетъ не быть неизмѣримо выше всего, чтѣ въ состояніи представить современная литература, не можетъ не произвести важнаго вліянія на литературу.

Полное собраніе стихотвореній покойнаго Лермонтова, вышло въ послѣдней половинѣ декабря прошлаго года, и должно быть причислено къ литературнымъ явленіямъ новаго года.



Сборниками стихотворений прошлый годъ очень небогатъ. Самымъ лучшимъ и пріятнѣйшимъ явленіемъ въ этомъ родѣ, безъ всякаго сомнѣнія, была книжка «Стихотвореній Аполлона Майкова». Этотъ молодой поэтъ одаренъ отъ природы живымъ сочувствіемъ къ эллинской музѣ; онъ овладѣлъ всею полнотою, всею свѣжестью и роскошью антологическаго созерцанія, пластическою художественностью антологическаго стиха, — такъ что антологическія стихотворенія г. Майкова не только не уступаютъ въ достоинствѣ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, но еще едва ли и не превосходятъ ихъ. Это большое пріобрѣтеніе для русской поэзіи, важный фактъ въ исторіи ея развитія. Но жаль было бы, еслибъ только на этомъ остановился г. Майковъ. Антологическія стихотворенія, какъ бы ни были хороши, — не болѣе, какъ пробный камень артистическаго элемента въ поэтѣ. Ихъ можно сравнить съ ножкою Психеи, рукою Венеры, головою Фавна, превосходно выстѣченными изъ мрамора. Конечно, превосходно сдѣланная ножка, ручка, грудь, или головка, каждая изъ этихъ деталей можетъ служить доказательствомъ необыкновенныхъ скульптурныхъ дарованій, чувства пластики, изученія древняго искусства; но еще не составляетъ скульптуры, какъ искусства, и превосходно сдѣлать ножку, ручку, грудь, или головку далеко не то, что создать цѣлую статую. Сверхъ того исключительная преданность древнему міру (и притомъ далеко неполнѣ понятю), безъ всякаго живаго, кровнаго сочувствія къ современному міру, не можетъ сдѣлать великимъ, или особенно замѣчательнымъ поэта нашего времени. Къ этому еще должно присовокупить, что одно да одно, теряя прелесть новости, теряетъ и свою цѣну. Итакъ, мы желали бы, чтобъ г. Майковъ или предался основательному и обширному изученію древности и передавалъ на русскій языкъ, своимъ дивнымъ стихомъ, вѣчныя, неумирающія созданія эллинскаго искусства, или обрѣлъ въ тайникѣ духа своего тѣ

сердечныя, задушевные вдохновенія, на которыя радостно и привѣтливо отзывается поэту современность. Покоряясь требованіямъ справедливости, мы не можемъ не повторить здѣсь уже сказаннаго нами въ статьѣ о стихотвореніяхъ г. Майкова, что почти всѣ его не-антологическія стихотворенія пока не общаются въ будущемъ ничего особеннаго. Намъ было бы очень пріятно ошибиться въ этомъ приговорѣ, — и мы первые вспомнили бы съ радостію о своей ошибкѣ, еслибъ г. Майковъ подарилъ русскую публику такими стихотвореніями, которыя обнаружили бы въ немъ столь же примѣчательнаго и столь же много-общающаго въ будущемъ современнаго поэта, сколько и антологическаго. Антологическая муза г. Майкова не ослабѣла ни въ силѣ, ни въ дѣятельности, и послѣ выхода книжки его стихотвореній, публика прочла въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Библіотекѣ для Чтенія» нѣсколько прелестнѣйшихъ его стихотвореній въ любимомъ его антологическомъ родѣ, но они уже не возбудили въ ней прежняго восторга. А между тѣмъ — повторяемъ — они такъ же прекрасны, какъ и прежнія, въ доказательство чего достаточно привести изъ нихъ слѣдующее — «Барельефъ»:

Вотъ безжизненный отрубокъ  
Серебра: стопи его  
И вмѣстительный мнѣ кубокъ  
Слей искусно изъ него.  
Ни Кипридиныхъ голубокъ,  
Ни медвѣдицъ, ни плеядъ,  
Не лѣпи по стѣнкамъ длиннымъ.  
Нарисуй въ саду пустынномъ,  
Между розъ, толпы менадъ,  
Выжимающихъ созрѣлый,  
Напитой и пожелтѣлый  
Съ пышной вѣтки виноградъ;  
Вкругъ сидятъ, умно и чинно,  
Дѣти передъ бочкой винной,  
Фавны съ хмѣлемъ на челѣ,

Вакхъ подъ тигровою кожей,  
И Сялень румянорожіи  
На споткнувшемся ослѣ.

За то, вотъ еще одно изъ послѣднихъ стихотвореній г. Майкова, доказывающихъ, что чуть только выйдетъ онъ изъ сферы антологическаго созерцанія, какъ изъ его стихотворенія тотчасъ же ничего не выйдетъ.

Море бурно, небо въ тучахъ.  
Онъ примчался на конѣ  
Прямо къ брызгамъ водъ кипучихъ.  
«Старый! чолнъ скорѣ мнѣ!»  
И старикъ *затылокъ чешетъ...*  
— «Плохо будетъ, господинъ!  
Полно, *баринъ (?)*, *бѣса тѣшитъ (?)*,  
*Нашихъ въ морѣ не одинъ (?)* —  
«Пусть ихъ гибнуть? Подъ водою  
Рыбъ рыбы и гроба!  
Знай, я Цезарь: а со мною,  
Мнѣ послушна и судьба!»

Странная фантазія — свести Цезаря съ русскимъ мужикомъ и заставить его объясняться до такой степени посредственными стихами...

«Сумерки», маленькая книжка г. Баратынского, заключающая въ себѣ едва ли не послѣднія стихотворенія этого поэта, тоже принадлежитъ къ немногимъ примѣчательнѣйшимъ явленіемъ по части поэзіи въ прошломъ году. По поводу ея, мы обозрѣли всю поэтическую дѣятельность г. Баратынского (ч. VI стр. 280). Теперь же, прибавимъ только, что едва ли это и дѣйствительно не послѣднія стихотворенія знаменитаго поэта: вотъ піеса изъ «Сумерокъ», доказывающая это:

На что вы, дни? юдольный міръ явленья  
Свои не измѣнить!  
Всѣ вѣдомы и только повторенья  
Грядущее сулитъ.

Не даромъ ты металась и кипѣла,  
 Развитіемъ спѣша,  
 Свой подвигъ ты свершила прежде тѣла,  
 Бесмертная душа!  
 И тѣсный кругъ подлунныхъ впечатлѣній  
 Сожмнувшая давно,  
 Подъ вѣяньемъ возвратныхъ сновидѣній  
 Ты дремлешь; а оно  
 Безсмысленно глядитъ, какъ утро встанетъ  
 Безъ нужды ночь смѣня;  
 Какъ въ мракъ холодный вечеръ канетъ,  
 Вѣнецъ пустаго дня!

Страшно чувство, которымъ внушено это выстраданное стихотвореніе! не общаетъ оно новыхъ и живыхъ вдохновеній: и лучше совсѣмъ не писать поэту, чѣмъ писать такія, напри-  
 мѣръ, стихотворенія:

Сначала мысль воплощена  
 Въ поэму сжатую поэта,  
 Какъ дѣва юная *темна*  
 Для невнимательнаго свѣта;  
 Потомъ, осмѣлившись, она  
 Уже увертлива, рѣчиста,  
 Со всѣхъ сторонъ своихъ видна,  
 Какъ искушенная жена,  
 Въ свободной прозѣ романиста;  
 Болтуня старая, за тѣмъ  
 Она, подымая крикъ нахальный,  
 Плодитъ въ полемикѣ журнальной  
 Давно ужъ вѣдомое всѣмъ.

Что это такое? неужели стихи, поэзія, мысль?...

Вышедшая въ прошломъ же году маленькая книжечка стихотвореній Полежаева, подъ названіемъ: «Часы Выздоровленія», подала намъ поводъ, въ отдѣльной критической статьѣ, обозрѣть всю поэтическую дѣятельность этого замѣчательнаго поэта (ч. VI стр. 167). — Первая часть стихотвореній г. Бенедиктова, изданная въ 1835 году, достигла второго изда-

нія въ прошломъ 1842 году. Наше мнѣніе объ этомъ поэтѣ извѣстно публикѣ.

Вообще, прошлый годъ былъ не богатъ стихами, а будущій—это можно сказать смѣло, будетъ еще бѣднѣе... Лермонтова уже нѣтъ, а другаго Лермонтова не предвидится... хоть совсѣмъ не пиши стиховъ... И ихъ, въ самомъ дѣлѣ, пишутъ, или по крайней мѣрѣ, печатаютъ теперь меньше. Столичные поэты сдѣлались какъ-то умѣреннѣе — оттого ли, что одни уже повыписались, а другіе догадались, что стихи должны быть слишкомъ и слишкомъ хороши, чтобъ ихъ стали теперь читать, не только хвалить... За то, господа провинціальныя поэты годъ отъ году становятся неутомимѣе. Публика ничего не знаетъ о ихъ пламенномъ усердіи къ дѣлу истребленія писчей бумаги; но журналисты — увы! — слишкомъ знаютъ это и дорого платятъ за это знаніе—платятъ деньгами за доставленіе къ нимъ на домъ этихъ страшныхъ пакетовъ, платятъ временемъ, скукою и досадою, прочитывая эти груды рифмованнаго вздору...

Теперь обратимся къ прозѣ по части изящной словесности. Г. Загоскинъ каждый годъ даритъ публику новымъ романомъ; не знаемъ, какимъ новымъ романомъ обрадуетъ онъ ее въ 1843 году, а въ 1842 году онъ утѣшилъ ее «Кузьмою Петровичемъ Мирошевымъ». Собственно, это не романъ, а повѣсть, до того мѣстами растянутая, что изъ нея вытянулся романъ въ четырехъ частяхъ, т. е. въ четырехъ маленькихъ книжкахъ, красиво и разгонисто напечатанныхъ. Въ «Мирошевъ» тѣ же достоинства и тѣ же недостатки, какими отличались всѣ прежніе романы г. Загоскина: т. е. съ одной стороны, истинно-русское радушіе и хлѣбосоольство, съ какимъ почтенный авторъ угощаетъ читателя издѣліями своей фантазіи, добродушное восхищеніе созданными имъ характерами слугъ, дядекъ и мамокъ, добродушная увѣренность, что добродѣтель-

ные люди въ его романѣ — точно добродѣтельны, а злодѣи — не шута злодѣи; мѣстами веселенькія сцены въ забавномъ родѣ, вездѣ искреннее увлеченіе въ пользу старины и ея немножко дикихъ для нынѣшняго времени понятій, гладкій, пловучій слогъ; съ другой стороны, бѣдность содержанія, отсутствіе идеи, повтореніе того, что читатель знаетъ уже по прежнимъ романамъ автора. — «Альфъ и Альдона» г. Кукольника обнаружили было большія претензіи на титулъ историческо-поэтическаго романа; но историческая часть въ этомъ романѣ похожа на сказочную, а поэтическая — на самую скучную и вялую прозу. Одна изъ четырехъ частей «Альфа и Альдоны» больше всѣхъ четырехъ частей «Мирошева»; но «Мирошевъ» былъ прочитанъ до конца всѣми, кто только рѣшался его читать, а «Альфъ и Альдона» испугалъ читателей на половинѣ же первой части, и остался недочитаннымъ. Но неутомимый г. Кукольникъ этимъ не удовольствовался — и тиснулъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» новый романъ свой «Дурочка Луиза». Этотъ романъ — близнецъ съ «Эвелиною де Вальероль»: тамъ пружиною всѣхъ дѣйствій служитъ цыганъ Гойко, здѣсь жидъ Бенке, тамъ множество лицъ, такъ похожихъ одно на другое, что и отличить нельзя — и здѣсь тоже; разница въ томъ, что тамъ скучно, а здѣсь скучнѣе, тамъ еще на что-нибудь похоже, а здѣсь ни на что не похоже. Героиня романа — дурочка Луиза, еще довольно похожа на дурочку — умною ее дѣйствительно никто не назоветъ; но курфирстъ Фридрихъ Вильгельмъ изображенъ — какимъ-то сантиментальнымъ повѣреннымъ въ любовныхъ тайнахъ своихъ приближенныхъ, всеобщимъ сватомъ и отцомъ-посаженымъ, и только мимоходомъ слится авторъ выказать его героемъ и великимъ государемъ. Вообще, сантиментальность, приторная, сладенькая, составляетъ главный характеръ этой безсвязной, пустой по содержанію, натянутой въ изображеніи харак-

теровъ сказки. Теперь того только и ждемъ, что «Дурочка Луиза» появится отдѣльною книжкою въ двухъ частяхъ; но мы рады, что заблаговременно отдѣлялись отъ нея. — Какими романами еще ознаменовался 1842 годъ? — «Два Призрака», «Сердце Женщины», «Человѣкъ съ высшимъ взглядомъ», «Любовь Музыканта», вновь изданные романы г. Калашникова: «Дочь Купца Жолобова» и «Камчадалка», «Московская Сказка о Чудѣ Поганомъ», «Козелъ Бунтовщикъ», «Грошевый Мертвецъ», «Гуакъ, рыцарская повѣсть» и пр. и пр. Все это едва ли принадлежитъ къ какой-нибудь литературѣ, и еще менѣе къ той, которой характеръ опредѣляли мы въ началѣ статьи... Чтѣ дѣлать? У каждого дома бываетъ два двора — передній и задній; у каждой литературы двѣ стороны — лицевая и изнанка...

На повѣсти, 1842 годъ былъ счастливѣе, чѣмъ на романы. Въ «Москвитиниѣ» было напечатано начало новой повѣсти Гоголя «Римъ», равно изумляющее и своими достоинствами и своими недостатками. Въ «Современникѣ» была помѣщена уже извѣстная, но передѣланная вновь повѣсть Гоголя «Портретъ», отличающаяся нѣкоторыми превосходно-концепированными и отдѣланными подробностями, и неудачная въ цѣломъ. — Графъ Соллогубъ напечаталъ въ прошломъ году только одну повѣсть «Медвѣдь», которая заставляетъ искренно сожалѣть, что ея даровитый авторъ такъ мало пишетъ. «Медвѣдь» не есть что-нибудь необыкновенное и, можетъ-быть, далеко уступить въ достоинствѣ «Аптекарьшѣ», повѣсти того же автора; но въ «Медвѣдѣ» образованное и умное эстетическое чувство не можетъ не признать тѣхъ характеристическихъ чертъ, которыми мы, въ началѣ этой статьи, опредѣляли послѣдній періодъ русской литературы. Отличительный характеръ повѣстей графа Соллогуба состоитъ въ чувствѣ достовѣрности, которое охватываетъ всего читателя, къ

какому бы кругу общества ни принадлежалъ онъ, если только у него есть хоть немного ума и эстетическаго чувства: читая повѣсть графа Соллогуба, каждый глубоко чувствуетъ, что изображаемые въ ней характеры и событія возможны и дѣйствительны, что они — вѣрная картина дѣйствительности, какъ она есть, а не мечты о жизни, какъ она не бываетъ и быть не можетъ. Графъ Соллогубъ часто касается, въ своихъ повѣстяхъ, большаго свѣта, но хотъ онъ и самъ принадлежитъ къ этому свѣту, однакожь повѣсти его тѣмъ не менѣе — не хвалебныя гимны, не апофеозы, а безпристрастно вѣрные изображенія и картины большаго свѣта. Здѣсь кстати замѣтить, что страсть къ большому свѣту — что-то въ родѣ болѣзни въ русскомъ обществѣ: всѣ наши сочинители такъ и рвутся изображать въ своихъ романахъ и повѣстяхъ большой свѣтъ. И, надо сказать, ихъ усилія не остаются тщетными: въ повѣстяхъ графа Соллогуба только немногіе узнаютъ большой свѣтъ, а большая часть публики видитъ его въ романахъ и повѣстяхъ именно тѣхъ сочинителей, для которыхъ большой свѣтъ истинная terra incognita, истинная Атлантида до открытія Америки Колумбомъ, и которые рисуютъ большой свѣтъ по своему идеалу, добродушно вѣруя въ сходство аляповатаго списка съ невиданнымъ оригиналомъ. Такъ, недавно, въ одномъ журналѣ романъ «Два Призрака» торжественно объявленъ произведеніемъ челоѣка, принадлежащаго къ большому свѣту и знающаго его. Всѣ толкуютъ о свѣтскости, — и пьеса Гоголя падаетъ на Александринскомъ театрѣ, а «Комедія о войнѣ Федосьи Сидоровны съ Китайцами» и «Русская Боярыня XVII столѣтія» возбуждаютъ фуроръ въ записныхъ посѣтителяхъ того же театра, — и все по причинѣ «свѣтскости». А между тѣмъ, дѣло кажется такъ очевиднымъ: стѣало бы только сравнить, напр., повѣсти графа Соллогуба съ романами и повѣстями нашихъ «свѣтскихъ» сочинителей, чтобъ окончательно



рѣшить вопросъ о дѣлѣ, къ которому такъ многіе и такъ напрасно считаютъ себя прикосновенными...

Простота и вѣрное чувство дѣйствительности составляютъ неотъемлемую принадлежность повѣстей графа Соллогуба. Въ этомъ отношеніи, теперь, послѣ Гоголя, онъ первый писатель въ современной русской литературѣ. Слабая же сторона его произведеній заключается въ отсутствіи личнаго (извините—субъективнаго) элемента, который бы все проникалъ и отгѣнялъ собою, чтобъ вѣрныя изображенія дѣйствительности, кромѣ своей вѣрности, имѣли еще и достоинство идеальнаго содержанія. Графъ Соллогубъ, напротивъ, ограничивается одною вѣрностію дѣйствительности, оставаясь равнодушнымъ къ своимъ изображеніямъ, каковы бы они ни были, и какъ-будто находя, что такими они и должны быть. Это много вредитъ успѣху его произведеній, лишая ихъ сердечности и задушевности, какъ признаковъ горячихъ убѣжденій, глубокихъ вѣрованій.

Болѣе субъективности, но менѣе такта дѣйствительности, менѣе зрѣлости и крѣпости таланта, чѣмъ въ повѣстяхъ графа Соллогуба, видно въ повѣстяхъ г. Панаева. Вообще, г. Панаевъ гораздо болѣе общается въ будущемъ, нежели сколько исполняетъ въ настоящемъ. Что-то нерѣшительное, колеблющееся и неустановившееся замѣтно и въ его созерцаніи, какъ идеальной сторонѣ его повѣстей, и въ ихъ практическомъ выполненіи; каждая новая повѣсть его далеко оставляетъ за собою все прежнія: очевидное доказательство таланта замѣчательнаго, но еще не опредѣлившагося. Въ прошломъ году, онъ напечаталъ только одну повѣсть «Актеонъ» въ «Отечественныхъ Запискахъ», которая возбудила живѣйшее вниманіе и интересъ со стороны публики, и далеко оставила за собою все прежнія его повѣсти, такъ же, какъ и «Барыня», написанная имъ незадолго предъ «Актеономъ», далеко оставила за собою

всѣ другія, прежде ея написанныя. Вѣроятно, чувство своей неопредѣленности препятствуетъ г. Панаеву писать столько, сколько отъ его таланта въ правѣ ожидать публика: въ такомъ случаѣ, самый недостатокъ въ дѣятельности заслуживаетъ уваженія, какъ залогъ будущей многоплодной дѣятельности.

Три новыя повѣсти напечатаны въ прошломъ году даровитою и безвременно угасшею г-жею Ганъ (Зенеидою Р-вою): «Напрасный Даръ» и «Любонька» въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Ложа въ Одесской Оперѣ»—въ «Дагеротипѣ». «Любонька» принята публикою съ восторгомъ, въ которомъ не должно мѣшать ей оставаться; «Напрасный Даръ», сверкающій искрами высокаго таланта, хотя и невыдержанный въ цѣломъ, восхитилъ только немногихъ: такова участь всѣхъ произведеній, въ которыхъ, при блескахъ яркаго вдохновенія, есть что-то недоговоренное, какъ бы неравное самому себѣ. Въ такомъ случаѣ, чѣмъ сильнѣе и выше взмахъ, тѣмъ недоступнѣе для всѣхъ и cadaго внутреннее значеніе произведенія: толпа видитъ одни внѣшніе недостатки... «Ложа въ Одесской Оперѣ» принадлежитъ къ самымъ слабымъ произведеніямъ г-жи Ганъ. Впрочемъ, по выходѣ полнаго собранія ея сочиненій мы скоро будемъ имѣть случай подробно изложить наше мнѣніе объ этой необыкновенно даровитой писательницѣ.

Г. Кукольникъ напечаталъ въ прошломъ году нѣсколько повѣстей, изъ которыхъ двѣ заслуживаютъ почетнаго упоминенія: «Благодѣтельный Андроникъ, или романическіе характеры стараго времени» (въ «Библіотекѣ для Чтенія») и «Позументы» (во II томѣ «Сказки за Сказкою»). Содержаніе обѣихъ этихъ повѣстей взято талантливымъ авторомъ изъ эпохи Петра Великаго. Мы уже не разъ имѣли случай говорить о неподражаемомъ мастерствѣ, съ какимъ г. Кукольникъ изображаетъ, въ своихъ повѣстяхъ, нравы этого интереснѣй-

шаго момента русской исторіи, и, вѣрные нашему правилу — *sui cuique*, не разъ отдавали должную справедливость достоинству повѣстей г. Кукольника въ этомъ, посчастливившемся ему, родѣ. Еслибъ г. Кукольникъ издалъ отдѣльно эти повѣсти, разбѣянные въ журналахъ и альманахахъ, — онѣ имѣли бы большой, и притомъ заслуженный, успѣхъ въ публикѣ. Не понимаемъ, что за охота ему, вмѣсто того, что такъ сродно его таланту, тратить время и бумагу на романы и повѣсти, въ которыхъ онъ изображаетъ страны, имъ невиданныя, и эпохи, знаемыя имъ только по изученію и какому-то отвлеченному представленію?... — Уже если писать романъ, не лучше ли писать его изъ временъ столь живо и ясно присутствующихъ въ созерцаніи автора. — Г. А. Н. (авторъ «Звѣзды» и «Цвѣтка») напечаталъ въ прошломъ году только одну повѣсть — «Живая Картина» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»), впрочемъ, уступающую въ достоинствѣ прежнимъ его повѣстямъ. — Г. Вельтманъ помѣстилъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» весьма занимательный и живо написанный рассказъ «Карьера», которому, впрочемъ, какъ типическому очерку, приличіе было бы явиться въ «Нашихъ». — Казакъ Луганскій напечаталъ въ прошломъ году только одну повѣсть «Савелій Грабъ или Двойникъ» (во II томѣ «Сказки за Сказкою»); въ Библиографической Хроникѣ этой книжки (въ библиографическомъ отдѣлѣ этой части) читатели найдутъ нашъ отзывъ объ этой повѣсти. — Къ замѣчательнѣйшимъ повѣстямъ прошлаго года принадлежитъ повѣсть графа Растопчина «Охъ, Французы!» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»). Въ этой повѣсти совсѣмъ нѣтъ никакихъ Французовъ, но за то, она сама есть вѣрное зеркало нравовъ старины и дышетъ умомъ и юморомъ того времени, котораго знаменитый авторъ былъ изъ самыхъ примѣчательнѣйшихъ представителей. — Юмористическія статьи, печатавшіяся въ «Нашихъ», всѣ болѣе или менѣе замѣча-

тельны по ихъ стремленію — быть выраженіемъ дѣйствительности, а не пустыхъ фантазій.

Вотъ и полный бюджетъ всего, что было самаго замѣчательнаго по части повѣстей въ прошломъ году. Немного, очень немного, но, какъ сказалъ поэтъ:

Быть такъ—спасибо и за то!

Изъ сборниковъ, самымъ примѣчательнѣйшимъ былъ «Утренняя Заря», альманахъ г. Владиславлева. «Утренняя Заря» на нынѣшній 1843 годъ, по содержанію, гораздо выше всѣхъ предшествовавшихъ годовъ. Еслибъ въ этомъ альманахѣ была только одна статья покойнаго генерала М. Ѳ. Орлова «Капитуляція Парижа», а все остальное не превышало посредственности, — и тогда бы онъ былъ замѣчательнымъ явленіемъ; но въ «Утренней Зарѣ», кромѣ превосходной во всѣхъ отношеніяхъ статьи М. Ѳ. Орлова, есть еще повѣсть графа Соллогуба, о которой мы говорили выше, большое стихотвореніе Лермонтова и два очень интересные разсказа гг. Кукольника и Гребенки. — Третій томъ «Русской Бесѣды», вышедшій въ прошломъ году, не оправдалъ ожиданій публики: онъ состоялъ изъ разнаго хлама нѣкоторыхъ старыхъ и уже выписавшихся сочинителей, которые были рады куда-нибудь сбросить жалкіе плоды своихъ старыхъ досуговъ, и разныхъ новыхъ сочинителей, которые рады были, что наконецъ нашли пріютъ своимъ литературнымъ уродцамъ и недоноскамъ. — «Альманахъ въ память 200-лѣтняго юбилея Александровскаго университета» былъ изданъ по случаю и содержитъ въ себѣ нѣсколько интересныхъ статей, относящихся къ странѣ и событію, которое было причиною его появленія.

Роскошныя изданія болѣе и болѣе входятъ въ обычай въ нашей литературѣ. Успѣхъ «Нашихъ» возбудилъ и въ другихъ охоту издавать нѣчто въ томъ же родѣ, подъ названіемъ «Картинокъ Русскихъ Нравовъ», которыя, какъ красивенькія

игрушки, имѣютъ свое достоинство, но какъ книги—никакого, ибо это сборъ или стараго, давно извѣстнаго, или новыя пу-  
стыки, на скорую руку намазанныя для такого казуса. Успѣхъ  
изданной г. Семененко—Крамаревскимъ «Исторіи Наполеона»  
съ политипажами картинъ Ораса Верне, породилъ компиляцію  
г. Ламбина, съ чудовищными политипажами работы плохихъ  
рисовальщиковъ, и «Исторію Суворова» г. Полеваго—нѣчто въ  
родѣ обыкновенной компиляціи съ посредственными по изоб-  
рѣженію и довольно недурными по выполненію политипажамъ;  
и еще другую исторію Суворова, которая грозитъ скоро по-  
явиться... «Театральный Альбомъ» — истинно великолѣпное  
изданіе, имѣетъ свое значеніе и идетъ своимъ путемъ. До-  
селѣ вышло его два выпуска. «Константинополь и Турки» тоже  
принадлежитъ къ хорошимъ и полезнымъ изданіямъ съ кар-  
тинками. «Картины Русской Живописи» представляютъ собою  
изданіе, заслуживающее вниманія и участія публики. Къ та-  
кого же рода изданіямъ должно отнести и «Архитектурныя  
Фантазіи» г. Шрейдера. Великолѣпное изданіе «Робинзона  
Крузо», Даниеля Дефо, съ рисунками Гранвиля, въ переводѣ  
съ англійскаго г. Корсакова, принадлежитъ къ числу дѣйст-  
вительно роскошныхъ и полезныхъ книгъ.

Шумно затѣянный какими-то молодыми людьми переводъ  
всѣхъ сочиненій Гёте, остановился на второмъ выпускѣ.  
Едва ли кто пожалѣетъ о прекращеніи этой дѣтской затѣи.  
Напротивъ, переводъ «Шекспира», предпринятый г. Кетче-  
ромъ, хотя не быстро, но тѣмъ не менѣе прочно подвигается  
впередъ. Прошлый годъ оставилъ его на десятомъ выпускѣ.  
Драматическія хроники Шекспира уже кончены, и скоро по-  
явятся «Комедія Ошибокъ» и «Макбетъ». — Изъ отдѣльно вы-  
шедшихъ книгъ по части изящной словесности, почти не о чемъ  
и упомянуть, кромѣ того, о чемъ мы уже говорили, приступая  
къ этому обзорѣ. Можно только вспомнить развѣ о второй

части «Парижа въ 1836 и 1839 годахъ» г. В. Строева; впрочемъ, эта вторая часть вышла вмѣстѣ съ первой, напечатанною въ 1841 году.— Неужели говорить о «Комарахъ», о «Снопкахъ», о «Дагеротипахъ» и тому подобныхъ плевелахъ на полѣ русской литературы?... Если еще можно о чемъ упомянуть здѣсь кстати, такъ развѣ о «Драматическихъ Сочиненіяхъ и Переводахъ» г. Полеваго,—и то для того только, чтобъ замѣтить, что наша драматическая литература составляетъ какую-то особую сферу въ русской литературы. Геній ея— г. Кукольникъ; ея первоклассные таланты — гг. Полевой и Ободовскій; за ними идетъ уже мелочь...

Изъ отдѣльно вышедшихъ книгъ, серьезнаго содержанія, нельзя не упомянуть о слѣдующихъ: «Кесари» Шампаньи (Неронъ); «Римскіе Папы, ихъ церковь и государство въ XVI и XVII столѣтіяхъ» (послѣдняя изъ этихъ книгъ столь же дурно переведена, сколько первая хорошо); «Политическая и Военная Жизнь Наполеона» (часть 6 и послѣдняя); «Юридическія Записки» г. Рѣдкина (томъ II); «Всеобщая Географія Бланка» (томъ I;—переводъ небреженъ, изданіе неопрятно); «Сочиненія Платона» (т. II); «Филологическія Наблюденія протоіерея Г. Павскаго надъ составомъ русскаго языка» (три части); «Замѣчанія объ Осадѣ Троицкой Лавры»; «Записки Данилова» (любопытнѣйшая картина нравовъ русскаго общества за сто лѣтъ предъ симъ); «Записки Нащокина», изд. Языковымъ, съ примѣчаніями издателя; «Священная Исторія» (автора «Путешествія ко Святымъ Мѣстамъ»); «Историческое Описаніе Одеждъ и Вооруженія Россійскихъ Войскъ» съ превосходно налитографированными рисунками — одно изъ тѣхъ монументальныхъ изданій, какія могутъ предприниматься, особенно у насъ, только развѣ правительствомъ. Текстъ этого превосходнаго творенія — трудъ г. Висковатова. Вышли вторымъ изданіемъ «Сказанія Князя Курбскаго». Пятое изданіе

(компактное, въ 4 томахъ) «Исторіи Государства Россійскаго», предпринятое г. Эйнерлингомъ, было бы истиннымъ подвигомъ со стороны издателя, еслибъ дешевизна изданія соотвѣтствовало его красотѣ, изяществу, удобству и полнотѣ.

Теперь слова два о журналахъ. Кромѣ изчисленныхъ выше сочиненій по части изящной словесности, въ «Отечественныхъ Запискахъ» были помѣщены еще слѣдующія: «Бѣснующіеся. Орлахская Крестьянка», князя Одоевскаго, помѣщающаго, статьи свои подъ псевдонимомъ Безгласнаго; «Сѣня», повѣсть г. Гребенки; «Ящикъ, или Шалость Гусарскаго Офицера», драматическая картина въ одномъ дѣйствіи, графа Соллогуба. Изъ переводныхъ статей по части изящной словесности— романъ Диккенса «Бэрнеби Роджъ», романъ Жоржъ Занда «Орасъ», повѣсть ея же — «Мельхіоръ», повѣсти и романы: Эли Берте «Соколы», Фредерика Сулье «Маргарита», Огюста Арну «Колесо Фортуны», Артюра Дюдла «Красная Звѣзда», и испанская драма, переведенная съ подлинника: «Никто кромѣ, Короля». По части наукъ и искусствъ, публикою вѣроятно были замѣчены статьи: «Гёте», г. Линперта; «Коперникъ» Д. М. Перевощикова; «Система Желѣзныхъ Дорогъ въ Германіи» Фридриха Листа; «Изъ Записокъ Оренбургскаго Старожилы»; разсказъ и повѣствованіе, касающіяся Афганистана, В. И. Даля; «Осада Силистріи въ 1828 году» и «Дунайская Экспедиція 1829 года», П. Н. Глѣбова; «Выставка Санктпетербургской Академіи Художествъ въ 1842 году» В. П. Б-на; «Лѣченіе Болѣзней Искусствомъ и Натурою» (—и—о—) и пр. По части домоводства, сельскаго хозяйства и промышленности вообще: статьи Пензенскаго Земледѣльца, статью Русскаго Помѣщика (XI книжка) «Замѣчанія на статью г. Хомякова: О Сельскихъ Условіяхъ», «О Пьянствѣ въ Россіи» Н. Б. Герсевича, и пр. Такъ какъ критическія статьи всегда бывають выраженіемъ мнѣнія самой редакціи, то мы

можемъ назвать, въ отдѣлѣ критики нашего журнала, интересными статьями только статьи гг. Герсегонова и Мордвинова о Сибири, г-на Галахова о грамматикахъ г. Перевѣтскаго, какъ доставленные въ редакцію отъ постороннихъ сотрудниковъ; а нѣкоторые изъ прочихъ почитаемъ себя въ правѣ поименовать. предоставляя самой публикѣ судить о ихъ достоинствѣ, или недостаткахъ: «Русская Литература въ 1841 году», «Стихотворенія Аполлона Майкова», «Руководство къ Всеобщей Исторіи Фридриха Лоренца», «Стихотворенія Полежаева», «Кесари Ф. де Шампаны», «Рѣчь о Критикѣ, профессора А. В. Никитенко» (три статьи), «Объясненіе на Объясненіе по поводу поэмы Гоголя «Мертвыя Души», «Стихотворенія Баратынскаго» и пр. Равнымъ образомъ, мы имѣемъ право, не нарушая скромности, сказать, что Библиографическая Хроника въ «Отечественныхъ Запискахъ» всегда была — живою современною лѣтописью русской литературы; въ ней не пропущено ни одной книги, изданной въ Россіи на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, и потому, полнотою она превосходитъ всѣ подобные отдѣлы въ другихъ журналахъ. Въ отдѣлѣ «Иностранной Литературы» редакція всегда старалась представлять своимъ читателямъ по возможности полную картину современныхъ литературъ Франціи, Англіи и Германіи. Въ смѣси читатели наши находили подробный отчетъ о русской драматической литературѣ, и много интересныхъ оригинальныхъ статей, изъ которыхъ достаточно указать на рядъ статей подъ рубрикою «Поездка въ Китай», которыя будутъ продолжаться и въ нынѣшнемъ году.

Судить о духѣ и направленіи «Отечественныхъ Записокъ», характерѣ критики, сравнительно съ критикою другихъ журналовъ, — предоставляемъ публикѣ.

«Библиотека для Чтенія» дебютировала, въ своей первой книжкѣ за прошлый годъ второю частію повѣсти барона Брамбеуса



«Идеальная Красавица, или Дѣва Чудная», которой первая часть была напечатана въ послѣдней книжкѣ «Библ. для Чтенія» за 1841 годъ. При первой части было замѣчено, что повѣсть выйдетъ въ 1843 году вполнѣ и отдѣльно. Не знаемъ, съ нетерпѣніемъ ли ждетъ публика выхода окончанія «Дѣвы Чудной», или, подобно намъ, вовсе не ждетъ ея; но знаемъ, что повѣсть скучна и незанимательна, и что въ ней нѣтъ никакой повѣсти, есть только длинныя разглагольствованія о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Кромѣ «Дѣвы Чудной», въ Библіотекѣ для Чтенія» прошлаго года были напечатаны и еще двѣ повѣсти, тоже, кажется, барона Брамбеуса: «Паденіе Ширванскаго Царства» и «Лукій, или первая повѣсть». Первая очень потѣшна, а вторая — довольно неудачное искаженіе извѣстной сказки Апулея «Золотой Осель», переведенной по-русски Ериломъ Костровымъ, еще въ 1780 году, подъ титуломъ: «Луція Апулея платонической секты Философа превращеніе, или Золотой Осель. Перевелъ съ Латинскаго Императорскаго Московскаго Университета бакалавръ Ериль Костровъ. Въ Москвѣ въ Университетской Типографіи у Н. Новикова, 1780 года». Кромѣ этихъ повѣстей, «Дурочки Луизы», «Благодѣтельнаго Андроника» г. Кукольника и «Карьеры» г. Вельтмана, въ «Библіотекѣ для Чтенія» прошлаго года находятся еще: «Три Жениха», италіанская повѣсть г. Каменскаго, «Закубанскій Харамзадѣ», отрывокъ изъ романа псевдонима Хамаръ-Дабанова, не лишенный нѣкотораго интереса, и «Мамзель Бабетъ и ея Альбомъ» г. С. Побѣдоносцева, тоже отрывокъ изъ большаго сочиненія, но представляющій собою нѣчто цѣлое — родъ юмористическаго очерка, игриво написаннаго, которому настоящее мѣсто было бы въ «Нашихъ», ибо это совсѣмъ не повѣсть. Изъ отдѣла «Иностранной Словесности» въ «Библіотекѣ для Чтенія» замѣчательна драма Бернара фонтъ-Бескова «Густавъ Адольфъ», переведенная съ шведскаго г. В. Дерикеромъ. Это одно изъ пре-

краснѣйшихъ, возвышеннѣйшихъ и благороднѣйшихъ созданий скандинавской музыки, въ которомъ просто, но вѣрно и рельефно воспроизведенъ историческій образъ рыцарственнаго короля Швеціи — утѣшенія и чести человѣчества, славы и гордости XVII вѣка. Жалѣемъ, что время и мѣсто не позволяютъ намъ распространиться объ этомъ произведеніи. Чтобы познакомить нѣсколько съ его духомъ и паѳосомъ, выпишемъ нѣсколько строкъ. Оксеншіерна отговариваетъ Густава-Адольфа отъ союза съ Франціею и вообще отъ вмѣшательства въ дѣла Германіи. «Теперь (говоритъ Оксеншіерна) вся Германія пылаетъ какъ Гекла и выбрасываетъ раскаленные камни въ сосѣднія страны. Но большая часть этихъ изверженій все-таки падаетъ назадъ въ горящее жерло. Волкана не погасишь; онъ самъ долженъ выгорѣть. Этого требуетъ природа». Густавъ-Адольфъ отвѣчаетъ своему министру и другу: «Но спасти изъ лавы что возможно велить человѣколюбіе. Землетрясеніе — біеніе сердца земли. Времена тоже страдаютъ этою болѣзнью. Цѣлыя поколѣнія гибнутъ для спасенія другихъ поколѣній. И когда, въ эту бурю, ударитъ священный набатъ, каждый, въ комъ есть благородное мужество, спѣшитъ въ бой за правое дѣло. Мы пойдемъ, будемъ биться, и если падемъ, то новая рать, съ новыми знаменами, пойдетъ по нашимъ трупамъ. Пусть человекъ умираетъ, но человѣчеству должно жить! Пусть сердце разрывается, но цѣль должна быть достигнута!» Превосходно изображено въ этой драмѣ мрачное лицо свирѣпаго и невѣжественнаго фанатика и великаго полководца — Тилли. Вообще, публика должна быть вдвойнѣ благодарна г. Дерикеру — и за прекрасный переводъ и за прекрасный выборъ такого освѣжающаго душу произведенія. — Изъ статей ученаго отдѣла, въ «Библіотекѣ для Чтенія» не на что указать въ особенности. Статья «Жизнь Шиллера» была бы чрезвычайно интересна, ибо заимствована изъ прекрасно составленной книги Гофмейстера,

обнимающей жизнь великаго германскаго поэта до самых мелочных и тѣмъ еще болѣе интересныхъ подробностей, но чего можно ожидать и требовать отъ статьи въ два печатные листа, въ которую скомкано содержаніе огромныхъ четырехъ томовъ? Самое лучшее въ этой статьѣ — ея заглавіе, а сама статья — фальшивая тревога. Въ отдѣлѣ «Наукъ и Художествъ» помѣщена также статья г. Сенковского «Сокъ достопримѣчательнаго. Записки Ресми-Ахмедъ Эфендія, турецкаго министра иностранныхъ дѣлъ, о сущности, началѣ и важнѣйшихъ событіяхъ войны, происходившей между Высокою Портою и Россіей отъ 1182 по 1190 годъ гиджры (1768 — 1776)». Мнѣніе объ этой статьѣ раздѣлено на двѣ крайности: одни думаютъ, что это — повѣсть, и притомъ фантастическая, во вкусѣ барона Брамбеуса; другіе убѣждены, что это — переводъ историческаго сочиненія съ турецкаго подлинника. Не зная турецкаго языка, мы не можемъ рѣшить вопроса и держимся середины, т. е. думаемъ, что это дѣйствительно переводъ съ историческаго сочиненія, но украшенный, въ приличныхъ мѣстахъ. Брамбеусовскимъ юморомъ, выдумками и шутками, для красоты слогу. — Статья «Александрійская Школа» интересна фактически, но лишена истиннаго взгляда на этотъ величайшій фактъ въ исторіи древняго міра. Александрійская школа — это послѣдній плодъ философіи древняго міра, и ея исторія — исторія философіи древняго міра, а «Библіотека для Чтенія», какъ извѣстно всѣмъ, не любитъ, не знаетъ и не понимаетъ никакой философіи — ни древней, ни новой. — Прочія ученые статьи въ «Библіотекѣ для Чтенія», каковы: «Лапласъ», «Вольтъ», «Тихонъ Браге», «Іоаннъ Кеплеръ» и т. п., которыми этотъ журналъ съ особеннымъ усердіемъ угощаетъ своихъ читателей, должны были бы давно уже выйти изъ моды, какъ бесполезныя и скучныя. Смѣшно и думать, чтобъ можно было слѣдить по журнальнымъ статьямъ за ходомъ такихъ наукъ, какъ математика,

астрономія, физика, химія, фізіологія, естествознаніє, особенно разсматриваемыя исключительно съ эмпирической точки зрѣнія. Чтобъ сдѣлать такую статью доступною для публики, читающей исключительно литературные журналы, надо упростить ее до такой степени, что въ ней не останется никакого ученаго содержанія; а изложить ее для ученыхъ — значить сдѣлать ее недоступною для публики: въ обоихъ случаяхъ выходитъ много шума изъ пустяковъ. Для всякаго интересна біографія такого человѣка, какъ напримѣръ Галилей; но въ ней великій ученый преимущественно долженъ быть изображенъ съ его нравственной стороны, какъ человѣкъ, какъ мученикъ знанія, дышавшій религіознымъ благоговѣніемъ къ святости истины, которая составляетъ предметъ науки. Такая біографія будетъ имѣть интересъ общій, будетъ всѣмъ доступна и полезна. Біографія же, имѣющая предметомъ показать и оцѣнить ученныя заслуги великаго человѣка, можетъ имѣть мѣсто только въ спеціально-ученыхъ изданіяхъ, гдѣ нѣтъ нужды разжигать и опошлять ихъ строго-ученаго содержанія. А вотъ такіа статьи, гдѣ Сократъ представляется надувалою, по настоящему, не должны бы имѣть мѣста ни въ какомъ журналѣ... О критикѣ «Библіотеки для Чтенія» нечего говорить: всѣмъ извѣстно, что это критика сухая, состоящая большею частію изъ выписокъ, и притомъ занимающаяся книгами, которыя не могутъ возбуждать общаго интереса. Литературная Лѣтопись въ «Библіотекѣ» совсѣмъ было заснула, еслибъ ее не разбудили «Мертвыя Души»: тогда она проснулась, начала вопить, кричать; но въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ отвѣтъ на эти крики была пропѣта такая пѣсенка, отъ которой Лѣтопись, по-видимому, снова погрузилась въ летаргическій сонъ. «Смѣсь» въ «Библіотекѣ» по прежнему состояла изъ разныхъ переводныхъ статей, большею частію касающихся до разныхъ предметовъ физики, химіи, медицины и естествознанія.

Въ «Современникѣ» по прежнему пошѣщались стихотворенія Баратынскаго, Языкова, кн. Вяземскаго, графини Растопчиной, г. Матлева, г. Айбулата и проч., и интересные рассказы и повѣсти Основьяненка, барона Корфа и другихъ; ученые статьи гг. Невѣдомскаго, Петерсона; критика и библиографія отличались по прежнему сжатою краткостію слога. Самыми замѣчательными статьями въ «Современникѣ» прошлаго года были: «Хроника Русскаго въ Парижѣ», «Нибелунги», критика: «Мертвыя Души» и «Портретъ», повѣсть Гоголя.

Въ «Москвитиниѣ» бездна стиховъ: это оттого, что въ Москвѣ вообще много пишется стиховъ; а гдѣ пишутъ много стиховъ, тамъ почти совсѣмъ не пишутъ прозы, или отдаютъ ее въ петербургскіе журналы, — и потому въ «Москвитиниѣ» почти совсѣмъ нѣтъ прозы. «Римъ» Гоголя попалъ въ этотъ журналъ не изъ Москвы, а изъ Рима. Кромѣ этой повѣсти, въ «Москвитиниѣ» есть еще: отрывокъ изъ «Мирошева», прибывшій въ Петербургъ вмѣстѣ съ цѣлымъ и отдѣльно вышедшимъ «Мирошевымъ»; «Сердечная Оксана», переводъ малороссійской повѣсти г-на Основьяненка; «Мѣсяцъ въ Римѣ», изъ дорожныхъ записокъ г. Погодина, которыя всѣмъ доставили столько разнообразнаго удовольствія красотою слога, энергической краткостію выраженія и небывалой еще въ подлунномъ мірѣ оригинальностію мыслей; «Колшичизна и Степи», рассказъ Эдуарда Тартье, переведенный съ польскаго; «Черная Маска», повѣсть барона Розена; «Неаполь» (еще изъ записокъ г. Погодина); «Вологда» (еще-таки изъ записокъ г. Погодина); «Одна изъ женщинъ XIX вѣка», повѣсть Б...; «Женщина. Поэтъ и Авторъ» отрывокъ изъ романа г-жи А. Зражевской. Это, должно быть, прейнтересный романъ: въ немъ изображено высшее общество — дѣйствуютъ все князья и княжны, графы и графини; имена героевъ самыя романическія — Лировы, Альмскіе, Сенирскіе, Минвановы, Днѣстровскіе, Пермскіе и т. п.

Тутъ изображена «поэтка», выражаясь языкомъ сочинительницы, которая пишетъ и читаетъ вслухъ впрочемъ довольно плохіе стихи. Жалѣемъ, что, по недостатку мѣста, не можемъ сдѣлать выписокъ изъ этого отрывка; за то, когда выйдетъ романъ, мы вдоволь насытимся этимъ удовольствіемъ. По отрывку видно, что такихъ романовъ, послѣ дѣвицы Марьи Извѣковой, на Руси еще не было. Мы сказали, что прозы въ «Москвитянинѣ» мало, а сами выписали столько заглавій статей: это не покажется противорѣчіемъ для тѣхъ, кто читалъ эту коротенькую «прозу». Изъ ученыхъ статей въ «Москвитянинѣ» замѣчательна статья профессора Лунина «Взглядъ на исторіографію древнѣйшихъ народовъ Востока». Критика «Москвитянина» составляетъ душу этого журнала и замѣчательна въ той же мѣрѣ, какъ и онъ самъ. Притомъ только критика да стихи и представляютъ собою литературную сторону «Москвитянина»: все остальное въ немъ какая-то пестрая смѣсь неважныхъ историческихъ матеріаловъ съ газетными извѣстіями. Изумительнѣе всѣхъ возможныхъ матеріаловъ — «Письма Пушкина къ Погодину» (№ 10 «Москвитянина»); мы думаемъ, прахъ Пушкина пошевелился въ могилѣ отъ напечатанія въ журналѣ этихъ писемъ, писанныхъ совсѣмъ не для печати. Въ нихъ Пушкинъ увѣряетъ г. Погодина, что его «Марѳа Посадница» — великое Шекспировское произведеніе: это, вѣрно, иронія, которая непонята авторскимъ самолюбіемъ... «Москвитянинъ» взялъ на себя рѣшеніе важной задачи о самобытности русскаго развитія, мимо Запада, и вѣроятно, рѣшить ее удовлетворительно и положительно въ нынѣшнемъ году, а въ прошломъ замѣтно только отрицательное рѣшеніе. Подождемъ. Богъ не безъ милости, а «Москвитянинъ» не безъ средствъ и не безъ охоты рѣшить всѣ интересные для себя вопросы.

О «Сынѣ Отечества» и «Русскомъ Вѣстникѣ» мы можемъ сказать только, что первый изъ этихъ журналовъ запоздалъ

въ прошломъ году четырьмя книжками; а «Русскій Вѣстникъ», запоздавшій въ 1841 году двумя книжками, въ прошломъ запоздалъ шестью, выдавъ въ одной книжкѣ 5 и 6 нумера и помѣстивъ въ нихъ «Мать-Испанку», драму г. Полеваго.

«Репертуаръ», по свидѣтельству собственныхъ опекуновъ своихъ, былъ такъ плохъ въ прошломъ году, что совершенно охладилъ къ себѣ публику. См. № 256 «Сѣверной Пчелы».

Кстати о «Сѣверной Пчелѣ»: она все та же, какою была и всегда, и потому, не желая повторять сказаннаго о ней въ прошлогоднемъ обзорѣ русской литературы (Ч. VI, стр. 87), мы ни слова о ней не скажемъ. Лучше, вмѣсто того, пожелаемъ, чтобы преобразовываемый съ начала нынѣшняго года «Русскій Инвалидъ» былъ во всѣхъ отношеніяхъ настоящею офиціальною, политическою и учено-литературною газетою, чего мы имѣемъ полное право надѣяться.

«Литературная Газета» была вѣрна своему назначенію. Представляя публикѣ повѣсти и рассказы, она исправно извѣщала ее обо всѣхъ литературныхъ и театральныхъ новостяхъ, и разсуждала съ дамами о модахъ.

Новый дѣтскій журналъ «Звѣздочка», издаваемый г-жею Ишимовою, оправдалъ ожиданія публики и рекомендаціи другихъ журналовъ. Вѣрный своему назначенію, онъ доставлялъ своимъ маленькимъ читателямъ сколько пріятное и разнообразное, столько и полезное чтеніе. Слогъ статей его не оставляетъ желать ничего лучшаго.

---

Можетъ-быть, многіе увидятъ противорѣчіе въ нашемъ воззрѣніи на русскую литературу въ послѣднее время съ отчетомъ о ея бюджетѣ за прошлый годъ, бѣдности котораго мы сами не скрываемъ. Для такихъ читателей замѣтимъ, что мы въ своемъ воззрѣніи руководствовались не числомъ, а качествомъ произведеній. Сущность и духъ литературы выражаются не во всѣхъ

ея произведеніяхъ, а только въ избранныхъ. Пусть число этихъ «избранныхъ» будетъ невелико, но какъ они лучшія, то они и представители литературы. Когда литература умираетъ на своей засохшей почвѣ, тогда не можетъ явиться ни одного превосходнаго творенія, а прошлый годъ подарилъ насъ «Мертвыми Душами»... Притомъ же, если теперь и много представляется явленій посредственныхъ и плохихъ, — то развѣ нельзя назвать успѣхомъ литературы и общественнаго вкуса то обстоятельство, что такія произведенія тотчасъ же оцѣниваются какъ слѣдуетъ и не пользуются никакимъ успѣхомъ?...

---

СОЧИНЕНІЯ Державина. *Четыре части. Спб. 1843.*

1.

Съ іюля 3-го текущаго года начнется второе столѣтіе отъ дня рожденія Державина... Итакъ, цѣлый вѣкъ раздѣляетъ молодая поколѣнія нашего времени отъ пѣвца Екатерины... Но отъ смерти Державина едва прошло четверть вѣка, — и несмотря на то, кажется, цѣлые вѣка легли между имъ и нами... Читая его стихотворенія, теперь уже почти ничего не понимаешь въ нихъ безъ историческихкихъ право-описательныхъ комментарій на вѣкъ, котораго онъ былъ органомъ... Языкъ, образъ мыслей, чувства, интересы — все, все чуждо нашему времени... Но не умеръ Державинъ, такъ же, какъ не умеръ вѣкъ, имъ прославленный; вѣкъ Екатерины приготовилъ вѣкъ Александра, приготовившій нашъ вѣкъ, — и между Державинымъ и поэтами нашего времени существуетъ та же кровно-родственная историческая связь, которая существуетъ и между этими тремя эпохами русской исторіи...



Искусство, какъ одна изъ абсолютныхъ сферъ сознанія, имѣетъ свои законы, въ его собственной сущности заключенные, и внѣ себя не признаетъ никакихъ законовъ. Кто, уже по натурѣ своей, или по духовной своей неразвитости, не въ состояннѣ постигать законовъ искусства въ его идеѣ, — тотъ не въ состояннѣ ни цѣнить искусства въ фактѣ, ни наслаждаться имъ. До постиженія идеи мы доходимъ искусственнымъ путемъ отвлеченія: слѣдовательно, идея сама по себѣ есть только одна сторона предмета, искусственно отдѣляемая нами отъ живой всецѣлости предмета, для того, чтобъ намъ можно было отрѣшиться отъ непосредственнаго, эмпирическаго способа познавать этотъ предметъ. И потому нѣтъ идей, которыя и оставались бы идеями; но всякая идея осуществляется какъ фактъ — какъ предметъ, или какъ дѣйствіе. Осуществленіе идеи въ фактѣ имѣетъ свои непреложные законы, изъ которыхъ главнѣйшій — послѣдовательность и постепенность. Ничто не является вдругъ, ничто не рождается готовымъ; но все, имѣющее идею своимъ исходнымъ пунктомъ, развивается по моментамъ, движется діалектически, изъ низшей ступени переходя на высшую. Этотъ непреложный законъ мы видимъ и въ природѣ, и въ человѣкѣ, и въ человѣчествѣ. Природа явилась не вдругъ, готовая, но имѣла свои дни, или свои моменты творенія. Царство ископаемое предшествовало въ ней царству прозябаемому, прозябаемое — животному. Каждая былинка проходитъ черезъ нѣсколько фазисовъ развитія, — и стебель, листь, цвѣтъ, зерно, суть не что иное, какъ непреложно-послѣдовательные моменты въ жизни растенія. Человѣкъ проходитъ черезъ физическіе моменты младенчества, отрочества, юношества, возмужалости и старости, которымъ соотвѣтствуютъ нравственные моменты, выражающіеся въ глубинѣ, объемѣ и характерѣ его сознанія. Тотъ же законъ существуетъ и для обществъ, и для человѣчества. Тотъ же законъ существуетъ и для искус-

ства. У искусства есть свой вѣчный, неизмѣнный идеаль совершенства, составляющій предметъ эстетики, какъ науки изыскающаго; но искусство не вдругъ, а постепенно достигаетъ своего идеала, — и исторія искусства есть картина моментовъ его развитія. Такъ, напримѣръ, Индія—страна, гдѣ впервые пробудилось въ людяхъ стремленіе къ сознанію абсолютной истины, и въ которой это сознаніе остановилось на своемъ первомъ моментѣ, и, какъ бы окаменѣлое, дошло до насъ, черезъ рядъ тысячелѣтій, почти въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ первоначально возникло, подобно вершинамъ Гиммалаи, которыя и теперь почти тѣ же, какими узрѣлъ ихъ міръ въ первые дни своего созданія. Подобно религіи и философіи, искусство въ Индіи представляется на первой ступени своего проявленія, въ первомъ моментѣ своего существованія: оно носитъ тамъ характеръ чисто-символическій, ибо его образы условно, а не непосредственно выражаютъ идею. Таково должно быть, и инымъ не можетъ быть искусство въ своемъ началѣ. Чтобъ образы выражали идею не условно, а непосредственно, для этого необходимо идеѣ быть полною и ясною для художника; но какъ идеи первобытныхъ и младенчествующихъ обществъ состоятъ изъ темныхъ предощущеній и неопредѣленныхъ, смутныхъ предчувствій, то и выраженіе идеи у нихъ, естественно, должно состоятъ изъ однихъ намековъ, иносказаній и затѣйливыхъ символовъ. Въ Египтѣ искусство сдѣлало уже большой шагъ, приблизившись нѣсколько къ простотѣ и природѣ; по крайней мѣрѣ, египетскія изваянія представляютъ уже не однихъ сфинксовъ, но и людей, хотя эти люди еще массивны, грубы, неподвижны. Въ Греціи, искусство уже отрѣшилось отъ символизма, и его образы облеклись въ простоту и истину, которыя составляютъ высочайшій идеаль красоты.

Искусство никогда не развивается независимо-одиноко: напротивъ, его развитіе всегда бываетъ связано съ другими сфе-

рами сознанія. Въ эпоху младенчества и юношества народовъ, искусство всегда, болѣе или менѣе—выраженіе религіозныхъ идей, а въ эпоху возмужалости—философскихъ понятій. Индійскій пантеизмъ есть обожествленіе природы, и потому даже въ поэзіи индустанской играютъ такую важную роль растенія, змѣи, птицы, коровы, слоны и прочія животныя, а изваянія боговъ представляютъ дикую и уродливую смѣсь членовъ человѣческаго тѣла съ членами животныхъ. Индійское искусство не могло возвыситься до изображенія красоты человѣческой, ибо въ пантеистической религіи Индусовъ богъ есть природа, а человѣкъ — только ея служитель, жрецъ и жертва. Египетская мифологія занимаетъ уже середину между индійскою и греческою: среди животное-чудовищныхъ образовъ ея боговъ уже замѣтны и человѣческіе лики, послужившіе типомъ для изваяній греческихъ; между Озиридомъ и Аполлономъ есть средство, и мнѣе Теба, который сражаетъ Пифона, занятъ Греками у Египтянъ. Однакожъ, это бореніе между животнымъ и человѣкомъ разрѣшилось только въ сфинкса — чудовище съ женоподобною головою и грудью, съ туловищемъ звѣря. Сфинксъ египетскій мудрѣе чловѣка: онъ загадываетъ чловѣку хитрыя загадки и пожираетъ его за неумѣніе разгадать ихъ. Но Грекъ Эдипъ разгадалъ мысль и нашелъ слово; звѣрь бросился въ море и утонулъ: чловѣкъ вступилъ въ свои права,—и боги Греціи не что иное, какъ образы идеальнаго чловѣка, обожествленіе чловѣка. Звѣри вошли въ искусство какъ выраженіе силъ природы, повинующихся чловѣку: кони возятъ колесницу Аполлона, Церберъ стережетъ входъ въ царство Аида, отвратительныя гарпіи служатъ бичомъ злодѣйства; Зевсъ принимаетъ образы вола и лебеда для скрытія отъ Геры такихъ походовъ. источникомъ которыхъ были чисто-естественныя поползновенія. Образъ чловѣческій просвѣтленъ и возвышенъ: его назначеніе въ греческомъ искусствѣ — выразить

высшую идеальную красоту. Въ греческомъ искусствѣ символика и аллегорія кончились; искусство стало искусствомъ. Объясненія этого должно искать въ греческой религіи и глубоко, вполне разившемся и опредѣлившемся смыслѣ ея мірообъемлющихъ мѣровъ.

Кромѣ всего этого, на развитіе и характеръ искусства много имѣютъ вліянія еще разныя совершенно случайныя обстоятельства, особенно же природа и мѣстность страны, климатъ и проч. Огромность архитектурныхъ зданій, колоссальность статуи индійскихъ — явно отраженіе гигантской природы страны Гиммалаевъ, слоновъ и удавовъ. Нагота греческихъ изваяній находится въ бѣльшей или меньшей связи съ благословеннымъ климатомъ Эллады. Гармоническая природа этой страны, чуждая всякой чудовищной громадности, всякихъ чудовищныхъ крайностей, не могла не имѣть вліянія на чувство соразмѣрности и соотвѣтственности, словомъ гармоніи, которое было какъ бы врожденно Грекамъ. Бѣдная и величаво-дикая природа Скандинавіи была для Нормановъ откровеніемъ ихъ мрачной религіи и сурово-величавой поэзіи. Политическія обстоятельства также имѣютъ вліяніе на развитіе и характеръ искусства: Римляне заняли у Грековъ классическую гармонію и благородную простоту архитектуры, но прибавили къ ней отъ себя огромность и громадность размѣровъ, какъ бы выразившихъ колоссальность ихъ государства и ихъ политическаго величія.

Изъ этого видно, какъ жестоко ошибаются тѣ умозрительные судіи изящнаго, которые хотятъ видѣть въ искусствѣ совершенно отдѣльный міръ, существующій независимо отъ другихъ сферъ сознанія и отъ исторіи. Основываясь на томъ, что предметъ искусства не временное и относительное, а вѣчное и безусловное, они думаютъ, что искусство унижаетъ себя, если подчиняется какому бы то ни было историческимъ и временнымъ вліяніямъ. Но это значить смотрѣть на «вѣчное» и «без-

условное», какъ на отвлеченныя понятія, чуждыя всякаго содержанія, какъ на логическія построенія, лишенныя всякой жизненности: ибо «вѣчное» выражается во времени, «безусловное» ограничивается формою проявленія, «безконечное» дѣлается доступнымъ созерцанію въ конечномъ. Если эстетика возьметъ за основаніе однѣ идеи и ихъ діалектическое развитіе, оставивъ въ сторонѣ вѣрованія и исторію, — то по ней выйдетъ, можетъ-быть, что произведенія греческаго искусства прекрасны, а индійскаго и египетскаго не имѣютъ ничего общаго съ творчествомъ и суть порожденія невѣжества и дикости; готическая архитектура — воплощенное безвкусіе; французская литература хороша, а нѣмецкая — вздоръ, или наоборотъ, смотря по тому, отъ какого начала отправится эстетика. Задача истинной эстетики состоитъ не въ томъ, чтобъ рѣшить, чѣмъ должно быть искусство, а въ томъ, чтò такое искусство. Другими словами: эстетика не должна разсуждать объ искусствѣ, какъ о чемъ-то предполагаемомъ, какъ о какомъ-то идеалѣ, который можетъ осуществиться только по ея теоріи: нѣтъ, она должна разсматривать искусство, какъ предметъ, который существовалъ давно прежде ея, и существованію котораго она сама обязана своимъ существованіемъ.

Другіе знатоки и любители искусства начинаютъ съ противоположной крайности, думая, что изящное не имѣетъ никакихъ непреложныхъ законовъ, и что стоить только изучить исторію и нравы какого угодно народа, чтобъ понять его искусство. Узнавъ изъ біографіи какого-нибудь художника, что онъ былъ несчастенъ, они думаютъ, что нашли ключъ къ тайнѣ его грустныхъ созданій. «Видите ли, — говорятъ они: — онъ былъ несчастенъ въ жизни, и оттого меланхолія составляетъ отличительный характеръ его произведеній». Коротко и ясно! Этакъ легко можно объяснить и мрачный характеръ поэзіи Байрона: критика будетъ и не долга и удовлетворительна. Но

что Байронъ былъ несчастенъ въ жизни — это уже старая новость: вопросъ въ томъ, отчего этотъ одаренный дивными силами духъ былъ обреченъ несчастію? Эмпирическіе критики и тутъ не задумаются: раздражительный характеръ, иппохондрія, скажутъ одни изъ нихъ, — и разстройство пищеваренія, прибавятъ, пожалуй, другіе, добродушно не догадываясь въ низменной простотѣ своихъ гастрическихъ воззрѣній, что такіа малыя причины не могутъ имѣть своимъ результатомъ такіа великія явленія, какъ поэзія Байрона. Всякому извѣстно, что иной меланхоликъ отъ природы бываетъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ, счастливъ, и что самый веселый человѣкъ дѣлается иппохондрикомъ отъ несчастія, что раздражительность нервовъ служить не только къ живѣйшему ощущенію горестей, но и къ живѣйшему ощущенію радости. Всякому также извѣстно, что великіе комики по большей части бываютъ людьми раздражительными и наклонными къ иппохондріи, и что весьма рѣдко появляется улыбка на устахъ тѣхъ, которые заставляютъ другихъ хохотать до слезъ... Ни одинъ поэтъ не можетъ быть великъ отъ самого себя и черезъ самого себя, ни черезъ свои собственные страданія, ни черезъ свое собственное блаженство: всякій великій поэтъ потому великъ, что корни его страданія и блаженства глубоко вросли въ почву общественности и исторіи, что онъ, слѣдовательно, есть органъ и представитель общества, времени, человѣчества. Только маленькіе поэты и счастливы и несчастливы отъ себя и черезъ себя; но за то только они сами и слушаютъ свои птичьи пѣсни, которыхъ не хочетъ знать ни общество, ни человѣчество. Чтобъ разгадать загадку мрачной поэзіи такого необъятно-классическаго поэта, какъ Байронъ, должно сперва разгадать тайну эпохи, имъ выраженной, а для этого должно факеломъ философіи освѣтить историческій лабиринтъ событій, по которому шло человѣчество къ своему великому назначенію — быть олицетвореніемъ

вѣчнаго разума. и должно опредѣлить философски градусъ широты и долготы того мѣста пути, на которомъ засталъ поэтъ человечество, въ его историческомъ движеніи. Безъ того, всѣ ссылки на событія, весь анализъ нравовъ и отношеній общества къ поэту и поэта къ обществу и къ самому себѣ—ровно ничего не объяснять.

Но прежде, чѣмъ опредѣлить историческое значеніе поэта, должно опредѣлить его чисто-художественное значеніе: безъ этого никто не пойметъ, почему критика или эстетика признаетъ одного поэта поэтомъ, другаго нѣтъ, и почему въ одномъ она видитъ великаго, а въ другомъ обыкновеннаго поэта. Вотъ здѣсь эстетика имѣетъ право основываться на одномъ философскомъ началѣ искусства, не относясь ни къ исторіи, ни къ другимъ сферамъ сознанія. Здѣсь получаетъ свой великій смыслъ искусство, какъ искусство, какъ такая сфера дѣятельности, которая сама себѣ цѣль и внѣ себя цѣли не имѣетъ. Естественно, прежде чѣмъ опредѣлить, къ роду какого народа, какой эпохи, какого стиля принадлежать зданія такого-то архитектора, и великій ли онъ архитекторъ, должно показать, есть ли въ его зданіяхъ творчество, полетъ фантазіи, словомъ поэзія, или эти зданія — только груды камней, сложенные по правиламъ архитектуры трудолюбивымъ ремесленникомъ, тщательно изучившимъ техническую сторону искусства, или, пожалуй, и опытнымъ академикомъ... А этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ только на основаніи философіи изящнаго—эстетики. Но здѣсь и оканчивается работа эстетики, какъ эстетики собственно, и отсюда вступаетъ въ свои права исторія и философія исторіи. Это не значитъ, чтобы эстетика, въ какомъ бы то ни было случаѣ, отказывалась отъ правъ, неотъемлемо принадлежащихъ ей въ дѣлѣ искусства: это значитъ только, что эстетика, окончивъ разсмотрѣніе художественной стороны искусства, обращается къ другой сторонѣ,

столько же присущей искусству, какъ и сторона художественная — къ сторонѣ его содержанія, и, нисколько не отказываясь отъ своихъ законныхъ и неотъемлемыхъ правъ, вступаетъ въ союзъ съ другою родственною ей сферою — сферою исторіи. Всѣ сферы высшаго сознанія такъ родственны и тѣсно связаны между собою, что только чрезъ искусственное дѣйствіе разума можно раздѣлять ихъ; показать же точныя ихъ границы такъ же трудно, какъ и показать, гдѣ въ человѣкѣ оканчивается тѣло и начинается душа, гдѣ конецъ чувства и начало ума, и т. д.

А между тѣмъ, какъ въ понятіи о природѣ человѣка существуютъ преданные отвлеченіямъ идеалисты, которые, за душою, не замѣчаютъ организма, и матеріалисты, которые за массою тѣла не могутъ провидѣть душу, — такъ и въ понятіи объ искусствѣ существуютъ свои идеалисты (умозрители) и свои матеріалисты (эмпирики). Мы показали, въ чемъ состоитъ ученіе тѣхъ и другихъ; прибавимъ къ этому, что эмпирики непризнающіе эстетики и превращающіе ее въ сухой, неоживленный мыслію каталогъ изящныхъ произведеній, съ практическими и случайными комментаріями, — лишаютъ искусство его высокаго значенія. Не признавая содержаніемъ искусства той же вѣчной, въ свободной необходимости діалектически-развивающейся идеи, которая составляетъ содержаніе и исторіи и философіи, эмпирики низводятъ творческія произведенія на степень предметовъ, имѣющихъ цѣлю пріятно развлекать скуку и занимать праздное бездѣйствіе, — а это значитъ ставить ихъ въ одинъ разрядъ съ изящно-сдѣланною мебелью и тѣми красивыми бездѣлками, которыми мода и прихоть украшаютъ въ комнатахъ каминны, столы и этажерки. Идеалисты доходятъ до той же крайности, только противоположнымъ путемъ. По ихъ ученію, жизнь должна идти своею дорогою, а искусство своею, не соприкасаясь другъ съ другомъ, не завися другъ отъ друга и не имѣя никакого вліянія другъ на друга. Буквально-вѣрные



своему основному положенію, что искусство само себѣ цѣль, они доходятъ наконецъ до того, что лишаютъ искусство не только цѣли, но и всякаго смысла. Сначала они доводятъ искусство до аскетизма, а наконецъ и до индифферентизма, — что весьма естественно: Индія ясно доказываетъ, что отшельничество и равнодушіе гораздо ближе другъ къ другу, нежели какъ кажется съ перваго взгляда.

Отвлекающій идеализмъ во всемъ ведетъ къ произвольности въ воззрѣніяхъ и построеніяхъ, потому что факты отвергаемой имъ дѣйствительности не мѣшаютъ ему принимать свои карточные домики за настоящіе рыцарскіе замки. Кто смотритъ на искусство исключительно съ эстетической точки, не принимая въ соображеніе ни его исторіи, ни исторіи развитія человечества, — тому весьма легко открыть тождество между «Иліадою» Гомера и «Мертвыми Душами» Гоголя. Заблужденіе глубокое, но понятное! Оно можетъ происходить не отъ ограниченности умственной, а только отъ односторонняго взгляда на предметъ. Принявъ за непреложную истину какое-нибудь на досугъ придуманное положеніе и отвергнувъ историческую сторону предмета, можно надѣлать десятки и сотни Гомеровъ и Шекспировъ: идеализмъ знаетъ, что законы творчества всегда и вездѣ одинаковы, что они и въ Россіи тѣ же, что были въ Греціи, — его почему жъ и въ Россіи не быть Гомеру и Софоклу?... Отсюда проистекаетъ всевозможная ложь и неправда въ сужденіяхъ о достоинствѣ поэтовъ: какъ легко превознести одного, такъ легко и унижить другаго, и въ обоихъ случаяхъ — замѣтите — на основаніи мысли и ея строгаго діалектическаго развитія...

Очевидно, что какъ эмпиризмъ, такъ и идеализмъ (отвлеченный) суть односторонности, равно чуждыя истины: истина же состоитъ въ свободномъ примиреніи обѣихъ этихъ крайностей. Но кромѣ того, что такое примиреніе не такъ-то легко для

всякаго, — и сама истина, еслибы кто и нашелъ ее, принимаетъ съ большимъ трудомъ, и то весьма немногими. Это потому именно, что живая истина состоитъ въ единствѣ противоположностей. Чѣмъ одностороннѣе мнѣніе, тѣмъ доступнѣе оно для большинства, которое любитъ, чтобъ хорошее непремѣнно было хорошимъ, а дурное — дурнымъ, и которое слышать не хочетъ, чтобъ одинъ и тотъ же предметъ вмѣщалъ въ себѣ и хорошее и дурное. Вотъ почему толпа, узнавъ, что за какимъ-нибудь великимъ человѣкомъ водились слабости, свойственныя малымъ людямъ, всегда готова сбросить великаго съ его пьедестала и ославить его негодяемъ и безнравственнымъ человѣкомъ. Толпа не понимаетъ, что все живое тѣмъ и отличается отъ мертваго, что въ самой сущности своей заключаетъ начало противорѣчія. Толпа не понимаетъ, что одинъ и тотъ же человѣкъ можетъ отличаться и великими добродѣтелями и великими пороками, что одно хорошее начало въ немъ могло быть развито, а другое задавлено и заглушено въ самомъ зародышѣ своемъ, что одно дурное начало въ немъ могло быть подавлено еще въ зернѣ, а другое развито; что причины этого должно отыскивать и въ духѣ времени, когда явился великій человѣкъ, и въ общественности, среди которой возросъ и воспитался онъ, и что, на основаніи этихъ причинъ, иные пороки его можно извинить, а иные даже и поставить ему въ заслугу такъ же точно, какъ иныя добродѣтели его возвысить, а съ иныхъ сбавить цѣну. Еслибъ въ наше время какой-нибудь воинъ сталъ мстить за павшаго въ честномъ бою друга или брата своего, зарѣзывая на его могилѣ плѣнныхъ враговъ, — это было бы отвратительнымъ, возмущающимъ душу звѣрствомъ; а въ Ахиллѣ, умиляющемъ тѣнь Патрокла убійствомъ обезоруженныхъ враговъ, это ищеніе — доблесть, ибо оно выходило изъ нравовъ и религіозныхъ понятій общества его времени. Не понимая этого, толпа признаетъ наукою одну математику, которая дѣй-

ствительно никогда себя не противоречить, а историю и философию считает вздоромъ, ибо, по ея мнѣнію, онѣ на каждомъ шагу противоречатъ себѣ... Между тѣмъ, въ глазахъ той же толпы, мертвецъ, лежащій въ гробу, уже не такъ важенъ, какъ живой человѣкъ, хотя первый ни въ чемъ не противоречитъ самому себѣ, а другой на каждомъ шагу противоречитъ... Такова ужъ видно натура толпы!...

У насъ можно смѣло говорить о всякомъ писателѣ, о которомъ мнѣніе еще не успѣло установиться въ толпѣ; но бѣда говорить о писателѣ старинномъ, о которомъ въ любомъ учебникѣ можно найти однѣ и тѣ же напыщенные фразы и общія мѣста... Въ такомъ случаѣ, безопаснѣе всего сказать рѣзкую односторонность: если одни осердятся, за то другіе согласятся, и обѣ стороны по крайней мѣрѣ поймутъ въ чемъ дѣло. Такъ точно, у насъ ужъ лѣтъ шестьдесятъ повторяются однѣ и тѣ же фразы о Державинѣ, что выше его не было и не будетъ поэта въ подлунномъ мірѣ, что онъ пѣвецъ сѣвера и потомокъ Багрима... Съ этимъ всѣ согласны, тѣмъ болѣе, что до этого никому нѣтъ дѣла, ибо Державина давно уже никто не читаетъ, и всѣ знаютъ его только по журнальнымъ фразамъ да школьнымъ воспоминаніямъ. Но люди такъ устроены, что если они привыкли о какомъ-нибудь предметѣ думать такъ, то хотя бы они уже и совсѣмъ не заботились о немъ, однакожъ непременно осердятся на васъ, если вы осмѣлитесь думать объ этомъ предметѣ иначе. Когда въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ первый разъ было сказано, что Державинъ для нашего времени уже не можетъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ былъ для своего, и что хотя онъ былъ одаренъ и великими поэтическими силами, однако не создалъ ничего такого, что прошло бы чрезъ вѣка въ нетлѣнной красотѣ, — тогда на «Отечественныя Записки» не шутя разсердились даже такіе люди, которые не прочли въ жизнь свою ни одного стиха Державинскаго, и, въ слѣдъ за

другими, съ важностью стали повторять: «Какъ же можно такъ дерзко отзываться о такомъ великомъ поэтѣ? — вѣдь пѣвецъ сѣвера, потомокъ Багрима»... И причину этого неудовольствія легко понять: еслибъ «Отечественныя Записки» совершенно отняли у Державина всякое достоинство, поставили бы этого богатыря поэзіи русской на ряду съ Тредьяковскимъ, тогда имъ меньше было бы хлопотъ; потому что еслибъ одни еще сильнѣе ожесточились бы противъ нихъ, за то нашлось бы много другихъ, которые ухватились бы за ихъ мнѣніе съ радостію лѣнливыхъ и немыслящихъ любителей новыхъ идей. Но въ мнѣніи «Отечественныхъ Записокъ» было противорѣчіе: у Державина не отнималось его величіе, а о поэзіи его говорилось только какъ объ историческомъ фактѣ: не понятно, а потому и досадно!... Правда, потомъ, какъ привыкли къ новому мнѣнію, то стали повторять его и печатно, хотя и не поняли...

Дѣйствительно, ни объ одномъ поэтѣ не можетъ существовать столь противоположныхъ мнѣній, какъ о Державинѣ. Если разсматривать его съ эмпирически-исторической точки, то каждый стихъ его окажется чудомъ совершенства, а самъ онъ явится однимъ изъ величайшихъ поэтовъ древняго и новаго міра. Если же взглянуть на него съ чисто-эстетической точки, то можно поставить его чуть-чуть не наравнѣ съ Сумароковымъ. Но то и другое заключеніе равно будутъ ложны и нелѣпы: для того-то мы и почли за нужное предварительно сказать нѣсколько словъ о недостаточности и ложности эмпирической и (отвлеченно) идеальной точки зрѣнія на искусство.

Какъ обще-человѣческое искусство, такъ и искусство каждаго народа, отдѣльно взятаго, имѣетъ свою исторію, которая есть не что иное, какъ картина развитія искусства отъ его первоначальнаго исходнаго пункта до послѣдняго заключительнаго звена. Постепенность и послѣдовательность — законъ всякаго развитія. Если бы кто-нибудь напечаталъ въ

газетахъ, что посаженное имъ въ землю зерно изъ яблока  
взошло не стебелькомъ, а прямо яблокомъ, — всѣ стали бы  
надъ этимъ смѣяться какъ надъ нелѣпостію, хотябъ это и было  
напечатано. Но когда писали и печатали, что лѣтъ черезъ  
тридцать послѣ первой оды Ломоносова («На взятіе Хотина»),  
явился на Руси поэтъ, одинъ совмѣстившій въ себѣ и Пин-  
дара, и Горація, и Анакреона, и превзошедшій всѣхъ ихъ,  
порозвѣ и виѣстѣ взятыхъ, — надъ этимъ и теперь еще не смѣ-  
ются, какъ надъ нелѣпостію...

Мы сказали выше, что ни одно стихотвореніе Державина  
не выдержитъ самой снисходительной эстетической критики.  
Дѣйствительно, ничего не можетъ быть слабѣ художествен-  
ной стороны стихотвореній Державина. Содержаніе ихъ, по  
большей части, составляютъ нравственные сентенціи, распо-  
ложенныя и распространенныя риторически, въ формѣ рассу-  
жденія, или диссертациі. Отъ этого, многія оды его непомятно  
длины, непомятно прозаичны и... непомятно скучны. Истина  
составляетъ такъ же содержаніе поэзіи, какъ и философіи, и  
со стороны содержанія, поэтическое произведеніе — то же са-  
мое, что и философскій трактатъ; въ этомъ отношеніи, нѣтъ  
никакой разницы между поэзіею и мышленіемъ. И, однакоже,  
поэзія и мышленіе далеко не одно и то же: онѣ рѣзко отдѣ-  
ляются другъ отъ друга своею формою, которая и составляетъ  
существенное свойство каждаго. Философія, или (выразимъ это  
понятіе болѣе общимъ терминомъ) мышленіе дѣйствуетъ пря-  
мо черезъ разумъ и на разумъ; и если мыслитель, или ора-  
торъ, проникаясь энѣричнымъ пламенемъ изслѣдуемой имъ исти-  
ны, иногда возвышается до паѳоса, прибѣгаетъ къ посредству  
фантазіи и говоритъ огненнымъ языкомъ чувства и радужными  
образами фантазіи — у него, и въ такомъ случаѣ, чувство и  
фантазія являются второстепенными элементами, — первое,  
какъ результатъ глубокаго проникновенія въ истину, раскры-

тую путемъ анализа, а вторая—какъ вспомогательное средство сдѣлать истину ошутительною и видимою. Въ мышленіи разумъ лицомъ къ лицу становится къ мысли, не нуждаясь въ посредствѣ чувства и фантазіи, но только допуская ихъ по собственной волѣ, какъ слѣдствіе мгновенно-охватившаго душу мыслителя увлеченія, надъ которымъ разумъ не перестаетъ однакоже царить и котораго обаятельной силы онъ уже не боится, какъ произведенія собственной своей діалектики. И подобное увлеченіе бываетъ не опасно только тѣмъ мыслителямъ, которые окрѣпили и закалились гимнастикою строгой логической мысли, обнаженной отъ всѣхъ покрововъ непосредственнаго представленія, и которые уже не могутъ покоряться авторитету ошущеній, чувствъ и готовыхъ идей, но всегда повѣряютъ ихъ діалектикою разума. Въ поэзіи, напротивъ, фантазія является главною дѣйствующею силою, черезъ которую исключительно совершается процессъ творчества. Поэзія разсуждаетъ и мыслить—это правда, ибо ея содержаніе есть такъ же истина, какъ и содержаніе мышленія; но поэзія разсуждаетъ и мыслить образами и картинами, а не силлогизмами и дилеммами. Всякое чувство и всякая мысль должны быть выражены образно, чтобъ быть поэтическими. Нѣкоторые аристархи, сами писавшіе нѣкогда стишонки, которые въ свое время считались недурными, думали уронить Пушкина, говоря, что его поэзія чисто земная, ибо «оземляетъ» безплотную чистоту идей: такой взглядъ на поэзію обнаруживаетъ въ этихъ аристархахъ рѣшительное отсутствіе эстетическаго чувства, натуру грубо-прозаическую и чуждую всякаго предощущенія поэзіи. Нападать на поэзію за то, что она оземляетъ идеи,—все равно, что нападать на математику за то, что она все изчисляетъ и измѣряетъ. Въ томъ-то и состоитъ сущность поэзіи, что она безплотной идеѣ даетъ живой, чувственный и прекрасный образъ. Въ этомъ случаѣ, идея есть только мор-

ская пѣна, а поэтическій образъ — богиня любви и красоты, родившаяся изъ морской пѣны. Кто не одаренъ творческою фантазіею, способною превращать идеи въ образы, мыслить, рассуждать и чувствовать образами, тому не помогутъ сдѣлаться поэтомъ ни умъ, ни чувство, ни сила убѣжденій и вѣрованій, ни богатство разумно-историческаго и современнаго содержанія. И если бы не такъ, то всего легче было бы сдѣлаться поэтомъ: стоило бы только узнать правила версификаціи, да, благословясь, и начать писать диссертациі размѣренными строчками, заостренными рифмою.

Одно изъ главнѣйшихъ условій всякаго художественнаго произведенія есть гармоническая соотвѣтственность идеи съ формою и формы съ идеею, и органическая цѣлостность его созданій. По этому, всякое художественное произведеніе прежде всего должно отличаться строгимъ единствомъ лежащаго въ его основаніи чувства, или мысли, а слѣдовательно и формы. Мысль въ піесѣ можетъ быть схвачена или въ одномъ своемъ моментѣ, или развита во всѣхъ ея моментахъ, но она должна быть одна, и ея развитіе должно относиться къ ней самой, какъ относятся въ музыкальномъ произведеніи варіаціи къ мотиву. Если мысль піесы переходитъ въ другую, хотя бы и имѣющую къ ней отношеніе мысль, — тогда нарушается единство художественнаго произведенія, а слѣдовательно, единство и сила впечатлѣнія, производимаго имъ на читателя. Прочтя такое произведеніе, чувствуешь себя только обезпокоеннымъ, но неудовлетвореннымъ, — утомленіе и досада заступаютъ мѣсто наслажденія.

Если мысль поэтическаго произведенія истина въ самой себѣ, ясна и опредѣленна для поэта, если произведеніе вѣрно концепировано и достаточно выношено въ душѣ поэта, — то въ немъ не можетъ быть ни уродливыхъ частныхъ, ни слабыхъ мѣстъ, ни темныхъ и непонятныхъ выраженій, ни недостатка

въ вѣншней отдѣлкѣ. Произведеніе, въ такомъ случаѣ, органически цѣлостно: въ немъ нѣтъ ничего ни излишняго, ни недостающаго; оно округлено: его начало вводитъ читателя въ его смыслъ, послѣднее слово замыкаетъ собою все его содержаніе, такъ что читатель вполне удовлетворенъ и не можетъ спросить: «что же дальше?»

Стихотворенія Державина не выполняютъ ни одного изъ этихъ условій. Во первыхъ, всѣ они болѣе или менѣе отличаются характеромъ риторическимъ, и, по крайней мѣрѣ, бѣльшая часть ихъ походитъ на диссертациі въ стихахъ. Мы не можемъ подкрѣпить выписками этого мнѣнія, ибо, въ такомъ случаѣ, намъ пришлось бы перепечатать почти всего Державина. Книга у всѣхъ передъ глазами, и каждый самъ можетъ повѣрить справедливость нашей мысли. Впрочемъ, при разборѣ нѣкоторыхъ стихотвореній, мы будемъ имѣть случай, мимоходомъ, указывать на эту черту недостатка поэзіи Державина; пока ограничимся только указаніемъ на нѣкоторыя, особенно замѣчательныя въ этомъ отношеніи, піесы, каковы, напримѣръ: «Безсмертіе Души» (192 стиха), «Величество Божіе» (132 ст.), «Христосъ» (320 ст.), «Слѣпой Случай» (200 ст.), «Успокоенное Невѣріе» (108 ст.), «Истина» (144 ст.), «Гимнъ Богу» (96 ст.), «Тоска Души» (104 ст.), «Добродѣтель» (120 ст.), «Слава» (112 ст.), «Цѣленіе Саула» (450 ст.), «Гимнъ Солнцу» (100 ст.), «Облако» (80 ст.), «Громъ» (90 ст.), «На умѣренность» (110 ст.), и пр. Такихъ піесъ у Державина гораздо больше можно начесть. Читать ихъ—тяжело. Это все равно, что читать ариметику, написанную стихами: читатель согласенъ съ нею, что дважды два—четыре, но онъ тѣмъ не менѣе въ отчаяніи, что такіа простыя, почтенныя и съ малолѣтства всякому извѣстныя истины не изложены обыкновенною прозою, безъ поэтическихъ затѣй. Такъ и въ поименованныхъ нами стихотвореніяхъ Державина



всѣ мысли столько же справедливы, сколько и стары и общи: ихъ можно найти у любого плохого стихотворца того времени. А это уже признакъ отсутствія поэзіи: у истиннаго поэта и старая мысль является новою, ибо истинный поэтъ даетъ чувствовать живую сущность мысли, которую толпа бессмысленно повторяетъ, какъ мертвую букву. По величинѣ своей, поименованныя нами оды Державина рѣшительно не имѣютъ ничего общаго съ лирическою поэзіею. Лирика есть выраженіе преимущественно чувства, и въ этотъ отношеніи, она приближается къ музыкѣ, которая, исключительно изъ всѣхъ искусствъ, дѣйствуетъ прямо и непосредственно на чувство. Одна піеса не можетъ быть выраженіемъ двухъ различныхъ чувствъ, а чувство проходитъ по душѣ мгновенно, какъ тотъ трепетъ восторга, отъ котораго священникъ холодъ пробѣгаетъ по тѣлу и «встревоженною ратью» поднимаетъ волосы на головѣ человѣка... И если такое чувство неослабно будетъ владѣть читателемъ во все время, необходимое для прочтенія даже восьмидесяти, не только четырехъ-сотъ-пятидесяти стиховъ. — человѣческая натура читателя не выдержитъ этого, и результатомъ восторженнаго чтенія должна быть болѣзнь, утомленіе... Поэма, драма, и особенно, романъ — другое дѣло: тамъ умъ часто даетъ отдыхать чувству; тамъ комическія сцены и по сущности выражаемыхъ предметовъ, прозаическія мѣста возбуждаютъ въ читателѣ разнообразныя ощущенія. Но держаться, въ продолженіи добраго получаса, или и болѣе, въ одномъ чувствѣ, въ одинаковой настроенности души, — это неестественно, и потому невозможно. Державинъ въ поименованныхъ нами піесахъ, кажется, всего менѣе рассчитывалъ на чувство: стихотворенія эти холодны и прозаичны, какъ школьная диссертация, стихи въ нихъ дурны до послѣдней степени, и рѣдко, очень рѣдко кой-гдѣ проблескиваютъ искорки одушевленія, сейчасъ и погасая въ водѣ риторики.

Кажется, главною его заботою было высказать о предметѣ все, что только могъ онъ придумать о немъ. Порядка въ его мысляхъ нѣтъ никакого, и потому его длинныя и резонерствующія оды не имѣютъ достоинства даже хорошо расположеннаго и округленнаго школьнаго разсужденія.

Конечно не всѣ оды Державина таковы, какъ тѣ, на которыя мы сейчасъ указали; но главный характеръ указанныхъ нами — длиннота, резонерство, риторика, безобразность — болѣе или менѣе преобладаютъ рѣшительно во всѣхъ одахъ. Гармонической соотвѣтственности идеи съ формою, пластичности образовъ — въ нихъ нечего и искать. Читая иную оду Державина, иногда вы вдругъ увлекаетесь возвышенностію мысли, энергіею чувства, размахистымъ полетомъ фантазіи, — и вдругъ неловкій стихъ, натянутый оборотъ, странное выраженіе, а иногда и риторика охлаждають вашъ восторгъ, — и вы испытываете это нѣсколько разъ, при чтеніи одной и той же оды, и по окончаніи ея чувствуете себя утомленнымъ и встревоженнымъ, но не удовлетвореннымъ и услажденнымъ. Такъ, напримѣръ. «Водопадъ» принадлежитъ къ числу блистательнѣйшихъ созданій Державина, — а между тѣмъ, въ немъ-то и увидите вы полное оправданіе нашей мысли объ общихъ недостаткахъ его поэзіи. Уже самая огромность этой оды показываетъ, что въ ея концепціи участвовала не одна фантазія, но и холодный разсудокъ. Поводомъ къ этой одѣ была вѣсть о кончинѣ Потемкина, поразившая поэта скорбнымъ чувствомъ и представившая его духовному оку въ новомъ свѣтѣ колоссальный образъ величайшаго изъ современныхъ ему героевъ. Это скорбное чувство, это возвышенное созерцаніе и должно было бы составлять содержаніе оды. Но поэтъ приплелъ сюда же Румянцева, который, сидя подъ наклоненнымъ кедромъ, мечтаетъ о славѣ и времени, потомъ засыпаетъ и видитъ во снѣ свои подвиги; потомъ просыпается отъ грома

сокрушенной ели и падшаго холма и видить передъ собою  
Россію въ образѣ воинственной жены, которая взываетъ къ  
нему «проснись!»; при видѣ ея, онъ

Вздохнулъ, и испустя слезъ дождь,  
Възглаголю: «Знать умеръ нѣкій вожь!»

и началъ разсуждать объ обязанностяхъ истиннаго вожда, о томъ, что лучше быть «менѣе извѣстнымъ, но болѣе полезнымъ» и т. п. Весь этотъ эпизодъ занимаетъ тридцать одну строфу, т. е. сто восемьдесятъ шесть стиховъ!!... Конечно, въ этомъ эпизодѣ, невыдержанномъ въ цѣломъ, есть прекрасныя мѣста; но онъ не идетъ къ дѣлу, безъ нужды плодитъ оду и охлаждаетъ восторгъ читателя, — такъ что прочесть «Водопадъ» съ одного раза, да еще вслухъ — трудъ изнурительный и для ума и для груди... Все эти 186 стиховъ можно выкинуть, и ода ничего не проиграетъ, напротивъ много выиграетъ: въ ней будетъ меньше риторики и больше поэзіи... Первые семь строфъ, заключающія въ себѣ картину водопада посреди дикой и мрачной природы въ осеннюю ночь, прекрасно настраиваютъ душу читателя къ возвышенно-скорбному чувству, которымъ должна поразить его мысль о внезапномъ паденіи колосса, — и послѣ седьмой строфы:

Ретивый конь осанку горду  
Храня порой къ тебѣ идетъ;  
Крутую гриву, жарку морду  
Поднявъ, хранишь, ушми прядешь,  
И подстрекаемъ бывъ, бодрится,  
Отважно въ хлябь твою стремится...

можно прямо перейти къ тридцать девятой:

Но кто идетъ тамъ по холмамъ,  
Глядяся, какъ мѣсяцъ, въ воды черны;  
Чья тѣнь спѣшитъ по облакамъ  
Въ воздушныя жилища, горны:  
На темномъ взорѣ и челѣ  
Сидитъ глубока дума въ мглѣ!

А тридцать одну строфу, между седьмою и тридцать девятою, можно не читать: тогда впечатлѣніе отъ «Водопада» будетъ гораздо сильнѣе; тогда останется, для чтенія, сорокъ шесть строфъ, или двѣсти семьдесятъ шесть стиховъ... И тутъ, сколько еще воды риторической! Какъ часто изнемогающее отъ возвышеннаго наслажденія чувство внезапно охладѣваетъ? Но чтобъ мнѣніе наше не показалось произвольнымъ, подкрѣпимъ его выписками.

Какой чудесный духъ крылами  
Отъ Сѣвера парить на Югъ?  
*Вѣтеръ медленъ течъ его стезями:*  
*Обозрѣваетъ царства вдругъ,*  
Шумѣть, и какъ звѣзда блистаетъ,  
И искры въ слѣдъ свой разсыпаетъ.

Этотъ духъ — тѣнь Потемкина; но что же это за прозаическое описаніе, ничего не выражающее! И неужели духъ Потемкина непремѣнно долженъ обгонять вѣтеръ, обозрѣвать царства вдругъ, шумѣть, блистать, подобно звѣздѣ, и сыпать искрами по своему слѣду? Риторика!

Чей трупъ, какъ на распутьи игла,  
Лежитъ на темномъ лонѣ ночи?  
Простое рубище чресла,  
Двѣ лопы покрываютъ очи,  
Прижаты къ холодной груди персты,  
Уста безмолвствуютъ открыты!

Чей одръ — земля; кровь — воздухъ снѣгъ;  
Чертоги — вокругъ пустынныхъ виды?  
*Не ты ли, счастья, славы сынъ,*  
*Великодушный князь Тавриды?*  
Не ты ли съ высоты честей  
Незাপно палъ среди степей?

Не ты ль наперсникомъ близъ трона  
У сѣверной Минервы былъ;  
Во храмъ музъ, другъ Аполлона,  
На полѣ Марса вождемъ слылъ;

*Решитель думъ съ войнъ и миръ,  
Могущъ — жотъ и не съ порфирю?*

Не ты ль, который извѣсть сѣлъ  
Мощь Росса, духъ Екатерины,  
И, опершись на нихъ, хотѣлъ  
Вознестъ свой громъ на тѣ стремнины,  
На конхъ древнй Рямъ стоялъ  
И всей вселенной колебалъ?

Не ты ль, который орды сильны  
Сосѣдей хищныхъ истребилъ,  
Пространны области пустыни  
Во грады, въ нивы обратилъ,  
Покрывъ Понтъ Черный кораблями,  
Потрясъ среду землй громами?

Не ты ль, который зналъ избрать  
Достойный подвигъ русской силъ,  
Стихи самыя поправить  
Въ Очаковѣ и въ Измаилѣ,  
И твердой дерзостью такой  
Быть дивомъ храбрости самой?

*Се ты, отважнѣйшій изъ смертныхъ  
Парящій замыслами умъ!  
Не шелъ ты средь путей извѣстныхъ  
Но проложилъ ихъ самъ, — и шумъ  
Оставилъ по себѣ въ потомки,  
Се ты, о чудный вождь Потемкинъ!*

Се ты, которому врата  
Торжественныя созидали;  
Искусство, разумъ, красота—  
Недавно лавръ и миртъ сплетали;  
Забавы, роскошь вокругъ цвѣли  
И счастье съ славой слѣдомъ шли!...

Вотъ это поэзія, не риторика! Правда, и въ этихъ стихахъ не безъ недостатковъ; но они извиняются духомъ времени. Во время Державина, нельзя было сказать: «достойный подвигъ русской силы»: это было бы низко и не согласно съ пареніемъ

оды; непременно нужно было сказать: «достойный подвигъ русской силы»: слова «русскій» и «Россѣ» казались тогда не только необыкновенно звучными, но и отиѣнно умными... Выраженія: «наперсникъ у сѣверной Минервы, другъ Аполлона во храмѣ музъ, вождь на полѣ Марса», для насъ слишкомъ прозаичны, но, по понятіямъ того времени, въ нихъ-то и заключалась вся сущность поэзіи. За этими прекрасными поэтическими строками, опять слѣдуетъ риторика, и притомъ довольно нескладная:

Се ты, небеснаго плодъ дара  
Кому едва я посвятилъ;  
Въ созвучность грознаго Пиндара  
Мою настроить лиру мнилъ;  
Воспѣлъ побѣду Измаила,  
Воспѣлъ... Но смерть тебя скосила!

Увы! и хоры сладкихъ звукъ  
Моихъ въ стenanъ превратился;  
*Свалилась лира съ слабыхъ рукъ,*  
И я *тамъ* въ слезы погрузился,  
Гдѣ бездна разноцвѣтныхъ звѣздъ  
Чертогъ являли райскихъ мѣстъ.

За этою риторикою опять слѣдуетъ поэзія:

Увы! и громы онѣмѣли,  
Ревущіе тебя вокругъ;  
Полки твои оспротѣли,  
Наполнили рыданьемъ слухъ;  
И все, что близъ тебя блистало,  
Уныло и печально стало.

Потухъ лавровый твой вѣнокъ,  
Гранена булава упала,  
Мечъ въ полнощны войти чуть могъ,—  
*Екатерина возрыдала!*  
*Полсѣвѣта потряслось за ней*  
*Незапной смертію твоей!*

Теперь опять голая риторика:

Оливы свѣжи и зеленны  
Принесъ и бросилъ Миръ изъ рукъ.  
Родства и дружбы вопли, стоны,  
И музъ ахейскихъ жалкій звукъ  
Вокругъ Перикла раздается:  
*Маронъ по Меценатъ рвется.*

Который почестей въ лучахъ,  
Какъ нѣкій царь, какъ бы на тронѣ,  
На сребророзовыхъ коняхъ,  
На златозарномъ фазтонѣ,  
Во сонмѣ всадниковъ блисталь,  
И въ смертный, черный одръ упалъ!

За риторикою опять слѣдуютъ проблески поэзіи:

Гдѣ слава? гдѣ великолѣпье?  
Гдѣ ты, о сильный человекъ?  
Маеусанла долголѣтье  
Лишь было бѣ сонъ, лишь тѣнь нашъ вѣкъ;  
Вся наша жизнь ничто иное,  
Какъ лишь мечтаніе пустое.

Иль нѣтъ! тяжелый нѣкій шаръ,  
На нѣжномъ волоскѣ висящій,  
Въ который бурь, громовъ ударъ  
И молніи небесъ ярящи  
Отъсюду безпрестанно бьютъ,  
И, ахъ! зевирь легки рвутъ.

А вотъ и чистая поэзія:

Единый часъ, одно мгновеніе  
Удобны царства поразить,  
Одно стихіевъ дуновеніе  
Гигантовъ въ прахъ преобразить;  
Ихъ ищутъ мѣста—и не знаютъ:  
Въ пыли героевъ попираютъ!

Героевъ? Нѣтъ! но ихъ дѣла  
Изъ мрака и вѣковъ блистаютъ.

Нелѣпна память, похвала  
И изъ развалинь вылетаютъ;  
Какъ холмы, гробы ихъ цѣтутъ:  
Напишется Потемкинъ трудъ.

Теперь опять риторика:

Театръ его былъ край Эвксины,  
Сердца обязанныя — храмъ;  
Рука съ вѣнкомъ — Екатерина;  
Гремяща слава — олимпіамъ;  
Жизнь — жертвенникъ торжествъ и крови,  
Гробница — ужаса, любви.

Слѣдующіе за тѣмъ пять строфъ, изображающія страхъ Тур-  
ковъ при мысли объ Измаилѣ и радость «Россіяня» при взгля-  
дѣ на русскій флотъ въ Черномъ Морѣ, — преисполнены  
риторики и въ мысли и въ исполненіи. Остальныя девять  
строфъ исполнены поэзіи, особливо эти двѣ:

По утру солнечнымъ лучемъ  
Какъ монументъ златой зажжется,  
Лежать объаты серны сномъ,  
И паръ вокругъ холмовъ вѣется,  
Пришедши, старецъ надпись зрять:  
«Здѣсь трупъ Потемкина сокрытъ!»

Алцибиадовъ прахъ! И смѣть  
Червь ползати вкругъ его главы?  
Взять племъ Ахилловъ не робѣть,  
Нашедши въ полѣ, Оирсъ? Увы!  
И плоть и трудъ коль истлѣваетъ:  
Что жъ нашу славу составляетъ?...

Мы разобрали одно изъ лучшихъ стихотвореній Державина,  
и это даетъ намъ право не дѣлать дальнѣйшихъ разборовъ та-  
кого рода, ибо они загроздили бы статью выписками. Итакъ,  
повторяемъ, что невыдержанность въ цѣломъ и частностяхъ,  
преобладаніе дидактики, сбивающейся на резонёрство, отсут-



ствіе художественности въ отдѣлкѣ, смѣсь риторики съ поэзіею, проблемски геніяльности съ непостижимыми странностями — вотъ характеръ всѣхъ произведеній Державина.

Какая же, спросятъ насъ, причина этого: та ли, что Державинъ не поэтъ; та ли, что его талантъ былъ незначителенъ, или, что у него вовсе не было таланта? Ни то, ни другое, ни третье... Отвѣтъ на этотъ вопросъ уже сдѣланъ нами въ началѣ статьи: чтѣ было тамъ высказано нами въ общихъ чертахъ, какъ теорія, то приложимъ мы теперь къ вопросу о поэзіи Державина, какъ къ факту. Державинъ былъ человѣкъ, одаренный великими творческими силами, — и онъ сдѣлалъ все, чтѣ можно было ему сдѣлать въ то время. Не его вина, что онъ явился въ то, а не въ наше время; не его вина, что поэзія не падаетъ готовая прямо съ неба, а вырастаетъ изъ землѣ, переходя черезъ всѣ степени развитія, какъ все растущее.

Поэзія въ каждой странѣ имѣетъ свою исторію; по этому не удивительно, что и въ Россіи она имѣла свою исторію. Отецъ русской поэзіи, патріархъ русскихъ поэтовъ былъ не столько поэтъ, сколько ученый: мы говоримъ о Ломоносовѣ. Поэзія русская не была туземнымъ цвѣтомъ, свободно и самобытно развившимся изъ почвы національнаго духа; но, подобно нашей европейской цивилизаціи и нашему европейскому просвѣщенію, она была прививнымъ, или — еще вѣрнѣе сказать — пересаженнымъ растеніемъ. И вотъ здѣсь-то заключается живая связь Петра Великаго съ Ломоносовымъ, какъ причины съ слѣдствіемъ. Наши критики обыкновенно упускаютъ изъ виду это обстоятельство: они обвиняютъ русскую литературу въ подражательности, въ отсутствіи оригинальности, и въ то же время признаютъ Пушкина, Грибоѣдова и другихъ новѣйшихъ писателей оригинальными поэтами, не понимая того, что еслибъ наша поэзія до Пушкина не была подражательною, то и поэзія отъ Пушкина не могла бы быть оригинальною и народною... Да,

подражательность первых наших поэтов искупила оригинальность последующих. И это обстоятельство дает особенный характер нашей поэзии и ее историческому развитію. Исторія нашей поэзии до Пушкина вся заключается — въ усиленіи изъ риторики сдѣлаться поэзіею, изъ книжной и школьной стать естественною, изъ подражательной—оригинальною. Ломоносовъ сообщилъ русской поэзии характеръ чисто-риторическій, чисто-школьный и книжный, — и велико дѣло его, святы его подвиги! Намъ нужна была поэзія, во что бы то ни стало, — и Ломоносовъ далъ намъ именно такую поэзію, кромѣ которой ни ему, ни другому кому, хотя и великому гению, дать было не возможно. О Ломоносовѣ вообще утвердилось мнѣніе, что онъ былъ ученый и ни сколько не поэтъ: этого мнѣнія нельзя опровергнуть, но едва ли можно и доказать его справедливость. Положимъ, что Ломоносовъ былъ столь же поэтическая натура, какъ и самъ Пушкинъ; но вотъ вопросъ: какъ и въ чемъ бы высказалась его поэтическая натура? Откуда бы почерпнулъ онъ сознательную идею о существованіи поэзии и о своемъ поэтическомъ призваніи? — Изъ общества? Но тогдашнее общество не имѣло никакого понятія о поэзии и еще менѣе потребности въ ней, — и если оно смотрѣло на стихи Ломоносова не какъ на пустое балагурство, а на него самого не какъ на шута, такъ причиною этому былъ не талантъ Ломоносова, а цокровительство Шувалова, вниманіе императрицы... Следовательно, для сознательной идеи поэзии, Ломоносову былъ одинъ путь — книга, ученіе, наука, знакомство съ Европою. Такъ оно и было. Теперь вопросъ: могъ ли Ломоносовъ не подчиниться вліянію своихъ нѣмецкихъ учителей и образцы тогдашней нѣмецкой поэзии могли ли дать поэтической дѣятельности Ломоносова другое направленіе, нежели то, которое они дали ей? Скажутъ: истинный гений не покоряется чуждому вліянію и руководствуется только собственнымъ творческимъ

духомъ. Да, это правда, но только тогда, когда уже выработаны материалы, изъ которыхъ геній можетъ творить; иначе въ историческомъ процессѣ не бываетъ. И вотъ почему иногда пришествіе одного генія приуготовляется столькими другими, изъ которыхъ иные, можетъ-быть, потому только кажутся меньше его, что явились прежде его, что исторія осудила ихъ на низшія предварительныя работы. Петръ Великій, въ одно и то же время, работавшій и умомъ и топоромъ, представляетъ собою, въ этомъ отношеніи, дивное исключеніе изъ общаго правила. Итакъ, что же оставалось дѣлать Ломоносову? Прежде всего ему надо было подумать о теоріи, тогда какъ въ поэзіи другихъ народовъ практика родила теорію, фактъ возбуждалъ потребность сознанія. И вотъ Ломоносовъ думаетъ о томъ, что такое поэзія, какъ она должна быть, и, разумеется, смотритъ на этотъ предметъ, какъ смотрѣли на него Нѣмцы того времени. Потомъ, ему нужно было подумать о языкѣ, о версификаціи, ибо, до него, не было на Руси ни грамматики, ни одного стиха, написаннаго не силлабическимъ размѣромъ, чуждымъ духу и несвойственнымъ гибкости и богатству русскаго языка. (Тредьяковского тутъ нечего брать въ расчетъ). Что же было ему пѣть? Любовь? — но для выраженія той любви, которая знакома была современному ему обществу, достаточно было и народныхъ свадебныхъ пѣсенъ, а о другой оно и не заботилось. Нѣтъ, Ломоносовъ пѣлъ то, что было ближе къ дѣлу, что заключалось въ самой дѣйствительности. Солнце русской жизни надолго закатилось со смертію Петра Великаго, и освѣтило ее вновь только съ восшествіемъ на престолъ Екатерины Великой; послѣ ужасовъ Бироновской тираніи, царствованіе Елизаветы по справедливости казалось эпохою столь же счастливою, сколько и славною, — и Ломоносовъ пѣлъ «блаженство дней своихъ», пѣлъ «любезныя ему науки въ дражайшемъ отечествѣ». Больше нечего было бы пѣть въ то время, да самому

Шекспиру. Говорятъ, стихи его облачаютъ оратора, а не поэта: да иначе и быть не могло, даже и въ такомъ случаѣ, если бы Ломоносовъ былъ столько же поэтическая натура, какъ и Пушкинъ. Но вотъ еще вопросъ: почему стихи Ломоносова такъ необыкновенно хороши по своему времени? Почему изъ его современниковъ никто не писалъ такихъ хорошихъ стиховъ? Почему стихи Сумарокова, болѣе, чѣмъ Ломоносовъ преданнаго поэзіи, и явившагося послѣ него, такъ далеко хуже Ломоносовскихъ стиховъ? Отчего стихи Державина сдѣлали, послѣ стиховъ Ломоносова, такой малый шагъ впередъ, и то въ самыхъ лучшихъ его стихотвореніяхъ, тогда какъ въ бѣльшей части не лучшихъ, они хуже, чѣмъ стихи Ломоносова въ одѣ «Къ Іову», въ «Утреннемъ» и «Вечернемъ» размышленіи о величествѣ Божіемъ», которые отличаются чистотою языка, отличающею въ творцѣ ихъ человѣка ученаго? Конечно, «Мокрый Амуръ» Ломоносова далеко не пойдетъ въ сравненіе съ анакреонтическими стихотвореніями Державина, но, по своему времени, это удивительное стихотвореніе. Итакъ, вопросъ о поэтической призваніи и талантѣ Ломоносова пока все еще только — вопросъ, и едва ли есть возможность рѣшить его положительно или отрицательно.

Обратимся къ Державину. Никто самъ собою ничего не дѣлаетъ ни великаго, ни малаго; но, оглядѣвшись вокругъ себя, всякій начинаетъ или продолжать, или отрицать сдѣланное прежде его: это законъ историческаго развитія. Чувствуя наклонность къ поэзіи, имя которой было ужъ печатно выговорено въ Россіи, и о которой носились уже темные слухи въ небольшомъ грамотномъ кругѣ людей общества того времени, — Державинъ, естественно, не могъ не остановить своего вниманія на Ломоносовѣ, и не подчиниться его вліянію. И Державина, за это, такъ же можно упрекать, какъ младенца за то, что онъ лепечетъ языкомъ отца своего, звуки котораго впервые огласили его

слухъ, а не языкомъ, котораго онъ звуковъ не могъ слышать. Державинъ добродушно удивлялся генію Хераскова, высокому паренію Петрова; но его чутью дѣлаетъ большую честь, что онъ рѣшился подражать только одному Ломоносову. Еще болѣшую честь дѣлаетъ Державину то, что съ 1779 года, онъ пошелъ собственнымъ своимъ путемъ. Не думайте, однакожъ, чтобъ онъ на это рѣшился по сознанію недостатковъ поэзіи Ломоносова, или по убѣжденію, что подражаніе ни къ чему не ведетъ, а надо всякому быть самимъ собою: нѣтъ! для такого сознанія и такого убѣжденія еще не наставало время, и Державину не откуда было взять ихъ. Вотъ что говоритъ онъ самъ о произведеніяхъ первой своей эпохи до 1779 года: «Всѣхъ сихъ произведеній своихъ авторъ самъ не одобрялъ, потому что хотѣлъ подражать Ломоносову, но чувствовалъ, что талантъ его не былъ внушаемъ одинаковымъ геніемъ: онъ хотѣлъ на-речь, но не могъ постоянно выдерживать, красивымъ наборомъ словъ, свойственнаго единственно русскому Пиндару веле-лѣція и пышности; а для того въ 1779 году избралъ онъ совершенно особый путь, будучи предводимымъ наставленіями Баттѣ и совѣтами друзей своихъ: Николая Александровича Львова, Василья Васильевича Капниста и Ивана Ивановича Хемницера». Не думайте также, чтобы «совершенно особый путь» означалъ полную независимость отъ Ломоносова и совершенную самобытность: такой быстрый переходъ въ то время былъ бы скачкомъ, а въ исторіи нѣтъ скачковъ. Державинъ дѣйствительно пошелъ своимъ особымъ путемъ, но не выходя изъ-подъ вліянія Ломоносовской поэзіи; въ поэзіи Державина явились впервые яркія вспышки истинной поэзіи, нѣста-ми даже проблески художественности, какая-то, ему одному свойственная, оригинальность во взглядѣ на предметы и въ манерѣ выражаться, черты народности, столь неожиданныя и тѣмъ болѣе поразительныя въ то время, — и вмѣстѣ съ тѣмъ,

поэзіи Державина удѣржала дидактическій и риторическій характеръ въ своей общности, который былъ сообщенъ ей поэзіею Ломоносова. Въ этомъ виднѣнъ естественный историческій ходъ.

Кстати о дидактикѣ. Она была явленіемъ неизбѣжнымъ и необходимымъ. Занятіе поэзіею должно было чѣмъ-нибудь быть оправдано въ глазахъ общества. Теперь всякій бунтаритель, назвавшись поэтомъ, найдетъ кружокъ, который будетъ смотрѣть на него съ нѣкоторымъ уваженіемъ за то, что онъ — не простой человѣкъ, а «поэтъ». Но это мистическое уваженіе къ слову «поэтъ» не вдругъ же явилось въ русскомъ обществѣ: оно развилось въ немъ временемъ, и конечно, составляетъ его прогрессъ, въ сравненіи съ предшествовавшими эпохами. Во время Ломоносова, слова «поэзія» и «поэтъ» или, по тогдашнему, «пѣнь», звучали довольно дико, и были, къ тому же, нѣсколько опошлены характерами двухъ первыхъ русскихъ «пѣнговъ» — Тредьяковскаго и Сумарокова. Если на поэтовъ общество обратило вниманіе, то не иначе, какъ вслѣдствіе покровительства, которое оказывалось имъ высшею властью. «Даютъ чины, подарки за стихи, — стало-быть, стихи что-нибудь да значать же»: такъ думало само съ собою тогдашнее общество. Но надобно же было ему представить пользу отъ поэзіи, чтобъ оно не считало поэзію за одно съ шутствомъ. Да что общество! — сами поэты того времени не умѣли объяснить себѣ свою страсть къ поэзіи иначе, какъ ея высокимъ призваніемъ — быть полезною для нравовъ общества. И если хотите, они были правы: поэзія дѣйствительно есть провозвѣстница великихъ истинъ, въ историческомъ движеніи человечества развивающихся; но прежде всего она — поэзія, свободное творчество, самостоятельная сфера сознанія, которой нельзя и не должно смѣшивать съ философіею, хотя у нихъ обѣихъ одно и то же содержаніе. Но наши первые поэты старое время не знали поэзію, какъ пріятное правоученіе, — и

Мерзляковъ, теоретикъ этой поэзіи, такъ выразилъ ее сущность и цѣль, въ стихахъ, заимствованныхъ имъ у Тасса:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ  
Несетъ эіаль, сладкими упитанъ по краямъ:  
Счастливецъ, обольщенъ, пьетъ горькое цѣленье,  
Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Выражаясь прозою, это значитъ, что поэзія есть пеленка на горькой пилюлѣ нравуученія... Мнѣніе ограниченное и жалкое, но подъ его эгидою начинается всякая поэзія, возникающая не непосредственно изъ народной жизни, а явившаяся какъ нововведеніе, какъ какое-то общественное учрежденіе... И за то спасибо ему: оно, это мнѣніе, поддержало у насъ и дало укрѣпиться зародышу поэзіи Ломоносова и Державина. Послѣ этого понятно дидактическое и риторическое направленіе поэзіи Ломоносова и Державина. Было бы крайне несправедливо ставить имъ въ вину это. Въ дѣйствіяхъ великихъ людей бываетъ два рода недостатковъ и ошибокъ: одни превосходятъ отъ нихъ личнаго произвола, или личной ограниченности; другіе — изъ духа и потребностей самого времени. За недостатки и ошибки первого рода можно и должно обвинять великихъ дѣйствователей; недостатки же и ошибки втораго рода можно и должно называть ихъ собственными именами, т. е. недостатками и ошибками, но ставить ихъ въ вину великимъ дѣйствителямъ не можно и не должно.

Итакъ, очевидно, что Державинъ не могъ быть, а потому и не былъ поэтомъ-художникомъ; его поэзія — лепетъ младенческій, исполненный жизни и прелести, но не рѣчь разумная и мудрая. И откуда же взялъ бы онъ художественность образовъ, пластическую отбѣлку формы, если въ его время о такихъ литературныхъ не было понятія, а слѣдовательно не было въ нихъ и потребности? И потому, можно ли винить его за риторичность и дидактику, входящую, какъ элементъ, во все, даже лучшія его

созданія, а въ посредственныхъ и слабыхъ играющихъ первую роль?

Конечно, за это никто и не обвинить его; но, съ другой стороны, есть ли какой-нибудь смыслъ обвинять, какъ въ преступленіи, какъ въ дерзкомъ неуваженіи къ священнымъ предметамъ, людей, которые называютъ вещи собственными ихъ именами и не хотятъ видѣть въ нихъ больше того, что есть въ нихъ на самомъ дѣлѣ? Можно насчитать болѣе полусотни стихотвореній Державина, въ которыхъ нѣтъ ни искры поэзіи, и въ которыхъ злоупотребленіе «поэтической вольности» съ языкомъ доведено до крайней степени: неужели грѣхъ и преступленіе сказать объ этомъ прямо? неужели критика должна состоять изъ однихъ лицемерныхъ фразъ и натянутого восторга, выражаемаго общими мѣстами дрянныхъ учебниковъ по части словесности? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ, — тѣмъ болѣе нѣтъ, что подобная искренность нисколько не можетъ повредить славу Державина, ни затмить его великаго таланта, ни унизить его великихъ заслугъ! Неудачныя стихотворенія могутъ быть у всякаго великаго поэта, и если у Державина ихъ больше, чѣмъ у другихъ — это вина времени (если только время можетъ быть въ чемъ-нибудь виновато), а не поэта. Жуковскій — тоже поэтъ необыкновенный; онъ явился уже послѣ Державина, когда самый языкъ сдѣлалъ большіе успѣхи черезъ Карамзина и Дмѣтріева; Жуковскій самъ подвинулъ языкъ впередъ и много сдѣлалъ для стиха и для поэзіи; но и у Жуковского есть длинныя посланія, которыхъ достоинство заключается совсѣмъ не въ поэзіи, а развѣ въ звучности стиха и краснорѣчіи, и которые, въ сущности, не многимъ важнѣе риторическихъ и дидактическихъ разсужденій въ стихахъ Державина, добродушно называемыхъ имъ одами. И въ этихъ длинныхъ посланіяхъ Жуковского виденъ историческій ходъ развитія нашей поэзіи: у Пушкина уже нѣтъ подобныхъ произведеній, но потому именно и



нѣтъ, что они уже были у Жуковского и что уже приняло время кончиться имъ.

Итакъ, некого обвинять и нечего жалѣть, что Державинъ не былъ поэтомъ-художникомъ; лучше подивиться тѣмъ свѣтозарнымъ проблескамъ поэзіи и художественности, которыми такъ часто и такъ ярко вспыхиваетъ дидактическая, но преобладающему элементу своему, поэзіи этого могучаго таланта. Натура Державина по преимуществу поэтическая и художническая, но время и обстоятельства положили непреодолимые преграды ея развитію, и потому въ созданіяхъ Державина нѣтъ поэзіи какъ искусства, есть только элементы и проблески истинной поэзіи. Это уже не чисто - подражательная поэзія, какъ у Ломоносова: въ ней уже слышатся и чуются звуки и картины русской природы, но перемѣшанные съ какою-то искаженною, на французскій манеръ, греческою мнѳологіею. Возьмемъ для примѣра прекрасную оду «Осень во время осады Очакова»: какая странная картина чисто-русской природы съ Богъ-вѣдаетъ какой природою, — очеровательной поэзіи съ непонятною риторикою:

Спустилъ съдой Эолъ Борей  
Съ цѣпей чугуныиъ изъ пещеръ;  
Ужасны крылья расширяя,  
Махнулъ по свѣту богатырь;  
Погналъ стадами воздухъ синій,  
Спустилъ туманы въ облака,  
Давнулъ — и облака разсѣлись,  
Спустился дождь и вспумѣлъ.

Къ чему тутъ Эолъ, къ чему Борей, пещеры и чугуныиъ цѣпи? Не спрашивайте; къ чему нужны были пудра, мушки и фижки? Во время оно, безъ нихъ нельзя было показаться въ люди... И какъ не идетъ русское слово «богатырь» къ этому Нѣмцу «Борею»!... Можно ли гонять стадами синій воздухъ? И что за картина: Борей, спустивъ туманы въ облака, давнулъ

ихъ; облака разстѣлись, и оттого спустился дождь и восшумѣлъ?... Вѣдь это — слова, слова, слова!... Но далѣе:

Уже румяна осень носить  
Снопъ златые на гумно,

Какіе прекрасные два стиха! По нимъ, вы думаете, что вы въ Россіи...

И роскошь винограду просить  
Рукою жадной на вино;

Тоже прекрасные стихи; но куда они переносить васъ — Богъ вѣсть!

Уже стада толпятся птичьи,  
Ковыль сребрится по степямъ;  
Шумящи красножелты листья  
Разстлались всюду по тропамъ.  
Въ опушкѣ заяцъ быстроногий,  
Какъ колпикъ посѣдѣвъ, лежитъ;  
Ловецки раздаются роги,  
И выжаль лай и гулъ гремитъ;  
Запаслися крестьянныя хлѣбомъ,  
Бѣтъ добры щи и пиво пить;  
Обогащенный добрымъ небомъ...

Тутъ вы ожидаете, что онъ благословляетъ, въ простотѣ сердца, имя Божіе за дары его: ничуть небывало: онъ —

Блаженство дней своихъ поеть!

Не на лиръ ли?...

Борей на осень хмурить брови,  
И Зимѣ съ Сѣвера зоветь:  
Идетъ съѣдая чародѣйка,  
Косматымъ машетъ рукавомъ,  
И снѣгъ, и вѣсъ, и иней сыплетъ,  
И воды претворяетъ въ льды;  
Отъ хладнаго ея дыханья  
Природы взоръ оцѣпѣлъ.  
На мѣсто радугъ испещренныхъ  
Всѣмъ на небѣ мгла вокругъ,  
А на коврахъ полей зеленыхъ

Лажитъ разсѣпать бѣлый пукъ;  
 Пустыни стѣнуютъ и доли,  
 Голодные волки воютъ въ нихъ;  
 Древа стоятъ и холмы голы,  
 И не пасется стадъ при нихъ.  
 Ушелъ олень на тундры мшисты  
 И въ логовище легъ медвѣдь.

И вслѣдъ за этими чудными стихами —

По селамъ нимфы голосисты  
 Престали въ хороводахъ пѣть,  
 Небесный Марсъ оставилъ громы,  
 И легъ въ туманы отдохнуть...

Какой «небесный Марсъ» и въ какіе «туманы» легъ онъ на отдыхъ? Что за «Нимфы голосисты» — ужъ не крестьянки ли?... Но называть нашихъ крестьянокъ нимфами все равно, что назвать Меланіей Маланью...

Что въ Державинѣ былъ глубоко-художественный элементъ, это всего лучше доказываютъ его такъ называемыя «анакреонтическія» стихотворенія. И между ними нѣтъ ни одного, вполне выдержаннаго; но какое созерцаніе, какіе стихи! Вотъ, напримѣръ, «Побѣда красоты»:

Какъ храмъ Ареонагъ Палладѣ,  
 Нептуна презрѣя, посвятилъ,  
 Притекъ къ афинской левъ оградѣ,  
 И ревомъ городу грозилъ.  
 Она копья непобѣдима  
 Ко ополченью не взяла,  
 Противу льва неукротима  
 Съ Олимпа Гебу призвала.  
 Пошла, — и подъ оливой стала,  
 Блистая легкой броней:  
 Младую нимфу обнимала,  
 Сидящую въ тѣни вѣтвей.  
 Левъ шелъ, — и подъ его стопомъ  
 Приморскій влажный берегъ дрежалъ,  
 Но встрѣтился вдругъ се красотомъ,

Какъ сѣмидеи порошении, сталь.  
 Вздыхалъ и палъ къ ногамъ левъ сильный,  
 Прелестну руку лобизалъ  
 И чувства претія, умилямъ.  
 Въ сверкающихъ очахъ являлъ.  
 Стидлива дѣва улыбалась  
 На молодого льва смотря,  
 Кудрявой гривой забавлялась  
 Сего звѣринаго царя.  
 Минерва мудрая познала  
 Его родящуюся страсть,  
 Цвѣточною цѣпью привязала  
 И отдала любви во власть.  
 Не разъ потомъ уже случалось,  
 Что умъ смиралъ и ярость лвовъ,  
 Красою мужество сражалось,  
 А побѣждала все любовь.

Изъ этого стихотворенія видно въ Державинѣ живое сочув-  
 ствіе къ древнему міру, какъ свидѣтельство глубоко-художественнаго  
 элемента въ натурѣ поэта. Но піеса «Рожденіе Красоты» еще болѣе  
 обнаруживаетъ это артистическое сочувствіе поэта къ художественному  
 міру древней Греціи, хотя эта піеса и еще менѣе выдержана, чѣмъ первая.  
 Доказательствомъ же того, какими превосходными стихами могъ писать  
 Державинъ, служить его стихотвореніе «Русскія Дѣвушки»:

Зрѣлъ ли ты, пѣвецъ тинскій,  
 Какъ въ лугу, весной, бычка  
 Пляшутъ дѣвушки *россійскы*  
 Подъ свирѣлю пастушка?  
 Какъ, склонясь *главами*, ходять,  
 Башмачками въ ладъ стучать,  
 Тихо *руки*, *озеръ поводы*,  
 И плечами говорить?  
 Какъ ихъ лентами златыми  
 Чела бѣлыми блестя,  
 Подъ жемчугами драгими  
 Грудь нѣжными дышать?

Какъ сквозъ жили голубы  
 Лется розовая кровь,  
 На ланитахъ огневыхъ  
 Ямки вѣрова любви!  
 Какъ ихъ брови соболины,  
 Полный искръ соколий взглядъ,  
 Ихъ усмѣшка — души львины  
 И сердца орловъ разятъ?  
 Коль бы видѣть дѣтъ сихъ красныхъ,  
 Ты бъ Гречанокъ позабылъ,  
 И на крыльяхъ сладострастныхъ  
 Твой Эротъ прикованъ былъ.

Оставимъ въ сторонѣ достолюбезную наивность мысли — заставить Анакреона удивляться російскимъ дѣвушкамъ, пляшущимъ весною на лугу «бычка», и отдать имъ первенство передъ богинями и нимфами древней Эллады; оставимъ также въ сторонѣ книжное и не идущее къ дѣлу слово «главами», ошибку противъ языка, который велитъ поводить руками и взорами и не позволяетъ «поводить руки и взоры», оставимъ все это въ сторонѣ, какъ погрѣшности, неизбежныя по духу времени, и спросимъ: можно ли не согласиться, что стихи этой піесы, какъ стихи — прекрасны? Стало-быть, Державинъ могъ всегда писать прекрасными стихами? — Конечно, могъ, ибо онъ по натурѣ своей былъ великій поэтъ. — Отчего же онъ такъ рѣдко писалъ хорошими стихами? — Оттого, что въ его время не было ни понятія о необходимости прекрасныхъ стиховъ, ни потребности въ нихъ; оттого, что въ его время, о поэзіи всего менѣе думали, какъ о красотѣ, не подозревая, что поэзія и красота — одно и то же. По этому, Державинъ всего менѣе заботился о стихѣ, а такъ какъ онъ началъ писать очень поздно, то и не могъ овладѣть ни языкомъ, ни стихомъ, обладаніе которыми и величайшими поэтамъ достается не безъ тяжкаго труда. Оттого же, Державину такъ трудно было поправлять свои піесы, и всѣ его поправки были большею

частію неудачны. Чтò касается до неточности въ выраженіи, — отъ того времени и требовать невозможно точности, а страшное насиліе языку, т. е. произвольныя усѣченія, ударенія, часто искаженіе слова, должно приписать тому, что Державинъ въ молодости не имѣлъ возможности приобрѣсти, по части языка, ни познаній, ни навыка.

Сколько бы ни разбирали мы піесть Державина, — все пришли бы къ одному и тому же результату: великъ былъ естественный талантъ Державина, а поэтомъ-художникомъ онъ все-таки не былъ; и цѣлый кругъ его поэтической дѣятельности представляетъ собою только порываніе къ поэзіи и достиженіе ея лишь мгновенными вспышками и неожиданными проблесками. Даже лучшія, самыя поэтическія его произведенія, какъ на примѣръ «Фелица», могутъ намъ нравиться не иначе, какъ только подъ условіемъ изученія, какъ факты историческаго развитія русской поэзіи. Читая ихъ, мы должны оторваться отъ своего времени и своихъ понятій, и силою размышленія, такъ сказать, заставить себя видѣть поэзію и талантъ въ томъ, чтò въ современномъ намъ писателѣ назвали бы мы прозою и бездарностію. Однимъ словомъ, стихотворенія Державина, разсматриваемыя съ эстетической точки, суть не что иное, какъ блестящая страница изъ исторіи русской поэзіи, — некрасивая куколка, изъ которой должна была выпорхнуть, на очарованіе глазъ и умиленіе сердца, роскошно-прекрасная бабочка... Повторяемъ: талантъ Державина великъ; но онъ не могъ сдѣлать больше того, чтò позволили ему его отношенія къ историческому положенію общества въ Россіи. Державинъ великъ и въ томъ, чтò онъ сдѣлалъ: зачѣмъ же приписывать ему больше того, чтò могъ онъ сдѣлать? Державинъ великій поэтъ русскій. — и этого довольно, и нѣтъ никакой нужды величать его Пиндаромъ, Анакреономъ и Гораціемъ, съ которыми у него нѣтъ ничего общаго. Пиндаръ, Анакреонъ и Горацій дѣйстви-

вали на почвѣ всемірно-исторической жизни, и были по превосходству художниками, какъ органы художественнаго древняго міра, особенно Пиндаръ и Анакреонъ — пѣвцы народа эллинскаго, народа-художника. . .

Во второй статьѣ, мы рассмотримъ стихотворенія Державина съ исторической точки, безъ которой всякое сужденіе о такомъ поэтѣ было бы односторонне и неполно.

## 2

Такъ какъ искусство, со стороны своего содержанія, есть выраженіе исторической жизни народа, то эта жизнь и имѣетъ на него великое вліяніе, находясь къ нему въ такомъ же отношеніи, какъ масло къ огню, который оно поддерживаетъ въ лампѣ, или, еще болѣе, какъ почва къ растеніямъ, которымъ она даетъ питаніе. Сухая и каменистая почва неблагоприятна для растительности; бѣдная содержаніемъ историческая жизнь неблагоприятна для искусства. Содержаніе исторической жизни составляютъ идеи, а не одни факты. Всѣ великіе народы, въ исторіи которыхъ міродержавный промыселъ осуществилъ судьбы человѣчества, жили и живутъ идеею, и умираютъ, какъ скоро ихъ историческая идея изжита ими вполнѣ. Но такіе народы умираютъ только эмпирически: идеально же ихъ существованіе бессмертно. Доказательство этому — древній міръ. Доселѣ, вновь прорытая улица Помпеи, вновь открытый домъ въ ней, съ его утварью и мельчайшими признаками быта жителей, — для насъ, гражданъ новаго міра, составляютъ важное событіе, возбуждая вниманіе всѣхъ образованныхъ людей во всѣхъ пяти частяхъ свѣта. А какое было бы торжество для образованнаго міра, еслибы нашлись утраченныя части твореній Геродота, Эсхила, Софокла, Эврипида, Плутарха, Тита Ливія, Тацита и

других?... Многие негодуют на то, что наши дети прежде именъ отечественныхъ героевъ узнаютъ имена Соловьевъ, Ликурговъ, Фемистокловъ, Аристидовъ, Перикловъ, Алкивиадъ, Александръ и Цезарей: негодованіе несправедливое и неосновательное! — въ деспотизмъ такого умственного, идеальнаго владычества древняго міра нѣтъ ничего оскорбительнаго и возмущающаго: это власть законная, почеть заслуженная! Идея древне-эллинской жизни была такъ глубока и многосторонна, что нѣтъ никакой возможности даже намекнуть на нее въ нѣсколькихъ словахъ, — особенно, если говорить о ней мимоходомъ, какъ говоримъ мы теперь. Другое дѣло — идея исторической жизни Римлянъ: она сколько глубока, столько же и односторонна, и по тому самому даетъ возможность сколько-нибудь удовлетворительнаго на нее намѣка. Пульсъ исторической жизни Рима, ея сокровенный тайникъ, ея животворная идея, ея альфа и омега, ея первое и последнее слово, — это право (jus). Чтò было одною изъ многихъ сторонъ исторической жизни Греціи, — то было единою, исключительною и полною жизнію Рима, — и за то, Римъ вполне развилъ, разработалъ и изжилъ этотъ основной элементъ своей жизни. Скажутъ: Римляне велики еще и какъ народъ воинственный, какъ всемірные завоеватели. Такъ! но и кромѣ Римлянъ много было народовъ-завоевателей, а одни только Римляне, умѣя завоевывать, умѣли и упрочивать свои завоеванія. Чѣмъ же упрочивали они ихъ? — своимъ правомъ, своею гражданственностію. Побѣжденные народы принимали ихъ законы, обычаи и нравы, даже самый языкъ ихъ, по тому непреложному и вѣчному закону историческаго развитія, по которому тьма уступаетъ мѣсто свѣту, невѣжество — разуму. Право было источникомъ всехъ событій, всехъ волненій и переворотовъ въ исторической жизни Римлянъ, и вся исторія ихъ — развитіе идеи права въ хронологической последовательности фактовъ;



оно, это право, было вѣчнымъ двигателемъ и рычагомъ государственной и общественной жизни Римлянъ; изъ него и для него дѣлалась эта упорная борьба патриціевъ и плебеевъ, за него волновался народъ и умирали Гракхи; приобщенія къ нему добивались побѣжденные города и народы. Процессъ гражданской борьбы и вѣншей войны почти всегда имѣлъ въ Римѣ своимъ результатомъ — успѣхъ права. Скажутъ: несмотря на то, что въ основѣ исторической жизни Римлянъ лежала идея, ихъ искусство было подражательное, не оригинальное? Такъ, но причина этого заключалась, можетъ-быть, въ односторонности и исключительности ихъ идеи, равно какъ и въ томъ, что Римляне были по преимуществу народъ практический, чуждый всякой созерцательности. Поэзія явилась у нихъ, какъ наслѣдіе умершей Греціи, на закатѣ ихъ собственной жизни, когда уже дряхлое общество не могло быть питательною почвою для цвѣтовъ поэзіи. Оттого латинская поэзія и носитъ на себѣ отпечатокъ не только подражательности, но и старческой дряхлости: отпущенникъ Мецената, Гораций, добровольно остался рабомъ и холопомъ своего милостивца, и создалъ меценатскую поэзію, воспѣвая миръ и тишину Рима, купленные цѣною упадка доблести и добродѣтели. Впрочемъ, и кромѣ Виргилія, этого поддѣльнаго Гомера римскаго, Римляне имѣли своего истиннаго и оригинальнаго Гомера въ лицѣ Тита Ливія, котораго исторія есть національная поэма, и по содержанію, и по духу, и по самой риторической формѣ своей. Но высшею поэзіею Римлянъ была и навсегда осталась поэзія ихъ дѣлъ, поэзія ихъ права: первая и теперь возвышаетъ и укрѣпляетъ всякую благородную душу въ святомъ чувствѣ патриотическаго героизма, а Юстиніановъ кодексъ — зрѣлый плодъ исторической жизни Римлянъ — освободилъ Европу отъ оковъ феодальнаго права. Сначала принятый ею какъ фактъ, онъ потомъ вошелъ въ ея жизнь и въ свою очередь, принявъ въ себя христіанскіе элементы

.и теперь продолжаетъ развитіе своего безсмертнаго существованія: въ немъ-то и чрезъ него-то доселѣ живетъ древній Римъ въ новомъ мірѣ.

Изъ народовъ новаго человѣчества, Испанцы первые выступили на поприще всемірно-исторической жизни. Нація экзальтированная и фантастическая, Испанія должна была на время слиться съ чуждымъ ей по происхожденію, но родственнымъ ей (по пылкости чувства и воображенія) племенемъ Аравитянъ, и сдѣлалась представительницею рыцарственности среднихъ вѣковъ, съ ея восторженными понатіями о чести, о достоинствѣ привилегированной крови, о любви, о храбрости, о великодушіи, съ ея фанатическою и суевѣрною религіозностію. Отсюда это множество рыцарскихъ романовъ и еще большее множество романсовъ на испанскомъ языкѣ; отсюда же объясняется и появленіе Сервантесова «Донъ-Кихота»: ибо всякая крайность тамъ же, гдѣ возникла, и вызываетъ противъ себя реакцію.

Италія была второю странюю новой Европы, гдѣ загорѣлся свѣтъ просвѣщенія. Италію можно назвать, не боясь слишкомъ ошибиться, христіанскою реставраціею изящнаго міра древняго. И потому, какъ Испанія представляла собою чудесное зрѣлище фантастическаго сліянія аравійскаго духа съ европейскимъ христіанствомъ, такъ Италія представляла не менѣе чудное зрѣлище фантастическаго сліянія древняго съ европейскимъ христіанствомъ, котораго «вѣчный городъ» ея былъ главою и представителемъ. Возникшая на классической почвѣ, среди развалинъ и памятниковъ древняго искусства, тевтонская Италія возродилась въ чувствѣ красоты и изящества. Отъ этого, идея искусства сдѣлалась источникомъ жизни Итальянца, и каждый Итальянецъ сталъ или художникомъ, или диллетантомъ. Итальянское искусство осталось вѣрно своему классическому небу, своей классической природѣ, и въ новыхъ формахъ

отразило древнюю жизнь, съ ея изящною нѣгою, съ ея обаятельными формами. Самое богословіе католицизма какъ-то чудно слилось съ преданіями классической древности: Виргилій чуть-чуть не считался святымъ, и въ «Божественной Комедіи» онъ провожаетъ великаго творца ея по мрачнымъ областямъ ада и Чистилища. Чувственный и соблазнительный пѣвецъ рыцарскихъ и любовныхъ походовъ, Аріостъ, больше Тасса былъ итальянскимъ Гомеромъ. У самаго Тасса героемъ поэмы скорѣе можно назвать Армиду, чѣмъ Годфреда: обольстительный образъ первой есть болѣе искренное и задушевное, а слѣдовательно, и живое созданіе поэта, чѣмъ суровый образъ второго. Критики новѣйшаго времени изъявили большія сомнѣнія на счетъ «идеальности» мадоннъ, созданныхъ кистію великихъ художниковъ Италіи; сверхъ того, они видятъ въ этихъ мадоннахъ болѣе дань понятіямъ времени, чѣмъ свободное творчество, которому были посвящены другія творенія болѣе искреннія и задушевные, и потому болѣе близкія къ типу обаятельной и совершенно земной красоты.

Въ наше время, три націи являются по преимуществу представителями челоувѣчества — Германія, Франція и Англія. Въ идеализмъ заключается источникъ національной жизни Германіи. Міръ идей составляетъ сферу, которою, такъ сказать, дышетъ Нѣмецъ. Цѣль жизни Нѣмца — знаніе, и знаніе его заключено въ идеѣ; постичь идею предмета, для него — значитъ овладѣть предметомъ. И потому, только въ знаніи и соприкасается Нѣмецъ съ міромъ и жизнію. Отсюда его нравственный аскетизмъ: понявъ идею предмета, онъ равнодушенъ къ тому, что этотъ предметъ не сообразенъ съ своимъ идеаломъ. Отсюда и аскетическій характеръ поэзіи Нѣмцевъ: мірообъемлющая по идеямъ, воплощеннымъ въ ней, она призываетъ къ миру съ дѣйствительностію, какова бы ни была эта дѣйствительность; она настраиваетъ челоувѣка къ одинокой созерцательной

жизни внутри самого себя, дѣлаетъ его властелиномъ въ сферѣ мысли и машиною въ сферѣ дѣйствительности. И оттого-то нѣмецкая поэзія такъ любитъ избирать своимъ исключительнымъ предметомъ или внутренніе процессы въ духѣ человѣка, или мистику сердца человѣческаго. А отсюда объясняются великіе успѣхи Нѣмцевъ въ лирической поэзіи и музыкѣ, и ихъ не-успѣхи въ другихъ родахъ поэзіи. Но уже аскетическая поэзія Нѣмцевъ изчерпала все свое содержаніе и совершила полный кругъ свой: теперь жаждетъ она иныхъ элементовъ, иныхъ мотивовъ. Какъ бы то ни было, но внутренній міръ души человѣка — великій міръ, и Нѣмцы оказали человѣчеству великую услугу ученою и поэтическою разработкою этого міра. Конечно, великое достоинство аскетической поэзіи Нѣмцевъ составляетъ и великій недостатокъ ея, какъ всего односторонняго и исключительнаго; но все же сфера этой поэзіи — сфера всемірно-историческая, и въ ней не могли не явиться великіе, міровые поэты.

Совсѣмъ иной характеръ имѣютъ жизненная идея и пафосъ французской націи: это вѣчно-тревожное стремленіе къ идеалу и уравниенію съ нимъ дѣйствительности. Искусство во Франціи всегда было выраженіемъ основной стихіи ея національной жизни: въ вѣкѣ отрицанія, въ XVIII вѣкѣ, оно было исполнено ироніи и сарказма; теперь оно одно исполнено страданіями настоящаго и надеждами на будущее. Всегда было оно глубоко-національнымъ, даже во времена псевдо-классицизма, натягутаго подражанія древнимъ, — и Корнель, Расинъ, Мольеръ столько же національные поэты Франціи, сколько Вольтеръ, Руссо, а теперь Беранжѣ и Жоржъ Зандъ.

Англія составляетъ прямую противоположность и Германіи и Франціи. Сколько Германія идеальна, столько Англія практически положительна; какъ великіе успѣхи Нѣмцевъ въ философіи, такъ ничтожны попытки Англичанъ въ абсолютной

наукѣ; у Англичанъ источникомъ всѣхъ ихъ историческихъ событій бываетъ польза общества. Человѣкъ въ этомъ обществѣ ничего не значить самъ по себѣ, но получаетъ большее или меньшее значеніе отъ того, что онъ имѣетъ, или чѣмъ онъ владѣетъ. Покореніе силъ природы на службу обществу, побѣда надъ матеріею, пространствомъ и временемъ, развитіе промышленности, какъ основной общественной стихіи, какъ краеугольнаго камня зданія общества, — вотъ въ чемъ сила и величіе Англіи и ея заслуги передъ человѣчествомъ. Во многомъ похожая на древній Римъ, практическая Англія довершаетъ свое сходство съ нимъ и огромными завоеваніями, причина которыхъ — корыстные расчеты, а результатъ — распространеніе цивилизаціи по всему міру. Но въ отношеніи къ искусству, Англія ничего общаго съ древнимъ Римомъ не имѣетъ: тевтонское племя, двумя слоями, саксонскимъ и нормандскимъ, легшее на почвѣ ея историческаго формировація, и христіанство, какъ глубоко вошедшій въ жизнь ея элементъ, заронили въ національный духъ Англичанъ плодотворныя сѣмена поэзіи. Но и въ поэзіи, Англія рѣзко отличается отъ Германіи и отъ Франціи. Какъ въ странѣ по превосходству общественной и практической, въ Англіи особенно развились драма и романъ, недоступныя для Нѣмцевъ; отъ французской же поэзіи англійская отличается и своей художественностію и своимъ равнодушіемъ къ вѣрно-изображаемой ею дѣйствительности, безъ скорби о неразумности и безъ радости о разумности этой дѣйствительности, безъ порыванія подвигнуть ее высится до идеала. Но какъ Англія есть страна всевозможныхъ противорѣчій нравственныхъ, то и невозможно подвести явленій ея поэзіи подъ-какую либо опредѣленную точку зрѣнія: такъ, напримѣръ, объ руку съ ея равнодушіемъ къ добру и злу дѣйствительности идетъ самый глубокій юморъ, а въ Байронѣ, Англія имѣла поэта, который, по пафосу своей поэзіи,

всего родственнѣ Франціи и всего враждебнѣ своему отечеству. Правда, Вольтеръ и Руссо имѣли сильное вліяніе на Байрона; но правда и то, что юморъ, мрачная глубина и колоссальная сила духа Байрона явно обличаютъ въ немъ сына Британіи. Вообще, Байронъ такъ же есть намекъ на будущее Англіи, какъ Шиллеръ — намекъ на будущее Германіи: оба эти поэта были рѣзкими противорѣчіями національному духу своихъ странъ, и, въ то же время, каждый изъ нихъ могъ явиться только въ своей странѣ. Но съ Шиллеромъ скоро помирилась его Германія, которую сначала такъ дико озадачило его явленіе; Байронъ же и умеръ въ непримиримой враждѣ съ своей родиною, и великая нація, въ свою очередь, двинулась въ срѣтеніе только гробу его...

Если въ этомъ очеркѣ національностей, игравшихъ или играющихъ первыя роли на позорищѣ всемірной исторіи, и въ очеркѣ отношенія исторической идеи жизни народовъ къ поэзіи, мы не выразили опредѣлительно нашей мысли (чего невозможно было сдѣлать, говоря мимоходомъ о такомъ предметѣ, котораго стало бы на огромное, отдѣльное сочиненіе), то по крайней мѣрѣ сдѣлали на него опредѣлительный, сколько могли, намекъ. Прибавимъ къ сказанному, что основная идея національно-исторической жизни народа существуетъ всегда, какъ сумма понятій и правилъ общества; она даетъ себя чувствовать даже въ самыхъ, по видимому, мелочныхъ обычаяхъ и правахъ общества. Такъ, напримѣръ, страсть Французовъ къ баламъ, театрамъ и всякаго рода публичнымъ увеселеніямъ, ихъ природная вѣжливость и любезность, охота и умѣніе вести легкій и бѣглый свѣтскій разговоръ, ихъ искусство популяризировать всякое знаніе, дѣлать доступнымъ, черезъ ясное изложеніе, всякій предметъ, самое непостоянство ихъ модъ въ одеждѣ и житейскихъ удобствахъ, — все вытекаетъ изъ основной идеи ихъ національно-исторической жизни. Англичане су-

ровы, важны и недоступны въ обществѣ; они легче сходятся другъ съ другомъ въ парламентѣ, въ трибунѣ, на биржѣ, чѣмъ въ салонѣ, и въ послѣднемъ они этикетны; ихъ пиры и обѣды выражаютъ не свѣтскую, а политически-гражданскую общительность; они преданы семейной жизни, гдѣ глава семейства является маленькимъ деспотомъ, и гдѣ основные принципы отзываются маленькимъ варварствомъ феодальныхъ временъ; въ свѣтской же жизни Англичане этикетны и скучны съ достоинствомъ. Въ общественныхъ нравахъ ихъ царствуютъ чопорность, pruderie и самая ограниченная, самая мелкая стѣснительная моральность. Что-то жесткое и грубое есть въ ихъ нравахъ, какъ необходимый результатъ вѣчнаго торгашества и вѣчной борьбы промышленнаго духа съ внѣшними препятствіями. Энергія національнаго духа Англичанъ, которой они обязаны своимъ государственнымъ величіемъ, своею всемірною торговлею и своими всемірными завоеваніями и поселеніями, трагически выражалась въ политическихъ и религіозныхъ переворотахъ. Отсюда эта мрачность и суровое величіе ихъ поэзіи: отсюда же происходятъ и ихъ великіе успѣхи въ драматической поэзіи: сама исторія Англіи есть рядъ трагедій, — и Шекспиру легко могла войти въ голову мысль писать трагическія хроники Англіи: матеріалы были у него подъ рукою, — стоило только оживить ихъ духомъ поэзіи. Нѣмецъ не рожденъ ни для свѣтской, ни для политически-гражданской общительности: что для Француза салонъ, маскарадъ, театръ, гулянье, бульваръ, что для Англичанина парламентъ и биржа, — то для Нѣмца университетъ, ученый съѣздъ, ученый комитетъ. Отсюда это удивительное множество университетовъ, существующихъ цѣлыя вѣка; отсюда эта особенность университетскихъ нравовъ и обычаевъ, эта противоположность буршества съ филистерствомъ. До тридцати лѣтъ, Нѣмецъ бываетъ буршемъ, и какъ скоро часовая стрѣлка станетъ на послѣдней минутѣ его трид-

цати лѣтъ, онъ тотчасъ же дѣлается филистеромъ. Многіе изъ Нѣмцевъ даже рождаются филистерами, и ни одной минуты въ своей жизни не бываютъ буршами, тогда какъ буршами они никогда не рождаются, а только прикидываются ими на время — ужъ никакъ не долѣе тридцати лѣтъ. Нѣмецъ уживется гдѣ угодно; ему вездѣ хорошо, вездѣ отечество, и при всемъ этомъ онъ вездѣ вѣронъ себѣ, вездѣ тотъ же угловатый и странный Нѣмецъ. Это явленіе въ самой живой связи съ основною идеею національно-исторической жизни Нѣмцевъ: они въ знаніи признають то, чего еще нѣтъ, но что должно быть по разуму, и отвергають то, что есть въ дѣйствительности, но чего бы не должно быть по разуму, а живутъ въ ладу и въ мирѣ со всякою дѣйствительностію: для Нѣмца знать и жить двѣ совершенно различныя вещи. Нѣмецъ болѣе семьянинъ, чѣмъ кто-нибудь, и ничего не можетъ быть возвышеннѣе и сладостнѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пошлѣе его семейнаго счастья: таково свойство всякой односторонности и исключительности!... Сахаръ хорошая вещь, но попробуйте сдѣлать обѣдъ изъ одного сахара или на одномъ сахарѣ — будетъ и приторно и нездорово. Ни на одномъ языкѣ нѣтъ столь высокихъ пѣсень любви, какъ на нѣмецкомъ, и на немъ же больше, чѣмъ на другихъ, написано приторныхъ до пошлости сердечныхъ изліяній. И это относится не къ однимъ мелкимъ талантамъ, не къ одной бездарности: что можетъ быть приторнѣе и пошлѣе «Стеллы», «Брата и Сестры», «Германа и Доротеи»? — а Гёте былъ великій геній!

Такимъ образомъ, основная идея національно-историческаго значенія народа, какъ воздухъ — основной элементъ всякаго существованія, проникаетъ насквозь и внутреннюю и внѣшнюю жизнь народа, давая себя чувствовать, и какъ сумма нравственныхъ убѣжденій и принциповъ общества, и какъ образъ и форма жизни, — то-есть, какъ нравы и обычаи народа.



Великій поэтический талантъ, являющійся среди такого народа, такъ сказать, съ молокомъ своей матери всасывается въ себя готовое уже содержаніе для своей будущей поэзіи, для своихъ будущихъ твореній,—и свободно, безъ всякихъ усилій и натяжекъ, выражаетъ въ нихъ и достоинство и недостатки основной идеи національно-исторической жизни своего народа.

Смотря на Державина какъ на русскаго Пиндара, Горациа и Анакреона вмѣстѣ, должно прежде рѣшить вопросъ: были ли, въ его время, историческіе и общественные элементы, которые могли бы дать готовые матеріалы для его таланта, готовое содержаніе для его поэзіи? Вотъ въ чемъ вопросъ, а совѣмъ не въ томъ, что Державинъ былъ потомокъ Багрима, сѣверный бардъ, и что въ его поэзіи щедрою рукою разсыпаны алмазы, сапфиры, изумруды и яхонты...

Какую идею предназначено выражать Россіи—опредѣлить это тѣмъ труднѣе и даже невозможнѣе, что европейская исторія Россіи началась только съ Петра Великаго, и что, поэтому, Россія есть страна будущаго. Россія, въ лицѣ образованныхъ людей своего общества, носитъ въ душѣ своей непобѣдимое предчувствіе великости своего назначенія, великости своего будущаго. И не увлекаясь ни дѣтскими фантазіями, ни ложнымъ патриотизмомъ, можно сказать смѣло, что есть факты, превращающіе это предчувствіе въ убѣжденіе. Всѣ великіе народы имѣли своихъ великихъ представителей или въ историческихъ, или въ мифическихъ лицахъ. Много имѣла первыхъ древняя Греція, но ни одинъ изъ нихъ не выразилъ собою такъ полно національнаго духа, какъ мифическое лицо божественнаго Ахилла, воспѣтаго царемъ греческихъ поэтовъ—Гомеромъ. Мы, Русскіе, имѣли своего Ахилла, который есть неопровержимо историческое лицо, ибо отъ дня его смерти протекло только 118 лѣтъ, но который есть мифическое лицо со стороны необъятной великости духа, колоссальности дѣлъ и невѣроятности

чудесь, имъ произведенныхъ. Петръ былъ полнымъ выраженіемъ русскаго духа, и еслибы между его натуры и натурой русскаго народа не было кровнаго родства — его преобразованія, какъ индивидуальное дѣло сильнаго средствами и волею человека, не имѣли бы успѣха. Но Русь неуклонно идетъ по пути, указанному ей творцомъ ея. Петръ выразилъ собою великую идею самоотрицанія случайнаго и произвольнаго въ пользу необходимаго, грубыхъ формъ ложно развившейся народности въ пользу разумнаго содержанія національной жизни. Этою высокою способностію самоотрицанія обладаютъ только великіе люди и великіе народы, и ею-то русское племя возвысилось надъ всѣми славянскими племенами; въ ней-то и заключается источникъ его настоящаго могущества и будущаго величія. До Петра, русская исторія вся заключалась въ одномъ стремленіи къ сочлененію разъединенныхъ частей страны и сосредоточенія ея вокругъ Москвы. Въ этомъ случаѣ помогло и татарское иго, и грозное царствованіе Іоанна. Цементомъ, соединившимъ разрозненныя части Руси, было — преобладаніе московскаго великокняжескаго престола надъ удѣлами, а потомъ уничтоженіе ихъ, и единство патріархальнаго обычая, замѣнявшаго право. Но эпоха Самозванцевъ показала, какъ еще не довольно твердъ и достаточенъ былъ этотъ цементъ. Въ царствованіе Алексія Михайловича обнаружилась живая необходимость реформы и сближенія Руси съ Европою. Было сдѣлано много попытокъ въ этомъ родѣ; но для такого великаго дѣла нуженъ былъ и великій творческій геній, который и не замедлил явиться въ лицѣ Петра. Со смертію его, надолго закатилось солнце русской жизни, и до царствованія Екатерины II-й едва поддерживались устроенныя Петромъ формы, безъ дальнѣйшаго развитія, движенія впередъ. Великая продолжила дѣло Великаго, и Русь быстро двинулась по пути преуспѣянія. Екатерина II заботилась не о поддержаніи уже устарѣвшихъ

формъ эпохи Петра, а о ихъ развитіи. Это была великая эпоха въ исторіи Руси, хотя, въ то же время, эта эпоха почти столько же домашнее дѣло, въ отношеніи къ Руси, сколько и эпоха Петра: обѣ онѣ были залогомъ будущаго всемірно-историческаго содержанія. Но для поэзіи просто, безъ дальнѣйшихъ европейскихъ претензій, эпоха Екатерины II была благопріятна: въ продолженіе ея, могъ явиться по крайней мѣрѣ зародышъ поэзіи, — и онъ явился.

Скажутъ: Россія, еще до Екатерины Великой, держала твердый голосъ на сеймѣ европейскомъ, и ея политическое значеніе тяжело лежало на вѣсахъ европейской политики. Это совершенная правда, которой мы и не думаемъ оспаривать; но мы говоримъ не о политическомъ всемірно-историческомъ значеніи, а о нравственномъ всемірно-историческомъ значеніи, которое проявляется въ наукѣ, въ искусствѣ, въ современно-исторической идеѣ самого политическаго стремленія. Намъ опять скажутъ, что въ царствованіе Екатерины II, Россія была уже образованною страной, и что духъ XVIII вѣка въ ней такъ же отражался, какъ и въ Пруссіи при Фридрихѣ II; что Россія не только читала въ подлинникѣ тогдашнихъ знаменитыхъ писателей Франціи, но что эти знаменитые писатели даже переводились на русскій языкъ. Это справедливо, только съ этимъ нельзя согласиться безусловно. Въ царствованіе Екатерины II, просвѣщеніе и образованность были дѣйствительно европейскія и болѣе или менѣе въ духѣ XVIII вѣка; но они сосредоточивались при дворѣ, не выходя за его предѣлы. Тогда только одинъ классъ общества былъ причастенъ европейскому просвѣщенію и образованности: это высшее дворянство, имѣвшее доступъ къ двору, или, лучше сказать, вельможество, неимѣвшее въ этомъ отношеніи ничего общаго съ другими классами общества. Но одинъ, и притомъ самый меньшій по числу классъ общества еще не составляетъ цѣлаго общества, осо-

бенно, если онъ своимъ высокимъ положеніемъ разъединенъ съ другими классами. Въ царствованіе Александра Благословеннаго и среднее дворянство, значительное по числу, явилось просвѣщеннѣйшимъ и образованнѣйшимъ сословіемъ сравнительно съ другими. Поэтому очень понятно, что въ то время всѣ замѣчательнѣйшіе писатели наши принадлежали исключительно этому сословію. Въ настоящее благополучное царствованіе, просвѣщеніе и образованность замѣтно распространились не только между среднимъ сословіемъ (разумея подъ этимъ словомъ такъ называемыхъ «разночинцевъ»), но и между низшими классами: по крайней мѣрѣ теперь не рѣдкость образованные и даже просвѣщенные люди изъ купеческаго и мѣщанскаго сословія, изъ которыхъ нѣкоторые даже пользуются болѣе или менѣе почетною извѣстностію въ литературѣ. И потому никакъ нельзя сказать, чтобы теперь не было въ Россіи общества и даже общественнаго мнѣнія. Но въ царствованіе Екатерины ничего этого и быть не могло, по закону исторической послѣдовательности. Тогда дѣйствительно переводили по-русски философскія сказки Вольтера и «Новую Элоизу» Руссо, но ихъ читали, какъ читали «Нещастнаго Никанора, Русскаго Дворянина», «Приключенія Мирамонда» Эмина, «Письмовникъ» Курганова и тому подобныя книги, добродушно не подозрѣвая никакой разницы между тѣми европейскими твореніями и этими самодѣльными произведеніями домашней стряпни. И XVIII вѣкъ отразился только на одномъ вельможествѣ, какъ мы выше замѣтили. Но какъ Державинъ, за свой талантъ, вошелъ въ знать, то и на немъ не могъ не отразиться, болѣе или менѣе, XVIII вѣкъ. Можно сказать, что въ твореніяхъ Державина ярко отпечатлѣлся русскій XVIII вѣкъ. Но прежде, нежели рассмотримъ мы, какъ и до какой степени отпечатлѣлся этотъ вѣкъ на Руси Екатерининской эпохи, и какъ тотъ же вѣкъ отразился на поэзіи Державина, скажемъ,

что все сочинения Державина, вместе взятые, далеко не выражают в такой полноте и так рельефно русского XVIII века, как выражены он в превосходном стихотворении Пушкина «Къ Вельможѣ». Этот портрет вельможи старого времени — дивная реставрация руины в первобытный вид здания. Это могъ сдѣлать только Пушкинъ. Кромѣ его художнической способности переноситься всюду и во все по волѣ фантазіи своей, ему помогла и отдаленность его отъ того времени, представлявшагося ему в перспективѣ. Прошедшее всегда и виднѣе и понятнѣе настоящаго. Отъ Державина, какъ современника, нельзя и требовать такой мастерской картины русскаго XVIII вѣка, который много разнился отъ европейскаго XVIII вѣка. Эта разность вѣрно схвачена Пушкинымъ, в строкахъ —

..... И скромно ты внималъ  
За чашей медленной аею или деиству.  
Какъ любопытный Скиѣзъ аеинскому софисту.

Но Державинъ не могъ стать наравнѣ и съ этимъ Скиѣзомъ: онъ относится къ этому Скиѣзу, какъ тотъ Скиѣзъ къ аеинскому софисту. Лишенный всякаго образованія, не зная французскаго языка, Державинъ не былъ слишкомъ причастенъ ни нравственной порчѣ, ни истинному прогрессу того времени, и в сущности нисколько не понималъ его. Хвала добро того времени, онъ не прозрѣвалъ связи его со зломъ, и нападая на зло не провидѣлъ связи его съ добромъ.

Съ двухъ сторонъ отразился русскій XVIII вѣкъ в поэзіи Державина: это со стороны наслажденія и пировъ, и со стороны трагическаго ужаса при мысли о смерти, которая махнетъ косо — и

Гдѣ пиршествъ раздавались клики,  
Надробные тамъ воютъ лики.

Державинъ любилъ воспѣвать «умѣренность»; но его умѣренность очень похожа на гораціанскую, къ которой всегда примѣ-

шивалось фалернское... Бросимъ взглядъ на его прекрасную оду  
«Приглашеніе къ Обѣду».

Шексиниска стерлядь золотая,  
Кайманъ и борщъ уже стоятъ;  
Въ крафинахъ вина, пуншъ, блистая  
То льдомъ, то искрами манять;  
Съ курильницъ благовонья льются,  
Плоды среди корзины смѣются,  
Не смѣютъ слуги и дохнуть,  
Тебя стола вокругъ ожидая;  
Хозяйка статная, молодая,  
Готова руку протянуть.  
Приди, мой благодѣтель давній,  
Творецъ чрезъ двадцать лѣтъ добра!  
Приди — и домъ хоть ненарядный,  
Безъ рѣзбы, злата и серебра,  
Мой посѣти: его богатство —  
*Пріятный только вкусъ, опрятство,*  
И твердый мой, нелстивый нравъ.  
Приди отъ дѣлъ попрохладиться,  
Поѣсть, попить, повеселиться,  
Безъ вредныхъ здравію приправъ!

Какъ все дышетъ въ этомъ стихотвореніи духомъ того времени — и пиръ для милостивца, и умѣренный столъ, безъ вредныхъ здравію приправъ, но съ золотою шексинскою стерлядью, съ винами, которыя «то льдомъ, то искрами манять», съ благовоніями, которыя льются съ курильницъ, съ плодами, которые смѣются въ корзинкахъ, и особенно — съ слугами, которые не смѣютъ и дохнуть!... Конечно, понятіе объ «умѣренности» есть относительное понятіе, — и въ этомъ смыслѣ, самъ Лукуллъ былъ умѣренный человѣкъ. Нѣтъ, люди нашего времени искреннѣе: они любятъ и поѣсть и попить, и за столомъ любятъ поболтать не объ умѣренности, а о роскоши. Впрочемъ, эта «умѣренность» и для Державина существовала больше, какъ «пѣстическое украшеніе для оды». Но вотъ, словно

мимолетное облако печали, пробѣгаетъ въ веселой одѣ мысль о смерти:

И знаю я, что вѣкъ нашъ—тѣнь;  
Что лишь младенчество проводимъ,  
Уже ко старости приходимъ,  
*И смерть къ намъ смотритъ черезъ заборъ.*

Это мысль искренняя; но поэтъ въ ней же и находитъ способъ къ утѣшенію:

Увы! то какъ не умудриться,  
Хоть разъ цвѣтами не увѣться  
И не оставить мрачный взоръ?

За тѣмъ, опять грустное чувство:

Слыхалъ, слыхалъ я тайну эту,  
Что иногда грустить и царь;  
Ни ночь, ни день покоя нѣту,  
Хотя имъ вся покойна тварь,  
Хотя онъ громкой славой знатенъ.  
Но ах! и тронъ всегда ль пріятенъ  
Тому, кто вѣкъ свой въ хлопотахъ?  
Тутъ зрѣть обманъ, тамъ зрѣть упадокъ:  
*Какъ бѣдный часовой тотъ жалокъ,  
Который вѣчно на часахъ!*

Но не бойтесь: грустное чувство не овладѣетъ ходомъ оды, не окончитъ ея элегическимъ аккордомъ, — что такъ любить наше время; поэтъ опять находитъ поводъ къ радости въ томъ, что на минуту повергло его въ унылое раздумье:

И такъ, доколь еще не настѣе  
Не помрачаетъ красныхъ дней,  
И приглубливаетъ счастье  
И гладитъ насъ рукой своей;  
Доколь не пришли морозы,  
Въ саду благоухаютъ розы,—  
Мы поспѣвшимъ ихъ обонять.  
Такъ! будемъ жизнью наслаждаться,

И тѣмъ, чѣмъ можемъ утѣшаться, —  
По платью ноги протягать,

Заключеніе оды совершенно неожиданно, и въ немъ видна характеристическая черта того времени, непременно требовавшего, чтобы сочиненіе оканчивалось моралью. Поэтъ нашего времени кончилъ бы эту піесу стихомъ: «по платью ноги протягать»; но Державинъ прибавляетъ:

А если ты, нѣ кто другіе  
Изъ званныхъ милыхъ мнѣ гостей,  
Чертоги предпочтя златые  
И яства сахарны царей,  
Ко мнѣ не срядитесь откушать,  
Извольте вы мой толкъ прослушать:  
Блаженство не въ лучахъ порфирѣ,  
Не въ вкусѣ яствъ, не въ нѣгѣ слуха,  
Но въ здравьи и въ спокойствіи духа.  
Умѣренность есть лучший пиръ.

Ту же мысль находимъ мы во многихъ стихотвореніяхъ Державина; но съ особенною рѣзкостью высказалась она въ одѣ «Къ Первому Сосѣду», одномъ изъ лучшихъ произведеній Державина.

Кого роскошными пирами,  
На влажныхъ невскихъ островахъ,  
Между тѣнистыми древами,  
На муравѣ и на цвѣтахъ,  
Въ шатрахъ персидскихъ, златошвенныхъ,  
Изъ глинъ китайскихъ драгоценныхъ,  
Изъ вѣнскихъ чистыхъ хрусталей, —  
Кого столь славно угощаешь,  
И для кого ты расточаешь  
Сокровища казны твоей?  
Гремитъ музыка; слышны хоры,  
Вкругъ лакомыхъ твоихъ столовъ,  
Сластей и ананасовъ горы,  
И множество другихъ плодовъ  
Прельщаютъ чувства и питаютъ;



Младая дѣвы угощаютъ,  
 Подносятъ вина чередой —  
 И азіатико съ шампанскимъ,  
 И пиво русское съ британскимъ  
 И мозель съ зельтерской водой.  
 Въ вертепѣ мраморномъ, прохладномъ,  
 Въ которомъ лется водоскатъ,  
 На ложѣ розъ благоуханномъ,  
 Средь нѣги, лѣни и отрады,  
 Любовью распаленный страстной,  
 Съ молодой, веселою, прекрасной  
 И съ нѣжной нимфой ты сидишь.  
 Она поетъ, — ты страстью таешь,  
 То съ ней въ весельи утопаешь,  
 То, утомленъ всецѣлемъ, спишь.

Сколько въ этихъ стихахъ одушевленія и восторга, свидѣтельствующихъ о личномъ взглядѣ поэта на пиршественную жизнь такого рода! Въ этомъ видѣнъ духъ русскаго XVIII вѣка, когда великолѣпіе, роскошь, пиры, казалось, составляли цѣль и разгадку жизни. Со всѣми своими благоразумными толками объ «умѣренности», Державинъ невольно, можетъ-быть, часто безсознательно, вдохновляется восторгомъ при изображеніи картинъ такой жизни, — и въ этихъ картинахъ гораздо больше искренности и задуховенности, чѣмъ въ его философскихъ и нравственныхъ одахъ. Видно, что въ первыхъ говоритъ душа и сердце; а во вторыхъ — резонёрствующій холодный разсудокъ. И это очень естественно: поэтъ только тогда и искрененъ, а слѣдовательно только тогда и вдохновененъ, когда выражаетъ непосредственно присущія душѣ его убѣжденія, корень которыхъ растетъ въ почвѣ исторической общественности его времени. Но, какъ мы замѣтили прежде, — пиршественная жизнь была только одною стороною того времени; на другой его сторонѣ вы всегда увидите грустное чувство отъ мысли, что нельзя же вѣкъ пировать, что переверотъ колеса фортуны, или безпощадная смерть положить же, рано или поздно, конецъ

этой прекрасной жизни. И потому, остальная половина этой прекрасной оды растворена грустнымъ чувствомъ, которое, однакоже, не только не вредитъ внутреннему единству оды, но въ себѣ-то именно и заключаетъ его причину, ибо оно, это грустное чувство, является необходимымъ слѣдствіемъ того весело-восторженнаго праздничнаго чувства, которое высказалось въ первой половинѣ оды.

Ты спишь — и сонъ тебѣ мечтаетъ,  
 Что въ вѣкъ благополученъ ты;  
 Что само небо разсыпаетъ  
 Блаженства вокругъ тебя цвѣты;  
 Что парка дней твоихъ не косить;  
 Что откупъ вновь тебѣ приносить  
 Сибирски горы серебра,  
 И дождь златой къ тебѣ лѣтся.  
 Блаженъ, кто поутру проснется  
 Такъ счастливымъ, какъ былъ вчера!  
*Блаженъ, кто можетъ веселиться*  
*Безперерывно въ жизни сей!*  
 Но рѣдкому пловцу случится  
 Безбѣдно плавать средѣ морей:  
 Тамъ буры дышать непогоды,  
 Горамъ подобно гонять воды  
 И съ пѣною песокъ мутать.  
 Петрополь сосны остилали,  
 Но вихремъ пораженны пали:  
 Теперь корнями вверхъ лежать.  
 Непостоянство — доля смертныхъ;  
 Въ премѣнахъ вкуса — счастье ихъ;  
 Среди утѣхъ своихъ несметныхъ  
 Желаемъ мы утѣхъ иныхъ.  
 Придутъ, придутъ часы тѣ скучны,  
 Когда твои ланиты тучны  
 Престанутъ граціи трепать;  
 И, можетъ-быть, съ тобой въ разлукѣ,  
 Твоя ужъ Пенелопа въ скукѣ  
 Коверъ не будетъ распускать;  
 Не будетъ, можетъ-быть, лелѣять  
 Судьба ужъ болѣе тебя,

И вѣтръ благопріятный вѣять  
Въ твой парусъ: — берегъ себя!

Въ заключительныхъ стихахъ оды, Державинъ особенно вѣренъ духу своего времени:

Доколь текутъ часы златые  
И не приспѣли скорби злыя, —  
*Пей, пий и веселись, сосѣдь!*  
*На свѣтъ жить намъ время срочно;*  
Веселье то лишь непорочно,  
Раскаянья за конемъ нѣтъ.

Чувство наслажденія жизнію принимало иногда у Державина характеръ необыкновенно пріятный и граціозный, — какъ въ этомъ прелестномъ стихотвореніи — «Гостю», дышущемъ, кромѣ того, боярскимъ бытомъ того времени:

Сядь, милый гость, здѣсь на пуховомъ  
Диванѣ мягкомъ отдохни;  
Въ семь тонкомъ пологу перловомъ,  
И въ зеркалахъ вокругъ, усни:  
Вздремни послѣ стола немножко;  
Пріятно часикъ похрапѣть;  
Златой кузнечикъ, сѣра мошка,  
Сюда не могутъ залетѣть.  
Случится, что изъ сновъ прелестныхъ  
Приснится здѣсь тебѣ какой:  
Хоть кладъ изъ облаковъ небесныхъ  
Златой посыплется рѣкой,  
Хоть дѣвушки мои домашни  
Рукой тебѣ махнутъ, — я радъ:  
Любовныя пріятны шашни,  
И поцалуй въ сей жизни кладъ.

Итакъ, вотъ созерцаніе, составляющее основной элементъ поэзіи Державина; вотъ гдѣ и вотъ въ чемъ отразился на русскомъ обществѣ XVIII вѣкъ; и вотъ гдѣ является Державинъ выразителемъ русскаго XVIII вѣка. И ни въ одномъ изъ его стихотвореній этотъ мотивъ не высказался съ такою полнотою идеи, такою торжественностію тона, такою полѣтистостью

и яркостію фантазіи и такимъ громозвучіемъ слова, какъ въ его превосходной одѣ «На смерть князя Мещерскаго», которая вмѣстѣ съ «Водопадомъ» и «Фелицею», составляетъ ореолъ поэтическаго генія Державина, — лучшее изъ всего, написаннаго имъ. Несмотря на нѣкоторую напряженность, на нѣсколько риторическій тонъ, составлявшія необходимое условіе и неизбѣжный недостатокъ поэзіи того времени, — сколько величія, силы, чувства, и сколько искренности и задушевности въ этой чудной одѣ! Да и какъ не быть искренности и задушевности, если эта ода — исповѣдь времени, вопль эпохи, символъ ея понятій и убѣжденій! Какъ колоссаленъ у нашего поэта страшный образъ этой безпощадной смерти, отъ роковыхъ когтей которой не убѣгаетъ никакая тварь! Сколько отчаянія въ этой характеристикѣ вооруженнаго косою скелета: и монархъ и узникъ — снѣдъ червей; злость стихій пожираетъ самыя гробницы; даже славу зіяетъ стереть время; словно быстрыя воды льются въ море — льются дни и годы въ вѣчность; царства глотаетъ алчная смерть; мы стоимъ на краю бездны, въ которую должны стремглавъ низринуться; съ жизнію получаемъ и смерть свою — родимся для того, чтобъ умереть; все разить смерть безъ жалости:

И звѣзды ею сокрушатся,  
И солнца ею потухнутъ,  
И всѣмъ мірамъ она грозитъ!

Отъ этого страшнаго міросозерцанія, потрясенный отчаяніемъ духъ поэта обращается уже собственно къ человѣку, о жалкой участи котораго онъ прежде слегка намекнулъ:

Не мнитъ лишь смертный умирать  
И быть себя онъ вѣчнымъ чаеъ, —  
Приходитъ смерть къ нему, какъ тать,  
И жизнь внезапно похищаетъ.  
Увы! гдѣ меньше страха намъ,

Тамъ можетъ смерть постичь скорѣе;  
Ея и громы не быстрѣе  
Слетаютъ къ гордымъ вышинамъ.

Что же навело поэта на созерцаніе этой страшной картины жалкой участи всего сущаго и человѣка въ особенности? — Смерть знакомаго ему лица. Кто же было это лицо — Потемкинъ, Суворовъ, Безбородко, Бецкій, или другой кто изъ историческихъ дѣйствователей того времени? — Нѣтъ: то былъ —

Сынъ роскоши, прохлады и нѣтъ?

О, XVIII вѣкъ! о, русскій XVIII вѣкъ!...

*Сынъ роскоши, прохлады и нѣтъ,  
Куда, Мещерскій, ты сокрылся?  
Оставилъ ты сей жизни брегъ,  
Къ брегамъ ты мертвыхъ удался:  
Здѣсь персть твоя, а духа нѣтъ.  
Гдѣ жь онъ? — онъ тамъ. — Гдѣ тамъ? — не знаемъ.  
Мы только плачемъ и зываемъ:  
О горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!*

Вникните въ смыслъ этой строфы — и вы согласитесь, что это вопль подавленной ужасомъ души, крикъ нестерпимаго отчаянія... А между тѣмъ, исходнымъ пунктомъ этого страшнаго созерцанія жалкой участи человѣка — не иное что, какъ смерть богача. Можно подумать, что бѣднякъ, умершій съ голоду, среди оборванной семьи, въ предсмертной агоніи просящей хлѣба, — не возбудилъ бы въ поэтѣ такихъ горестныхъ чувствъ, такихъ безотрадныхъ воплей. Что дѣлать! у всякаго времени своя болѣзнь и свой недостатокъ. Время наше лучше прошлаго, а не мы лучше отцовъ нашихъ; если мотивы нашихъ страданій выше и благороднѣе, если ропотъ отчаянія вырывается изъ стѣсненной, сдавленной груди нашей не при видѣ богача, умершаго отъ индигестіи, а при видѣ непризнаннаго таланта, страждущаго достоинства, сраженнаго благороднаго стремленія, несбывшихся порывовъ къ великому и прекрасному.

*Утѣхи, радость и любовь ,  
 Гдѣ купно съ здравіемъ блистали,  
 У всѣхъ тамъ цѣпенѣтъ кровь  
 И духъ мятется отъ печали:  
 Гдѣ столъ былъ яствъ — тамъ гробъ стоитъ,  
 Гдѣ пиршествъ раздавались клики —  
 Надгробные тамъ воютъ лики,  
 И блѣдна смерть на всѣхъ глядитъ...*

Здѣсь опять непосредственнымъ источникомъ отчаянія — противоположность между утѣхами, радостію, любовію и здравіемъ и между зрѣлищемъ смерти, между столомъ съ яствами и столомъ съ гробомъ, между кликами пиршествъ и воемъ надгробныхъ ликовъ... Дѣти пировали за столомъ — грянулъ громъ и обратилъ въ прахъ часть собесѣдниковъ: остальные въ ужасѣ и отчаяніи... И какъ не быть имъ въ ужасѣ, когда ихъ поразила ужасная мысль: къ чему же и пиры, если и ими нельзя спастись отъ смерти, — а безъ пировъ къ чему же и жизнь?... Да, наше время лучше времени отцовъ нашихъ... Если хотите, и мы жадно любимъ пиры, и многіе изъ насъ только и дѣлаютъ, что пируютъ; но счастливы ли они пирами своими? Увы, пиры никогда не прерывались и съ усердіемъ продолжаются и въ наше время, — это правда; но отчего же это уныніе, это чувство тяжести и утомленія отъ жизни, эти изнуренныя, блѣдныя лица, омраченныя тоскою и заботою, этотъ —

.....Увядшій жизни цвѣтъ  
 Безъ малаго въ восемнадцать лѣтъ?...

Нѣтъ, намъ жалки эти веселенькіе старички, упрекающіе насъ, что мы не умѣемъ веселиться, какъ веселились въ старые, давніе годы...

И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,  
 Ихъ добросовѣстный, ребяческій развратъ...

Говоря о невѣрности и скоротечности жизни человека, поэтъ

обращается къ себѣ самому, — и его слова полны вдохновен-  
ной грусти:

Какъ сонъ, какъ сладкая мечта,  
Исчезла и моя ужъ младость;  
Не сильно нѣжить красота,  
Не столько восхищаетъ радость,  
Не столько легкомысленъ умъ,  
Не столько я благополученъ;  
Желаніемъ честей размученъ,  
Зоветь, я слышу, славы шумъ.

И такъ, вотъ новое обольщеніе на вечерней зарѣ дней поэта;  
но, увы! его разочарованное чувство уже ничему не довѣря-  
етъ, — и онъ восклицаетъ въ порывѣ грустнаго негодованія:

Но такъ и мужество пройдетъ,  
И вмѣстѣ къ славѣ съ нимъ стремленье;  
Богатствъ стяжаніе минетъ  
И въ сердцахъ всѣхъ страстей возненье  
Прейдетъ, преидетъ въ чреду свою.  
Подите счастья прочь возможны!  
Вы всѣ прехвѣтны и ложны:  
Я въ дверяхъ вѣчности стою!

Казалось бы, что здѣсь и конецъ одѣ; но поэзія того времени  
страхъ какъ любила выводы и заключенія, словно послѣ поряд-  
ковой хрип, гдѣ въ концѣ повторялось, другими словами, уже  
сказанное въ предложеніи и приступѣ. И такъ, какой же выводъ  
сдѣлалъ поэтъ изъ всей своей оды? — посмотримъ:

Сей день, иль завтра умереть,  
Перфильевъ, должно намъ конечно:  
Почто жъ терзаться и скорбѣть,  
Что смертный другъ твой жилъ не вѣчно?  
Жизнь есть небесъ мгновенный даръ:  
*Устрой ее себѣ къ покою.*  
И съ чистою твоей душою  
Благословляй судьбѣ ударъ.

Видите ли: поэтъ остался вѣренъ духу своего времени и са-

шому себѣ: оно, конечно, тяжело, а все-таки не худо подумать о томъ, чтобъ жизнь-то устроить себѣ къ покою... Не таковы поэты нашего времени, не таковы и страданія ихъ; вотъ какъ живописалъ картину отчаянія одинъ изъ нихъ:

То было тьма безъ темноты;  
 То было бездна пустоты,  
 Безъ протяженья и границъ;  
 То были образы безъ лицъ;  
 То страшный міръ какой-то былъ,  
 Безъ неба, свѣта и свѣтилъ,  
 Безъ времени, безъ дней и лѣтъ,  
 Безъ Промысла, безъ благъ и бѣдъ,  
 Ни жизнь, ни смерть — какъ сонмъ гробовъ,  
 Какъ океанъ безъ береговъ,  
 Задавленный тяжелой мглой,  
 Недвижный, темный и нѣмой.

Прочитавъ такіе стихи, право, потеряешь охоту устроить жизнь себѣ къ покою...

Мысль о скоротечности и преходящности всего существующаго тяготила Державина. Она высказывается во многихъ его стихотвореніяхъ, и ее же слились выразить хладѣющіе персты умирающаго поэта, въ этихъ послѣднихъ стихахъ его:

Рѣка временъ въ своемъ стремленьи  
 Уноситъ всѣ дѣла людей,  
 И топить въ пропасти забвенья  
 Народы, царства и царей.  
 А если что и остается  
 Черезъ звуки лиры и трубы,  
 То вѣчности жерлою пожрется —  
 И общей не увидѣть судьбы!

Мысль эта также принадлежала XVIII вѣку, когда не понимали, что проходятъ и мѣняются личности, а духъ человѣческій живетъ вѣчно. Идея о прогрессѣ еще только возникала; когда немногіе только умы понимали, что въ потокѣ времени тонуть формы, а не идея, преходятъ и мѣняются личности



человѣческія. И въ этой мысли о скоротечности и преходящности всего земнаго, такъ томившей Державина, такъ неразлучно жившей съ его душою, мы видимъ отраженіе на русское общество XVIII вѣка. Но здѣсь и конецъ этому отраженію: Державинъ совершенно чуждъ всего прочаго, чѣмъ отличается этотъ чудный вѣкъ. Впрочемъ, XVIII вѣкъ выразился на Руси еще въ другомъ писателѣ, не разсмотрѣвъ котораго нельзя судить о степени и характерѣ вліянія XVIII вѣка на русское общество: мы говоримъ о Фонъ-Визинѣ. Конечно, и на немъ вѣкъ отразился довольно поверхностно и ограничено; но въ другомъ характерѣ и другою стороною, чѣмъ на Державинѣ.

Чѣмъ разнообразнѣ произведенія поэта, тѣмъ болѣе критика должна заботиться объ опредѣленіи ихъ достоинства относительно однихъ къ другимъ. Въ этомъ случаѣ, критика должна принимать въ соображеніе, какія изъ произведеній поэта особенно нравились его современникамъ, какія особенно уважались ими; равнымъ образомъ, какими изъ своихъ произведеній особенно дорожилъ самъ поэтъ, или на какихъ онъ особенно основывалъ заслуги свои передъ искусствомъ. Но критика должна принимать къ свѣдѣнію подобныя обстоятельства и основывать на нихъ свое сужденіе тогда только, когда они не противорѣчатъ высшему критериуму достоинства всякихъ поэтическихъ произведеній, то-есть — искренности ихъ и душевности. Случается иногда, что поэтъ, по духу своего времени, особенно дорожитъ самыми холодными и сухими своими произведеніями, въ которыхъ участвовалъ одинъ разсудокъ, и нисколько не участвовали чувство и фантазія. То же случается и въ отношеніи къ современникамъ поэта. Въ эту ошибку обыкновенно вводитъ ихъ содержаніе, или предметъ произведенія. Они не думаютъ о томъ, что предметъ стихотворенія можетъ быть важенъ, великъ, даже священъ, а само стихотвореніе тѣмъ не менѣе можетъ быть очень плохо. Такъ, наприимѣръ,

никто не станет спорить, чтобъ содержаніе «Александрюды» г. Свѣчина не было неизмѣримо выше содержанія «Руслана и Людмилы», или «Графа Нулина» Пушкина; но никто также не станетъ спорить, что «Русланъ и Людмила» и «Графъ Нулинъ» — прекрасныя поэтическія произведенія, а «Александрюда» — образецъ бездарности и ничтожности. Въ первомъ томѣ «Русской Бесѣды» напечатана большая ода Державина «Слѣпой Случай», мысль которой — несомнѣнность личнаго безсмертія, — и тогда же нѣкоторые изъ господъ-сочинителей какого-то плохаго періодическаго изданія раскричались объ этой новонайденной одѣ, словно о новооткрытой Коломбою Америкѣ. Они увидѣли въ этой одѣ величайшее созданіе величайшаго поэта, не замѣтивъ, какъ люди безъ эстетическаго чувства, что дѣльная и высокая мысль этой оды высказана до крайности плохими стихами, и что, по своей поэтической отдѣлкѣ и самому расположенію мыслей, вся эта ода очень похожа на школьное риторическое упражненіе, холодное, сухое и общими мѣстами наполненное. Таковы почти всѣ Державинскія переложенія псалмовъ: мало сказать, что они ниже своего предмета — можно сказать, что они рѣшительно недостойны своего высокаго предмета, — и кто знакомъ съ прозаическимъ переложеніемъ псалмовъ, какъ на древне-церковномъ, такъ и на рускомъ языкѣ, — тотъ въ переложеніяхъ Державина не узнаетъ высокихъ, боговдохновенныхъ гимновъ порфироснаго пѣвца Божія. Исключеніе остается только за переложеніемъ 84-го псалма «Властителемъ и Судіямъ», въ которомъ талантъ Державина умѣлъ приблизиться къ высотѣ подлинника:

Возсталъ всевышній Богъ, да судить  
Земныхъ боговъ во сонмѣ ихъ.  
«Доколы», рекъ: «доколы вамъ будетъ  
Щадить неправедныхъ и злыхъ.  
Вашъ долгъ есть: охранять законы,  
На лица сильныхъ не взирать;

Безъ помощи, безъ обороны  
 Сиреть и вдовъ не оставлять.  
 Вашъ долгъ: спасти отъ бѣдъ невинныхъ,  
 Несчастливымъ подать покровъ;  
 Отъ сильныхъ защищать безсильныхъ,  
 Исторгнуть бѣдныхъ изъ оковъ.  
 Не внемлютъ! — видать и не знаютъ!  
 Покрыты мглою очеса;  
 Злодѣйствы землю потрясаютъ,  
 Неправда зыблетъ небеса.

Переложенія псалмовъ и подражанія имъ, въ собраніяхъ сочиненій Державина, обыкновенно помѣщаются вмѣстѣ съ его одами духовнаго и нравственнаго содержанія, и вмѣстѣ съ ними образуютъ какъ-бы особенный отдѣлъ Державинской поэзіи. Весь этотъ отдѣлъ, обыкновенно высоко цѣнимый критиками добраго стараго времени, отличается одними и тѣми же качествами: длиннотою, вялостію, водяностію и плохими стихами. Рѣдко, рѣдко вспыхиваютъ въ одахъ этого отдѣла искорки поэзіи. Одна изъ этихъ одъ очень и очень замѣчательна по поэтическимъ мѣстамъ и даже по высотамъ мыслей; но неопредѣленность идеи цѣлаго повредила и поэтическому достоинству цѣлаго. Мы говоримъ объ одѣ «Безсмертіе Души». Явно, что поэтъ смѣшалъ въ ней два совершенно различныя понятія — безсмертіе идеи, не умирающей въ преходящихъ фактахъ, и личное безсмертіе человѣка, или безсмертіе души. Оттого, въ одной одѣ очутилось двѣ оды, несвязанныя внутреннимъ единствомъ, перебитыя и перемѣшанные одна съ другою. И что же? — тѣ строфы этой оды, въ которыхъ проблескиваетъ первая идея, столько исполнены поэзіи и мысли, сколько строфы, выражающія вторую мысль, прозаичны и поверхностны. Говоря о прекрасныхъ мѣстахъ оды «Безсмертіе Души», нельзя не указать на 8, 17, 18 и 19 строфы.

За то, нѣкоторыя изъ одъ духовнаго и нравственнаго содержанія поражаютъ невообразимыми странностями. Кто бы,

напримѣръ, подумалъ что вотъ эти стихи — Державина, а не Тредьяковского:

Какъ птица въ ягль унывна,  
Оставлена на здѣ *(на кровль)*.  
Иль схоженна, пустынна  
Сидяща на гнѣздѣ  
Въ нощи, въ лѣсу, въ тущобѣ.  
Лію стenanъемъ гуль.

А между тѣмъ это дѣйствительно стихи Державина изъ оды «Сѣтованье», начинающейся стихами:

Услышь, Творецъ, моленье  
И вопль моей души!

Но огромная — поэма, а не ода «Цѣленіе Саула» представляетъ собою примѣръ особенной нестройности. Она состоитъ болѣе, чѣмъ изъ 400 стиховъ, которые всѣ въ родѣ слѣдующихъ:

Внимаетъ пѣснь монархъ: но сила звуковъ, словъ,  
Такъ отъ него скользятъ, какъ лучъ отъ холма льдыа;  
Снѣдаетъ грусть его, мысль черная, печальна,  
Пѣвецъ то зрѣтъ — и, взявъ другихъ строй голосовъ,  
Поетъ ужъ хорошъ всѣмъ, но сонно, полутонно,  
Смятенію тартара, душѣ смятенной сходно.

И кто бы могъ думать, чтобъ за такими стихами слѣдовали вотъ какіе:

На пустыхъ высотахъ, на зыбяхъ Божій духъ  
Искони до вѣковъ въ тихой тѣмѣ возносился,  
Какъ орелъ надъ яйцомъ, подъ зародышемъ вокругъ  
Тварей всѣхъ теплотой, такъ крылами гнѣздился.  
Огнь, земля и вода, и весь воздухъ въ борьбѣ  
Межъ собой, внутри и внѣ, безпрестанно сражались,  
И лишь жизнь тѣмъ они всѣмъ являли въ себѣ,  
Что тамъ стучь, а тамъ трескъ, а тамъ блескъ прорывались;  
Громъ на громъ въ вышины, гуль на гуль въ глубины,  
Какъ катясь, какъ вратясь, даль и близъ оглушали;  
Бездны безднѣ, хляби хлябѣ, колебавъ въ тишинѣ  
Безъ устройствъ естество, ужась, мракъ представляли.

Впрочемъ, эти стихи, прекрасные и сильные, несмотря на свою грубую отдѣлку, суть единственный оазисъ въ песчаной пустынѣ этой поэмы.

Ода «Богъ» считалась лучшею не только изъ одъ духовнаго и нравственнаго содержанія, но и вообще лучшею изъ всѣхъ одъ Державина. Самъ поэтъ былъ такого же мнѣнія. Какимъ мистическимъ уваженіемъ пользовалась встарину эта ода, можетъ служить доказательствомъ нелѣпая сказка, которую каждый изъ насъ слышалъ въ дѣтствѣ, будто ода «Богъ» переведена даже на китайскій языкъ и, вышитая шелками на шитѣ, поставлена надъ кроватью богдыхана. И дѣйствительно, это одна изъ замѣчательнѣйшихъ одъ Державина, хотя у него есть много одъ и высшаго, сравнительно съ нею, достоинства.

Изъ одъ Державина нравственно-философическаго содержанія особенно замѣчательны сатирическія оды — «Вельможа» и «На счастье». При разсматриваніи первой, должно забыть эстетическія требованія нашего времени и смотрѣть на нее, какъ на произведеніе своего времени: тогда эта ода будетъ прекраснымъ произведеніемъ, несмотря на ея риторическіе приемы. Первые восемь строфъ просто превосходны, особенно вотъ эти:

Кумиръ поставленный въ позоръ,  
Несмысленную чернь плѣняетъ;  
Но коль художниковъ въ немъ взоръ  
Прямыхъ красотъ не ощущаетъ:  
Се образъ ложныя молвы,  
Се глыба грязи позлащенной!  
И вы безъ благости душевной  
Не всѣ ль, вельможи, таковы?

Не перлы перскія на васъ  
И не бразильскія звѣзды — ясны:  
Для возлюбившихъ правду глазъ  
Лишь добродѣтели прекрасны. —  
Онѣ суть смертныхъ похвала.

Калигула, твой конь въ сенатѣ  
Не могъ сіять, сіяя въ златѣ:  
Сіяютъ добрыя дѣла!

Осель всегда останется осломъ,  
Хотя осыпь его звѣздами;  
Гдѣ должно дѣйствовать умомъ,  
Онъ только хлопаетъ ушами.  
О, тщетно счастья рука,  
Противъ естественнаго чина,  
Безумца радить въ господина,  
Или въ шумиху дурака.

Какихъ ни вымышляй пружинъ,  
Чтобъ мужу бую умудриться,  
Не можно вѣкъ носить личинъ,  
И истина должна открыться.  
Когда не свергъ въ бояхъ, въ судахъ,  
Въ совѣтахъ царскихъ сопостатовъ:  
Всякъ думаетъ, что я Чупятовъ  
Въ мароккскихъ лентахъ и звѣздахъ.

Оставя скипетръ, тронъ, чертогъ,  
Бывъ странникомъ въ пыли и въ потѣ,  
Великій Петръ, какъ нѣкій Богъ,  
Блесталъ величествомъ въ работѣ:  
Почтенъ и въ рубищѣ герой!  
Екатерина въ низкой долѣ,  
И не на царскомъ бы престолѣ  
Была великою женой.

И впрямь, коль самолюбя лесть  
Не обуюла бъ умъ надменный:  
Что наше благородство, честь,  
Коль не изящности душевны?  
Я князь — коль мой сіяетъ духъ;  
Владѣлецъ — коль страстными владѣю;  
Боляринъ — коль за всѣхъ болѣю,  
Царю, закону, церкви другъ.

**Да, такіе стихи никогда не забудутся! Кромѣ замѣчательной  
силы мысли и выраженія, они обращаютъ на себя вниманіе**

еще и какъ отголосокъ разумной и нравственной стороны прошедшаго вѣка. Остальная и ббольшая часть оды отличается риторическими распространениями и добродушнымъ морализмомъ, который объ истинахъ въ родѣ дважды два — четыре говорить, какъ о важныхъ открытіяхъ. Впрочемъ, 10, 11 и 12-я строфы, изображающія вельможескую жизнь людей XVIII вѣка, отличаются значительнымъ поэтическимъ достоинствомъ. Въ одѣ «На Счастіе» видѣнъ русскій умъ, русскій юморъ, слышится русская рѣчь. Кромѣ разныхъ современныхъ политическихъ намековъ, въ ней много рѣзкихъ и удачныхъ юмористическихъ выходокъ, свидѣтельствующихъ какое-то добродушіе, какъ напримѣръ, это обращеніе къ счастію:

Катаешь кубаремъ весь міръ:  
Какъ рѣзвости твоей примѣровъ,  
Полна земля вся кавалеровъ,  
И цѣлый свѣтъ сталъ бригадиръ.

Тонко хваля Екатерину, поэтъ говоритъ:

Изволить царствовать правдиво,  
Не жечь, не рубить безъ суда;  
А развѣ кое-какъ вельможи,  
И такъ и сакъ, нахмура рожь,  
Тузять инова иногда.

Сатирически описывая свое прежнее счастіе, когда, бывало, все удавалось ему, и въ милости боярѣ, и въ любви, и въ игрѣ, и въ поэзіи, поэтъ очень забавно и вмѣстѣ колко жалуется на безвременье преклонныхъ лѣтъ своихъ:

А нынѣ пятьдесятъ мнѣ било;  
Полетъ свой счастье премѣнило;  
Безъ латъ я горе-богатырь;  
Прекрасный полъ меня лишь бѣситъ,  
Амуръ безъ перьевъ нетопырь.  
Едва вспорхнеть и носъ повѣситъ.  
Сокрылся и въ игрѣ мой кладъ:

Не страсти мной, какъ прежде музы:  
 Боле понадули пузы,  
 И я у всѣхъ сталъ виновать.

Умоля счастье снова осыпать его своими дарами, поэтъ остроумно подшучиваетъ надъ Горациемъ, обѣщаясь писать школярнымъ слогомъ:

*«Бѣatusъ — братъ мой, на волахъ  
 Собою самъ поля орющій,  
 Или стада свои пасущій!»*  
 Я буду восклицать въ пирахъ.

Къ числу, такихъ же одъ принадлежитъ и «Мой Истуканъ». Въ ней особенно замѣчательны нѣкоторыя черты характера поэта и его образа мыслей. Таковы два превосходнѣйшіе стиха:

Злодѣйства малаго мнѣ мало,  
 Большаго дѣлать не хочу.

Замѣчательна и слѣдующая строфа: поэтъ говоритъ, что ни за какія дѣла не стоилъ бы онъ кумира —

Не стоилъ бы: всѣ знаки чести,  
 Дозволены самимъ себѣ,  
 Плоды тщеславія и лести  
 Монархъ! постыдны и тебѣ.  
 Желаетъ хвалъ, благодаренья  
 Лишь низкая себѣ душа,  
 Живущая изъ награжденья:  
*По смерти слава хороша.*  
*Заслуги въ гробъ созрѣваютъ,*  
*Герои въ вѣчности сіяютъ!*

Доселѣ говорили мы о Державинѣ, какъ о русскомъ поэтѣ, въ извѣстной степени и въ извѣстномъ характерѣ отразившемъ на себѣ XVIII вѣкъ, въ той степени, въ какой отразило его на себѣ тогдашнее русское общество. Теперь намъ слѣдуетъ показать Державина, какъ пѣвца Екатерины, какъ представителя цѣлой эпохи въ исторіи Россіи. Царствованіе Екатерины



Великой, послѣ царствованія Петра Великаго, было второю великою эпохою въ русской исторіи. Доселѣ для него еще не наставало потомства. Мы, люди настоящей эпохи, такъ близки къ временамъ Екатерины, что не можемъ судить о нихъ безпристрастно и вѣрно. Эта близость лишаетъ насъ возможности видѣть ясно и опредѣленно то, что обнаруживается только въ одной исторической перспективѣ, на достаточномъ отдаленіи. И потому, мы, съ одной стороны, слишкомъ увлекаемся громомъ побѣдъ, блескомъ завоеваній, многосложностію преобразованій, множествомъ людей замѣчательныхъ, и не видимъ изъ-за всего этого, внутренняго быта того времени. Съ другой стороны, справедливо гордясь нашимъ общественнымъ и гражданскимъ счастіемъ, мы, можетъ-быть, слишкомъ строго судимъ лести, низкопоклонство, патронажество, милостивцевъ и отцовъ-благодѣтелей, составлявшихъ характеристику быта того времени. Мы не можемъ живо представить себѣ тогдашняго историческаго положенія Россіи, того рѣзкаго контраста между тираніею Бирона и труднымъ, но безплодной, хотя и блистательной войнѣ съ Пруссіею, временемъ, — и между царствованіемъ Екатерины — этою эпохою блестящихъ и великихъ дѣлъ, мудрыхъ преобразованій, разумнаго и гуманнаго законодательства, котораго основою было: «лучше простить десять виновныхъ, чѣмъ наказать одного невиннаго», — возникшаго просвѣщенія и возникавшей литературы, какъ плодовъ нравственнаго простора, смѣнившаго удушающую тѣсноту, какъ творенія мудрости и благости, воцарившейся на тронѣ. Близкіе къ тѣмъ временамъ, мы такъ далеки отъ нихъ усовершенствованіями всякаго рода, такъ горды и такъ счастливы великими успѣхами двухъ послѣднихъ царствованій, что не можемъ смотрѣть на наше прошедшее, не сравнивая его съ настоящимъ, — а это сравненіе, разумѣется, выгодно для настоящаго. И потому, намъ теперь должно не столько судить объ эпохѣ Ека-

терины-Великой, сколько изучать ее, чтобъ приобрѣсти данныя для сужденія о ней. Къ числу такихъ данныхъ, безъ сомнѣнія, принадлежатъ свидѣтельства современниковъ, — а всѣмъ извѣстно, какъ великъ былъ ихъ энтузіазмъ къ своему времени и творцу его — Екатеринѣ. Здѣсь мы говоримъ о царствованіи Екатерины только въ отношеніи къ поэзіи. Поэзія Державина — самое живое и самое вѣрное свидѣтельство того, до какой степени эта эпоха была благопріятна поэзіи и до какой степени могла она дать поэзіи разумное содержаніе. Въ этомъ отношеніи, должно обращать вниманіе не на похвалы Екатеринѣ пѣвца ея, которыя, какъ похвалы современника, не могутъ имѣть той неоподозрѣваемой достовѣрности и искренности, какъ голосъ потомства; но здѣсь должно обращать вниманіе на ту свѣжесть, ту теплоту искренняго и задушевнаго чувства, которыми проникнуты гимны Державина Екатеринѣ, на тотъ смѣлый и благородный тонъ, которымъ они отличаются. Итакъ, намъ остается только выбрать тѣ строфы изъ разныхъ одъ его, которыя представляютъ особенно характеристическія черты громко и торжественно воспѣтаго имъ царствованія.

Ода «Фелица» — одно изъ лучшихъ созданій Державина. Въ ней полнота чувства счастливо сочеталась съ оригинальностію формы, въ которой видѣнъ русскій умъ и слышится русская рѣчь. Несмотря на значительную величину, эта ода проникнута внутреннимъ единствомъ мысли, отъ начала до конца выдержана въ тонѣ.

Олицетворяя въ себѣ современное общество, поэтъ тонко хвалитъ Фелицу, сравнивая себя съ нею и сатирически изображая свои пороки. Исповѣдь его заключается стихами:

Таковъ, Фелица, я развратенъ!  
Но на меня весь свѣтъ похожъ.

Не оставляя шуточного тона, необходимаго ему для того, чтобъ

похвалы Фелицѣ не были рѣзки, поэтъ забываетъ себя и такъ рисуеъ для потомства образъ Фелицы:

Едина ты лишь не обидишь,  
 Не оскорбляешь никого:  
 Дурачества оквозъ пальцы видишь,  
 Лишь зла не терпишь одного;  
 Проступки снисхожденьемъ правишь;  
 Какъ волкъ овецъ, людей не давишь, —  
 Ты знаешь прямо цѣну ихъ:  
 Царей они подвластны волгъ,  
 Но Богу правосудну болгъ,  
 Живущему въ законахъ ихъ.

.....

Неслыханное также дѣло,  
 Достойное тебя одной,  
 Что будто ты народу смѣло  
 О всемъ, и въявь, и подъ рукой,  
 И знать и мыслить позволяешь,  
 И о себѣ не запрещаешь  
 И быль и небыль говорить;  
 Что будто самымъ крокодиламъ,  
 Твоихъ всѣхъ милостей зонламъ,  
 Всегда склоняешься простить.

Стремятся слезъ пріятныхъ рѣки  
 Изъ глубины души моей.  
 О сколь счастливы человѣки  
 Тамъ должны быть судьбой своей,  
 Гдѣ ангелъ кроткій, ангелъ мирный,  
 Сокрытый въ свѣтлости порфирной,  
 Съ небесъ ниспосланъ скиптръ носить!  
 Тамъ можно пошептать въ бесѣдахъ  
 И, казни не боясь, въ объѣдахъ  
 За здравіе царей не пить.

Тамъ съ именемъ Фелицы можно  
 Въ строкѣ описку поскоблить,  
 Или портретъ неосторожно  
 Бя на землю уронить;  
 Тамъ свадьбы шутовскихъ не парять,

Въ ледовыхъ баняхъ ихъ не жарять,  
 Не щолкають въ усы вельможъ;  
 Князья насѣдками не клохчуть,  
 Любимцы въявь имъ не хохочуть,  
 И сажой не мараютъ рожь.

Ты вѣдаешь, Фелица, правы  
 И человѣковъ и царей:  
 Когда ты просвѣщаешь нравы,  
 Ты не дурачишь такъ людей;  
 Въ твои отъ дѣлъ отдохновенья  
 Ты пишешь въ сказкахъ поученья,  
 И Хлору въ азбукѣ твердишь:  
 «Не дѣлай ничего худаго —  
 И самого сатира злаго  
 Лжецомъ презрѣннымъ сотворишь».

**Заключительная строфа оды дышитъ глубокимъ благоговѣйнымъ чувствомъ.**

Прошу великаго пророка,  
 Да праха ногъ твоихъ коснусь,  
 Да словъ твоихъ сладчайша тока  
 И лицезрѣнья наслажусь!  
 Небесныя прошу я силы,  
 Да ихъ простря сафирны крылы,  
 Невидимо тебя хранить  
 Отъ всѣхъ болѣзней, золь и скуки,  
 Да дѣлъ твоихъ въ потомствѣ звуки,  
 Какъ въ небѣ звѣзды, возблестятъ.

Оду эту Державинъ писалъ не думая, чтобъ она могла быть напечатана; всѣмъ извѣстно, что она случайно дошла до свѣдѣнія государыни. Итакъ, есть и внѣшнія доказательства истинности этихъ, полныхъ души стиховъ:

Хвалы мои тебѣ пріятны,  
 Не мни, чтобъ шапки, иль бешмета  
 За нихъ я отъ тебя желалъ.  
 Почувствовать добра пріятство —  
 Такое есть души богатство,  
 Какого Крезъ не собиралъ.

Ода «Изображеніе Фелицы» растянута и разведена водою риторики; но въ ней есть превосходныя строфы въ pendant къ одѣ «Фелица», почему мы и выписываемъ ихъ здѣсь:

Припомни, чтобъ Она вѣщала  
Безчисленнымъ Ея ордамъ:  
«Я счастья вашего искала  
И въ васъ его нашла я вамъ:  
Ставь сами вы себѣ послушны,  
Живите, славьтесь въ мой вѣкъ,  
И будьте столь благополучны,  
Колико можетъ человекъ».

«Я вамъ даю свободу мыслить  
И разумѣть себя, цѣнить,  
Не въ рабствѣ, а въ подданствѣ числить,  
И въ ноги мнѣ челою не бить;  
Даю вамъ право безъ престоны  
Мнѣ ваши нужды представлять,  
Читать и знать мои законы,  
И въ нихъ ошибки замѣчать;

«Даю вамъ право собираться,  
И въ думахъ золото копить,  
Ко мнѣ послами отправляться  
И не всегда меня хвалить;  
Даю вамъ право безпристрастно  
Въ судьи другъ друга выбирать,  
Самимъ дѣла свои всевластно  
И начинать и окончать».

«Не воспрещу я стихотворцамъ  
Писать и чепуху и лести,  
Халдеямъ, новымъ чудотворцамъ  
Махать съ духами, пить и ѣсть;  
Но Я во всемъ, что лишь не злобно,  
Потшуся равнодушной быть;  
Великолѣпно и спокойно  
Мои благодѣянья лить».

.....  
Рекла бѣ! «Почто писать уставы,

Коль ихъ въ диванахъ не творять?  
Развратныя вельможей нравы —  
Народа цѣлаго разврать.

•  
Вашъ долгъ монарху, Богу, царству  
Служить и клятвой не играть;  
Неправдѣ, злобѣ, мздѣ, коварству  
Пути повсюду пресѣкать:  
Пристрастный судъ разбоя злѣе;  
Судьи — враги, гдѣ спитъ законъ:  
Предъ вами гражданина шея  
Протянута безъ оборонъ».

.....  
Представь, чтобъ всѣ царевна средства  
Въ пособіе себѣ брала  
Предупреждать народа бѣдства  
И сохранять его отъ зла;  
Чтобъ отворила всѣмъ дороги  
Черезъ почту письма къ ней писать;  
Велѣла бы въ свои чертоги  
Для объясненія допускать.

«Видѣніе Мурзы» принадлежитъ къ лучшимъ одамъ Державина. Какъ всѣ оды къ Фелицѣ, она написана въ шуточномъ тонѣ; но этотъ шуточный тонъ есть истинно высокій лирическій тонъ — сочетаніе, свойственное только Державинской поэзіи и составляющее ея оригинальность. Какъ жаль, что Державинъ не зналъ или не могъ знать, въ чемъ особенно онъ силенъ и что составляло его истинное призваніе. Онъ самъ свои риторически-высокопарныя оды предпочиталъ этимъ шуточнымъ, въ которыхъ онъ былъ такъ оригиналенъ, такъ народенъ и такъ возвышенъ, — тогда какъ въ первыхъ онъ и надуть и натянуть, и безцвѣтенъ. «Видѣніе Мурзы» начинается превосходною картиною ночи, которую созерцалъ поэтъ въ комнатѣ своего дома; поэтическая ночь настроила его къ пѣснопѣнію, и онъ воспѣлъ тихое блаженство своей жизни:

Что карлой онъ и великаномъ  
И дивомъ свѣта не рождень,  
И что не созданъ истуканомъ  
И оныхъ чтить не принуждёнъ.

Далѣе заключается превосходный, поэтически и ловко выраженный намекъ на подарокъ, такъ неожиданно полученный имъ отъ монахини, за оду «Фелица»:

Блаженъ и тотъ, кому царевны  
Какой бы ни было орды,  
Изъ теремовъ своихъ янтарныхъ  
И серебророзовыхъ свѣтлицъ,  
Какъ-будто изъ улусовъ дальныхъ,  
Украдкой отъ придворныхъ лицъ,  
За розказни, за растобары,  
За вирши, иль за что-нибудь,  
Изподтишка драгіе дары  
И въ досканцахъ червонцы шлютъ.

Явленіе гнѣвной Фелицы, во всѣхъ атрибутахъ ея царственного величія, прерываетъ мечты поэта. Фелица укоряетъ его за лесть; она говоритъ ему:

. . . . . Когда  
Поэзія не сумасбродство,  
Но вышній даръ боговъ: тогда  
Сей даръ боговъ, кромѣ лишь къ чести  
И къ поученью ихъ путей  
Быть долженъ обращенъ, — не къ лести  
И тѣнной похвалѣ людей.  
Владыки свѣта люди тѣ же,  
Въ нихъ страсти, хоть на нихъ вѣнцы;  
Ядъ лести имъ вредить не рѣже:  
А гдѣ поэты не лстецы?

Отвѣтъ поэта на укоры исчезнувшего видѣнія Фелицы дышитъ искренностію чувства, жаромъ поэзіи и заключаетъ въ себѣ и автобіографическія черты и черты того времени:

Возможно ль, кроткая царевна!  
 И ты къ мурзѣ чтобъ своему  
 Была сурова столь и гнѣвна,  
 И стрѣлы къ сердцу моему  
 И ты, и ты чтобы бросала,  
 И пламени души моей  
 Къ себѣ и ты не одобряла?  
 Довольно безъ тебя людей,  
 Довольно безъ тебя поэту,  
 За каждую мысль, за каждый стихъ,  
 Отвѣтствовать лихому свѣту,  
 И отъ сатиры щититься злыхъ!  
 Довольно золотыхъ кумировъ,  
 Безъ чувствъ мон что пѣсни чли;  
 Довольно кадіевъ, факировъ,  
 Которы въ зависти сочили  
 Тебѣ ихъ неприличной лестью;  
 Довольно нажилъ я враговъ!  
*Иной отнесъ себя къ безчестью,  
 Что не деруть его усовъ;  
 Иному показалось больно,  
 Что онъ наслѣдкой не сидитъ;  
 Иному очень своевольно  
 Съ тобой мурза твой говоритъ;*  
 Иной вѣнялъ мнѣ въ преступленьѣ,  
 Что я посланницей съ небесъ  
 Тебя быть мыслилъ въ восхищеньи  
 И лилъ въ восторгъ токи слезъ;  
 И словомъ: тотъ хотѣлъ арбуза,  
 А тотъ — соленыхъ огурцовъ;  
 Но пусть имъ здѣсь докажетъ жуза,  
 Что я не изъ числа льстецовъ;  
 Что сердца моего товаровъ  
 За деньги я не продаю,  
 И что не изъ чужихъ анбаровъ  
 Тебѣ наряды я крою;  
 Но, вѣнчѣнна добрѣтель!  
 Не лесть я пѣлъ и не мечты,  
 А то, чему весь міръ свидѣтель:  
 Твои дѣла суть красоты.  
*Я плъ, пою и плть ихъ буду,*



*И въ шуткахъ правду возвѣщу;  
 Татарски пѣсни изъ-подъ спуду,  
 Какъ лучъ потомству сообщу;  
 Какъ солнце, какъ луну поставлю  
 Твой образъ будущимъ въкамъ,  
 Превознесу тебя, прославлю;  
 Тобой безсмертенъ буду самъ.*

Пророческое чувство поэта не обмануло его: поэзія Державина, въ тѣхъ немногихъ чертахъ, которыя мы представили здѣсь нашимъ читателямъ, есть прекрасный памятникъ славнаго царствованія Екатерины II и одно изъ главныхъ правъ пѣвца на поэтическое безсмертіе.

Другое значеніе имѣютъ теперь для насъ торжественныя оды Державина. Въ нихъ онъ является болѣе офиціальнымъ, чѣмъ истинно вдохновеннымъ поэтомъ. Въ этомъ отношеніи, онѣ рѣзко отдѣляются отъ одъ, посвященныхъ Фелицѣ. И не мудрено: послѣднія имѣли корень свой въ дѣйствительности, а первыя были плодомъ похвального обычая согласовать лирный звонъ съ громомъ пушекъ и блескомъ плошекъ и шкаликовъ. Притомъ же, легче было чувствовать и понимать мудрость и благость монархини, чѣмъ провидѣть значеніе войнъ и побѣдъ ея, объясняющихся причинами чисто политическими. Политическіе вопросы тогда только могутъ служить содержаніемъ поэзіи, когда они вмѣстѣ и вопросы историческіе и нравственныя. Такова была великая война 1812 года, когда обѣ изъ тяжущихся сторонъ — и колоссальное могущество Наполеона и національное существованіе Россіи, сошлись рѣшить вопросъ: быть, или не быть! Побѣды надъ Турками, какъ бы ни блистательны были онѣ, могутъ дать прекрасное содержаніе для реляцій, но не для одъ. Сверхъ того, торжественныя оды Державина еще и потому утратили теперь свою цѣну, что самыя событія, породившія ихъ, намъ уже не могутъ казаться такими, какими видѣли ихъ современники. Типомъ всѣхъ тор-

жественныхъ одъ Державина можетъ служить ода «На Взятіе Варшавы». Она такъ всеѣмъ извѣстна, что мы не почитаемъ за нужное дѣлать изъ нея выписки. Ее можно раздѣлить на три части: первая изъ нихъ есть экстастическое изліяніе чувства удивленія къ Суворову и Екатеринѣ II. Дѣйствительно, вступленіе оды восторженно; но этотъ восторгъ весь заключается не въ мысляхъ, а въ восклицаніяхъ, и въ немъ есть что-то напряженное. Мѣсто, начинающееся стихомъ «Черная туча, мрачныя крыла» долго считалось въ нашихъ риторикахъ и пиітикахъ образцомъ гиперболы, какъ выраженія высочайшаго восторга: теперь эта гипербола можетъ служить образцомъ натянутого восторга, стихотворнаго крика — не больше. Поэтъ чувствовалъ самъ пустоту всеѣхъ этихъ громкихъ фразъ, и потому хотѣлъ, во второй части своей оды, занять умъ читателя какимъ нибудь содержаніемъ. Что же онъ сдѣлалъ для этого? — онъ показываетъ сонмъ русскихъ царей и вождей сидящій въ «небесномъ вертоградѣ, на злчныхъ холмахъ, въ прохладѣ благоуханныхъ рощъ, въ прозрачныхъ и радужныхъ шатрахъ»; передъ ними поетъ нашъ звучный Пиндаръ, Ломоносовъ, и его хвала пронзаетъ ихъ грудь, какъ молнія; въ ихъ «пунцовыхъ» устахъ «блистаетъ златъ медь», а на щекахъ играютъ зари; возлегши на «мягкихъ, зыблющихъ(ся)» перловыхъ облакахъ, они внимаютъ тихострунный хоръ небесныхъ арфъ и поющихъ дѣвъ (что однакожъ не мѣшаетъ имъ внимать и лирѣ нашего звучнаго Пиндара, Ломоносова): что это за языческая валгалла для христіанскихъ царей и вождей? Для этого подлуннаго міра стихи Ломоносова, конечно, имѣютъ свое значеніе; но безпрестанно слушать ихъ и на томъ свѣтѣ — воля ваша, скучно. Далѣе, поэтъ заставляетъ Петра Великаго проговорить рѣчь къ Пожарскому, и потомъ скрыться въ «сѣнь». Все это — голая риторика, свидѣтельствующая о затруднительномъ положеніи поэта, задавшаго себѣ воспѣть предметъ,

котораго идеи онъ не прочувствовалъ въ себѣ. Третья часть оды кончилась даже смѣшно плохими четверостишіями съ припѣвомъ къ каждому:

Славься симъ, Екатерина,  
О великая жена!

Въ первой части оды поэтъ называетъ своего героя, т. е. Суворова, «Александромъ по бранямъ»: сравненіе крайне неудачное! Можно называть Наполеона Цезаремъ, ибо въ жизни и положеніяхъ обоихъ этихъ лицъ было много общаго; но что же общаго между дѣйствительно великимъ полководцемъ русской монархини, превосходнымъ исполнителемъ ея политическихъ предначертаній, и между монархомъ-завоевателемъ, героемъ древняго міра, связавшимъ Востокъ съ Европою?... Вообще, Державинъ не умѣлъ хвалить Суворова: онъ восхищается только его непобѣдимостію, забывая, что этимъ были славны и Тамерланы и Атиллы, и что въ Суворовѣ было что-нибудь замѣчательное и кромѣ этого. Хвала Суворова, Державинъ долженъ былъ бы настроить лиру на тотъ чисто-русскій ладъ, которымъ воспѣвалъ онъ Фелицу; но онъ хотѣлъ видѣть своего героя въ риторической апофеозѣ, и потому въ его одахъ, Суворовъ не возбуждаетъ къ себѣ никакого сочувствія.

У Пушкина есть два стихотворенія, порожденные почти такимъ же событіемъ, какъ и ода Державина, о которой мы говоримъ. Даже по тону оба эти стихотворенія Пушкина напоминаютъ торжественную музу Державина; но какая же разница въ содержаніи! Пушкинъ поднимаетъ историческіе вопросы, говоря, что это —

. . . . . споръ Славянъ между собою,  
Домашній, старый споръ, ужъ взвѣшенный судьбою.

Пушкинъ не изрекаетъ оскорбительныхъ приговоровъ падшему врагу, но благородно, какъ представитель великой націи, восклицаетъ:

Въ бореньи падшій невредимъ;  
Враговъ мы въ прахъ не топтали;

. . . . .  
Они народной Немезиды  
Не узрять гнѣвнаго лица,  
И не услышать пѣснь обиды  
Отъ лиры русскаго пѣвца.

Оды «На Взятіе Измаила» и «Переходъ Альпійскихъ Горъ», по объему своему — цѣлыя поэмы, герой которыхъ — Суворовъ. О нихъ можно сказать то же, что и обо всѣхъ торжественныхъ одахъ Державина: онѣ исполнены вдохновенія, но риторическаго, и ихъ можно сравнить съ похвальными словами Ломоносова — много грома, много блеска, но мало души. И потому, въ чтеніи онѣ утомительны и даже скучны. Что корень ихъ былъ не въ жизни, не въ дѣйствительности, а въ піитикѣ и риторикѣ того времени, могутъ служить доказательствомъ эти стихи изъ оды «На Взятіе Измаила»:

*Злодѣйство что ни вымышляло,  
Поверглось, Россы, все на васъ!  
Зрю ядры, камни, варъ и бревны.*

Какъ! неужели защищать отчаянно крѣпость всѣми въ войнѣ употребляемыми средствами отъ осаждающихъ ее враговъ, отчаянно биться съ ними и честно умирать за свою вѣру и своего государя, есть злодѣйство?... О, нѣтъ! Державинъ этого не думалъ, но это требовалось высокимъ пареніемъ оды, по піитикѣ того времени. Впрочемъ, эта ода не безъ замѣчательныхъ частности, какъ напримѣръ, слѣдующая строфа:

*Чего не можетъ родъ сей славный,  
Любя царей своихъ, свершить?  
Умѣйте лишь, главы вѣнчанны,  
Его безцѣнну кровь щадить;  
Умѣйте дать ему вы льготу,  
Къ дѣламъ великимъ духъ, охоту,  
И правотой сердца плѣнить.*

Вы можете его рукою  
 Всегда, войной и не войною,  
 Весь міръ себя заставить чтить.  
 Война, какъ сѣверно сіянье,  
 Лишь удивляетъ чернь одну:  
 Какъ свѣтлой радуги блистанье,  
 Всякъ мудрый любитъ тишину.

Державинъ былъ пѣвцомъ всѣхъ замѣчательныхъ людей, которыми такъ богатъ былъ вѣкъ Екатерины; всѣхъ чаще и охотнѣе онъ пѣлъ Суворова — это былъ его любимый герой; но лучше всѣхъ воспѣлъ онъ Потемкина. И не мудрено: этотъ «кипящій замыслами умъ, не ходившій по пробитымъ дорогамъ, но пролагавшій ихъ самъ», былъ дивнымъ, поэтическимъ явленіемъ. Это не былъ любимецъ счастья, какъ привыкли величать его: счастье любить больше глупцовъ и дюжинныхъ людей, нежели гениевъ, — а Потемкинъ былъ гений, заставившій преклоняться передъ собою счастье. Это была натура одного типа съ Наполеоновскою: Потемкинъ могъ жить только въ замыслахъ и замыслами, и отсюда его апатія въ бездѣйствіи. Видѣть невозможность дѣйствовать — приговоръ къ смерти для такихъ людей. Каждый изъ нихъ хотѣлъ бы покорить всю землю, и палъ бы отъ своего успѣха, еслибы не нашелъ средства сдѣлать высадку на луну и взять ее приступомъ. Являясь во времена отживающаго историческаго міра, и не предчувствуя новаго, они дѣлаютъ себя центромъ всей вселенной, и падаютъ жертвами своего грандіознаго эгоизма. Такъ палъ и Наполеонъ. Нашъ русскій «сынъ судьбы» не могъ быть понять своимъ временемъ; но въ самыхъ его странностяхъ было что-то таинственно-высокое, и всѣ смотрѣли на него со страхомъ и любопытствомъ. Поэтическая натура Державина глубже другихъ прозрѣла въ тайникъ этого великаго духа, хотя вполне и не разгадала его — и «Водопадъ» остался навсегда свидѣтельствомъ этого поэтическаго полусознанія и одною изъ

лучшихъ одъ Державина. — Державинъ былъ пѣвцомъ царствующаго дома въ Россіи, и нельзя съ удивленіемъ не остановиться на его пророческихъ одахъ на рожденіе царственныхъ младенцевъ, въ послѣдствіи Александра благословеннаго и нынѣ благополучно царствующаго императора Николая. Кому не извѣстна прекрасная ода «На рожденіе на сѣверѣ порфиророднаго отрока»; въ ней есть, два стиха, невольно останавливающихъ на себѣ вниманіе изумленнаго читателя:

Будь страстей своихъ владѣтель,  
Будь на тронѣ челоѣкъ!

Другая пророческая ода Державина — «На крещеніе Великаго Князя Николая Павловича»; въ ней поражаютъ стихи:

Дитя равняется съ царями!  
Родителямъ по крови,  
По сану — исполнѣнь;  
По благодѣи, любви,  
Посвѣта властелинъ!  
Онъ будетъ, будетъ славенъ  
Душой Екатерины равенъ.

Державинъ пѣлъ воцареніе Александра и многія событія его царствованія, особенно событія 1812—1814 годовъ. Въ послѣднихъ, слышны уже слабѣющіе звуки нѣкогда громкой лиры; но въ одахъ, которыми онъ привѣтствовалъ новое благотворное свѣтило Руси, мѣстами проблескиваютъ искры поэзіи. Таково, наприимѣръ, начало оды «На восшествіе на престолъ императора Александра I-го»:

Вѣкъ новый! Царь молодой, прекрасный  
Пришелъ днесь къ намъ весны стезей!  
Мои предвѣстья велегласны  
Уже сбылись, сбылись судьбой.

Въ одѣ «Царевичу Хлору» старикъ Державинъ настроилъ свою музу на прежній ладъ, которымъ хвалилъ Екатерину, и вос-

пѣлъ Александра. Въ поэтическомъ отношеніи, эта ода далеко не то, что «Фелица» и кажется подраженіемъ ей; но по мыслямъ, по содержанію, эта одна изъ замѣчательнѣйшихъ одъ Державина. Ее стояло бы выписать здѣсь всю, до послѣдняго стиха. Она лучше всякихъ разсужденій показываетъ, въ какой связи находится поэзія съ положеніемъ общества. Но это была пѣснь лебедя: знаменитый и прославленный въ царствованіе Александра болѣе, чѣмъ въ царствованіе Екатерины, Державинъ былъ человѣкомъ, отжившимъ свой вѣкъ. Явленіе Крылова, Карамзина, Дмитріева, потомъ Озерова и наконецъ Жуковского и Батюшкова, показало, что въ обществѣ уже созрѣли новые элементы для поэзіи, и что, по мѣрѣ полноты этихъ элементовъ, являлись и пѣвцы разнообразныя, а не поющіе, какъ прежде, всѣ на одинъ голосъ. Это былъ успѣхъ времени, и не вина Державина, что онъ принадлежалъ къ другому вѣку и остался ему вѣренъ въ чуждомъ для него новомъ времени: онъ сдѣлалъ все, что могъ въ то время сдѣлать человѣкъ съ такимъ огромнымъ дарованіемъ. Не будь Екатерины, не было бы и Державина: цвѣты его поэзіи распустились отъ луча ея просвѣщеннаго вниманія. Этому вниманію онъ былъ обязанъ и своею славою: общество не нуждалось въ стихахъ Державина и не понимало ихъ, а имя его знало, дивясь, что за стихи даютъ и золотыя табакерки, и чины, и мѣста, дѣлаютъ вельможею бѣднаго и незнатнаго дворянина. Но таковъ ходъ идеи: она идетъ къ своей цѣли, даже и такими путями, которые, казалось бы, скорѣе отвели ее отъ цѣли, чѣмъ привели къ ней: простое любопытство многихъ незамѣтно познакомилось со стихами и пристрастило къ нимъ. И когда, чрезъ размноженіе училищъ и гимназій, чрезъ основаніе новыхъ университетовъ, въ царствованіе Александра, распространилось просвѣщеніе, тогда Державина стали читать, и узнали его, какъ поэта, а не только какъ знатнаго человѣка.

Во многих стихотвореніяхъ Державина, личный характеръ его какъ человѣка, является съ весьма хорошей стороны. Не смотря на то, что его вѣкъ былъ вѣкъ милостивцевъ, и что лесть и угодничество считались добродѣтелями, онъ льстилъ больше какъ риторъ, чѣмъ какъ поэтъ. Когда Суворовъ, въ отставку, передъ походомъ въ Италію, проживалъ въ деревнѣ безъ дѣла, Державинъ не боялся хвалить его печатно. Ода «На возвращеніе графа Зубова изъ Персіи» принадлежитъ къ такимъ же смѣлымъ его поступкамъ. «Водопадъ», написанный послѣ смерти Потемкина, есть, безъ сомнѣнія, столько же благородный, сколько и поэтический подвигъ. Судя по могуществу Потемкина, можно было бы предположить, что большая часть стихотвореній Державина посвящена его прославленію; но Державинъ, при жизни Потемкина, очень мало писалъ въ честь его. Онъ упоминаетъ о немъ въ одѣ «Осень, во время осады Очакова»; его воспѣлъ онъ подъ именемъ Рѣшмысла, прилично и скромно; есть еще ода, подъ названіемъ «Побѣдителю»: въ ней Потемкинъ превознесенъ превыше звѣздъ, довольно плохими стихами. Но вотъ и все: а это слишкомъ немного, даже слишкомъ мало для такого могущества, какое представляетъ собою Потемкинъ! Сверхъ того, въ отношеніи къ лести, нельзя строго судить Державина: онъ жилъ въ такіа торжественныя и хвалебныя времена, когда пѣть и льстить значило одно и то же, и когда никакая сила характера не могла спасти человѣка отъ необходимости уклоняться лестью отъ бѣдъ. Должно сказать правду: за многія дѣла и самый сатирикъ не можетъ не чтить Державина. Къ числу такихъ дѣлъ принадлежитъ его ода «Памятникъ Герою», написанная въ честь Рѣпинну, который находился въ то время подъ опалю у Потемкина, и который въ послѣдствіи очень дурно заплатилъ за нее поэту. По службѣ, въ дѣлѣ правосудія, Державинъ прослылъ даже «безпокойнымъ» человѣкомъ — эпитетъ, который, какъ



известно, дается только такимъ людямъ, которые безъ ужаса и негодованія не могутъ видѣть подлостей и несправедливостей. именемъ правосудія и закона совершаемыхъ ябедниками и крючкотворцами...

Чтобъ вѣрно характеризовать и опредѣлить значеніе Державина, какъ поэта, должно обратить вниманіе на его собственный взглядъ на поэзію и поэта. Въ артистической душѣ Державина пребывало глубокое предчувствіе великости искусства и достоинства художника. Это доказывается многими истинно-вдохновенными мѣстами въ его произведеніяхъ и даже превосходными отдѣльными стихотвореніями. Мы непремѣнно должны указать на нихъ, какъ на факты для сужденія о Державинѣ, какъ поэтѣ. Въ одѣ «Любителю художествъ», неудачной и даже странной въ цѣломъ, вниманіе мыслящаго читателя не можетъ не остановиться на слѣдующихъ стихахъ:

Боги взоръ свой отвращаютъ  
Отъ нелюбящаго музъ;  
Фурія ему влагаютъ  
Въ сердце чорство грубый вкусъ,  
Жажду злата и серебра.  
Врагъ онъ общаго добра!

Ни слеза вдовицы не тронетъ,  
Ни сиротъ несчастныхъ стонъ:  
Пусть въ крови вселенна тонетъ,  
Былъ бы счастливъ только онъ;  
Больше бъ собралъ серебра.  
Врагъ онъ общаго добра!

Напротивъ того, взираютъ  
Боги на любимца музъ;  
Сердце нѣжное влагаютъ  
И изящный нѣжный вкусъ:  
Всѣмъ душа его щедра.  
Другъ онъ общаго добра!

Еслибъ эти стихи прозаичностію и шероховатостію выраженія

не поражали нашего вкуса, избалованного изяществом новѣйшей поэзіи, ихъ можно было бы принять за переводъ изъ какой-нибудь піесы Шиллера въ древнемъ вкусѣ. Сознаніе высokaго своего призванія Державинъ выразилъ особенно въ трехъ піесахъ. Странная и не выдержанная въ цѣломъ піеса «Лебедь» есть какъ-бы прелюдія къ превосходному стихотворенію «Памятникъ»:

Необычайнымъ я пареньемъ  
Отъ тлѣна міра отдѣлюсь,  
Съ душой безсмертною и пѣнемъ,  
Какъ лебедь въ воздухъ поднимаюсь.

Въ двоякомъ образѣ нетлѣнный,  
Не задержусь въ вратахъ мытарствъ;  
Надъ завистью превознесенный,  
Оставлю подъ собой блескъ царствъ.

Да, такъ! хоть родомъ я не славенъ;  
Но, будучи любимецъ музъ,  
*Другимъ вельможамъ я не равенъ*  
*И самой смертью предпочтусь.*

Не заключитъ меня гробница,  
Средь звѣздъ не превращусь я въ прахъ,  
Но, будто нѣкая пѣвица,  
Съ небесъ раздамся въ голосахъ.

Затѣмъ, поэтъ воображаетъ, что его станъ обтягиваетъ пернатая кожа, на груди является пухъ, а спина становится крылата, и что онъ лоснится лебяжьей бѣлизною; въ видѣ лебедя паритъ онъ надъ Россією, и всѣ племена, населяющія ее указываютъ на него и говорятъ:

«Вотъ тотъ летитъ, что строя лиру,  
Языкомъ сердца говорилъ,  
И проповѣдуя миръ міру  
Себя всѣхъ счастьемъ веселилъ!»

Мысль изысканная и неловко выраженная; но послѣдній куплетъ очень замѣчательнъ:

Прочь съ пышнымъ, славнымъ погребеньемъ,  
 Друзья мои! Хоръ музъ, не пой!  
 Супруга! облекись терпѣньемъ!  
*Надъ мнимымъ жертвцомъ не вой!*

«Памятникъ» такъ хорошо извѣстенъ всѣмъ, что нѣтъ нужды выписывать его. Хотя мысль этого превосходнаго стихотворенія взята Державинымъ у Горація, но онъ умѣлъ выразить въ такой оригинальной, одному ему свойственной формѣ, такъ хорошо примѣнить ее къ себѣ, что честь этой мысли такъ же принадлежитъ ему, какъ и Горацію. Пушкинъ по-своему воспользовался, по примѣру Державина, примѣненіемъ къ себѣ этой мысли, въ собственной оригинальной формѣ. Въ стихотвореніи того и другаго поэта рѣзко обозначился характеръ двухъ эпохъ, которымъ принадлежатъ они: Державинъ говорить о безсмертіи въ общихъ чертахъ, о безсмертіи книжномъ; Пушкинъ говоритъ о своемъ памятникѣ: «Къ нему не заростетъ народная тропа», и этимъ стихомъ олицетворяетъ ту живую славу для поэта, которой возможность настала только съ его времени.

Не менѣе «Памятника» замѣчательно стихотворное посвященіе Державина Екатеринѣ II собранія своихъ сочиненій: оно дышетъ и благоговѣйною любовію поэта къ великой монархинѣ и пророческимъ сознаніемъ своего поэтическаго достоинства:

Что смѣлая рука поэзіи писала,  
 Какъ Бога истинну Фелицу во плоти  
 И добродѣтели твои изображала,  
 Дерзаю къ твоему престолу принести,  
 Не по достоинству изящнѣйшаго слога,  
 Но по усердію къ тебѣ души моей.  
 Какъ жертву чистую, возженную для Бога,  
 Прими съ небесною улыбкою твоей,  
 Прими и освяти своимъ благоволеньемъ,  
 И музъ будь моей подпорой и щитомъ,  
 Какъ жнѣ была и есть ты отъ клеветъ спасеньемъ.

Да веселясь она и съ бодрственнымъ челоуъ,  
 Пройдетъ сквозь тьму время и станетъ средь потомковъ,  
 Суда ихъ не страшась, твои хвалы вѣщать;  
 И алчный червь когда, межъ гробовыхъ обломковъ,  
 Оставшій будетъ прахъ костей моихъ глотать:  
 Забудется во мнѣ послѣдній родъ Багрима,  
 Мой вросшій въ землю домъ никто не посѣтитъ;  
 Но лира козь моя въ пыли гдѣ будетъ зрима  
 И древнихъ струнъ ея гдѣ голосъ прозвонитъ,  
 Подъ именемъ твоимъ громка она пребудетъ;  
 Ты славою — твоимъ я эхомъ буду жить.  
 Героевъ и пльцовъ вселенна не забудетъ;  
 Въ могилу буду я, но буду говорить.

И однакожъ, въ стихотвореніяхъ того же Державина есть мѣста, доказывающія, что онъ очень невысоко цѣнилъ поэзію и свое поэтическое призваніе. Такъ, въ одѣ «Фелица», онъ говорилъ:

Поэзія тебѣ любезна,  
 Приятна, сладостна, полезна,  
 Какъ льтоуъ вкусный лимонадъ.

Въ одѣ «Мой Истуканъ» онъ говоритъ:

. . . . . Мои бездѣлки  
 Безумно столько уважать,

и если считаетъ себя достойнымъ мраморнаго бюста, то развѣ за то, что воспѣвалъ Фелицу, а не за то, какъ воспѣвалъ ее, слѣдовательно, за предметъ, а не за талантъ пѣснопѣній. Такихъ мѣстъ много можно найти въ его стихотвореніяхъ. Сверхъ того, извѣстно всѣмъ, — да и есть стихотвореніе, подтверждающее этотъ фактъ («Храповицкому»), — что Державинъ свое чиновническое поприще считалъ выше, т. е. дѣльнѣе своего поэтическаго поприща.

Но что же все это доказываетъ? то ли, что Державинъ былъ измѣнчивъ въ своихъ мнѣніяхъ, или что онъ только въ сти-

хахъ, а не на дѣлѣ, высоко думалъ о стихотворствѣ? Ни то, ни другое! Въ этомъ видна нерѣшительность, неопредѣленность идеи поэзіи въ то время. Державинъ дѣйствительно въ разные времена думалъ о ней разнo: то приходилъ въ восторгъ отъ своего призванія, гордясь имъ въ свѣтломъ и вдохновенномъ сознаніи, то погружался въ уныніе при мысли о немъ, стыдясь его, какъ пустой забавы. Въ первомъ случаѣ, скрывалась его глубоко поэтическая натура; во второмъ высказывалось въ немъ общество нашего времени. Теперь всякій посредственный писака съ гордостію говоритъ о себѣ, что онъ литераторъ, или поэтъ, и находитъ добродушныхъ людей, которые, даже и подсмѣиваясь надъ нимъ, все-таки увиваются подлѣ него, чтобъ, при случаѣ, похвастать своимъ знакомствомъ или пріязнію съ литераторомъ и поэтомъ. Истинный талантъ теперь вездѣ и всегда смѣло можетъ назвать себя по имени; а гений, въ области поэзіи, теперь — сила и власть въ сферѣ общественнаго мнѣнія. Но это сдѣлалось не вдругъ, а постепенно. Державинъ не имѣлъ враговъ своему таланту: ему не могли простить не таланта, котораго не понимали, а полученныхъ имъ знаковъ почестей. Среди невѣждъ, и умному человѣку легко можетъ прійти въ голову мысль: ужь не онъ ли глупъ, и не эти ли люди умны, ибо какъ же могутъ ошибаться всѣ, и быть правъ одинъ?...

Вотъ откуда происходили противорѣчія Державина въ его понятіяхъ о поэзіи. Это можетъ служить ключомъ и ко множеству другихъ его противорѣчій. На иную прекрасную оду его можно расчитать нѣсколько плохихъ, какъ будто написанныхъ въ опроверженіе первой. Причина этого та, что не было общества не было общественнаго мнѣнія, — были только умныя личности, изрѣдка сталкивавшіяся другъ съ другомъ на необъятномъ пространствѣ. Всякая истинная поэзія есть идеальное зеркало дѣйствительности, а разумная сторона дѣйствительности

того времени выражалась только въ нѣкоторыхъ людяхъ, близкихъ къ монархизмѣ; но нѣсколько людей не составляютъ общества. Мы видѣли, что въ поэзіи Державина отразился XVIII вѣкъ, односторонно и слабо отразившійся на высшемъ кругѣ русскаго общества, — кругѣ, съ которымъ все остальное не имѣло ничего общаго, ни чѣмъ не было связано: а этого было слишкомъ мало, чтобъ дать такое содержаніе поэзіи, которое упрочило бы за нею безсмертіе. сообщивъ ей неумирающій отъ перемѣны нравовъ и отношеній интересъ. Мы видѣли, что Державинъ понималъ великую монархиню и вѣрно изобразилъ ее въ нѣсколькихъ чертахъ; но онъ выразилъ свое понятіе о ней, а не понятіе цѣлаго общества, которое не умѣло понимать тѣхъ благъ, которыми пользовалось, — и потому мы дивимся образу Екатерины только въ немногихъ стихотвореніяхъ Державина, и именно только въ тѣхъ, гдѣ изображалъ онъ ее подъ именемъ Фелицы. Ода его «Фелица» превосходна и въ цѣломъ и въ частностяхъ; такъ же прекрасно «Видѣніе Мурзы»; но въ «Изображеніи Фелицы» прекрасны только нѣкоторыя строфы. Торжественныя оды его потеряли весь свой интересъ для нашего времени. Такъ называемыя анакреонтическія оды Державина свидѣтельствуютъ о его артистической натурѣ; но ни содержаніе ихъ, всегда одностороннее и не глубокое, ни ихъ форма, всегда невыдержанная въ цѣломъ и плѣняющая только частностями, тоже не могутъ быть предметомъ эстетическаго наслажденія въ наше время. Драматическіе опыты его не стоятъ и упоминенія.

Мы уже доказали въ первой статьѣ, что, въ эстетическомъ отношеніи, поэзія Державина представляетъ собою богатый зародышъ искусства, но еще не есть искусство. Это блестящая страница изъ исторіи русской поэзіи, но еще не сама поэзія. Читая даже лучшія оды Державина, мы должны дѣлать надъ собою усиліе, чтобъ стать на точку зрѣнія его времени, относи-

тельно поэзіи, и должны научиться видѣть прекрасное во многомъ, что въ то время казалось безусловно прекраснымъ. И такъ, Державинъ и въ эстетическомъ отношеніи есть поэтъ историческій, котораго должно изучать въ школахъ, котораго стыдно не знать образованному Русскому, но который уже не можетъ быть и для общества тѣмъ же, чѣмъ можетъ и долженъ быть для людей, посвящающихъ себя основательному изученію роднаго слова, отечественной поэзіи. Ломоносовъ былъ предтечею Державина; а Державинъ — отецъ русскихъ поэтовъ. Если Пушкинъ имѣлъ сильное вліяніе на современныхъ ему и явившихся послѣ него поэтовъ, то Державинъ имѣлъ сильное вліяніе на Пушкина. Поэзія не рождается вдругъ, но, какъ все живое, развивается исторически: Державинъ былъ первымъ живымъ глаголомъ юной поэзіи русской. Съ этой точки зрѣнія должно опредѣлять его достоинства и его недостатки, — и съ этой точки зрѣнія его недостатки явятся такъ же необходимыми, какъ и его достоинства. Называть Державина русскимъ Пиндаромъ, Анакреономъ и Гораціемъ могли только во времена дѣтства нашей критики. Пиндара, Анакреона и Горація читаетъ весь просвѣщенный міръ на ихъ родныхъ языкахъ, и въ безчисленномъ множествѣ переложеній: въ Державинѣ ничего не найдетъ ни Французъ, ни Англичанинъ, ни Нѣмецъ. Богатырь поэзіи по своему природному таланту, Державинъ, со стороны содержанія и формы своей поэзіи, замѣчательнъ и важнъ для насъ, его соотечественниковъ: мы видимъ въ немъ блестящую зарю нашей поэзіи, а поэзія его — «это (какъ справедливо сказано въ предисловіи къ изданнымъ нынѣ его сочиненіямъ) сама Россія Екатеринина вѣка — съ чувствомъ исполинскаго своего могущества, съ своими торжествами и замыслами на востокъ, съ нововведеніями европейскими и съ остатками старыхъ предразсудковъ и повѣрій — это Россія пышная, роскошная, великолѣпная, убранная въ азіат-

скіе жемчуги и камни, и еще полудикая, полуварварская, полу-грамотная, — такова поэзія Державина, во всѣхъ ея красотахъ и недостаткахъ».

---

СОЧИНЕНІЯ ЗЕННИДЫ Р—ВОЙ. *Спб. 1843. Четыре части.*

Въ Россіи женщины мало пишутъ. Впрочемъ, этому нечего удивляться: въ Россіи и мужчины почти совсѣмъ не пишутъ. Смотри съ этой точки зрѣнія, вы увидите, что у насъ женщины пишутъ именно не больше и не меньше того, сколько могутъ онѣ писать. Званіе писательницы пока еще контрабанда не у однихъ насъ. Лживый взглядъ на женщину осуждаетъ ее на молчаніе. Этотъ взглядъ, запрещающій женщинѣ выходить изъ заколдованнаго круга простыхъ свѣтскихъ отношеній, не есть принадлежность собственно русскаго общества: онъ равно принадлежитъ и просвѣщенному западу Европы. Правда, тамъ, какъ и у насъ, женщина давно уже приобрѣла право говорить печатно, — но какъ и о чемъ говорить? вотъ вопросъ, подробное рѣшеніе котораго завело бы насъ далеко-далеко... въ самую Азію. Никакая пишущая женщина въ Европѣ не избѣгнетъ пошлыхъ намековъ и названій сшняго чулка, каковъ бы ни былъ ея талантъ, равно всѣми признанный. Никто тамъ не оспариваетъ у женщины права высказываться печатно и возможности быть одаренною даже великимъ творческимъ талантомъ; никого не оскорбляетъ и не соблазняетъ зрѣлище пишущей женщины; но въ то же время едва ли кто упуститъ случай, говоря о пишущей женщинѣ, посмѣяться надъ ограниченностію женскаго ума, болѣе, будто-бы, приноровленнаго для кухни, дѣтской, шитья и вязанья, чѣмъ для мысли и творчества. Это уже та-



кая привычка у мужчин: если они давно перестали бить женщинъ, то еще не отстали отъ привычки грозить имъ кулакомъ, или дразнить языкомъ, въ ознаменованіе права своей силы. Привычка — вторая натура, и потому отстать отъ нея трудно. Для женщины-писательницы это первое, и притомъ еще самое меньшее зло. Хуже всего, что она осуждена общественнымъ мнѣніемъ на самыя невинныя литературныя занятія, именно — вѣчно повторять старыя обветшалыя истины, которымъ не вѣрять даже и дѣти, но которыя тѣмъ не менѣе считаются почтенными. Нельзя употребить большаго насилія надъ женщиною, нельзя оказать ей большаго презрѣнія! Конечно, ей не воспрещается закономъ быть оригинальною и глубокою въ своихъ мысляхъ, могущественною и великою въ творествѣ, — по крайней мѣрѣ на столько, на сколько не воспрещается это закономъ мужчинамъ; но если законъ оставить женщину въ покоѣ, тогда противъ нея дѣйствуетъ общественное мнѣніе. Тысячеглавое чудовище объявлять ее безнравственною и безпутною, грязнить ея благороднѣйшія чувства, чистѣйшіе помыслы и стремленія, возвышеннѣйшія мысли, — грязнить ихъ грязью своихъ комментаріевъ; объявляетъ ее безобразною кометою, чудовищнымъ явленіемъ, самовольно вырвавшимся изъ сферы своего пола, изъ круга своихъ обязанностей, чтобъ упомѣть свои разнузданныя страсти и наслаждаться шумною и позорною извѣстностью. Не правда ли, что это возмутительно несправедливо?... А вотъ вамъ и смѣшное: то же самое общество не читаетъ женщинъ, пишущихъ въ духѣ его же собственной морали, и обходитъ ихъ самымъ презрительнымъ невниманіемъ, потому что оно само не вѣритъ своей морали и смѣется надъ нею. Впрочемъ, оно противорѣчитъ такимъ образомъ самому себѣ не въ отношеніи къ однѣмъ только женщинамъ. Возьмемъ, напримѣръ, современное французское общество. Представители его — набитые золотомъ мѣшки, пріобрѣтатели, люди, пок-

лоняющіеся золотому тельцу. Кого читаетъ это общество? — писателей въ духѣ чуждой ему морали. Это общество недавно восхищалось двумя романами Эжена Сю «*Mathilde*» и «*Mystères de Paris*», а эти романы не что иное, какъ страшный доносъ на это общество. Это же общество не хочетъ уже читать какого-нибудь москѣ *де-Бальзака*, до сихъ поръ вѣрнаго моральному принципу выскочившаго въ люди богатаго мѣщанства, оно смѣется надъ нимъ, презираетъ его, и, вмѣсто его, читаетъ Жоржъ Занда, въ которомъ имѣло бы право видѣть своего обвинителя, изобличителя и нравственную кару. Послѣ этого, извольте угождать обществу и сообразоваться съ его моралью! Всѣ явленія дѣйствительности внутри себя самихъ заключаютъ свою необходимость: вотъ отчего люди толкуютъ свое, а дѣйствительность идетъ своею дорогою, не спрашиваясь у людей, но заставляя людей спрашиваться у нея. Привычка мало-помалу дѣлаетъ людей равнодушными къ явленію, которое вначалѣ поразило ихъ, и, со временемъ, они начинаютъ не только считать это явленіе естественнымъ, но даже и приносить ему дань удивленія и восторженныхъ похвалъ. Таково теперь во Франціи положеніе Жоржъ Занда, какъ писательницы; но не таково было ея положеніе назадъ тому нѣсколько лѣтъ. И что же? — явилась другая писательница съ такимъ же гениемъ, — и на нее сперва польется обильный дождь клеветъ, браней, оскорбленій, лжей, — и все это во имя будто-бы оскорбленной ею морали, и при всемъ этомъ будутъ раскупать ея сочиненія и твердить ихъ наизусть; а потомъ, клеветы, лжи и брани умолкнуть, смѣнившись на восторгъ и удивленіе... А въ то же время, сколько женщинъ-писательницъ въ духѣ общественной морали, пишущихъ свои сочиненія пошлыми сентенціями, пройдутъ незамѣченныя, неудостоенныя ничьего вниманія!...

Сказанное нами не можетъ имѣть примѣненія къ русской литературѣ. У насъ, литература имѣетъ совсѣмъ другое значе-

ніе, чѣмъ въ старой Европѣ. Тамъ она — выраженіе мысли, служащей источникомъ жизни для общества въ каждую эпоху его историческаго развитія. У насъ, литература — пріятное и полезное, невинное и благородное препровожденіе времени, и для писателя и для читателя. Исключенія изъ этого правила такъ рѣдки, что не стоить упоминать о нихъ. Наши писатели (и то далеко не всѣ) только одною ступенью выше обыкновенныхъ изобрѣтателей и пріобрѣтателей; наши читатели (и то далеко не всѣ) только одною ступенью выше людей, которые въ преферансѣ и сплетняхъ видятъ самое естественное препровожденіе времени. Оттого, у насъ всѣ писатели, и хорошіе и худые, равно читаются и почитаются, равно имѣютъ ограниченный кругъ нравственнаго вліянія, и равно скоро забываются. Исключеніе остается только за писателями, которые ужъ слишкомъ по плечу обществу и слишкомъ хорошо угодили его вкусу, удовлетворили его потребностямъ: таковы, напримѣръ, Марлинскій и Бенедиктовъ, которыхъ и теперь еще очень любятъ даже въ столицахъ, а въ провинціи знаютъ наизусть. Поэтому, женщина, у насъ, смѣло можетъ пускаться въ писательство: если она не всегда можетъ надѣяться стать слишкомъ высоко, зато никогда не должна бояться затеряться въ заднихъ рядахъ писаекъ. Это тѣмъ вѣрнѣе, что женщины, которыя когда-либо пускались на Руси въ авторство, всегда обладали извѣстною степенью образованности, знаніемъ хоть французскаго языка; при этомъ, имъ не мало служить и врожденный женской натурѣ тактъ приличія и здраваго смысла; тогда какъ несравненно большая часть пишущихъ въ Россіи мужчинъ попали въ писатели нечаянно и безъ всякаго приготовленія, а потому и не знаютъ даже первыхъ основаній грамматики своего роднаго языка, да и принадлежатъ еще къ такому кругу понятій, изъ котораго совѣтъ не слѣдовало бы показываться въ печати. Въ доказательство справедливости нашихъ словъ, указываемъ

на длинную вереницу сочинителей въ родѣ гг. Милькѣва, Славина, Кузьмичева, Зотова, Воскресенскаго, Классена, Сигова, Антипы Огородника, Тимоѣева, Зражевской, Бурачка, Мартынова, Кропоткина, Скосырева, Жданова, Шелехова, Куражновскаго, Ильина, и многихъ иныхъ, которыхъ перечесть не достанетъ ни терпѣнія, ни времени, ни мѣста въ статьѣ. Скажутъ: бездарные люди всегда заваливали литературу мусоромъ своихъ сочиненій. Правда, и прежде — въ доброе классическое время нашей литературы, бездарныхъ писакъ, такъ же какъ и теперь, было больше, чѣмъ даровитыхъ писателей; но тогда не было между пишущимъ народомъ людей безграмотныхъ; тогда всѣ старались писать въ тонѣ порядочнаго общества, и не воспѣвали въ стихахъ «россійскаго сиводая» и «кабаковъ» (какъ это недавно сдѣлалъ г. Милькѣвъ), и не восхищались тѣмъ, что Ломоносовъ былъ подверженъ несчастной страсти невоздержанія, отъ которой и погибъ рано. Въ прежнія времена, пришли бы въ ужасъ отъ такого романтизма. Но въ наше время, такъ называемый романтизмъ освободилъ писакъ отъ здраваго смысла, вкуса, грамматики, логики, порядочнаго тона, даже опрятности и чистоплотности — и всѣ эти господа-сочинители стали выѣзжать, въ своихъ романтически-народныхъ произведеніяхъ, на разбитыхъ носачъ, фохаряхъ подъ глазами, зипунахъ, лаптяхъ, мужицкихъ рѣчахъ и поговоркахъ, кабакахъ и харчевняхъ. И все это ими представляется и описывается безъ всякаго юмора, безъ всякой сатирической цѣли, но съ добродушнымъ и добросовѣстнымъ восторгомъ и удивленіемъ къ своимъ неопрятнымъ вымысламъ: ссылаемся опять на того же г. Милькѣва, который, вдохновившись сивухой, воспѣлъ ее въ диопрамбѣ безъ всякой ироніи, важнымъ, торжественнымъ и патетическимъ тономъ.

Къ чести русскихъ женщинъ-писательницъ надобно сказать, что между ними примѣры подобнаго романтизма, или безгра-

мότηности, составляютъ исключенія изъ общаго правила, — исключенія, которыя остаются за немногими тѣми, которыя, соблазнившись нѣкоторыми журналами, пустились «гуторить» въ нихъ народною (т. е. огородническою) рѣчью... Всѣ другія, обладая бѣльшимъ или меньшимъ талантомъ, все-таки отличаются бѣльшею или меньшею грамотностью, уваженіемъ къ приличію и отвращеніемъ къ площадной и харчевенной народности. Между тѣмъ, въ ихъ послѣдовательномъ явленіи одна за другою есть нѣчто въ родѣ прогресса, — и Анна Бунина и Зенеида Р-ва представляютъ двѣ совершенныя противоположности, не по одному таланту, но и по направленію и духу ихъ произведеній. Здѣсь мы считаемъ кстати сдѣлать короткое обзорнѣе литературной дѣятельности русскихъ женщинъ. Въ каталогъ Смирдина, мы встрѣчаемъ имена слѣдующихъ женщинъ, занимавшихся переводами съ иностранныхъ языковъ на русскій: Марья Сушкова (перевела «Инки» Мармонтеля, въ 1778 году), Марья Орлова (1788), Катерина и Анна Волконскія (1792), Корсакова (1792), Нилова (1793), Баскакова (1796), Марья Базилевичева (1799), Марья Иваненко (1800), Лихарева (1804), Настасья Плещеева (1808), Марья Фрейтахъ (1810), Катерина де ла Маръ (1815), Татищева (1818), Беклемишева (1819), Бровина (1820), Вишлинская, А. и Катерина Воейковы, Анна и Пелагея Вельяшевы-Волынцовы, Вѣра и Надежда Кусовниковы, Настасья Гагина, Катерина Меньшикова, А. Мухина. Изъ этого списка видно, что наши дамы рано приняли участіе въ отечественной литературѣ. Въ 1789 году, были изданы «Лучшіе Часы Жизни Моей» Марьи Пospѣловой; а въ 1801 г. ея же «Черты Природы и Истины, или Оттѣнки Мыслей и Чувствъ моихъ». Еще ранѣе, именно, въ 1774 г. (стало быть, шестьдесятъ девять лѣтъ назадъ тому) Катерина Урусова издала свою эпическую поему въ пяти пѣсняхъ, «Полі-

онъ, или Просвѣтившійся Нелюдимъ». Александра Хвостова, издала, въ 1796 году, «Каминъ и Ручеекъ». Г-жи Москвины издали свои стихотворенія подъ заглавіемъ «Аонія», въ 1802 году. Дѣвица Волкова издала, въ 1807, свои стихотворенія. Г-жа Наумова издала свои стихотворенія, въ 1819 году, подъ именемъ «Уединенной Музы Закамскихъ Береговъ». Г-жа Любовь Кричевская обнаружила особенную плодovitость, въ сравненіи съ изчисленными нами писательницами: она издала «Мои Свободныя Минуты, или Собраніе Сочиненій въ Стихахъ и Прозѣ, Любви Кричевской» (Харьковъ, 1818); драму въ трехъ дѣйствіяхъ «Нѣтъ Добра безъ Награды» (Харьковъ, 1826); «Двѣ Повѣсти» (Москва, 1827) и «Историческіе Анекдоты и Избранныя Изрѣченія Извѣстныхъ Людей» (Харьковъ, 1827). Хотя сочиненіе г-жи Анны Волковой «Утренняя Бесѣда Слѣпаго Старца съ своею Дочерью» издано въ 1824 году, но по наивному заглавію и, вѣроятно, по такому же содержанию, оно можетъ быть смѣло отнесено къ произведеніямъ семисотъ-семидесятихъ годовъ. Впрочемъ, это произведеніе той же самой г-жи Волковой, которая въ 1807 году издала свои стихотворенія, и въ 1826 еще писала стихи. Г-жа Титова издала, въ 1810 году, драму въ пяти дѣйствіяхъ «Густавъ Ваза, или Торжествующая Невинность»; г-жа Катерина Пучкова — «Первые Опыты въ Прозѣ» (Москва, 1812); а въ 1817 году, г-жа Марья Болотникова издала «Деревенскую Лиру, или Часы Уединенія». Но что всѣ эти писательницы передъ знаменитою въ свое время г-жею Анною Буниною? Она писала въ журналахъ, и потомъ отдѣльно издавала труды свои, писала и переводила, въ стихахъ и въ прозѣ, занималась не только поэзіею, но и теоріею поэзіи. Въ 1808 году, она издала трудъ свой, подъ названіемъ «Правила Поэзіи, сокращенный переводъ аббата Бате, съ присовокупленіемъ россійскаго стопосложенія»; въ 1810 году, издала она «О Счастіи, дидактическое

стихотвореніе»; въ 1811. издала она свои «Сельскіе Вечера»; въ 1809 — 1812. — «Неопытную Музу Анны Буниной» въ двухъ частяхъ; въ 1819 — 1821, вышло «Собраніе Стихотвореній Анны Буниной» въ трехъ частяхъ. Знаменитѣйшее произведеніе г-жи Буниной, была нравственная поэма ея «Фасетонъ». Она, кажется, перевела также и «Науку о Стихотворствѣ» Буало, и вообще не уступала графу Дмитрію Ивановичу Хвостову ни въ талантѣ, ни въ трудолюбіи, ни въ выборѣ предметовъ для своихъ нѣснопѣній. Собраніе стихотвореній г-жи Анны Буниной было издано Россійскою Академіею. Но и г-жею Буниной не оканчивается еще блестятельный списокъ старинныхъ нашихъ писательницъ. Есть еще одна, не менѣ знаменитая, хотя и менѣ извѣстная. Знаете ли вы дѣвицу Марью Извѣкову, читали ли вы романы дѣвицы Марьи Извѣковой?... Если нѣтъ, то бѣгите въ книжную лавку, попросите книгопродавца порыться въ его погребѣхъ и кладовыхъ — этихъ книжныхъ кладбищахъ — и отыскать вамъ романы дѣвицы Марьи Извѣковой, если ихъ еще не съѣли мыши. и прочтите ихъ какъ можно скорѣе. Чтобъ помочь вамъ въ вашихъ поискахъ, мы поименуемъ ея романы. Ихъ немного, всего три, да за то, куда хороши! «Эмилиа, или Печальныя Слѣдствія Безразсудной Любви» (4 ч. 1806); «Милена, или Рѣдкій Примѣръ Великодушія» (1809); «Торжествующая Добродѣтель надъ Коварствомъ и Злобою» (3 ч. 1809). Каковы одни заглавія — такъ и дышать чистѣйшею нравственностью! А содержаніе — еще лучше, еще нравственнѣе, хотя, надо признаться, и невообразимо скучно. Его составляютъ проишествія, въ которыхъ дѣйствуютъ лица безъ образа; герои же, а особенно героини, отличаются необыкновенною говорливостью. Такъ, на примѣръ, вы уже знаете черезъ самого автора, что тогда-то и тогда-то было съ героинею: нѣтъ, она сама начнетъ вамъ пересказывать, и гораздо длиннѣе, чѣмъ авторъ уже рассказалъ

вамъ, хотя и самъ авторъ не любитъ выражаться коротко. Романы г-жи Извъковой, кромѣ чистѣйшей нравственности, насъвозъ проникнуты еще и нѣжнѣйшею чувствительностью, и, вѣроятно, многихъ слезъ стояли они прекраснымъ читательницамъ того времени, теперешнимъ почтеннымъ нашимъ тетушкамъ и бабушкамъ. И неблагодарное потомство забыло дѣвицу Марью Извъкову, забыло совсѣмъ!... Что жъ послѣ этого прочно подъ луною? Гдѣ Греція, гдѣ Римъ, спрашивалъ Байронъ, въ своемъ «Чайльдъ Гарольдѣ»; гдѣ романы дѣвицы Марьи Извъковой? часто спрашиваю я самого себя съ глубокою тоскою, и печально смотрю на современныя произведенія русской литературы... Увы! вездѣ мрачное царство смерти, вездѣ ея ужасное владычество, вездѣ—даже и въ книжномъ мѣрѣ! Эта мысль съ особенною силою поражаетъ насъ, которые столько пережили, еще не успѣвъ состарѣться, которые съ такою надеждою, такою гордостью встрѣтили столько великихъ произведений, теперь уже умершихъ для свѣта. Где теперь всѣ эти «киргизскіе» и другіе «плѣнники»? гдѣ все это множество романтическихъ поэмъ, длинною вереницею потянувшихся за «Кавказскимъ Плѣнникомъ» Пушкина и «Чернецомъ» Козлова? Увы! не только эти скороспѣлыя произведенія недопеченаго романтизма, тогда такъ восхищавшія насъ, не только они не могутъ теперь останавливать нашего вниманія, но мы не нашли бы въ себѣ достаточной отваги, чтобъ перечестъ и «Чернеца»; и даже «Руслана и Людмилу» и «Кавказскаго Плѣнника» мы теперь перелистываемъ съ улыбкою. Гдѣ теперь нравоописательные и нравственно-сатирическіе романы г-на Булгарина, гдѣ его пресловутый «Иванъ Выжигинъ», котораго такъ сильно бранили назадъ тому лѣтъ четырнадцать?—Гдѣ «Черная Женищина» г-на Греча и «Фантастическія Путешествія» барона Брамбеуса? все тамъ же. гдѣ и «Корсаръ» г. Олина, и «Князь Курбскій» г. Бориса Ф(Ѳ)едорова, и



романы дѣвицы Марьи Извѣковой!... Давно ли «Московский Телеграфъ» казался чудомъ учености, глубокой философіи и здравой критики; давно ли казалось, что въ своемъ ходѣ онъ опережалъ самое время? Давно ли «Юрій Милославскій» считался великимъ національнымъ романомъ? А гдѣ слава нашихъ романтическихъ поэтовъ? И кто не считался, назадъ тому около двадцати лѣтъ, кто не считался тогда великимъ романтическимъ поэтомъ? Даже г. Шевыревъ и самъ считалъ себя и другими многими считался поэтомъ — и все это за довольно плохіе стишонки. Давно ли сей великій мужъ російской словесности хлопоталъ о введеніи въ русское стихосложеніе скрипучихъ октавъ? И какъ напрасно теперь смитяся онъ, помня старину, блеснуть то плохимъ стихотвореніемъ, то неслыханно оригинальною критическою статьею? И какъ напрасно, вмѣстѣ съ нимъ, помня доброе старое время, гг. Языковъ и Хомяковъ стараются спастись отъ волнъ Леты, хватаясь за обломки утлаго въ славянской журналистикѣ челнока — «Москвитянина»... А колоссальная слава гг. Марлинскаго и Бенедиктова — гдѣ же теперь она, если не тамъ, гдѣ и слава романовъ дѣвицы Марьи Извѣковой?

Съ появленія Пушкина гораздо больше стало являться на Руси женщинъ-писательницъ; но извѣстныхъ именъ между ними стало меньше. Это оттого, что имена людей, дѣйствовавшихъ въ началѣ зарождающейся литературы, пользуются извѣстностью даже и безъ отношенія къ ихъ таланту. Когда же литература уже сколько-нибудь установится, тогда, чтобъ получить въ ней почетное имя, нужно имѣть замѣчательный талантъ. Итакъ, мы помнимъ, въ Пушкинскій періодъ русской литературы, только четыре женскія имени: княгини З. А. Волконской, которой Пушкинъ посвятилъ своихъ «Цыганъ», г-жъ Лисицыной, Готовцевой и Тепловой. Въ стихотвореніяхъ трехъ послѣднихъ проглядываетъ чувство, особливо въ стихо-

твореніяхъ г-жи Тепловой: это уже большая разница отъ произведеній прежнихъ стихотворицъ; то были плоды невинныхъ досуговъ, поэтическое вязаніе чулковъ, рифмотворное шитье, а здѣсь уже проблескивала поэзія. Правда, помянутыя нами стихотворицы мало писали, и только стихотворенія одной г-жи Тепловой собраны въ отдѣльную книжку-малютку; но можетъ ли быть плодovита поэзія, основанная не на мысли, а на одномъ непосредственномъ чувствѣ?... Чувства никакъ нельзя отнять у стихотвореній г-жи Тепловой, и это чувство высказывалось у ней въ болѣе или менѣе поэтическихъ стихахъ. Напомнимъ здѣсь нашимъ читателямъ хоть одно стихотвореніе г-жи Тепловой; возьмемъ наудачу такъ называющееся «Къ Сестрѣ».

Когда наступитъ часъ желанный  
Разлуки съ жизнію туманной,  
И отъ земныхъ тяжелыхъ узъ  
Я равнодушно отложусь:  
Миръ вѣчной жизни, тихій, ясный,  
Тогда почіетъ на челѣ;  
Но пережить тебя ужасно,  
Покинуть тяжко на землѣ!  
Тогда въ душѣ, для улажденья  
Минутой смертнаго томленья,  
Я положу завѣтъ святой...  
И жди меня въ часы полночи,  
Когда людей смежата очи,  
И мѣсяцъ встанетъ надъ рѣкой.  
Приду на краткое свиданье,  
Скажу, что я узнала *тебя*,  
И замогильныя желанья  
И тайну неба передамъ.

Оставя въ сторонѣ ребяческую мысль этого стихотворенія, кто однакоже не согласится, что оно вылилось изъ души и полно чувства?

Теперь скажемъ по нѣскольку словъ о женщинахъ-писательницахъ, явившихся въ послѣднее время. Елисавета Кульманъ

оставила послѣ себя претомстную книгу, свидѣтельствующую о ея необыкновенно возвышенной душѣ, страстной къ изящному и умѣвшей, черезъ строгое и основательное изученіе, обрѣсти въ эллинской поэзіи осуществленный идеалъ этого изящнаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ свидѣтельствующую и о томъ, что любовь къ поэзіи и способность понимать ее и наслаждаться ею, не всегда одно и то же съ талантомъ поэзіи. — Г-жа Павлова (урожденная Янишь) обладаетъ необыкновеннымъ даромъ переводить стихами съ одного языка на другой; съ равнымъ успѣхомъ переводитъ она съ англійскаго, нѣмецкаго и французскаго языковъ на русскій, и съ русскаго языка на нѣмецкій и французскій. Жаль только, что этому превосходному таланту г-жи Павловой переводить не соответствуетъ ея талантъ выбирать піесы для перевода. Такъ, напр., съ англійскаго она перевела на русскій нѣсколько шотландскихъ и англійскихъ народныхъ балладъ, которыя, несмотря на превосходный переводъ, не могутъ имѣть на русскомъ никакого значенія, именно потому что онѣ—народныя. На нѣмецкій языкъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми піесами Пушкина, перевела она нѣкоторыя піесы гг. Языкова и Хомякова, и тѣмъ самымъ, несмотря на превосходный переводъ, отбила охоту у Нѣмцевъ интересоваться русскою поэзіею. И въ то же время г-жа Павлова съ такимъ удивительнымъ искусствомъ передала на французскій языкъ, стихами, «Полководца» Пушкина и «Орлеанскую Дѣву» Шиллера. Однимъ словомъ, еслибъ способность выбора соответствовала ея таланту, г-жа Павлова, своими превосходными переводами, усвоила бы себѣ прочную славу не въ одной только русской литературѣ. — Графиня Е. П. Растопчина, выступившая на литературное поприще съ 1835 года, въ первыхъ опытахъ своей поэтической дѣятельности обнаружила много чувства и одушевленія, при отсутствіи, впрочемъ, какой бы то ни было могучей мысли, которая проникала бы собою всѣ ея произве-

денія. То, что въ стихотвореніяхъ графини Растопчиной можетъ инымъ показаться мыслию, есть не что иное, какъ отвлеченныя понятія, одѣтыя въ болѣе или менѣе удачный стихъ. Это особенно замѣтно въ ея послѣднихъ стихотвореніяхъ (начиная съ 1837 года по сіе время), въ которыхъ нельзя узнать прежняго стиха даровитой стихотворицы и въ которыхъ все мысли и чувства кружатся, словно подъ музыку Штрауса, и скачутъ, словно подъ музыку моднаго галопа, или около я автора, или въ заколдованномъ кругу свѣтской жизни, не выходя въ сферу обще-человѣческихъ интересовъ, которые только одни могутъ быть живымъ источникомъ истинной поэзіи. — Въ 1839—1840 годахъ, были изданы, въ прозаическомъ русскомъ переводѣ, стихотворенія графини Сары Толстой, писанныя ею на нѣмецкомъ, англійскомъ и французскомъ языкахъ. Эти стихотворенія понятны только въ цѣломъ и въ связи съ жизнію юной стихотворицы, похищенной смертію на восемнадцатомъ году ея жизни. Все эти стихотворенія проникнуты однимъ чувствомъ, одною думою, и то чувство — меланхолія, та дума — мысль о близкомъ концѣ, о тихомъ покоѣ могилы, украшенной весенними цвѣтами. У Сары Толстой это монотонное чувство и эта однообразная дума высказались поэтически. Стихотворенія Сары Толстой нельзя читать какъ только произведенія поэзіи: вмѣстѣ съ тѣмъ они и поэтическая біографія одной изъ самыхъ странныхъ, самыхъ оригинальныхъ, самыхъ поэтическихъ, и по натурѣ и по судьбѣ, и по таланту и по духу, личностей. Это прекрасное явленіе промелькнуло безъ слѣда и памяти. Да и кому нужно у насъ замѣчать такія явленія, несостояшія ни въ какомъ классѣ?... Можетъ-быть, въ этомъ случаѣ, заслуженная извѣстность Сары Толстой много потеряла оттого, что ея стихотворенія изданы не для публики, а для тѣснаго круга ея родныхъ и знакомыхъ, и притомъ въ довольно плохомъ переводѣ и съ дурно написаннымъ предисловіемъ. — Къ

замѣчательнымъ явленіемъ послѣдняго времени русской литературы принадлежатъ повѣсти г-жи Жуковой. Въ нихъ много чувства, и онѣ отличаются прекраснымъ разсказомъ: вотъ ихъ неотъемлемыя достоинства. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онѣ чужды ироніи, жизнь въ нихъ представляется не въ ея собственномъ цвѣтѣ, а раскрашенная розовою краскою поддѣльной идеализаціи, и оттого характеры дѣйствующихъ лицъ иногда невыдержаны, а иногда и вовсе ложны, и замѣчается отсутствіе цѣлаго, при прекрасныхъ частностяхъ. Однимъ словомъ, даровитая г-жа Жукова принадлежитъ къ тому разряду писателей, которые изображаютъ жизнь не такою, какова она есть, слѣдовательно, не въ ея истинѣ и дѣйствительности, а такою, какою имъ хотѣлось бы ее видѣть. Но, при всемъ этомъ, въ повѣстяхъ г-жи Жуковой уже видно какъ-бы невольное стремленіе, вслѣдствіе духа времени — искать сюжетовъ въ дѣйствительной современной жизни и заботиться о естественномъ изображеніи подробностей быта и ежедневной жизни героевъ, сообразно съ ихъ положеніемъ въ обществѣ и степенью ихъ образованности. Вообще, главное достоинство повѣстей г-жи Жуковой — теплота чувства, и главный ихъ недостатокъ — отсутствіе такта дѣйствительности.

Нельзя сказать, чтобъ въ повѣстяхъ Зенеиды Р-вой русская повѣсть достигла, талантомъ женщины, своего полного развитія, чтобъ она стала выраженіемъ созрѣвшей мысли и вѣрной картиною современнаго общества; но въ то же время нельзя не сказать, что ни одна изъ русскихъ писательницъ не обладала такою силою мысли, такимъ тактомъ дѣйствительности, такимъ замѣчательнымъ талантомъ, какъ Зенеида Р-ва. Созданная ею повѣсть, какъ ея талантъ и жизнь, остановились на полудорогѣ и не дошли до своего полного и конечнаго развитія. Мы не хотимъ и упоминать о полнотѣ чувства, которою проникнуты повѣсти Зенеиды Р-вой: это должно само-

собою подразумеваться, когда дѣло идетъ о сильномъ талантѣ: какого же порядочнаго математика хвалятъ за способность комбинировать и соображать? И потому мы прямо приступимъ къ тому, что составляетъ существенное достоинство повѣстей Зенеиды Р — вой — къ ихъ мысли.

Въ истинно-поэтическихъ произведеніяхъ, мысль не является отвлеченнымъ понятіемъ, выраженнымъ догматически; но составляетъ ихъ душу, разлитая въ нихъ, какъ свѣтъ въ хрусталь. Мысль въ поэтическихъ созданіяхъ — это ихъ паоосъ, или патосъ. Что такое паоосъ? — страстное проникновеніе и увлеченіе какою-нибудь идеею. Отсюда происходитъ и слово «патетическій». Что называется «патетическимъ» въ драмѣ? — Энергія раздраженнаго чувства, которое бурными волнами огненной рѣчи изливается изъ устъ дѣйствующаго лица. Въ такихъ монологахъ всегда видно трепетное, страстное проникновеніе дѣйствующаго лица тою идеею, которая составляетъ собою невидимую пружину всей его дѣятельности, всей энергіи его воли, готовой на все для достиженія своей цѣли. Вотъ этотъ-то паоосъ и составляетъ собою базисъ и фонъ твореній всякаго замѣчательнаго поэта. Что же составляетъ паоосъ повѣстей Зенеиды Р — вой? — безъ сомнѣнія, любовь, ибо всѣ ея повѣсти основаны исключительно на одномъ этомъ чувствѣ. Но любовь есть понятіе слишкомъ общее, которое у всякаго истиннаго таланта должно принять болѣе или менѣе индивидуальный оттѣнокъ, или представляться подъ особенною точкою зрѣнія. Посему мало сказать, что любовь составляетъ паоосъ повѣстей Зенеиды Р — вой: надо прибавить — любовь женщины. Всѣ повѣсти этой даровитой писательницы проникнуты однимъ страстнымъ чувствомъ, одною живою идеею, однимъ могучимъ созерцаніемъ, недающимъ покоя автору, и тревожно его наполняющимъ, созерцаніемъ, которое можно выразить такими словами: какъ умѣютъ любить женщины и

какъ не умѣютъ любить мужчины. И такъ, основная мысль, источникъ вдохновенія и заветное слово поэзіи Зенеиды Р-вой есть апологія женщины и протестъ противъ мужчины. Обвинимъ ли мы ее въ пристрастіи, или признаемъ ее мысль справедливою?... Мы думаемъ, что справедливость ее слишкомъ очевидна, и что намъ лучше попытаться объяснить причину такого явленія, чѣмъ доказывать его дѣйствительность.

Окинемъ бѣглымъ взглядомъ содержаніе всѣхъ повѣстей Зенеиды Р-вой. Первая — «Идеаль». Прекрасная, исполненная ума, души и сердца женщина, закабаленная волею родныхъ въ позорное рабство продажнаго брака, обращаетъ всю силу страстнаго стремленія своей любящей натуры на восхитившаго ее своими созданіями поэта, и потомъ, самымъ ужаснымъ для себя образомъ узнаетъ, что этотъ поэтъ, этотъ ея идеаль, безсовѣстно игралъ ею, завлекая ее мнимой своею взаимностію. Это открытіе стоило ей злой горячки и потомъ полнаго разочарованія въ возможности какого бы то ни было счастья на землѣ; а поэту, идеалу, это ровно ничего не стоило — онъ остался здоровъ и счастливъ вполне... Вотъ каковы мужчины въ любви! А женщины? — посмотрите, какъ описываетъ авторъ, своимъ цвѣтистымъ и энергическимъ языкомъ, состояніе бѣдной, разочарованной героини ея повѣсти.

«Я видѣла молодую птичку въ веснѣ ея жизни: она въ первый разъ выпорхнула изъ теплаго гнѣзда; ей представились небо, красное солнце и міръ Божій: какъ радостно забилося ея сердце, какъ затрепетали крылья! Заранѣе она обнимаетъ ими пространство; заранѣе готовится жить, и съ первымъ стремленіемъ попадаетъ въ руки ловчаго, который не оковываетъ ея цѣпями, не запираетъ въ кѣлѣткѣ, нѣтъ, онъ выкалываетъ ей глаза, подрѣзываетъ крылья, и бѣдная живетъ въ томъ же мірѣ, гдѣ были ей обѣщаны свобода и столько радостей; ее грѣетъ то же солнце, она дышитъ тѣмъ же воздухомъ, но рвется, тоскуетъ, и прикованная къ холодной землѣ, можетъ только твердить: *не для меня, не для меня!* Еслибъ заперли ее въ желѣзную кѣлѣтку, она бы изклевала ее и пробилась на волю, плч, метаясь, израненная остріемъ желѣза, безъ сожалѣнія разсталась бы съ остальною половиною жизни, когда луч-

шала половина у нея отнята. Но она не въ клеткѣ; не крѣпкія стѣны окружають ее; она свободна, и, между тѣмъ, вѣчная мгла, вѣчное бездѣйствіе — вотъ удѣлъ моей птички! Вотъ удѣлъ Ольги».

Героиня повѣсти «Утбалла» всеѣмъ жертвуетъ — даже жизни, рѣшаясь на страшную смерть отъ руки дикихъ изверговъ, чтобъ доставить милому минуту упоенія любовью. И Утбалла, эта очаровательная Калмычка — гибнетъ жертвою своей великодушной рѣшимости; а ея возлюбленный, тотъ, кому принесла она въ жертву молодую жизнь свою? — черезъ нѣсколько лѣтъ его видѣли въ Петербургѣ, въ чинѣ полковника, гуляющаго по Англійской Набережной подъ руку съ прелестною женщиною... Кто она, эта женщина — родственница, или подруга жизни? «Которому извѣстію вѣрить!... (говорить авторъ) кажется, второе достовѣріе!»...

Въ повѣсти «Медальонъ» представлены двѣ великодушныя, любящія женщины противъ одного негодая, изверга-мушины. Одна изъ нихъ — жертва обольщенія коварнаго свѣтскаго челоуѣка, ослѣпла отъ слезъ, узнавъ его вѣроломство; другая, сестра ея, увлекаетъ его тонкимъ кокетствомъ, влюбляетъ въ себя, и когда онъ готовъ на все, даже жениться на ней, отказываясь отъ выгодной партіи, она читаетъ ему, при многочисленномъ обществѣ, будто бы сочиненную ею повѣсть, а въ самомъ дѣлѣ, рассказъ о его преступномъ поступкѣ съ ея сестрою, открываетъ медальонъ и показываетъ ему портретъ его жертвы, своей слѣпой сестры... Модный извергъ, вполне почувствовалъ ядовитую горечь женскаго мщенія...

Въ повѣсти «Судъ Свѣта» представленъ мушина, способный къ любви на жизнь и на смерть, но все-таки не умѣющий любить: недостатокъ довѣренности и дикая, звѣрская ревность къ любимой женщинѣ увлекають его къ безумному убійству и губять навсегда предметъ его любви. А эта женщина умѣла любить — и за то погибла жертвою того, кого любила...



«Теофанія Аббиаджіо» — рѣшительно лучшая изъ всѣхъ повѣстей Зенеиды Р-вой, есть самая злая сатира на мужчинъ, самая неумолимая улика имъ въ ихъ тупости и близорукости въ дѣлѣ любви. Александръ Долиньи, герой повѣсти, человѣкъ съ глубокимъ чувствомъ, съ благородною душою, съ характеромъ не только возвышеннымъ, но и сосредоточеннымъ, непоколебимо твердымъ, — и несмотря на все это, въ вопросѣ о любви, онъ такъ же ничтоженъ, такъ же пошлъ, какъ и всѣ вообще мужчины. — И за то, въ какомъ колоссальномъ величіи является передъ нимъ Теофанія, которую онъ, въ мужской слѣпотѣ своей, считалъ за натуру холодную и неспособную къ любви, и которую онъ промѣнялъ на свѣтскую кокетку, правда не лишенную страсти, но пустую и мелочную... Какъ жалокъ и смѣшонъ этотъ Долиньи, сконфузившійся отъ вопроса своего знакомаго о висѣвшемъ у него на фракѣ ордентѣ, и догадавшійся, изъ разсказа знакомаго, какою глубокою страстью горѣла къ нему Теофанія... И какъ возвышенна эта Теофанія, въ ея молчаливомъ и гордомъ страданіи, въ ея свободномъ примиреніи съ мыслию о безплодно-погибшей жизни и о разрушенныхъ навѣки лучшихъ надеждахъ ея!...

Въ «Любинькѣ» опять мужчина, не умѣющій понять любимой имъ женщины, слѣпой и ограниченный въ дѣлѣ любви, несмотря на всѣ свои достоинства въ другихъ отношеніяхъ, несмотря на то, что онъ человѣкъ благородный, душа восторженная и любящая... И опять женщина подавляетъ мужчину своимъ великодушіемъ, своею безграничною преданностію и свѣтлымъ самопожертвованіемъ въ дѣлѣ любви...

И вотъ, мы насчитали уже шесть повѣстей, проникнутыхъ все одною и тою же мыслию. Есть, правда, у Зенеиды Р-вой двѣ повѣсти, въ которыхъ мужчины показаны даже очень и очень порядочными людьми. Въ «Джеллалединѣ» дѣло представлено даже совсѣмъ наоборотъ. Пламенный, мечтательный,

благородный татарскій князь дѣлается жертвою своей безумной страсти къ пустой, легкой женщинѣ. Сочинительница говоритъ отъ себя, въ концѣ, что она встрѣтила героиню своей повѣсти, уже бабушкою и старою сплетницею. лицемѣрною моралисткою. Но не довѣряйте, въ этомъ случаѣ, искренности сочинительницы: подлѣ пустой женщины, она, въ своей картинѣ, искусно помѣстила интересную фигуру молодой Татарки Эмины, которая... но мы лучше напомнимъ о ней читателямъ словами самаго автора. Описавши погребеніе ошибкою убитаго Джеллалединомъ Бѣлоградова, сочинительница продолжаетъ:

«Неподалеку оттуда, у взморья, гдѣ между горами камней растутъ можжевеловникъ и колючій тернъ, валялось другое тѣло, не удостоенное даже погребенія... Ужасны были черты покойника, въ которыхъ самая смерть не могла возстановить спокойствія; на посинѣломъ лицѣ, въ полуоткрытыхъ глазахъ еще отражались страсти и горе; одежда его была изорвана, грудь обнажена и облита кровью, въ широкой ранѣ торчало еще лезвие кинжала, пальцы замерли и окостенѣли, крѣпко сжимая рукоять...

«Напрасно Эмина молила Татаръ и Русскихъ предать тѣло несчастнаго землѣ: Магометане видѣли въ немъ вѣроотступника и справедливое мнѣніе пророка; христіане отвергали какъ преступника и самоубійцу... Сердце, истерзанное живою людьми, осуждено было и по смерти на истерзаніе хищнымъ птицамъ. Одна, вѣрная подруга, не покинула его; безъ слезъ, безъ стона, она сидѣла у трупа на камнѣ, сметала сухіе листья, падавшіе ему на голову, и порой отгоняла ворона, который съ крикомъ опускался къ своей добычѣ. Не скоро, одинъ старый казакъ, тронувшись положеніемъ молодой дѣвушки, вырылъ на томъ же мѣстѣ могилу, и съ молитвой опустилъ въ нее полумертвѣвшее тѣло. Дѣвушку отвели въ деревню, она убѣжала; ее заперли, она избилась, порываясь на волю. Татары рѣшили, что ею овладѣлъ шайтанъ, который загрызъ ихъ князя, и выпустили ее изъ деревни. Безумная поселилась у взморья; ни осеннія бури, ни зимнія метели не могли прогнать ея; днемъ и ночью она стерегла могилу; иногда кордонные казаки, проѣзжая мимо, бросали ей хлѣбъ, и спѣшили удалиться... долго бѣлое покрывало вѣяло у взморья, и пугало суевѣрныхъ, наконецъ и оно исчезло. Дѣвушку нашли лежащею ницъ на могилѣ, пальцы ея врылись въ землю, даже ротъ былъ полонъ землею: видно, бѣдняжка, въ припадкѣ безумія, хотѣла отнять у могилы ея достоинствѣ — своего незабвеннаго, вѣчно милаго друга...»

**И** этотъ Джеллалединъ, при жизни своей, никогда не догады-

вался и не подозревалъ, что Эмина любить его со всеѣмъ пыломъ восточной страсти, хотя это и не мудрено было бы замѣтить ему, — и вмѣсто Эмины привязался всею силою глубокаго, энергическаго чувства къ пустой, легкомысленной дѣвчонкѣ... Знаете ли что? — намъ кажется, что мы, назвавъ эту повѣсть исключеніемъ изъ общаго направленія всѣхъ повѣстей Зенеиды Р-вой, должны взять назадъ наше слово. Нѣтъ, это еще болѣе злая сатира на мужчинъ, чѣмъ всѣ прочія повѣсти...

Вотъ другое дѣло повѣсть — «Номерованная Ложа»; ея искренности можно повѣрить, хотя въ ней мужчина представленъ очень и очень порядочнымъ человѣкомъ въ его отношеніяхъ къ любимой имъ женщинѣ. Но за то, эта повѣсть, съ такою счастливою развязкою, ужь черезчуръ сладенька, а потому и недостойна имени своего автора. Счастливая развязка, какъ всякая ложь, часто портитъ повѣсть...

Содержаніе семи повѣстей, такъ какъ оно изложено нами, достаточно знакомитъ читателя съ пафосомъ поэзіи Зенеиды Р-вой. Теперь мы укажемъ на мѣста, въ которыхъ прямо и сознательно выговаривается задушевная мысль сочинительницы. Вотъ что говоритъ она въ концѣ повѣсти «Джеллалединъ»:

«Отрадна мысль, что наши заботы, тревоги пролетаютъ какъ гуль въ безграничности пустыни, вздымая лишь нѣсколько песчинокъ, пробуждая только слабый отголосокъ эха, и оставляютъ по себѣ едва замѣтное потрясеніе въ воздухъ, которое, разбѣгаясь въ невидимыхъ кругахъ, все слабѣе, чѣмъ далѣе отъ точки ударенія, исчезаетъ подобно самому звуку въ пространствѣ.

«Но грустно думать, что въ этой бѣдной связкѣ дней, называемыхъ жизнью, такъ мало мгновеній, достойныхъ названія жизни! Грустно видѣть, какъ часто души чистыя, возвышенныя, прекрасныя сродняются съ душами слабыми, мелочными, созданными только для матеріальнаго прозябанія въ богатствъ земныхъ. Опутанная перасторгаемыми узамъ своихъ собственныхъ чувствъ, сильная не можетъ покинуть своей ничтожной подруги, она порывается съ ней къ поднебесью, хочетъ унести ее въ свою родину, отогрѣть ее лучами любви своей, облить ее своимъ блаженствомъ... Напрасно! Душа слабая не окриится, не взлетитъ изъ холодныхъ долинъ въ страны заоблачныя; порой, на мигъ восторженная любовью прекрасной подруги своей, она

стремится взоромъ къ небесамъ, но ее пугаютъ и блескъ солнца, и стрѣлы молніи; она страшится доли сына Дедалова, и притягивая къ себѣ свою невинную добычу, медленно губить ее, или безжалостно разрываетъ узы, связывающіе ее съ нею, не помышляя о томъ, что узы тѣ срослись съ жизнью ея подруги, составлены изъ фибровъ сердца ея, и что, расторгая ихъ насильственной рукой, она убиваетъ ея существованіе!... Вотъ почти обыкновенная доля душъ, которыхъ люди называютъ возвышенными, прекрасными, и которыми провидѣніе, давая всѣ способности, всю силу постигать, чувствовать и цѣнить счастье жизни, отказываетъ только... въ самомъ счастьи!...

И роль чистыхъ, возвышенныхъ и прекрасныхъ душъ, по мнѣнію сочинительницы, выпала преимущественно на долю женщинъ, тогда какъ роль души слабой досталась исключительно мужчинамъ. Хотите ли доказательства, что такъ именно думала даровитая Зенеида Р-ва? — Вотъ ея собственныя слова:

«Любовались ли вы иногда облаками въ часъ вечерній, когда они стекаются на небосклонѣ, развиваются безпредѣльною цѣпью, и сквозь сумракъ обманываютъ взоръ наблюдателя, рисуясь то синими горами, то лѣсомъ, то воздушнымъ дворцомъ фенъ? И вотъ они сжимаются, тѣсняются, и образуютъ одну грозную, черную тучу. Издалека несется глухой рокотъ; онъ вырывается изъ груди ея, будто стонъ людскаго предчувствія, и вдругъ огненная струя прорѣзываетъ мглу, извивается змѣею, гаснетъ, изрыгнувъ пожаръ и воду на оробѣвшую землю. Безпрерывные удары грома потрясаютъ воздухъ, окрестность вторить его перекатамъ, дождь льетъ ручьями, вихрь ломаетъ деревья, люди съ трепетомъ думаютъ, что насталъ послѣдній день міра. Но проходитъ часъ, — гроза утихла, черная туча разсѣялась и не осталось никакихъ слѣдовъ мятежа стихій: небо опять чисто и ясно, и земля какъ испуганное дитя улыбается сквозь слезы, которыя еще дрожатъ на ея лицѣ. Еще часъ, и все возвратится къ прежнему спокойствію. Поэты до сихъ поръ доискиваются тайнаго нравственнаго смысла этого великаго представленія природы; а я такъ думаю, что это просто — пародія печали и отчаянія мужчинъ.

«Но есть облако другаго рода: оно медленно скопляется изъ паровъ сухой, неплодной почвы, ни одинъ живой источникъ, ни одно озеро не посылаютъ ему должной доли, и незамѣтное какъ тѣнь, оно скитается по поднебесью, не имѣя силы ни жить, ни умереть. Съ зарей вы видите его на востокѣ: оно ожидаетъ появленія солнца, и, кажется, молить свѣтило, чтобъ первые лучи истребили его, чтобъ огонь полудня растопилъ несчастную гарь паровъ.

Солнце всходит и гордо совершает свой путь, не замѣчая блѣднаго облака. Въ часъ вечера, когда шаръ безъ лучей опускается въ морскую пучину, вы видите то же самое облако на западѣ: оно просится въ бездну, жаждетъ уто- нуть въ ея холодныхъ объятіяхъ. Солнце снова отталкиваетъ его, бросается въ лазоревое ложе, а облако, по прежнему печальное, одинокое, идетъ скитаться въ пустынь поднебесной. Это облако — печаль и отчаяніе женщины.

Тоска женщины не пугаетъ людей бурными порывами: ея никто не видитъ и не замѣчаетъ; она западаетъ глубоко въ сердце, и точитъ его, какъ червь точитъ корень водяной лиліи. Если веселіе мелькнетъ случайно на лицѣ стра- далницы, ея улыбкой полюбуется равнодушный прохожій, какъ блоснѣжными листьими цвѣтка, плавающего на поверхности воды, не думая даже о томъ, что въ корень бѣдной лиліи всосался болотный червь, что въ груди ея губи- тельный недугъ, что ядъ струится по вѣсьмъ ея жиламъ, и что этотъ червь умретъ только подъ гнетомъ камня могильнаго.

Мы совершенно согласны съ авторомъ на счетъ превосходства женщинъ надъ мужчинами въ дѣлѣ любви; мы принимаемъ это превосходство за фактъ, неподлежащій никакому сомнѣнію, и только стараемся, какъ съумѣемъ, объяснить причину та- кого явленія.

Начнемъ съ того, что женщина болѣе чѣмъ мужчина созда- на для любви самою природою. Женщина—представительница земнаго, производительнаго и хранительнаго начала, тогда какъ мужчина представитель начала умственнаго, отвлеченнаго, олимпійскаго. Отсюда происходитъ великая разница въ семей- ственномъ значеніи женщины и мужчины. Женщина — мать по призванію, по душѣ и по крови. Мать есть понятіе живое, дѣйствительное, фактически-существующее; тогда какъ отецъ есть понятіе болѣе или менѣе условное, болѣе или менѣе от- носительное. Мать любитъ свое дитя сердцемъ, кровью, нер- вами, любитъ его вѣсьмъ существомъ своимъ; ея любовь пре- жде всего физическая, естественная, слѣдовательно любовь по преимуществу, любовь какъ любовь. Она носитъ свое дитя у себя подъ сердцемъ, девять мѣсяцевъ питаетъ и раститъ его своею кровью, чувствуетъ въ себѣ первыя жизненныя его

движенія; оно, это дитя—плоть отъ плоти ея и кость отъ костей ея; она раждаетъ его на свѣтъ въ мукахъ и страданіяхъ, и вмѣсто того, чтобъ возненавидѣть, именно за нихъ-то, за эти муки и страданія еще болѣе любить его. Это маленькое, слабое, крикливое, неопрятное и деспотическое существо, съ перваго дня своего появленія на свѣтъ дѣлается предметомъ нѣжныхъ попеченій и неусыпныхъ заботъ своей матери: она любитъ его безобразіемъ, какъ красотою; его красная, морщиноватая кожа только манитъ ея поцѣлуи; въ его бессмысленной улыбкѣ она видитъ чуть не разумную рѣчь и готова начать съ нимъ говорить; ей не противно наблюдать за чистотою этого маленькаго животнаго; ей не тяжело не спать ночи, бодрствуя надъ его ложемъ. И она—бѣдная мать—будетъ любить его всегда, и прекраснаго и безобразнаго, и умнаго и глупаго, и добраго и злаго, и добродѣтельнаго и порочнаго, и славнаго и неизвѣстнаго... Она равно рыдаетъ и надъ гробомъ своего дитяти-младенца, и надъ гробомъ своего сына-старика, или своей дочери-старухи. Ангелъ-хранитель младенчества дѣтей своихъ, она другъ ихъ юности, возмужалости и старости. Нѣтъ жертвы, которой бы не принесла она для дѣтей; ихъ счастье—ея счастье; ихъ несчастье—ея несчастье. Нѣтъ ничего святѣе и безкорыстнѣе любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна въ сравненіи съ нею! Любовница, жена любитъ васъ для себя самой, ваша мать любитъ васъ для васъ самихъ. Ея высочайшее счастье видѣть васъ подлѣ себя, и она посылаетъ васъ туда, гдѣ, по ея мнѣнію, вамъ веселѣе; для вашей пользы, вашего счастья она готова рѣшиться на всегдашнюю разлуку съ вами. Конечно, такихъ матерей не много на бѣломъ свѣтѣ; но вѣдь и женщинъ тоже мало въ этомъ мірѣ, а много въ немъ самокъ... Совсѣмъ иначе любить отецъ своихъ дѣтей. Во первыхъ, онъ любитъ ихъ только тогда, когда и мать ихъ

любима имъ; во вторыхъ, онъ начинаетъ ихъ любить только съ тѣхъ поръ, какъ они начнутъ становиться и милы и забавны. Ихъ крика и доуки онъ не любитъ. Источникъ любви отца къ дѣтямъ всегда или эгоизмъ, или рефлексія, и никогда — природа. «Они мои дѣти — они на меня похожи — они продолжаютъ мое имя — я прижилъ ихъ отъ моей милой — они обнаруживаютъ большія способности — они много общаются въ будущемъ», — думаетъ про себя дражайшій родитель, — и онъ въ восторгѣ отъ мысли, что онъ любитъ своихъ дѣтей, что онъ не только нѣжный супругъ, но и примѣрный отецъ! Правда, и отецъ можетъ страстно любить дѣтей своихъ, когда его съ ними соединитъ нравственное, духовное родство; но такъ же точно можетъ онъ любить и приемыша, даже еще больше, чѣмъ собственныхъ дѣтей.

Что мать есть понятіе дѣйствительное, а отецъ — понятіе отвлеченное (говоря философскимъ языкомъ), этому можетъ служить доказательствомъ и то, что мать не можетъ не знать, что именно она сама, а не кто-нибудь другая, мать этого ребенка: ибо она девять мѣсяцевъ носила его подъ сердцемъ и въ болѣзняхъ дѣторожденія произвела его на свѣтъ... Отцы считаютъ себя отцами дѣтей своихъ, опираясь только на свѣдѣтельство женъ своихъ, не всегда непреложно-истинномъ... Для всякаго человѣка — большое несчастье не знать своей матери; для многихъ большое счастье — не знать своихъ отцовъ...

Всѣ люди равно рождаются для любви, и безъ любви ни для кого изъ людей нѣтъ ни истиннаго счастья, ни истинной жизни; но любовь женщины есть болѣе любовь, чѣмъ любовь мужчины; въ любви женщины больше кровнаго, а потому и больше страстнаго, — тогда какъ въ любви мужчины больше мыслительнаго, если можно такъ выразиться. Давно уже было замѣчено, что женщина мыслитъ сердцемъ, а мужчина и любить головою. Эту разницу въ характерѣ любви того и другаго пола

показали мы въ разницѣ любви матери и любви отца. Та же самая разнища найдется и во всякой другой любви. Замѣчено, что мужчины въ любви больше эгоисты, чѣмъ женщины. Если женщина эгоистка, она уже совсѣмъ не живетъ сердцемъ, не ищетъ любви и не требуетъ ея; ея вся жизнь въ расчетъ. Если же сердце женщины жаждетъ любви, — оно предается мужинѣ со всѣмъ самоабвеніемъ, со всѣмъ безразсудствомъ слѣпаго великодушія. Мужчина безъ любви не любитъ жить, и готовъ на всѣ жертвы и на всякое безразсудство — пока не достигъ своей цѣли. Удовлетворивши своей страсти, онъ вспоминаетъ о своей будущности, о своихъ обязанностяхъ, о святыхъ интересахъ своей души и пр., и чѣмъ болѣе дѣлается эгоистомъ, тѣмъ болѣе видитъ въ себѣ героя. Оттого, женщины-кокетки, женщины, умѣющія владѣть собою и сдающіяся не иначе, какъ долго мучивъ влюбленнаго въ нихъ мужчину, и даже въ связи съ нимъ умѣющія мучить его, вѣрнѣе и долѣе владѣютъ его сердцемъ. Мужчины не дорожатъ легкими побѣдами, хотя бы причина ихъ легкости заключалась въ прямотѣ и безхитростности преданнаго женскаго сердца. Женщины постояннѣе въ любви, и мужчины почти всегда первые охладѣваютъ къ старой связи и жаждутъ предаться новой. Эта способность внезапно охладѣвать и вдругъ чувствовать страшную пустоту и безотвѣтность въ сердцѣ, которое недавно еще было такъ полно и такъ дружно отвѣчало біенію другаго сердца, — эта несчастная способность бываетъ для благородныхъ мужскихъ натуръ источникомъ не только невыносимыхъ страданій, но и совершеннаго отчаянія. Женщины всегда готовы любить, — мужчина можетъ любить только при извѣстной настроенности своего духа; женщинѣ никогда и ничто не мѣшаетъ любить; — у мужчины есть много интересовъ, могущественно борющихся съ любовью и часто побѣждающихъ ее. Женщина всегда готова для замужества, независимо отъ ея



лѣтъ и опыта, — мужчина только въ извѣстныя лѣта и при извѣстномъ развитіи черезъ жизнь и опытъ приобретаетъ нравственную возможность жениться; ему надо дорости и развиться до нея; иначе онъ несчастнѣйшій человѣкъ черезъ нѣсколько же дней послѣ своей свадьбы. Женщина, вдругъ охладѣвшая къ своему мужу и увлеченная роковою страстью къ другому — есть исключеніе изъ общаго правила; мужчина съ поэтически-живою натурою всю жизнь свою привязанный къ одной женщинѣ — есть тоже очень рѣдкое исключеніе. Все это совершенная правда; но основываясь на всемъ этомъ, еще не слѣдуетъ изрекать ни безусловнаго благословенія на женщинъ, ни безусловнаго проклятія на мужчинъ: ибо все имѣетъ свои причины, слѣдственно, свое разумное оправданіе.

Мы охотно соглашаемся въ томъ, что сама природа создала женщину преимущественно для любви; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ женщина только на одно то и родилась, чтобъ любить: напротивъ, изъ этого слѣдуетъ, что женщина подлѣ преимущественнымъ преобладаніемъ характера любви и чувства создана дѣйствовать въ тѣхъ же самыхъ сферахъ и на тѣхъ же самыхъ поприщахъ, гдѣ дѣйствуетъ мужчина, подлѣ преимущественнымъ преобладаніемъ ума и сознанія. А между тѣмъ, общественный порядокъ обрекъ женщину на исключительное служеніе любви и преградилъ ей пути во всѣ другія сферы человѣческаго существованія. Гаремы только фактически принадлежать Востоку: въ идеѣ, они принадлежность и просвѣщенной Европы и всего міра. Извѣстно фізіологически, что каждое наше чувство съ особенною силою развивается на счетъ другихъ чувствъ: потерявшіе слухъ лучше начинаютъ видѣть, ослѣпшіе — лучше слышать, тоньше осязать. Удивительно ли, что вся сила духовной натуры женщины выражается въ любви, когда у женщины не отнято только одно право любить, а всѣ другія человѣческія права рѣшительно отняты?

Удивительно ли, вѣстѣ съ тѣмъ, что тогда въ женщинахъ становится недостаткомъ именно то, что должно бы составлять ихъ высочайшее достоинство? Исключительная преданность любви дѣлаетъ ихъ односторонними и требовательными: онѣ, кромѣ любви, не хотятъ признавать ничего на свѣтѣ, и требуютъ, чтобъ мужчина, для любви, забылъ всѣ другіе интересы — и общественные вопросы, и общественную дѣятельность, и науку, и искусство, и все на свѣтѣ. Это разрушаетъ равенство: ибо тогда мужчина не совѣмъ безъ основанія начинаетъ видѣть въ женщинѣ низшее себя существо. Не совѣмъ безъ основанія, сказали мы: ибо дѣйствительно, какою сдѣлало ее воспитаніе и разныя общественныя отношенія, она — низшее въ сравненіи съ нимъ существо, хотя въ возможности, какою создала ее природа, она столько же не ниже его, сколько и не выше. Это неравенство рождаетъ разныя отношенія одной стороны къ другой. Въ мужчинѣ является родъ презрѣнія и къ женщинѣ и къ чувству любви, а вслѣдствіе этого охлажденіе, которое дѣлаетъ невыносимую неразрывность связывающихъ ихъ узъ. Въ женщинѣ, напротивъ, самая опасность потерять сердце любимого ею челоѣка только усиливаетъ ея любовь и дѣлаетъ ее навязчивѣе и требовательнѣе. Сверхъ того, продолжительность, или неизмѣняемость чувства можетъ быть дорога и почтенна только какъ признакъ того, что обѣ стороны наши другъ въ другъ полное осуществленіе тайныхъ потребностей своего сердца; иначе, это — или простая привычка (дѣло тоже очень хорошее, если результатъ его бываетъ счастье), или донъ-кихотская добродѣтель, способная удивлять и восхищать только сухихъ и мертвыхъ моралистовъ-резонеровъ, да еще романтическихъ поэтовъ-мечтателей. Если внезапныя охлажденія чувства къ однимъ предметамъ и столь же внезапныя возгаранія чувства къ другимъ предметамъ, если они бываютъ дѣйствительно: значить, возможность ихъ заключена въ при-

родъ сердца человѣческаго, и тогда они — не преступленіе и даже не несчастіе. Кто способенъ понять это, тому всегда легче перенести подобный разрывъ, и тотъ всегда, послѣ него, сохранить свое нравственное здоровье и свою способность вновь быть счастливымъ любовью. Изъ мужчинъ, нѣкоторые это понимаютъ, и очень многіе чувствуютъ это безсознательно; что же касается до женщинъ, изъ нихъ могутъ понимать это развѣ только одаренныя гениальною натурою. Женщина, съ колыбели, воспитывается въ убѣжденіи, что она всю жизнь должна принадлежать одному, принадлежать въ качествѣ вещи. И потому, нѣкоторыя изъ нихъ иногда обрекаютъ себя, послѣ смерти мужа, вѣчному вдовству — родъ индійскаго самосожженія на кострѣ умершаго мужа! . . . Благодаря романтизму среднихъ вѣковъ, право, мы, въ дѣлѣ женщинъ, ушли не дальше Индійцевъ и Турковъ! . . . Итакъ, способность привязываться всѣми силами души къ одному предмету зависить въ женщинахъ не отъ одной только природной способности къ любви, но отъ нравственного рабства, въ которомъ держитъ ихъ общественное мнѣніе и которому онѣ сами покоряются съ такою добровольною готовностью, съ такимъ даже фанатизмомъ. Получая воспитаніе хуже, чѣмъ жалкое и ничтожное, хуже, чѣмъ превратное и неестественное, скованныя по рукамъ и по ногамъ желѣзнымъ деспотизмомъ варварскихъ обычаевъ и приличій, жертвы чуждой безусловной власти всю жизнь свою, до замужества рабы родителей, послѣ замужества — вещи мужей, считая за стыдъ и за грѣхъ предаться исполнѣ какому-нибудь нравственному интересу, напримѣръ, искусству, наукѣ, — онѣ, эти бѣдныя женщины, всѣ запрещенныя имъ кораномъ общественнаго мнѣнія блага жизни хотятъ, во что бы ни стало, найти въ одной любви, — и, разумѣется, почти всегда горько и страшно разочаровываются въ своей надеждѣ. Измѣнила мужчинъ надежда на что-нибудь, — сколько у него

выходовъ изъ горя, сколько дорогъ на попрятѣ жизни, которыя могутъ вести его къ той или другой цѣли! Измѣнила женщинѣ любовь, — ей ничего уже не остается въ жизни, и она должна пасть, погибнуть подъ бременемъ постигшаго ее бѣдствія, или умереть душою для остальнаго времени своей жизни, сколько бы ни продолжалась эта жизнь. Не говорите ей объ утѣшеніи, не маните ее надеждою, не указывайте ей на очарованіе искусствъ, на усладу науки, на блаженство высокаго подвига гражданского: ничего этого не существуетъ для нея! Возвратите ей любовь любимаго ею, пусть вновь сидитъ онъ подлѣ нея, да глядитъ, въ упоеніи страсти, въ ея сіяющія блаженствомъ очи! Бѣдная, для нея въ этомъ столько счастья, тогда какъ только Маниловъ-мущина способенъ найти въ этомъ все свое счастье...

Итакъ, даровитая Зенеида Р-ва, сознавши существованіе факта, была чужда сознанія причинъ этого факта. Но къ чести ея надо сказать, что она глубоко понимала униженное положеніе женщины въ обществѣ и глубоко скорбѣла о немъ; но она не видѣла связи между этимъ униженнымъ положеніемъ женщины и ея способностью находить въ любви весь смыслъ жизни. Мысль объ этомъ состояніи униженія, въ которомъ находится женщина, составляетъ вторую живую стихію повѣстей Зенеиды Р-вой. И потому, нельзя сказать, чтобъ весь пафосъ ея поэзіи заключался только въ мысли: какъ умѣютъ любить женщины, и какъ не умѣютъ мужчины любить; нѣтъ, онъ заключается еще и въ глубокой скорби объ общественномъ униженіи женщины и въ энергическомъ протестѣ противъ этого униженія. Повѣсть «Судъ Свѣта» написана преимущественно подъ вліяніемъ этой идеи, которая, однакожь, органически связывается съ идеею о высокой способности женщины къ безграничной любви. Повѣсть «Напрасный Даръ» исключительно посвящена выраженію идеи объ общественномъ невольничествѣ

царицы общества, невольничествѣ столь великомъ и безвыходномъ, что для женщины величайшее несчастье имѣть призваніе къ чему-нибудь возвышенно-человѣческому, кромѣ любви. Въ повѣсти «Идеалъ» эта мысль высказана прямо, устами героини, въ разговорѣ ея съ своею подругою:

«Но какой злой геній такъ искажилъ предназначеніе женщины? Теперь она родится для того, чтобы нравиться, прельщать, увеселять досуги мужчинъ, рядиться, плясать, владычествовать въ обществѣ, а не дѣлѣ быть бумажнымъ царькомъ, которому паяцъ кланяется въ присутствіи зрителей, и котораго онъ бросаетъ въ темный уголъ наединѣ. Намъ воздвигаютъ въ обществахъ троны; наше самолюбіе украшаетъ ихъ, и мы не замѣчаемъ, что эти мишурные престолы — о трехъ ножкахъ, что намъ стоитъ немного потерять равновѣсіе, чтобы упасть и быть растоптанной ногами ничего не разбирающей толпы. Право, иногда кажется, будто міръ Божій созданъ для однихъ мужчинъ: имъ открыта вселенная со всѣми таинствами, для нихъ и слава, и искусство, и познаніе, для нихъ свобода и всѣ радости жизни. Женщину отъ колыбели сковываютъ цѣпами приличій, опутываютъ ужаснымъ «что скажетъ свѣтъ?» — и если ея надежды на семейное счастье не сбудутся, что остается ей въ себя? Ея бѣдное, ограниченное воспитаніе не позволяетъ ей даже посвятить себя важнымъ занятіямъ, и она поневолѣ должна броситься въ омутъ свѣта, или до могилы влечить безцвѣтное существованіе!...

— Или избрать мечту и привязаться къ ней всей силою души, влюбиться заочно, посылать по почтѣ зефировъ вздохи и изъясненія своему идеалу за двѣ тысячи верстъ, и питаться этой платоническою любовью. Не такъ ли?...

Первое страшно, потому что слишкомъ серьезно, а второе странно, потому что слишкомъ смѣшно и пошло — не правда ли?... А между тѣмъ, все сказанное сочинительницею — такая очевидная, такая ужасная истина... Но вотъ еще нѣсколько строкъ изъ исповѣди женщины въ повѣсти «Судъ Свѣта»:

«При безпрестанномъ движеніи войскъ, я всюду слѣдовала за мужемъ; вездѣ, всегда была одинакова, не измѣнила ни мнѣній, ни поступковъ моихъ. Люди съ умомъ вездѣ дарили меня вниманіемъ; глупцы слетали противъ меня нелѣпыя выдумки. Но есть третій сортъ людей, наиболее опасный для всего, что выходить изъ круга обычнаго. Часто люди эти обладаютъ умомъ и многими достоинствами, но умъ ихъ ни довольно силенъ, чтобы укротить владычествующее надъ ними самолюбіе, ни довольно слабъ, чтобы, ослабѣвшіи

дерзкою самоуверенностью, ставить себя выше прочаго видимаго творенія. Они чувствуютъ свои недостатки, и всякое превосходство ближняго принимаютъ за личное оскорбленіе; они не могутъ простить другому и тѣни совершенства. О, эти люди страшнѣе зачумленныхъ! Надъ пошлымъ злоязычіемъ дурака смѣются; но ихъ осторожнымъ наветамъ, ихъ обдуманной, правдоподобной клеветѣ не могутъ не вѣрить. Эти-то вольноопредѣляющіеся кандидаты въ гевин и составляютъ верховное судилище: они-то наиболѣе ожесточались противъ меня, и отъ нихъ разсѣвались ядовитѣйшія вѣсти.

.....  
Люди—дѣти вѣчно озабоченные, вѣчно суетящіеся. Торопясь за неуловимымъ «завтра», имѣютъ ли они досугъ разбирать и разлагать сущность вещи, поражающей ихъ взоры?... Мимоходомъ они бросаютъ бѣглый взглядъ на ея наружный видъ, и только объ этой наружности уносятъ съ собой воспоминаніе. Не ихъ вина, что взоръ часто падаетъ на предметъ не съ настоящей точки зрѣнія: они какъ видѣли, такъ разсудили и осудили. Они правы!

Горе женщинѣ, которую обстоятельства, или собственная неопытная воля возносятъ на пьедесталъ, стоящій на распутии бѣгущихъ за суетностію народовъ! Горе, если на ней остановится вниманіе людей, если къ ней они обратятъ свое легкомысліе, ее изберутъ цѣлію взоровъ и сужденій! И горе, стократъ горе ей, если оболоченная своимъ опаснымъ возвышеніемъ, она взглянетъ презрительно на толпу, волнующуюся у ногъ ея, не раздѣлитъ съ ней игры и прихотей, и не преклонитъ головы передъ ея кумирами!

«Я поняла наконецъ эту великую истину, и отъ всей души примирилась съ моими гонителями.»

Этихъ указаній и выписокъ слишкомъ достаточно для того, чтобъ читатели наши увидѣли, какъ неизмѣримо выше всѣхъ предшествовавшихъ ей писательницъ, и въ стихахъ и въ прозѣ, стоитъ Зенеида Р-ва. Ея повѣсти не наполнены сладенькими чувствованьями и розовыми мечтавьями; нѣтъ, онѣ проникнуты одною могучею мыслию, которая преслѣдовала ее всю жизнь и не давала ей покоя. Какъ авторъ, какъ поэтъ, Зенеида Р-ва имѣла бы право примѣнить къ себѣ эти стихи Лермонтова:

Я зналъ одной лишь думы власть,  
Одну — но пламенную страсть:  
Она, какъ червь, во мнѣ жила,  
Изгрызла душу и сожгла.  
.....  
Я эту страсть во тьмѣ ночной

Вскормилъ слезами и тоской,  
Ее предъ небомъ и землей  
Я нынѣ громко признаю  
И о прощенья не молю.

Безмысленныя чувства и розовенькія чувствованія начинаютъ уже надобдаться въ нашей литературѣ. Право на общее вниманіе теперь могутъ имѣть только писатели, возвысившіеся до мысли. Зенеида Р-ва принадлежитъ къ тѣсному кругу такихъ писателей, и есть единственная у насъ писательница въ этомъ родѣ.

Теперь о степени таланта и художественномъ достоинствѣ повѣстей Зенеиды Р-вой. Одинъ журналъ, хваля слогу Зенеиды Р-вой и давая подъ рукою знать, что этимъ слогомъ она была обязана сколько своей понятливости, столько и замѣчаніямъ, намекамъ и совѣтамъ его (журнала), — вотъ что, между прочимъ, говорить о Зенеидѣ Р-вой, объявляя себя посмертнымъ ея другомъ: «Ея Утбалла, Джелладелинъ и Медальонъ безспорно — одинъ изъ лучшихъ повѣстей, какія были въ то время написаны въ Европѣ: онѣ обѣщали русской словесности талантъ истинно-писательскій (?!), равный по оригинальности таланту Жоржа Занда (sic!), но еще болѣе пріятный и несравненно болѣе прочный (вотъ какъ!)». Для знающихъ этотъ журналъ, нѣтъ ничего удивительнаго въ этомъ возгласѣ: это тотъ самый журналъ, который шутить и потѣшаетъ наукою, искусствомъ, критикою и правдою, и который нѣкогда, упавъ на колѣни, закричалъ: «великій Гёте! великій Кукольникъ!» Мнѣніе этого журнала о Зенеидѣ Р-вой — явно шутка. Это доказывается и тѣмъ, что онъ сѣтуетъ, зачѣмъ изданы сочиненія Зенеиды Р-вой, не считая ихъ заслуживающими особеннаго изданія; это же доказывается и языкомъ, которымъ написана рецензія о повѣстяхъ Зенеиды Р-вой. Послушайте: «Эти забытыя (?!) вещи перебыютъ дорогу многому изъ

того, что другіе могутъ вновь выдумать. Что вы теперь помните изъ сочиненій Зенеиды Р-вой? Возьмите книгу, и прочитайте вторично, посмотрите, какъ это ново, какъ свѣжо, какъ благоухаетъ теплою весною сердца, какъ всегда будетъ свѣжо, ново и благоуханно, потому что эти страницы, полныя тоски, страданія, огненныхъ, но неопредѣленныхъ желаній, вырвались изъ блестящихъ далекихъ облакъ (?) юной мечты, упали на землю съ дождемъ безотчетныхъ слезъ (!), съ громовыми ударами молодого сердца (!!), созданнаго для благородныхъ страстей, стремившихся къ высокому, къ прекрасному, къ отвлеченному, къ тому, чего не существуетъ на землѣ — блаженству ангеловъ, — къ счастью, которое постигаютъ одні только женщины, которымъ онѣ вѣчно стараются овладѣть и которое вѣчно отъ нихъ ускользаетъ». Прочтя этотъ наборъ словъ, кто не скажетъ, что мнѣніе помянутаго журнала о сочиненіяхъ Зенеиды Р-вой — просто шутка, или мистификація?

Нѣтъ, мы не скажемъ, чтобъ Зенеида Р-ва была по таланту выше Жоржъ Занда, или равнялась съ нимъ; мы даже думаемъ, что между этими двумя талантами — неизмѣримое пространство... Это только со стороны таланта, а между тѣмъ, вѣдь талантъ не составляетъ еще всего въ писателѣ: кромѣ таланта, должно еще быть направленіе таланта, содержаніе его твореній. Такая поэзія, какъ поэзія Жоржъ Занда, приготовлена огромнымъ общественнымъ развитіемъ, перешедшимъ черезъ многія измѣненія и процессы историческіе; наши же писатели, даже и повыше Зенеиды Р-вой, подобно эху, повторяютъ въ своихъ твореніяхъ отблески и отзвуки чуждыхъ намъ цивилизацій и общественностей.

Что у Зенеиды Р-вой былъ талантъ, и притомъ замѣчательный, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ дарованій, — въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но что ея талантъ не былъ развитъ, что онѣ вѣчно колебался въ какой-то нерѣшительности — это



также правда. Вотъ почему ея повѣсти имѣютъ большой недостатокъ со стороны художественности. Характеры дѣйствующихъ лицъ не довольно рѣзко очерчены и часто похожи другъ на друга, разнясь только положеніемъ, въ какомъ описываетъ ихъ сочинительница. Подробности быта и колоритъ мѣстности не довольно поражаютъ своею вѣрностію и яркостію. Но главный и существенный недостатокъ сочиненій Зенеиды Р-вой, это отсутствіе ироніи и юмора, и присутствіе какого-то провинціального идеализма à la Марлинскій. Для доказательства справедливости нашего мнѣнія, возьмемъ, для примѣра, повѣсть «Идеалъ». Полковница Гольцбергъ влюбляется заочно въ новаго поэта, начитавшись его произведеній; «но тщетно Ольга стремится къ нему душу и мысли свои; онъ высокъ, далекъ, и не замѣчаетъ ея въ толпѣ своихъ поклонницъ». Случилось ей по несчастію быть въ Петербургѣ, въ театрѣ, при представленіи новой драмы ея «идеала». Когда вызвали автора (а у насъ — вы знаете — вызываютъ громко и долго), — «щеки Ольги загорѣлись багровымъ цвѣтомъ пылающей крови, и въ ту минуту можно было принять ее за жрицу дельфійскую, ожидающую съ упованіемъ и тоской появленія духа». Но поэтъ не вышелъ. Мужъ зоветъ Ольгу домой, а она, въ забытѣ, не двигается съ мѣста изъ своей ложи. Вдругъ въ сосѣдную ложу входитъ человѣкъ, котораго привѣтствуютъ, какъ автора игранный пьесы, поздравляютъ съ успѣхомъ и называютъ Анатоліемъ. Ольга вскрикиваетъ: «Анатолій!», хватается за спинку кресла, чтобъ не упасть, плачетъ и не спускаетъ глазъ съ своего «идеала», а сочинительница, слогомъ повѣстей Марлинскаго, оправдываетъ свою героиню въ ея смѣшной выходкѣ. Вообще, эта Ольга любитъ выражаться въ обществѣ восторженнымъ языкомъ, который, будучи неумѣстенъ, всегда бываетъ смѣшонъ. На балѣ спросили ее, любитъ ли она стихотворенія Анатолія Т-го; она отвѣчала: «Люблю ли я? Укажите мнѣ женщину, которая

не находила бы въ его небесныхъ твореніяхъ отголоска собственныхъ чувствъ? которая не бредитъ имъ, не обожаетъ его?» Подруга ея юности спрашиваетъ у нея: неужели холодъ годовъ и опыта не остудилъ ея ребяческой страсти къ незнакомому человѣку? Ольга отвѣчаетъ ей, словно по книгѣ: «къ незнакомому человѣку? Вѣра! что это значить? И ты можешь говорить, что онъ не знакомъ мнѣ? Мнѣ не знакомъ Анатолій? Мой идеалъ? Мой поэтъ, котораго пѣсни пробудили мое дѣтское воображеніе, одушевили его жизнь, образовали мою душу? Кто же улаждалъ мое одиночество, кто утѣшалъ меня въ горѣ, кто удвоялъ мои радости, какъ не онъ, не Анатолій! И ты говоришь, что я люблю незнакомаго мнѣ человѣка! Нѣтъ я сроднилась съ каждою его мыслию; я знаю всѣ изгибы его благороднаго сердца; я его обожаю; я пожертвую послѣднюю радость жизни моей, небогатою утѣхами, послѣднюю каплю крови, я отдамъ душу свою для продолженія его жизни... Да, да; я люблю его; но я люблю не земною любовію, я люблю не человѣка...» Такая любовь именно ребяческая и смѣшная любовь, а такой способъ выраженія очень сбивается на риторику. Да и вообще, все это очень неестественно и неправдоподобно. Восторженная Ольга встрѣчается съ своимъ «идеаломъ» въ одномъ знакомомъ домѣ; разъ онъ ни съ того ни съ сего начинаетъ ей объясняться въ любви, говоря ей «ты»; страницахъ на трехъ тянется самый фразистый разговоръ. Удивительно, какъ Ольга не захохотала, слушая всю эту натянутую галиматью; она даже повѣрила ей и увлеклась ею. Поэтъ скрылся на нѣсколько дней отъ Ольги, распуславъ слухъ о своей тяжелой болѣзни. Бѣдная женщина рѣшается уйти съ бала, чтобъ навѣстить тайкомъ умирающаго поэта... Его не было дома. — и Ольга прочла на его столѣ письмо къ пріятелю, въ которомъ онъ свѣтаетъ надъ Ольгою и ея любовію, и съ циническою откровенностію говоритъ о своихъ намѣреніяхъ. Ольга бросилась вонъ... но вы сами можете

прочестъ повѣсть, если еще не читали ея, и увидѣть, какъ ребячески-идеально и дѣтски-неправдоподобно ея содержаніе. Прибавимъ только, что когда эта повѣсть была напечатана въ одномъ журналѣ, сцена возвращенія домой поэта была исполнена самыхъ грязныхъ, циническихъ подробностей, а поэтъ былъ представленъ пьянымъ: это была дружеская услуга досужаго журналиста, охотника поправлять чужія сочиненія. Въ изданіи «Сочиненій Зененды Р-вой», печатавшемся съ подлинной рукописи покойной сочинительницы, эти позорныя для памяти женщины прибавки, разумѣется, исключены.

Развязка повѣсти «Медальйонъ» довольно изысканно основана на литературныхъ вечерахъ и чтеніяхъ почитателей кавказскихъ минеральныхъ водъ: черта совершенно чуждая русскому обществу! Развязка повѣсти «Судъ Свѣта» чрезвычайно изысканно и натянуто основана на сходствѣ лицъ и на *qui pro quo*, вслѣдствіе котораго неистовый обожатель героини повѣсти брата ея принялъ за ея любовника. Притомъ же, героиня этой повѣсти ужъ черезчуръ ребячески и приторно идеальна, какъ это можно видѣть изъ этихъ словъ ея: «Знаете ли, что еслибъ въ ту пору какой-нибудь случай, возвративъ мнѣ свободу, дозволилъ намъ открыть чувства наши предъ глазами всего свѣта, я отвергла бы соединеніе съ вами изъ опасенія гласности любви моей, изъ одной боязни, чтобъ двусмысленная рѣчь людей, завистливый взоръ ихъ не осквернили ея чистоты, чтобъ ихъ нескромныя улыбки, даже случайная неосторожность, не оскорбили ея непорочности?» И естественно ли, чтобъ изъ устъ такой женщины вышли эти громовыя слова, свойственныя только душѣ великой и крѣпкой: «Судъ свѣта теперь тяготѣетъ на насъ обоихъ: меня, слабую женщину, онъ сокрушилъ какъ ломкую тросточку; васъ, о! васъ, сильнаго мужчину, созданнаго бороться со свѣтомъ, съ рокомъ и со страстями людей, онъ не только оправдаетъ, но даже возвеличитъ, потому что члены

этого страшнаго трибунала все люди малодушные. Съ позорной плахи, на которую онъ положилъ голову мою, когда уже роковое желѣзо смерти занесено надъ моею невинной шеею, я еще взываю къ вамъ послѣдними словами устъ моихъ: Не бойтесь его!... онъ рабъ сильнаго и губить только слабыхъ».... Такія строки могутъ вырываться только изъ-подъ пера писателей съ великою душою и великимъ талантомъ...

Героиня «Номерованной Ложи» не хочетъ выйти замужъ за человѣка, доказавшаго ей свою безграничную любовь и преданность, — не хочетъ за него выйти, потому что еще живъ ея мужъ, который, ограбивъ ее, развелся съ нею... Она — видите — боится увидѣть въ себѣ клятвопреступницу, и выходить замужъ за своего обожателя тогда только, какъ прежній мужъ былъ убитъ гдѣ-то на время... Вотъ ужъ по-долго романтизмъ, который и въ средніе вѣка удивилъ бы всѣхъ своею нелѣпостію!... Но провинціи онъ нравится и теперь — разумѣется, въ повѣстяхъ...

«Джеллалединъ» и по завязкѣ и по колориту, крѣпко отзывается марлинизмомъ...

«Любинька», при первомъ появленіи своемъ въ печати, возбудила, какъ говорится, фуроръ въ публикѣ. Не удивительно: повѣсть эта, по содержанію и по характерамъ, самое пансіонское произведеніе. Одинъ только характеръ въ ней мастерски отдѣланъ: это характеръ злой мачихи, Антонины Михайловны. Смѣшите всѣхъ характеры Евгенія Задольскаго и Валеріана Стрѣльнева, особенно послѣдняго, ибо онъ преуморительно идеаленъ и преидеально смѣшонъ, съ своею Оттиліею, своими страданіями и своимъ ужасомъ при мысли о незаслуженномъ проклятіи обманутаго отца, слабаго, полоумнаго старика. Характеръ Любиньки хорошъ отвлеченно, но не живымъ поэтическимъ образомъ. Завязка повѣсти основана на недоразумѣніи, которое могло бы разрѣшиться личнымъ свиданіемъ сына

съ отцомъ, а развязка основана на Deus ex machina. Вообще, повѣсть и длинна и скучна. Сама сочинительница чувствовала это. Обѣщавъ ее въ нашъ журналъ, она прислала вмѣсто ея первую часть «Напраснаго Дара», объясняя, въ письмѣ къ намъ, причину этого такимъ образомъ: «можетъ быть, вамъ покажется страннымъ, что, обѣщавъ прислать готовую повѣсть, я посылаю половину другой, еще не совсѣмъ оконченной. Что дѣлать! Та повѣсть, о которой я говорила, точно лежитъ у меня и ожидаетъ только послѣдней поправки, чтобъ явиться свѣту; но у меня, какъ дѣти у капризныхъ матерей, есть повѣсти любимыя и не любимыя. Та повѣсть длинна, я долго работала надъ нею, она надоѣла мнѣ — пусть полежитъ, забудется, тогда я опять пріймусь, окончательно исправлю ее, и отпущу на волю.» Намъ, впрочемъ, весьма нравится одно мѣсто въ «Любимыѣ»; оно не длинно, и мы можемъ его здѣсь выписать: «Онъ понялъ, что въ жизни человѣка существенность, такъ унижаемая поэтами, одна существенна, слѣдственно одна можетъ быть источникомъ всего прекраснаго, возвышеннаго, какъ и всего дурнаго; онъ понялъ, что эта существенность есть корень нашего бытія, корень нерѣдко грязный, всегда некрасивый, но дающій соки и силу лучшимъ цвѣтамъ міра — мыслямъ и чувствамъ человѣка; и что отъ насъ зависитъ облагородить происхожденіе растенія, стараясь, чтобъ цвѣты его не были пустоцвѣтомъ, чтобъ, пройдя пору цвѣтенія, они не разлетѣлись напрасно по вѣтру, а дозрѣли бы въ плодъ пользы и добра». Глубокая мысль!

Повѣсти: «Судъ Божій» и «Воспоминаніе Желѣзнодорожника» ниже всякой критики и не стоятъ упоминовенія. Это самая смѣшная марлицизна.

Лучшая повѣсть Зенеиды Р-вой, это, безъ сомнѣнія, «Теофанія Аббіаджіо». Содержаніе ея глубоко, завязка, развязка и рассказъ благородно просты, при необыкновенномъ искус-

ствѣ, съ какимъ они ведены. Характеры очеркнуты превосходно, особенно характеръ героини. Слогъ повѣсти — образцовый. Можно указать на одинъ только недостатокъ: зачѣмъ Долины рассказываетъ свою исторію подъ вымышленнымъ именемъ своего небывалаго друга, и кому же рассказываетъ? — Ольгѣ, которая знаетъ, о комъ идетъ рѣчь, и Теофаніи, которая ничего не знаетъ. Это замашка старинныхъ романовъ, эффектъ довольно истертый. За исключеніемъ этого, вся повѣсть — одинъ изъ перловъ русской литературы.

Несмотря на нѣкоторую изысканность и неправдоподобность въ завязкѣ, «Утбалла» кажется намъ лучшею повѣстью послѣ «Теофаніи Аббиаджіо»: въ ея рассказѣ много увлекающей силы.

Первая половина «Напраснаго Дара» нѣсколько изысканна по содержанію. Дѣвушка, мучимая призваніемъ къ поэзіи — мысль довольно отвлеченная, корень которой не дѣйствительность, а рефлексія поэта. И не въ такомъ быту, какъ тотъ, въ которомъ помѣстила сочинительница свою вдохновенную Анюту, неизбежная гибель благородныхъ существъ происходитъ у насъ не столько отъ поэтическаго ихъ призванія, а отъ противоположности ихъ человѣческихъ (гуманныхъ) натуръ съ окружающими ихъ животными натурами. Эта мысль проще, зато вѣрнѣе и болѣе годится въ основу повѣстей, сюжетъ которыхъ берется изъ міра русской жизни. Вообще, вся первая часть «Напраснаго Дара» такъ и дышитъ какимъ-то бурнымъ, порывистымъ, но невыдержаннымъ вдохновеніемъ, и потому она шевелитъ, будитъ душу читателя, но не удовлетворяетъ ея. Въ ней есть что-то, но чего-то и не хватаетъ. Вторая часть была бы удовлетворительнѣе, но она некончена и превалась на самомъ интересномъ мѣстѣ. Мысль ея проще. Вотъ что писала о ней къ намъ сочинительница. . . «Первая и вторая часть этой повѣсти соединяются только одною идеею; межъ

ихъ лицами и происшествіями нѣтъ ничего общаго, это двѣ отдѣльныя фантазіи на одинъ тонъ. Въ первой я говорила о силѣ умственной, во второй выражу силу чувствъ». Значить: во второй части подъ напраснымъ даромъ разумѣлось бы не призваніе къ какому-нибудь искусству, а просто сильная способность чувствовать. Это было бы лучше.

Что сказали мы о первой части «Напраснаго Дара», то болѣе или менѣе можетъ относиться вообще къ повѣстямъ Зенеиды Р-вой. Почти во всякой изъ нихъ чувствуете страшную внутреннюю силу, и потомъ не видите положительныхъ результатовъ этой силы. Почти каждая изъ нихъ есть могучій взмахъ, но за которымъ не слѣдуетъ столь же могучаго удара. Читая повѣсти Зенеиды Р-вой, вы чувствуете, что любопытство ваше раздражено, вниманіе напряжено, вы витѣ себя и съ замирающимъ сердцемъ ждете — вотъ явится оно, желанное слово, вотъ разгадается загадка, и вся путаница судьбы разрѣшится въ ясную и опредѣленную идею, а тревога души вашей — въ чувство полного удовлетворенія, — и вы остаетесь недовольнымъ и неудовлетвореннымъ. Отчего это?

Намъ кажется, что это объясняется жизнью даровитой писательницы нашей. Жена военнаго человѣка, она слѣдовала за нимъ изъ губерніи въ губернію, изъ уѣзда въ уѣздъ, и случилось ей кочевать даже въ стѣняхъ Новороссіи. Отдаленіе отъ столичной жизни есть большое несчастье и для души и для таланта: они или увядаютъ въ апатіи и бездѣйствіи, или принимаютъ провинціальное направленіе, которое комизмъ полагаетъ въ плоской шутливости, а высокое — въ дѣтскомъ отвлеченномъ идеализмѣ. Какъ бы ни сильна была натура человѣка и какъ бы ни великъ былъ талантъ его, но невозможно же ему долго бороться съ подавляющими впечатлѣніями окружающаго его міра, и волею или неволею, болѣе или менѣе, ранѣе или позже, но долженъ же онъ принять на себя ихъ отпечатокъ.

Зенеида Р-ва знала итальянскій, нѣмецкій, англійскій и французскій языки, хорошо была знакома съ великими поэтами, писавшими на этихъ языкахъ: это видно даже и изъ эпиграфовъ, которыми испещряла она главы своихъ повѣстей. И вмѣстѣ съ ними, вы находите эпиграфы изъ гг. Кукольника и Бенедиктова. Въ провинціи — извѣстное дѣло — идеаломъ ну-веллистовъ добродушно считаютъ Марлинскаго; идеаломъ лириковъ — г. Бенедиктова, идеаломъ драматурговъ — г. Кукольника, а идеаломъ юмористовъ — барона Брамбеуса... Мы знаемъ изъ достовѣрнаго источника, что лучшими повѣстями на русскомъ языкѣ, Зенеида Р-ва считала «Амаллатъ Бека» Марлинскаго, и «Блаженство Безумія» г. Полеваго. Нельзя не сознаться съ горестью, что на ея повѣстяхъ замѣтенъ отпечатокъ вліянія повѣстей Марлинскаго и г. Полеваго.

Но золотая руда блещетъ и въ землянистой массѣ. Яркій и сильный талантъ Зенеиды Р-вой не могутъ затмить недостатки въ ея произведеніяхъ. Талантъ ея принадлежитъ ей самой; недостатки — обстоятельствамъ жизни. Не являлось еще на Руси женщины столь даровитой, не только чувствующей, но и мыслящей. Русская литература по праву можетъ гордиться ея именемъ и ея произведеніями.

Зенеида Р-ва, по натурѣ своей, чувствовала сильную потребность высказываться на бумагѣ; но она была чужда печатнаго самолюбія, и только внѣшняя необходимость заставляла ее печататься. «Безъ этой необходимости (писала она къ одному изъ своихъ знакомыхъ) ничто не принудило бы меня броситься въ этотъ омутъ и взять на себя несносное званіе женщины-писательницы». Опытность, пріобрѣтенная ею въ прежнихъ литературныхъ ея сношеніяхъ, особенно дѣлала для нея отвратительнымъ омутъ печатной извѣстности: это мы знаемъ изъ ея собственныхъ писемъ. Но и не одно это дѣлало для нея несноснымъ званіе женщины-писательницы. Въ началѣ нашей



статьи, мы говорили, какъ еще тернистъ путь женщины-писательницы въ Европѣ. У насъ онъ не гладокъ по своему; ссылаемся на свидѣтельство самой Зененды Р-вой:

Въ обществахъ такъ любятъ танцоровъ съ блестящими эполетами, что ихъ не подвергаютъ строгому разбору; помѣщичи и горожанки принимаютъ ихъ съ благоволеніемъ, помѣщичи и горожане приглашаютъ ихъ на обѣды и вечера, въ угожденіе своимъ повелительницамъ. Но жены военныхъ, — о, это другое дѣло! Судьи женскаго рода осматриваютъ своихъ, вновь прибывшихъ соперницъ, не всегда доброжелательнымъ окомъ, строго разбираютъ ихъ наряды, черты лицъ, характеровъ. Это двѣ чуждыя между собою націи, двѣ разнородныя стили, — не легко и не скоро соединяются онѣ въ одно дружное цѣлое.

Что же, если по несчастію, одна изъ этихъ налетныхъ госпожъ отличается чѣмъ нибудь отъ прочихъ, — красотой, талантами, богатствомъ! — Если злодѣйка молва, опережая ее, приноситъ вѣсть объ ней на новыя квартиры и еще до пріѣзда ея возбуждаетъ любопытство, подстрекаетъ соперничество, явить самолюбіе, задаетъ оскоку зависти, — и эта тощая, желтолицая фурія заранѣе точить зубокъ на незнакомую, но уже ненавистную жертву? — «Но что можетъ такъ сильно расшевелить страсти женщинъ? Какое превосходство, какое отличие? скажутъ мои добрыя читательницы! — Ахъ Божь мой! повторю: маленькое отступленіе или выступленіе изъ общаго круга обыкновенностей; реліефъ на гладкой стѣнѣ общества. Вообразите себѣ поручицу чудной, поражающей красоты, капитаншу — уроженку Сѣверной Америки, переброшенную случаемъ съ береговъ Миссисипи на берега Оки, вжѣствъ съ милліономъ приданаго, — или, хоть съ приложеніемъ какого угодно чина, писательницу, т. е. женщину написавшую когда-нибудь въ досужный часъ двѣ, три повѣсти, которыя попались въ послѣдствіи подъ типографскій станокъ.

«Что! Капитанша или поручица писательница!... Да это вздоръ! этого нѣтъ и быть не можетъ! — возразятъ мнѣ многіе и многіе, — правда, писала Жанлисъ, такъ она была придворная, графиня! писала Сталь, — такъ отецъ ея былъ министромъ, — обѣ получили высокое образованіе, но кап...» Однакожь предположимъ, хоть для шутки, что въ толпѣ вновь прибывшихъ офицеровъ является рука объ руку съ однимъ изъ нихъ женщина-писательница. — Всѣ заранѣе знаютъ объ ея прібытіи, собираютъ объ ней слухи, разсказываютъ вѣсти бывалыя и небывалыя, — наконецъ она прібыла, она здѣсь...

Ахъ! какъ бы ее увидѣть! она вѣрно носить на челѣ отпечатокъ гения; вѣрно только и говорить о поэзіи да о литературѣ; высказываетъ мнѣнія свои въ родѣ импровизаціи, употребляетъ техническіе термины, носить съ собою карандашъ и бумагу для записыванія счастливо-мелькнувшихъ идей!...

Бѣдная писательница ѣдетъ, въ невинности души своей, обѣдать: не подозревая, что ея приглашали на показъ, какъ пляшущую обезьяну, какъ змѣя въ фланелевомъ одѣялѣ; что взоры женщинъ, всегда зоркіе въ анализировкѣ качествъ сестеръ своихъ, вооружились для встрѣчи съ нею сотнею умственныхъ лорнетовъ, чтобы разобрать ее по волоску отъ чепчика до башмака; что отъ нея ждутъ вдохновенія и книжныхъ рѣчей, поражающихъ мыслей, каеедральнаго голоса, чего-то особеннаго въ поступи, въ поклонѣ, и даже латинскихъ фразъ въ смѣси съ еврейскимъ языкомъ, — потому что женщина-писательница по общепринятому мнѣнію не можетъ не быть ученой и педанткой, а почему такъ? не могу доложить!...

Боже мой, вѣдь какъ подумаешь, какъ многіе всю жизнь свою сочиняютъ и безпошлинно разсѣвають по свѣту небылицы, — и никому не вздумается выдавать имъ патентовъ на ученость, оттого только, что они сочиняютъ словесно! За что жъ, чуть бѣдная писательница наброситъ одну изъ вышерѣченныхъ небылицъ на бумагу, всѣ единогласно производятъ ее въ ученые и педантки!... Скажите, отчего и за что такое непрошенное таланто-почитаніе?

И потомъ, она ни съ кѣмъ не можетъ сойтися. Одни воображаютъ, что она тотчасъ схватитъ ихъ слѣпкомъ, и такъ таки живьемъ передать въ журналъ. Другимъ вѣчно мерещится на устахъ ея сатанинская улыбка, въ глазахъ сатирическая наблюдательность, предательское шпіонство, — даже и тамъ, гдѣ, право, всякое шпіонство было бъ ковшикомъ, черпающимъ изъ воздуха воду, — все въ ней будто не такъ, какъ въ другихъ женщинахъ... да не знаю что, а истинно что-то не такъ!

Посудите же, по этому бѣдному очерку тысячной доли того, что достается бѣдной писательницѣ, каково бродить ей по свѣту; быть вездѣ незваной гостью, вѣчно знакомливаться. Едва узнаютъ ее въ одномъ мѣстѣ, едва привыкнуть видѣть въ ней *женщину* безъ жесткаго прилагательнаго: писательница, едва приглубать добрые люди, — какъ вдругъ походъ, перемѣна квартиръ — начинай снова знакомства съ азбуки.

Къ этому яркому очерку неудобствъ, сопряженныхъ на Руси съ званіемъ женщины-писательницы, даровитая Зенеида Р-ва могла бы прибавить что-нибудь въ родѣ фізіологическаго очерка посмертныхъ друзей и журнальныхъ буфоновъ, пляшущихъ и кривляющихся на могилахъ литературной знаменитости. Вѣдь бываетъ и это на бѣломъ свѣтѣ, оттого что тутъ законъ не писанъ. Но могила безмолвна и безотвѣтна...

Миръ праху твоему, благородное сердце, безвременно разорванное силою собственныхъ ощущеній! Миръ праху твоему,

необыкновенная женщина, жертва богатых даров своей возвышенной натуры. Благодаримъ тебя за краткую жизнь твою: не даромъ и не втунѣ цвѣла она пышнымъ, благоуханнымъ цвѣтомъ глубокихъ чувствъ и высокихъ мыслей... Въ этомъ цвѣтѣ — твоя душа, и не будетъ ей смерти, и будетъ жива она для всякаго, кто захочетъ насладиться ея ароматомъ...

Есть писатели, которые живутъ отдѣльною жизнью отъ своихъ твореній; есть писатели, личность которыхъ тѣсно связана съ ихъ произведеніями. Читая первыхъ, услаждаешься божественнымъ искусствомъ, не думая о художникѣ; читая вторыхъ, услаждаешься созерцаніемъ прекрасной человѣческой личности, думаешь о ней, любишь ее и желаешь знать ее самое и подробности ея жизни. Къ этому второму разряду писателей принадлежала наша даровитая Зенеида Р-ва.

## **II.**

### **БИБЛІОГРАФІЯ.**



**СТИХОТВОРЕНІЯ М. ЛЕРМОНТОВА. Спб. 1842. Три части.**

Это второе и самое полное собраніе стихотвореній Лермонтова; въ немъ напечатаны всѣ доселѣ извѣстныя, въ печати или въ рукописяхъ, произведенія знаменитаго поэта. Издатели обѣщаютъ собрать все, что еще найдется изъ стихотвореній Лермонтова, и напечатать четвертую часть, такъ что почитатели таланта Лермонтова не будутъ имѣть необходимости вновь пріобрѣтать цѣлое изданіе стихотвореній этого поэта. Конечно, на многое нечего и надѣяться, на превосходное также, ибо всѣ лучшія піесы Лермонтова извѣстны и были напечатаны, и теперь всѣ собраны въ трехъ частяхъ этого новаго сборника; можно надѣяться найти, кромѣ «Измаиль-Бая», еще развѣ три или четыре мелкія стихотворенія, давно уже написанныя Лермонтовымъ и давно уже забытыя имъ при жизни; но все написанное имъ интересно, и должно быть обнародовано, какъ свидѣтельство характера, духа и таланта необыкновеннаго человѣка. Въ первомъ изданіи стихотвореній Лермонтова, вышедшемъ въ маленькой книжечкѣ, въ 1840 году, были напечатаны самыя избранныя, самыя безукоризненныя его произведенія, ибо изданіе печаталось подъ надзоромъ самого поэта; а такіе поэты, какъ Лермонтовъ, бываютъ строже къ самимъ себѣ, нежели самыя строгіе и взыскательныя ихъ критики. Къ тому же, передъ Лермонтовымъ лежалъ длинный и широкій путь будущей славы, и поэтъ гордо чувствовалъ въ себѣ прозябаніе сѣменъ великихъ будущихъ тво-

реній; отъ этого, естественно, онъ и не придавалъ слишкомъ большаго значенія своимъ первымъ опытамъ. Но неожиданная и преждевременная смерть поэта дала совсѣмъ другой оборотъ дѣлу, и издатели его стихотвореній не должны были, скажемъ болѣе, не имѣли права не собрать и не сдѣлать извѣстнымъ публикѣ всего написаннаго Лермонтовымъ, всего, что только могли они отыскать. Они заслуживаютъ благодарность со стороны публики, что помѣстили въ изданное ими собраніе стихотвореній Лермонтова и такія піесы, какъ: «Хаджи Абрекъ», «Казначейша», «Сосна», «Парусъ», «Желаніе», «Графиня Растопчиной», «Ангель», «М. П. Соломирской», «Въ альбомъ автору Курдюковой», «Два Великана», «Ты помнишь ли, какъ мы съ тобою», и драму «Маскарадъ»: самъ поэтъ никогда бы не напечаталъ ихъ, но они тѣмъ не менѣе драгоцѣнны для почитателей его таланта, ибо онъ и на нихъ не могъ не наложить печати своего духа, и въ нихъ нельзя не увидѣть его мощнаго крѣпкаго таланта: такъ вездѣ видны слѣды льва, гдѣ бы ни прошелъ онъ... Лермонтовъ никогда бы не напечаталъ и «Боярина Оршу» и «Демона» — и онъ имѣлъ на то свои причины и свои права; но публика многого, слишкомъ многого лишилась бы, еслибъ издатели стихотвореній Лермонтова не сдѣлали извѣстными ей этихъ великихъ начатковъ будущей колоссальной славы будущаго великаго поэта... Несмотря на дѣтскую незрѣлость поэмъ «Бояринъ Орша» и «Демонъ», онѣ выше, драгоцѣннѣе многихъ зрѣлыхъ и художественно выполненныхъ поэмъ...

---

**СОЧИНЕНІЯ Державина. Спб. 1843. Четыре части.**

Это, должно быть, третье изданіе полнаго собранія сочиненій Державина. Оно полнѣе всѣхъ — даже Смирдинскаго;

снабжено біографическимъ очеркомъ жизни поэта и «спискомъ сочиненій Державина въ хронологическомъ порядкѣ»; но, несмотря на то, оно все-таки не совсѣмъ полно: не приложено прозы Державина, его писемъ, разсужденія о лирической поэзіи, и проч.; портретъ хорошъ, но онъ есть повтореніе портрета, приложеннаго къ «Образцовымъ Сочиненіямъ», изданнымъ въ 1811 году. И, однакожь, это изданіе совсѣмъ не такъ дурно, какъ утверждаютъ нѣкоторые печатно: оно не только опрятно, даже красиво; есть нѣсколько опечатокъ, но онѣ выставлены, хотя, конечно, лучше было бы, еслибъ не было ни одной опечатки.

Къ изданію г. Глазунова «Сочиненій Державина» приложена статья «Жизнь Г. Р. Державина», написанная г. Савельевымъ, который смотритъ на Державина не какъ на поэта, а какъ на человѣка, и съ исторической точки зрѣнія. Статья эта написана хорошо и содержитъ въ себѣ много любопытныхъ подробностей; но взглядъ г. Савельева не вездѣ вѣренъ. Г. Савельевъ думаетъ, что писать о Державинѣ и его вѣкъ значитъ всѣмъ безусловно восторгаться, быть не историкомъ, а панегиристомъ. Это самая ошибочная точка зрѣнія! Она-то заставила сочинителя статьи необдуманно осудить весьма умную и вѣрную характеристику поэзіи Державина, сдѣланную г. Шевыревымъ въ слѣдующихъ словахъ: «Поэзія Державина—это сама Россія Екатеринина вѣка, съ чувствомъ исполнискаго своего могущества, съ своими торжествами и замыслами на Востокъ, съ нововведеніями европейскими и съ остатками старыхъ предразсудковъ и повѣрій. — это Россія пышная, роскошная, великолѣпная, убранная въ азіатскіе жемчуги и камни, и еще полудикая, полуварварская, полуграмотная, — такова поэзія Державина, во всѣхъ ея красотахъ и недостаткахъ». Эти слова приводятъ г. Савельева даже въ суевѣрный ужасъ; онъ говоритъ, что «ни у кого изъ русскихъ поэтовъ



чувство человѣчности и сознание достоинства человѣка не преобладаетъ въ такой сильной степени, какъ у Державина... Ну, это едва ли такъ, потому что въ вѣкъ «милостивцевъ», «отцовъ и благодѣтелей», въ вѣкъ «меценатства» и «патронажества» могутъ быть только фразы о человѣческомъ достоинствѣ, а не чувство человѣческаго достоинства...

Кстати о Державинѣ: недавно въ одномъ московскомъ журналѣ были напечатаны стихи — нѣчто въ родѣ рифмованнаго *exordium* на какого-то «безыменнаго критика», который, въ числѣ разныхъ литературныхъ преступленій, какъ то: непризнаваніе Ломоносова поэтомъ, ужаленіе Карамзина, обвиняется еще и въ томъ, что «тронулъ Державина дерзкою рукою». Оно смѣшно, конечно, а вѣдь это уже не первая исторія... Сколько разъ нападали, напр., на насъ за наши отзывы о поэзіи Державина, и вотъ теперь наша мысль принята «Сѣверной Пчелою» (зри № 279 прошлаго года) — и никто не поестъ заклинаній ни стихами, ни прозою... Фельетонистъ этой газеты говоритъ, что «Державинъ дойдетъ къ потомству съ весьма легкою ношею, т. е. съ малымъ числомъ избранныхъ стихотвореній, а остальное погибнетъ въ Лѣтъ», но что «имя Державина навѣки останется незабвеннымъ въ исторіи русской литературы». Здѣсь наша мысль немного искажена: не съ легкой ношею, а весь дойдетъ Державинъ до позднѣйшаго потомства, какъ явленіе великой поэтической силы, которая, по недостатку элементовъ въ обществѣ его времени, ни во чтѣ не опредѣлилась, — и потому Державинъ весь будетъ всегда, какъ онъ уже есть и теперь, интереснымъ фактомъ исторіи русской литературы. У Державина нѣтъ избранныхъ стихотвореній, которыя могли бы пережить его *не*-избранныя стихотворенія, и всегда будутъ помнить, какъ помнать и теперь, не избранныя стихотворенія, а поэзію Державина... Далѣе, «Сѣверная Пчела» повторяетъ нашу мысль, уже не искажая ея: «Прошло только

двадцать пять лѣтъ со смерти Державина, а ужь его стихотворенія точно какъ дорогіе антики—кабинетная рѣдкость. Исключая отдѣльных фразъ и стиховъ, большую часть стихотвореній Державина теперь уже трудно читать... теперь уже такъ не пишутъ... Это языкъ чуждый намъ!..» Это истина, и потому скоро всѣ будутъ повторять нашу мысль, даже и тѣ, которые пишутъ стихотворны яденонціи.

Но между-тѣмъ, надо сказать правду: всѣ подобные приговоры хотя и справедливы, однако еще не доказательны; это еще только критическіе афоризмы, а не критика. И «Сѣверная Пчела» беретъ наше мнѣніе еще на вѣру, слѣпо, не дождавшись нашихъ доказательствъ, что, съ ея стороны, не совсѣмъ благоразумно... Мы начали дѣло—мы должны и кончить его: въ слѣдующей книгѣ «Отечественныхъ Записокъ» постараемся изложить подробно наше мнѣніе о поэтической дѣятельности Державина и ея историческомъ значеніи. За этою статьею послѣдуетъ рядъ обѣщанныхъ нами статей о Пушкинѣ, Гоголѣ и Лермонтовѣ. Статья о Пушкинѣ начнется у насъ обзоромъ историческаго движенія русской поэзіи въ промежуткѣ времени между Державинымъ и Пушкинымъ, и такимъ образомъ рядъ этихъ статей, начиная съ статьи о Державинѣ, составитъ цѣлый историко-эстетико-критическій курсъ русской поэзіи,—разумѣется, съ нашей точки зрѣнія.

---

СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ. *Томъ II. Спб. 1842.*

Благодаря прекрасной повѣсти г. Кукольника, «Сержантъ Иванъ Ивановичъ, или Всѣ за Одно», изданіе «Сказка за Сказкой» обратило на себя общее вниманіе: первый выпускъ, заключавшій въ себѣ повѣсть, о которой мы говоримъ, былъ

скоро раскупленъ. Такая же блестящая участь, повидимому, ожидала и слѣдующія повѣсти подъ общею фирмою «Сказка за Сказкой»; но какъ общаго у нихъ съ первою была только одна фирма и какъ каждая слѣдующая повѣсть была все хуже и хуже предшествовавшей, то публика, приобрѣтши первый выпускъ, не захотѣла имѣть послѣдующіе. Чтобъ помочь горю, всѣ выпуски были переплетены въ одну книгу, на заглавіи которой было выставлено: Томъ I. Ради одной первой повѣсти можно купить и весь томъ: такъ сдѣлали, вѣроятно, многіе, которые не успѣли заблаговременно приобрѣсти «Сержанта Ивана Ивановича Иванова, или Всѣ за Одно». Опытъ — великое дѣло въ искусствѣ выгодно спускать съ рукъ книги!

Второй томъ «Сказки за Сказкой» такъ же не безъ хорошихъ, какъ и не безъ плохихъ вещей. Изъ четырехъ заключающихся въ немъ повѣстей, намъ больше другихъ нравится повѣсть г. Кукольника «Позументы». Мы уже не разъ имѣли случай замѣчать, что г. Кукольникъ мастеръ писать интересные рассказы изъ временъ Петра Великаго. Главныя достоинства ихъ простота, естественность и правдоподобіе. Замѣтно, что онъ изучалъ эту эпоху и вникъ въ духъ ея. Каждое лицо въ какомъ бы оно ни было положеніи, говоритъ у него своимъ и своего времени языкомъ. Борьба, — то смѣшная и комическая, то достолюбезная и трогательная, — борьба европеизма и народности, просвѣчиваетъ и въ понятіяхъ и въ языкѣ дѣйствующихъ лицъ тѣхъ рассказовъ г. Кукольника, которыхъ содержаніе взято изъ эпохи Петра Великаго. Долго было бы распространяться о томъ, какъ у него это дѣлается... скажемъ просто, что эта повѣсть выдержана вся до конца, и въ цѣломъ, и въ подробностяхъ, исполнена интереса и жизни.

Не такова другая повѣсть г. Кукольника «Жанъ Батистъ Людо»: въ ней все ложно — и событіе, и характеры; первое похоже на сказку въ родѣ «не любо не слушай», а вторыя, или

на каррикатуры, или на образы безъ лицъ. Особенно невыносимы въ ней сцены любви, сентиментальныя до приторности. При всемъ томъ, она не лишена заманчивости разсказа и должна нравиться тѣмъ читателямъ, которые въ повѣсти ищутъ сказки, какъ дѣла отъ бездѣлья.

«Савелій Грабъ или Двойникъ», повѣсть казака Луганскаго, отличается, какъ все повѣсти этого даровитаго писателя, прекрасными подробностями, обличающими въ авторѣ многостороннюю опытность, бывалость, если можно такъ выразиться, наблюдательность и наглядность. Очевидно, что богатая сокровищница разнообразныхъ впечатлѣній и безконечныхъ воспоминаній, служить казаку Луганскому неизчерпаемымъ источникомъ вдохновенія. Онъ жизнью приобрѣлъ себѣ талантъ, и талантъ, — кто не согласится въ этомъ — примѣчательный. Сюжетъ «Савелія Граба» нѣсколько сбивается на романическій. Герой романа, Ивася, оказывается сыномъ одной польской графини, которая, умирая, отказываетъ ему значительное имѣнiе; потомъ оказывается, что сынъ польской графини не Ивася, а Савка, поваръ, лакей и кучеръ новороссійскаго помѣщика Бабачка; дѣло въ томъ, что при рожденіи шестипалый графчикъ былъ подмѣненъ пятипалымъ крестьянскимъ мальчикомъ, родители котораго воспитали шестипалаго графчика за своего роднаго сына, а пятипалый сынъ ихъ отданъ былъ графиней на воспитаніе тоже одному изъ новороссійскихъ помѣщиковъ, родомъ Поляку. Когда вся эта путаница распуталась, великодушный Ивася уступилъ Савкѣ графскій титулъ, и отдалъ бы ему все свое имѣнiе, еслибы въ свою очередь великодушный Савка не раздѣлилъ съ нимъ этого имѣнiя. Напрасно: къ Савкиной рождѣ графство не пристало, ибо графомъ можно родиться, но настоящимъ графомъ можно сдѣлаться только черезъ воспитаніе, черезъ первыя живыя впечатлѣнія дѣтства. Несмотря на все это, повѣсть казака Луганскаго очень интересна:

въ разсказѣ много истины и юмора, въ отступленіяхъ и разсужденіяхъ много ума и оригинальности. Даже самыя странности и парадоксы автора носятъ на себѣ отпечатокъ такой достолюбезности, что доставляютъ въ чтеніи и удовольствіе. Надо сказать, что авторъ заставилъ Иваску хлопотать о преобразованіи русскаго языка, испорченнаго русскими писателями отъ Карамзина до Пушкина включительно (объ остальныхъ уже и говорить нечего); по его мнѣнію, чистый — неискаженный русскій языкъ сохранился только въ простомъ народѣ. Дѣйствительно, для выраженія простонародныхъ идей, немногочисленныхъ предметовъ и потребностей ограниченнаго простонароднаго быта, простонародный языкъ гораздо обильнѣе, гибче, живописнѣе и сильнѣе, чѣмъ языкъ литературный для выраженія всего разнообразія и всѣхъ оттѣнковъ идей образованнаго общества. И это понятно: простонародный русскій языкъ сложился и установился въ продолженіе многихъ вѣковъ; литературный — въ продолженіе одного вѣка; первый, разъ установившись, уже не двигался впередъ, какъ и мысль простаго народа; второй — бѣжитъ не останавливаясь, неперевода духу, вслѣдствіе непрерывнаго вторженія новыхъ понятій и безостановочнаго развитія, а слѣдственно, и движенія старыхъ идей. Казакъ Луганскій утверждаетъ, что не должно говорить такъ: «Казакъ осѣдлалъ лошадь свою какъ можно поспѣшнѣе, посадилъ товарища своего, у котораго не было коня, къ себѣ на крупъ и слѣдовалъ за непріятелемъ, имѣя его постоянно въ виду, чтобъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ на него кинуться»; а должно вѣсто того говорить: «Казакъ сѣдлалъ уторопъ, посадилъ безконнаго товарища на забедры, слѣдилъ непріятеля въ нѣзерку, чтобъ при спопутности на него ударить». Воля его казацкой удали, а мы, люди письменные, право не понимаемъ ни «уторопи» ни «нѣзерки», ни «забедръ», ни «спопутности». Перемѣнять же намъ Карамзина, Жуков-

скаго, Батюшкова, Грибоѣдова, Пушкина на губернёрѣвъ изъ простонародья въ овчинныхъ тулупахъ и смурыхъ кафтанахъ — ужъ поздно.

«Мастерская и Гостинная» — былъ г. П. Фурманна служить для 2-го тома «Сказки за Сказкой» балластомъ, безъ котораго не можетъ обойтись никакой сборникъ повѣстей, претендующій на объѣмистость и разнообразіе содержанія. Это одна изъ тѣхъ «былей», которыхъ нигдѣ не бываетъ, кромѣ плохихъ повѣстей бездарныхъ сочинителей. Какой-то, изволите видѣть, художникъ, Германъ, влюбился, на выставкѣ академіи, въ «барышню», не Марью, а Марію, а оная Марія выходитъ за-мужъ за богатаго дурака, Чижикова; Германъ прибѣжалъ къ ней какъ полоумный и, наговоривъ ей съ три короба великолѣпной чепухи, побѣжалъ къ профессору Ботипу, да тутъ же (весьма кстати) узналъ, что мамзель Ботипъ его «обожаешь», а узнавъ это, онъ сію же минуту (за чѣмъ откладывать въ долгій ящикъ!) началъ ее «боготворить», предлагая ей руку и сердце. Другъ Германна, Ламовъ, питалъ къ Эмилиіи несчастную страсть, и когда она вышла за-мужъ за его друга, онъ уѣхалъ съ горя за границу и, гуляя по швейцарскимъ Альпамъ, сперва запѣлъ «Не бѣлы-то снѣги», а потомъ заплакалъ, вспомнивъ о другѣ, отнявшемъ у него все счастье. Повѣсть, какъ по всему видно, самая «идеальная», безъ всякой примѣси «реальности», даже со стороны здраваго смысла. Знаніе «гостинной» (salon) въ этой повѣсти удивительное: «барышни» то и дѣло мѣшаютъ французскія фразы съ рускими à la madame de Kourdukoff, и Марія не иначе называетъ Германна, какъ мсьё Ненгі, а онъ ее не иначе какъ Марія Петровна...

Въ «Медвѣдѣ», новой повѣсти графа Соллогуба напечатанной, какъ извѣстно, въ «Утренней Зарѣ» на 1843-й годъ, есть отрывистый и безсвязный разговоръ четы, которая, догадываясь о своемъ взаимномъ чувствѣ, робко прерывается къ

объясненію. Послѣ этого мастерски изложеннаго разговора, авторъ замѣчаетъ отъ себя:

«Я всегда удивлялся, какъ гладко и краснорѣчиво объясняются влюбленные въ повѣстяхъ и комедіяхъ. Слова ихъ такъ и сыплются чувствительнымъ градомъ, и самыя страстныя признанія такъ тщательно отдѣланы и округлены, что любо читать.—На дѣлѣ бываетъ иначе. Сомнѣніе и неизвѣстность все-ляютъ страхъ въ самаго храбраго человѣка. Смертная блѣдность покрываетъ чело; судорожная дрожь объемлетъ всѣ члены; слова прилипаютъ къ устами, какъ-бы объятые пламенемъ, съ трудомъ вылетаютъ одно за другимъ».

Замѣчаніе глубоко-справедливое! Но такъ можетъ думать только человѣкъ съ талантомъ, который внутри себя носить ясновидѣніе тайнъ чувства, имъ изображаемаго: бездарность же, ничего не находя въ пустой груди своей, сидя съ перомъ въ рукѣ, ловитъ въ памяти своей—словно мухъ въ воздухѣ—читанныя ею тамъ и сямъ выраженія чуждыхъ ея натурѣ страстей и чувствъ... Изданіе «Сказки за Сказкой», ужъ черезчуръ сѣренько; не мѣшало бы ему быть и побѣлѣе и повсправнѣе со стороны знаковъ препинанія.

---

**БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ.** *Статейки, вырванныя изъ большой книги, называемой: Свѣтъ и Люди. Философическо-филантропическо-уморическо-сатирическо-живописные очерки, составляемые подъ редакціею Ивана Балакирева. Рисунки Александра Коцебу, гравированные Г. В. Дерикеромъ, барономъ Клотомъ и А. Е. Масловымъ. Книжка I. Деньги. Сбп. 1843.*

Въ одномъ изъ объявленій г. Ольхина напечатано такъ: «Были и Небылицы или Свѣтъ и Люди. Текстъ Ивана Балакирева (Полеваго). Рисунки Александра Коцебу. Одинъ томъ во 130 стр. брюксельскаго формата, на лучшей велен. бумаг. украшенный 60 полиטיפажами, гравир. бар. Клотомъ, Дерике-

ромъ и Масловымъ. Ц. 1 р. сер.» Картинки, дѣйствительно хороши, и по изобрѣтенію и по исполненію; изданіе чрезвычайно красиво и даже изящно, хотя его и портятъ шесты и колья безъ нужды употребляемыхъ прописныхъ буквъ. Но текстъ—что же такое текстъ, сочиненный г. Балакиревымъ, или г. Полевымъ?

Когда мы начали читать книжку — намъ тотчасъ же показалось что-то знакомое, какъ будто повтореніе чего-то давно читаннаго, — и мы наконецъ вспомнили, хотя и съ большимъ усиліемъ, «Новаго Живописца Общества и Литературы», который нѣкогда издавался г. Полевымъ при «Телеграфѣ», а потомъ, въ 1832 году, былъ изданъ имъ отдѣльною книгою въ шести частяхъ. И, правду сказать, было отчего припоминать съ большимъ усиліемъ: сравнивая «Были и Небылицы» съ «Новымъ Живописцемъ», видишь какое-то сходство, и однакожь то же да не то. И это обстоятельство поразило насъ такимъ же грустнымъ чувствомъ, какъ еслибъ мы встрѣтили слабаго, покрытаго морщинами и сѣдинами старца, котораго лѣтъ десять назадъ знали человѣкомъ еще свѣжимъ, крѣпкимъ и исполненнымъ энергіи... Изъ всѣхъ статей, составляющихъ содержаніе «Новаго Живописца», видно, что ихъ источникомъ было что-то похожее на негодованіе на разныя темныя стороны общества и литературы: что же касается до «Былей и Небылицъ», то съ первыхъ же страничекъ замѣтно, что ихъ источникомъ и вдохновеніемъ были тѣ самыя «Деньги», которыя на красивой, затѣйливой и со вкусомъ распешренной оберткѣ «Былей и Небылицъ» напечатаны золотыми литерами. Оттого и въ книжкѣ этой есть, — впрочемъ неконченная, поэма въ XII пѣсняхъ «Деньгоада». Отсюда и разница между содержаніемъ «Новаго Живописца» и текстомъ «Былей и Небылицъ»: что въ первомъ живо, остроумно, цѣлко, занимательно, то въ послѣднихъ вяло, натянуто, беззубо, скучно... Вообще, этотъ



текеть — болтовня безъ всякаго содержанія, наборъ словъ, которыя случайно отвсюду сползлись въ книжку, чтобъ она не состояла изъ однѣхъ, неимѣющихъ смысла, картинокъ. Сначала сочинитель г. Балакиревъ (т. е. г. Полевой) рассказываетъ, какъ къ нему пришла его кухарка требовать денегъ на приготовленіе «поэтического питья, составленнаго изъ дикорія, съ примѣсью кофейныхъ выварокъ, что продаютъ въ мелочныхъ лавкахъ П(п)етербургскихъ, подъ именемъ кофе», а за кухаркою высунулась глупѣйшая рожа Егорки, требующая денегъ на ваксу; какъ сочинитель — г. Полевой (т. е. г. Балакиревъ) повалился съ треногаго стула, и подъ столомъ нашель полуимперіаль и вдохновеніе... Нашедши вдохновеніе, онъ началъ сочинять поэму «Деньгоада», перепробовалъ всѣ размѣры и все безуспѣшно; впрочемъ октавы вышли удачнѣе, почему мы и выписываемъ ихъ:

Италія Торкватова земля,  
Гдѣ вьется плющь и виноградъ азѣть,  
Гдѣ златомъ нивъ подернулись поля,  
Гдѣ миртъ и лавръ отраднo зелѣть,  
Гдѣ грузъ заботъ отъ сердца удаля,  
Все радостью безумною пестрѣть,  
Гдѣ Л(э)аццаронъ съ гитарою лежить  
И гдѣ Везувій блещетъ и горитъ!

Твой стихъ живой, веселый и игривый  
Давно Москвѣ усвоилъ Пискуновъ,  
Давно своей онъ М(м)узѣ говорливой  
Октаву сплелъ изъ ломанныхъ стиховъ,  
И показалъ Италіи хвастливой  
Отвагу Р(р)усскихъ удалыхъ пѣвцовъ,  
Хоть правду вамъ сказать съ другаго слова  
Избавь насъ Богъ октавы Пискунова!

Остальная часть книжки занята разговоромъ сочинителя съ чортомъ, который явился къ нему изъ трубы. Разговоръ этотъ такъ и дышитъ грошевымъ юморомъ и праничнымъ сарказмомъ.

направленными на книгопечатаніе и деньги, — два, по мнѣнію сочинителя, величайшіе бича человечества... По формѣ своей этотъ разговоръ есть явное подражаніе «Большому Выходу Сатаны» барона Брамбеуса; для отличія, фраза барона «ваша мрачность» замѣнена у г. Балакирева фразою «ваша темнота»; что же касается до подробностей адскаго быта и вообще тона разсказа, — все это чрезвычайно походить на натянутое подражаніе піесѣ барона Брамбеуса. Хорошъ оригиналъ — но подражаніе еще лучше...

Впрочемъ, о текстѣ никто и не проситъ: красивыхъ книжекъ такого рода никто не читаетъ, зная заранѣе, что въ нихъ нечего читать; ихъ многіе покупаютъ, какъ игрушки, особенно если онѣ не дороги. Вотъ отчего сначала, какъ говорятъ книгопродавцы, пошла было шибко «Картинки Русскихъ нравовъ»: оттого же пойдутъ хорошо и «Были и Небылицы». И такого рода успѣхи еще не скоро прекратятся: — литературѣ и книжной торговлѣ нашей надо пройти еще черезъ многіе роды ребячества, прежде нежели онѣ совершенно возмужаютъ.

---

**ИСТОРИЯ СУВОРОВА.** Текстъ Николая Полеваго. 130 политипажей, гравированныхъ лучшими Р(р)усскими и П(п)арижскими художниками, по рисункамъ А. П. Брюлова, П. В. Басина, А. А. Коцебу, Т. Г. Шевченко, Р. К. Жуковскаго, и М. В. Маслова, съ приложеніемъ великолѣпнаго фронтисписа, плановъ главнѣйшихъ сраженій, портрета и fac-simile почерка Суворова. Выпускъ первый. Спб. 1843.

Пошло на политипажи и тексты! И тѣ самыя, которые еще недавно бранили политипажи, какъ униженіе искусства, нако-

нецъ смекнули, что политипажи — дѣло доброе, если къ нимъ требуется текстъ... Но, увы! на этотъ разъ политипажи, будучи не дурны по выполненію, плохи, очень плохи, по изображенію... Въ иныхъ рисункахъ не соблюдены правила перспективы — отдаленныя фигуры выше и замѣтнѣе стоящихъ на главномъ планѣ и т. п. Немѣшаетъ также замѣтить, въ предостереженіе публики, что передъ фамиліею «Брюловъ», выставленною на заглавномъ листкѣ въ числѣ сочинителей рисунковъ, стоятъ литеры А. П., которыя совсѣмъ не то, что литеры К. П. Что касается до текста, — онъ не то, чтобъ хорошъ, и не то, чтобъ плохъ, а такъ — середка на половинѣ. нѣчто въ родѣ наскоро составленной, изъ извѣстныхъ и переизвѣстныхъ всѣмъ источниковъ, компиляціи... Компиляція будетъ состоять изъ трехъ выпусковъ, каждый изъ семи печатныхъ листовъ, что все составитъ книгу въ двадцать одинъ печатный листъ, со 130 политипажами: текстъ не великъ, и книга будетъ тонка непропорціально формату.

Впрочемъ, гораздо интересней всей этой политипажной затѣи, сужденіе о ней «Сѣверной Пчелы» (см. № 285). Тамъ, между прочимъ, очень ловко замѣчено, что А. П. Брюловъ — знаменитый *архитекторъ*; что вся книга, съ пересылкою, будетъ стоить двадцать рублей асс.; что нѣкоторые политипажи въ ней прекрасны, а нѣкоторыми г. Булгаринъ не доволенъ; что г. Булгаринъ издаетъ «Историческіе и романтическіе очерки изъ жизни Суворова», со ста картинками, рисованными г. Тиммомъ и гравированными барономъ Клотомъ, барономъ Неттельгорстомъ въ Петербургѣ и гг. Порре и Лавіелемъ въ Парижѣ, и что книга г. Булгарина будетъ стоить только три рубля серебромъ...

«Мы (говоритъ г. Булгаринъ) поневолѣ стали въ тупикъ. Одинъ изъ издателей Сѣверной Пчелы (Ө. Б.), который имѣетъ честь бесѣдовать съ вами въ нынѣшнемъ фельетонѣ, также написалъ не *Исторію Суворова*, а *Исто-*

*рическіе и романтическіе очерки изъ жизни Суворова*, и ждетъ только одной части полтипажей изъ Парижа, чтобъ приступить къ печатанію. Что тутъ говорить, встрѣтись съ талантливымъ писателемъ на узкой стезѣ, лицомъ къ лицу! Все-таки можемъ сказать кое-что, напримѣръ, на первый случай скажемъ, что сочиненіе Н. А. Полеваго: *Исторія Суворова* и сочиненіе Булгарина: *Историческіе и романтическіе очерки изъ жизни Суворова* — двѣ совершенно различныя вещи, вовсе не похожія одна на другую, едва ли не двѣ противоположности. Θ. Булгаринъ убѣжденъ, что онъ не въ состояніи написать *современную исторію*, или *исторію современнаго человека*, такъ какъ бы хотѣлъ написать, какъ должно писать исторію, принимая исторію не какъ заглавіе книги, а какъ науку. Θ. Булгаринъ думаетъ, что прежде ста лѣтъ посмерти Суворова, нельзя писать его исторіи, по тѣмъ понятіямъ, какія имѣетъ Θ. Б. объ исторіи, и что теперь можно писать только *біографіи* и *очерки* или *отрывки изъ жизни*, расположенные въ хронологическомъ порядкѣ, а для освѣженія или оживленія біографической сухости, Θ. Булгаринъ придумалъ помѣстить, между историческими событіями, *романтическія* или *вымышленныя* сцены, которыхъ интересъ основанъ на *исторіи*, т. е. на истинѣ.

Съ тѣмъ, что исторія Суворова, прежде по крайней мѣрѣ ста лѣтъ отъ смерти его невозможна, — мы совершенно согласны, равно какъ и съ тѣмъ, что «Исторія Суворова» г. Полеваго, ужъ по одному этому, есть не исторія, а компиляція; но на счетъ того, что «романтическія» сцены все равно, что вымышленныя — мы не согласны: другое дѣло тождество романическихъ и вымышленныхъ сценъ. Равнымъ образомъ, мы не согласны и съ тѣмъ, чтобъ книга г. Булгарина потому была лучше книги г. Полеваго, что въ ней будетъ «романтизмъ»; положимъ даже, что «романтическій» и «романический» — одно и тоже, — и тутъ нельзя согласиться, чтобъ книга г. Булгарина была лучше книги г. Полеваго: романическія, или, пожалуй, романтическія сцены тогда только могутъ быть хороши, когда ихъ напишетъ поэтъ, а мы, право, не помнимъ, чтобъ г. Булгаринъ когда-нибудь былъ поэтомъ... Развѣ желаніе оказать г-ну Полевому пріятельскую услугу, т. е. показать ему, какъ должно съ успѣхомъ составлять книги о

Суворовѣ, внезапно остигло его поэтическимъ вдохновеніемъ? Можетъ быть! Но — далѣе:

«Н. А. Полевой, по своимъ понятіямъ, увѣренный, что уже можно и должно писать исторію Суворова, написалъ исторію, какъ всѣ вообще наши исторіи, т. е. *панегирикъ* Суворову, съ тою разницею, что Н. А. Полевой, какъ человекъ съ талантомъ и притомъ съ умомъ, представилъ дѣло въ пріятныхъ формахъ. Мы полагаемъ, что Н. А. Полевой *не проигрываетъ* на насъ, если мы ему скажемъ, что не выдавъ вещи, почти невозможно описать ее вѣрно, изъ однихъ разсказовъ. Н. А. Полевой, хотъ храбро сражался и даже одерживалъ блистательныя побѣды въ чернильныхъ битвахъ, не бывалъ, однакожъ, какъ пишется въ формулярѣ, въ дѣйствительныхъ сраженіяхъ, гдѣ наносятъ удары не перьями, а штыками и саблями, и гдѣ льется кровь, а не чернила, и потому эта часть, т. е. война, никогда не можетъ быть такъ вѣрно изображена мирнымъ литераторомъ, какъ литераторомъ военнымъ<sup>1)</sup>, который *десять* лѣтъ сряду, такъ сказать, не слѣзалъ съ коня, и жилъ въ виду непріятеля».

Хотя и вѣсѣмъ извѣстно, что г. Булгаринъ долго ходилъ подъ знаменами (для удостовѣренія въ этомъ, достаточно его «Воспоминаній объ Испаніи»), — однако же изъ этого еще не слѣдуетъ большой разницы между г. Булгаринимъ и г. Полевымъ, — въ дѣлѣ военной исторіи: строевой офицеръ еще не одно и то же, что генералъ, тактикъ, стратегикъ. Каждый русскій солдатъ храбро дерется, иной бывалъ двадцать разъ въ дѣлѣ, но о войнѣ разсуждать, или писать солдатъ русскій не можетъ.

Далѣе, г. Булгаринъ увѣряетъ, что военная часть въ «Исторіи Суворова» г. Полеваго слаба, а дипломатическая — хороша, и что вообще «Исторія Суворова», г. Полевымъ написанная, есть «явленіе важное и замѣчательное въ нашей литературѣ»; въ первомъ случаѣ, мы совершенно согласны съ тѣмъ, чтó говоритъ г. Булгаринъ, а во второмъ и третьемъ — съ тѣмъ, чтó хочетъ сказать г. Булгаринъ. Пришлось же вѣдь

<sup>1)</sup> Т. е., тѣмъ, кто — прибавимъ мы отъ себя —

Уже не воинъ, а писатель...

наконецъ согласиться!... Въ заключеніе г. Булгаринъ говорить, что онъ «боится писать стихи (хотя нынѣшніе стихи, т. е. безъ рѣимъ, право легче писать, нежели хорошую прозу), боится драмы» (вотъ что надѣлала коварная «Шкуна»!), «боится того и другаго, и знаетъ, что одно можетъ написать лучше, другое хуже», и предоставляет рѣшить — что лучше у г. Полеваго — «Исторія Суворова», или классическое, по мнѣнію его, г. Булгарина, сочиненіе — «Очерки Русской Литературы», а самъ боится судить рѣшительно, опасаясь, чтобъ его не оподозрили въ пристрастіи, т. е. въ желаніи дать ходъ своей книгѣ на счетъ книги г. Полеваго...

Помилуйте, какъ это возможно! Ужъ изъ сказаннаго видно, что г. Булгаринъ поступилъ совершенно по-рыцарски, какъ великодушный соперникъ...

---

**СУПРУЖЕСКАЯ ИСТИНА, въ нравственномъ и физическомъ отношеніяхъ. Спб. 1842.**

Хоть эта книжка писана и прозою, тѣмъ не менѣе она составляетъ рѣшительно дружку къ стихотвореніямъ г. Молчанова: подобно имъ, она — довольно дикая аномалія въ книжномъ мірѣ. Есть на французскомъ языкѣ книга: «Tableau de l'amour conjugal», въ которой брачное состояніе подробно разсматривается во всѣхъ отношеніяхъ, и преимущественно — медицинскомъ; г. В. Лебедевъ выписалъ изъ нея кое-что, одобрилъ это сентиментально-моральными разглагольствованіями собственнаго изобрѣтенія, и у него вышла книжечка, опрятно и красиво напечатанная, хотя и со множествомъ ошибокъ противъ орфографіи. О предметахъ такого рода, какъ брачное состояніе, разсматриваемое въ физическомъ отношеніи, должно или все говорить, или ничего не говорить: въ первомъ

случаѣ книга можетъ быть полезна тѣмъ, для кого она писана, во второмъ случаѣ она будетъ бесполезна... Что касается до его нравственныхъ разсужденій—ихъ главная идея и цѣль состоятъ въ томъ, что всѣ должны жениться, и что безбрачное состояніе — страшный грѣхъ. Положимъ и такъ; но вотъ бѣда: г. Лебедевъ полагаетъ взаимную любовь необходимымъ условіемъ брака, а вѣдь любовь есть чувство, независящее отъ воли человѣка, и никто не можетъ сказать себѣ: «дай-ка влюблюсь вотъ въ эту, или вонъ въ ту», и потому никому всю жизнь не прійдется ни разу влюбиться, тогда какъ другой успѣетъ, въ продолженіе своей жизни, влюбиться нѣсколько разъ; какъ же тутъ быть? — неужели жениться безъ любви?... Этотъ вопросъ г. В. Лебедевъ оставилъ безъ отвѣта, вѣроятно потому именно, что это одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, на которые отвѣчать трудненько. За то, предусмотрительный г. В. Лебедевъ коснулся другаго вопроса, неменѣе важнаго — вопроса о приданомъ. Вотъ это дѣло! но какъ рѣшаетъ онъ этотъ вопросъ?—Онъ говоритъ, что всѣ мужчины ожидаютъ себѣ непремѣнно счастія отъ большаго приданаго, и всѣ, по большей части, жестоко обманываются въ этомъ... Важная новость, великое открытіе — нечего сказать! Да кто жъ этого не зналъ и безъ вашей книжки, г. В. Лебедевъ? Право, люди не такъ глупы, чтобы не знать, что дважды два — четыре... Дѣйствительно, въ приданомъ не блаженство, но въ немъ — независимость отъ нуждъ жизни, застрахованіе отъ позора нищеты и голодной смерти. Любовь — дѣло хорошее, но бракъ по любви съ нищею, вмѣсто приданаго, — дѣло глупое и не совсемъ нравственное: что хорошаго умножать собою число нищихъ и подвергать любимую женщину всѣмъ униженіямъ и всѣмъ бѣдствіямъ нищеты?... Вотъ, еслибы вы, г. В. Лебедевъ, взяли на себя трудъ разрѣшить великую политико-экономическую задачу современнаго міра: какъ быть сытымъ и

одѣтымъ, не лишеннымъ необходимыхъ удобствъ жизни, не получивъ отъ родителей хорошаго наслѣдства и не наворовавъ при «тепленькомъ мѣстечкѣ»

Индексъ малую толику, —

это другое дѣло; можетъ-быть, многіе съ вами и не согласились бы, за то все-таки остались бы вамъ благодарны хоть за доброе намѣреніе... А то, право, нѣкоторые сочинители считаютъ себя ужасно глубокомысленными, если съ важностію скажутъ, что мужъ долженъ любить жену, а жена мужа, и т. п. Да кто жъ этого не знаетъ, и кто жъ это исполняетъ?...

На 75 стр. своей книжонки, г. В. Лебедевъ говоритъ:

• *Приданое* за женою есть величайшее зло, влекущее за собою развращеніе нравовъ — во первыхъ потому: что приданое *есть* (бываетъ?) главною причиною, что множество мущинъ остается на всю жизнь холостыми, а дѣвицы вѣчными невестами; во вторыхъ, государство отъ безбрачности гражданъ лишается приращенія въ народонаселеніи — и въ третьихъ, гдѣ болѣе безбрачности, тамъ болѣе разврата и преступленій.

Первое и третіе справедливо; но отъ безбрачности не уменьшается народонаселеніе — развѣ увеличивается число несчастныхъ созданій, отъ рожденія осужденныхъ на горе и презрѣніе. Г. В. Лебедевъ очень сожалѣетъ, что не развѣ предполагаемое въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ намѣреніе обложить податью всѣхъ неженатыхъ старѣе тридцати лѣтъ отъ роду, не состоялось; послѣ этого, г. В. Лебедеву остается сожалѣть и о томъ, что неженатыхъ старѣе тридцати лѣтъ не вѣшаютъ... Онъ не понимаетъ того, что внѣшнія побудительныя мѣры, какъ бы онѣ сильны ни были, ни къ чему не ведутъ въ такихъ важныхъ общественныхъ вопросахъ. Русскихъ мужиковъ не приневоливаютъ жениться, а они, между тѣмъ, преусердно женятся: это оттого, что женясь и пріобрѣтая въ женѣ хозяйку и работницу, мужикъ утверждаетъ свое внѣшнее благосостояніе, а не рискуетъ лишиться его.



Когда и въ другихъ сословіяхъ (разумѣется, сообразно съ условіями ихъ быта и образованности) жениться будетъ выгодно и удобно, нежели оставаться въ одиночествѣ, — тогда и въ другихъ сословіяхъ все будутъ жениться, безъ всякихъ денежныхъ пеней и другихъ внѣшнихъ понужденій. А безъ того — всякій скорѣе отдастъ послѣднее для уплаты штрафа. чѣмъ женится: вѣдь лучше дать отрубить себѣ палецъ, чѣмъ голову...

Теперь спѣшимъ выписать единственныя дѣльныя строки во всей книжкѣ г. В. Лебедева:

«Мушны въ безбрачномъ состояніи живутъ въ обществахъ явно безъ (соблюденія) всякаго цѣломудрія, не считая это не только за порокъ, но и не ставя ни себѣ, ни другимъ въ осужденіе; женщинамъ же вѣняють въ предосужденіе самое малѣйшее кокетство. Что это несправедливо, въ этомъ согласится каждый благонамѣренный челоѣкъ.»

Соглашаемся: ибо мы убѣждены, что право грѣха и преступленія или равно не принадлежитъ ни тому, ни другому полу, или равно принадлежитъ и тому и другому. Разумѣется, первое вѣроятнѣе; но право силы и кулака присвоило мужскому полу и права грѣха и преступленія, не въ примѣръ женщинамъ...

«Мы считаемъ себя (продолжаетъ г. В. Лебедевъ) живущими въ самомъ просвѣщенномъ вѣкѣ — правда ли это!?... Что-то скажутъ объ насъ наши потомки черезъ нѣсколько столѣтій, а судъ и приговоръ потомства справедливъ.»

Правда, тысячу разъ правда!... Мы даже можемъ сказать г. В. Лебедеву, что скажутъ о насъ потомки. Они скажутъ: «XIX вѣкъ, считавшій себя самымъ просвѣщеннымъ вѣкомъ, былъ только переходомъ къ истинно просвѣщеннымъ временамъ, ибо въ немъ, гордившемся своею разумностію и гуманностію, владычествовало еще варварство феодальныхъ временъ — чему немалымъ доказательствомъ можетъ служить даже и изданная

въ 1843 году маленькая книжка г. В. Лебедева, подъ названіемъ: «Супружеская истина, въ нравственномъ и физическомъ отношеніяхъ»...

СОЧИНЕНІЯ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ. *Четыре тома. Спб. 1842.*

Въ литературномъ отношеніи, нельзя было блистательнѣе заключиться старому году и начаться новому, какъ выходомъ сочиненій Гоголя. Дай Богъ, чтобъ это было счастливымъ предзнаменованіемъ для новаго года — чтобъ мы увидѣли, въ теченіе его, не однѣ тетрадки и выпуски съ картинками, не однѣ сказки, досужею посредственностью изготовляемыя во множествѣ по заказу литературныхъ антрепренёровъ!...

Намъ нѣтъ никакой нужды говорить о томъ, что содержатъ въ себѣ эти четыре тома: публика уже знаетъ это сама — четыре тома уже прочтены ею, по крайней мѣрѣ въ обѣихъ нашихъ столицахъ, если еще не успѣли они проникнуть въ глушь провинцій.

Итакъ, исторія «Мертвыхъ Душъ» готова повториться: публика читаетъ, журналы въ хлопотахъ, особенно тѣ, которымъ такъ не по сердцу произведенія Гоголя... ихъ успѣхъ, хотѣли мы сказать. «Сѣверная Пчела» уже подала голосъ, но она хвалитъ Гоголя (№ 18): «Мы думаемъ, говорить она, что для г. Гоголя вовсе не будетъ униженіемъ, когда мы его поставимъ на одну доску съ Поль-де-Кокомъ и Пиго-Лебреномъ, писателями талантливыми, но не имѣвшими претензій на поэзію и философію». Увы! мы, съ своей стороны, не можемъ поставить автора этихъ строкъ на одну доску ни съ Поль-де-Кокомъ ни съ Пиго-Лебрёномъ, — именно потому, что они писатели талантливые, и неимѣвшіе притязанія на поэзію и философію... А «Сѣверная Пчела» — надо отдать ей въ этомъ честь, — не

имѣя притязаній ни на талантъ, ни на поэзію, сильно претендуетъ на философію, особенно когда хлопочетъ объ участи нечитаемыхъ ею, по ея словамъ, «Отечественныхъ Записокъ»: вотъ и теперь, она трунить, сколько хватаетъ ея остроумія, какъ надъ образцомъ нелѣпости и безсмыслія, надъ этимъ стихомъ Гёте изъ второй части его «Фауста»:

In deinem Nichts hoff' ich All zu finden.

Ну, ужь конечно, если эта газета можетъ въ «Фаустѣ» Гёте находить безсмыслицы и нелѣпицы, то что же для нея произведенія Гоголя, что его поэзія и философія: довольно съ него и того, если эта газета поставитъ его на одну доску съ Польде-Кокомъ и Пиго-Лебрёномъ... Жаль, что Гоголь никогда не узнаетъ объ этомъ «производствѣ», и потому не будетъ имѣть возможности поблагодарить «Сѣверную Пчелу»... свойственнымъ ему образомъ...

Но пора отвернуться хоть на время отъ шумнаго рынка этой литературы: наше вниманіе зоветъ теперь къ себѣ то, что составляетъ въ настоящую минуту гордость и честь русской литературы — четыре тома сочиненій Гоголя...

«Вечера на Хуторѣ близъ Диканьки», которыми началось поэтическое поприще Гоголя, и которые теперь въ третій разъ выходятъ въ свѣтъ, оставлены авторомъ безъ всякихъ измѣненій. Такъ и должно было быть: порожденія легкой, свѣтлой юношеской фантазіи, веселыя пѣсни на пиру еще неизвѣданной жизни, они не могли подвергнуться измѣненіямъ поэта, который уже давно смотритъ на жизнь взоромъ глубокимъ, пронзительнымъ и грустно-важнымъ. Для самаго поэта, эти образы, свѣтлые, какъ майская ночь его Малороссія, радостные, какъ звучный смѣхъ его Оксаны, шаловливые, какъ затѣи неугомонныхъ парубковъ, товарищей удалаго Левко, сладостно задумчивые, какъ свѣтлоокая паночка-утопленница, добродушно насмѣшливые, какъ вѣчно веселая юность, все эти образы навсегда оста-

лись милы поэту, какъ первый поцѣлуй любви, какъ шипучая пѣна впервые осушеннаго бокала, какъ память о волшебныхъ дняхъ безопасно блаженнаго младенчества... Онъ самъ говоритъ въ предисловіи: «Всю первую часть слѣдовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученическіе опыты, недостойные строгаго вниманія читателя; но при нихъ чувствовались первыя сладкія минуты молодого вдохновенія, и мнѣ стало жалко исключить изъ памяти первыя игры невозвратной юности. Снисходительный читатель можетъ пропустить весь первый томъ и начать чтеніе со втораго». Такъ говоритъ поэтъ, — и онъ имѣетъ полное право простираť свою строгость къ самому себѣ за предѣлы умѣренности и справедливости; но публика тоже права, не соглашаясь съ нимъ. Всякій періодъ жизни человѣческой прекрасенъ и долженъ имѣть свои пѣсни и своихъ пѣвцовъ: «Вечера на Хуторѣ» есть одна изъ такихъ вѣчно звучныхъ пѣсень юности, которыхъ цѣль и назначеніе — вновь возвращать на волшебное мгновеніе самой старости невозвратно улетѣвшую юность...

Во второй части, заключающей въ себѣ «Миргородъ», подверглись значительнымъ измѣненіямъ повѣсти: «Тарасъ Бульба» и «Вій». Первая, вслѣдствіе этихъ измѣненій сдѣлалась вдвое обширнѣе и безконечно прекраснѣе. Поэтъ чувствовалъ, что въ первомъ изданіи «Тараса Бульбы» на многое только намекнуто, и что многія струны исторической жизни Малороссіи остались въ немъ нетронутыми. Какъ великій поэтъ и художникъ, вѣрный однажды избранной идеѣ, пѣвецъ Бульбы не прибавилъ къ своей поэмѣ ничего такого, что было бы чуждо ей, но только развилъ многія уже заключавшіяся въ ея основной идеѣ подробности. Онъ изчерпалъ въ ней всю жизнь исторической Малороссіи, и въ дивномъ, художественномъ созданіи навсегда запечатлѣлъ ея духовный образъ: такъ ваятель улавляетъ въ мраморѣ черты человѣка и даетъ имъ безсмерт-

ную жизнь... Особенно замѣчательны подробности битвъ Малороссіянъ съ Поляками подъ городомъ Дубно, и эпизодъ любви Андрія къ прекрасной Полькѣ. Вся поэма приняла еще болѣе возвышенный тонъ, проникнулась лиризмомъ. Впрочемъ, сужденіе объ этомъ — смѣло можемъ сказать — великомъ созданіи, завело бы насъ далеко, — чего не позволяетъ намъ ни мѣсто, ни время, и потому пока отлагаемъ его. Повѣсть «Вій» черезъ измѣненія сдѣлалась много лучше противъ прежняго, но и теперь она болѣе блеститъ удивительными подробностями, чѣмъ своею цѣлостію. Недостатки ея значительно сгладились; но цѣлаго попрежнему нѣтъ. «Старосвѣтскіе Помѣщики» и «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» остались совершенно безъ измѣненій: очевидно, эти два превосходныя произведенія такъ хорошо вызрѣли въ душѣ, что могли съ разу явиться во всей опредѣленности своей идеи, во всей полнотѣ своей художественной жизни.

Къ такимъ же зрѣло художественнымъ и отчетливо сконструированнымъ произведеніямъ принадлежитъ и «Невскій Проспектъ», которымъ начинается третья часть; только эта повѣсть, по своему содержанію, далеко глубже и выше тѣхъ двухъ. «Носъ» — тотъ арабескъ, небрежно набросанный карандашомъ великаго мастера, значительно и къ лучшему измѣненъ въ своей развязкѣ. О «Портретѣ» и «Римѣ» публикѣ извѣстно наше мнѣніе, за которое оди́нъ журналъ недавно объявилъ насъ — «ругателями Гоголя»!!... Такова толпа: ей или хвали до надсады груди, или унижай до послѣдней крайности; но не смѣй хвалить за одно и порицать за другое въ одно и то же время... Мнѣніе наше о «Портретѣ» и «Римѣ» остается то же, несмотря ни на чьи крики и клеветы, — и мы подробно разовьемъ это мнѣніе въ обѣщанной нами большой статьѣ о сочиненіяхъ Гоголя. «Коляска» — мастерской юмористическій очеркъ, въ

которомъ больше поэтической жизни и истины, чѣмъ во многихъ пудахъ романовъ многихъ нашихъ романистовъ. — и «Записки Сумасшедшаго» — одно изъ глубочайшихъ произведений Гоголя, также остались безъ перемѣны. «Шинель» есть новое произведение, отличающееся глубиною идеи и чувства, зрѣлостію художественнаго рѣзца.

Въ четвертомъ томѣ очень много новаго, и мы особенно рады, что изъ него даже петербургская публика познакомится съ новою комедіею (впрочемъ, еще прежде «Ревизора» написанною) Гоголя — «Женитьба, совершенно невѣроятное событіе въ двухъ дѣйствіяхъ». Здѣсь, въ Петербургѣ, она давалась на сценѣ; но тамъ мы не узнали ея, ибо нѣтъ ничего общаго между тѣмъ, что видѣли мы на сценѣ, и что читаемъ теперь въ книгѣ... Никого не обижая, ни на кого не жалуясь, мы кстати замѣтимъ здѣсь, что еще не пришло время у насъ для національнаго театра. Большая часть актѣровъ нашихъ смотритъ на сценическое искусство, какъ на обязанность говорить то, чего не чувствуетъ... Это напоминаетъ намъ слова Гоголя, въ его письмѣ о представленіи «Ревизора»: «Вообще у насъ актѣры совсѣмъ не умѣютъ лгать. Они воображаютъ, что лгать значитъ просто нести болтовню. Лгать значитъ говорить ложь тономъ столь близкимъ къ истинѣ, такъ естественно, такъ наивно, какъ можно говорить только одну истину, и здѣсь-то заключается именно все комическое лжи». Точно также, прибавимъ мы отъ себя, большая часть нашихъ актѣровъ не хочетъ понять, что искренность и наивность суть первыя условія сценическаго искусства и комизма, и что, по этому, смѣшить публику должно естественнымъ воспроизведеніемъ характера, созданнаго поэтомъ, а не утрированіемъ характера; ибо, какъ въ самой дѣйствительности, никто не станетъ выставлять на видъ рѣзкія странности своего характера, чтобъ смѣшить ими другихъ, но каж-

дый тѣмъ и смѣшонъ, что и не подозреваетъ своей смѣшной стороны, такъ и въ сценическомъ искусствѣ — этомъ зеркалѣ дѣйствительности — актёръ долженъ забыть, что онъ играетъ смѣшную роль и помнить только, что онъ представляетъ характеръ, изъ природы и дѣйствительности взятый. Конечно, смѣхъ публики есть награда комическому актёру, но онъ долженъ возбуждать этотъ смѣхъ естественнымъ выполненіемъ представляемаго имъ характера, а не явнымъ желаніемъ, во что бы то ни стало, возбудить смѣхъ — не рѣзкими движеніями, не уродливымъ костюмомъ... Кстати о костюмахъ: вотъ что говоритъ Гоголь, въ своемъ письмѣ, о выполненіи роли Бобчинскаго и Добчинскаго: «За то, оба наши пріятеля, Бобчинскій и Добчинскій, вышли сверхъ ожиданія, дурны. Хотя я и думалъ, что они будутъ дурны, ибо, создавая этихъ двухъ маленькихъ чиновниковъ, я воображалъ въ ихъ кожѣ Щепкина и Рязанцова, по все-таки я думалъ, что ихъ наружность и положеніе, въ которомъ они находятся, какъ-нибудь вынесутъ ихъ и не такъ обкаррикатурятъ. Сдѣлалось напротивъ: вышла именно карриатура. Уже передъ началомъ представленія, увидѣвши ихъ костюмированными, я ахнулъ. Эти два человека, въ существѣ своемъ довольно опрятные, толстенкіе съ прилично-приглаженными волосами, очутились въ какихъ-то нескладныхъ, превысокихъ стѣдыхъ парикахъ, включенные, неопрятные, взъерошенные, съ выдернутыми огромными манишками; а на сценѣ оказались до такой степени кривляками, что, просто, было невыносимо».

«Игроки» — цѣлая комедія, по концепціи и выполненію вполне достойная имени своего автора. Сцены: «Тяжба», «Лакейская» и «Отрывокъ» — живыя картины разныхъ слоевъ и сферъ русскаго общества. Но выше ихъ «Театральный Развѣздъ послѣ перваго представленія комедіи»: въ этой піесѣ, поражающей мастерствомъ изложенія, Гоголь является столько

же мыслителемъ-эстетикомъ, глубоко постигающимъ законы искусства, которому онъ служить съ такою славой, сколько поэтомъ и соціальнымъ писателемъ. Эта піеса есть какъ-бы журнальная статья въ поэтически-драматической формѣ, — дѣло, возможное для одного Гоголя! Въ піесѣ этой содержится глубоко сознанная теорія общественной комедіи и удовлетворительные отвѣты на всѣ вопросы. или, лучше сказать, на всѣ нападки, возбужденные «Ревизоромъ» и другими произведеніями автора. Разобрать это превосходное произведеніе нельзя, не дѣлая изъ него выписокъ, а дѣлать изъ него выписки тоже нельзя, по двумъ причинамъ: по невозможности выбора прекраснаго изъ равно прекраснаго, и еще потому, что вся піеса проникнута такимъ единствомъ мысли, развитой и изложенной такъ логически и послѣдовательно (несмотря на поэтически-драматическую форму), что надобно было бы переписать ее всю отъ начала до конца...

**БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДІЯ. Данте Алигieri. Адъ. Съ очерками Флаксмана и италіянскимъ текстомъ. Переводъ съ италіянскаго О. Фанъ-Дима. Спб.**

Вотъ трудъ и предпріятіе, которыхъ нельзя не одобрить, особенно если выполняются хорошо. Данте — это Гомеръ не одной Италіи, но и всей католической Европы среднихъ вѣковъ. Поэтому не должно удивляться ни тому, что Беатриче — героиня поэмы, есть не что иное, какъ аллегорическій образъ богословія, ни тому, что языческій поэтъ Виргилій сопровождаетъ въ христіанско-языческомъ аду христіанскаго поэта. Данте особенно не посчастливилось на Руси: его никто не переводилъ, и о немъ всѣхъ меньше толковали у насъ, тогда



какъ это одинъ изъ величайшихъ поэтовъ міра. Г. Фанъ-Димъ заслуживаетъ величайшую благодарность за прекрасное и благое намѣреніе познакомить въ прозаическомъ переводѣ русскую публику съ совершенно незнакомымъ ей поэтомъ. Мы находимъ достойнымъ похвалы и мысль переводчика — переводить Данте не стихами (для чего требовался бы огромный поэтический талантъ), а прозою, гдѣ главное достоинство — буквальная близость и вѣрность, безъ насилія рускому языку и безъ ущерба плавности и правильности слога. При такомъ переводѣ, и подлинникъ *texte en regard* дѣло очень и очень нелишнее. По выходѣ всего перевода, мы скажемъ больше о «Божественной Комедіи».

Не понимаемъ, къ чему и для чего приложено къ этому первому выпуску перевода (заключающему въ себѣ пять пѣсень поэмы) какое-то введеніе съ біографіею Данте, какого-то г. Струкова, гдѣ безъ толку толкуется о двойственности природы челоѣка, влекущей его то къ небу, то къ землѣ, объ эпопее, какъ «разсказанной драмѣ», и тому подобныхъ чудесахъ, доказывающихъ въ сочинителѣ неумѣніе мыслить и незнаніе того, о чемъ хочется ему резонёрствовать...

---

ДРАМАТИЧЕСКІЯ СОЧИНЕНІЯ И ПЕРЕВОДЫ Н. А. ПОЛЕВАГО.  
*Часть третья. Гамлетъ. — Уголино. Спб. 1843.*

Мы уже говорили о первыхъ двухъ частяхъ драматическихъ «представленій» г. Полеваго (ч. VI, стр. 465); но вышедшая теперь третья часть ихъ вновь приводитъ насъ въ раздумье о драматическомъ поприщѣ этого Шекспира Александринскаго театра, и потому намъ слѣдовало бы опять поговорить о немъ; но, не желая повторять уже однажды сказаннаго нами, и умя

отдавать должную справедливость основательнымъ и хорошо изложеннымъ мнѣніямъ, кому бы ни принадлежали они, — мы выписываемъ здѣсь, изъ первой книжки «Москвитянина» 1843 года (стр. 295 — 298), сужденія этого журнала о патриотическихъ драмахъ г. Полеваго, — въ полной увѣренности, что всѣ порядочные люди такъ же безусловно согласятся съ этимъ сужденіемъ, какъ мы съ нимъ согласились.

«Всѣ драмы г. Полеваго, имѣвшія успѣхъ, доказываютъ, что у насъ всякое произведеніе, вовсе чуждое художественнаго достоинства, но основанное на патриотическомъ чувствѣ, будетъ всегда имѣть успѣхъ въ нашей публикѣ. Зрители, смотря на такую драму, рукоплещутъ не піесѣ, не автору, а своимъ собственнымъ чувствамъ, которыя въ нихъ затронуты, а затронуть ихъ въ русскомъ народѣ не много надобно искусства. Писатели съ огромнымъ талантомъ не посягаютъ на изображеніе такихъ высокихъ чувствъ, боясь уронить ихъ недостаткомъ силъ въ искусствѣ или вызвать незаслуженное ими рукоплесканіе; писатели безъ надежды на своей талантъ, не смотря на то, и во чтобы ни было хотятъ снискать одобреніе.

«Патриотическая драма, угождающая вкусу народа и любимымъ его чувствамъ у насъ не переводилась. Вспомнимъ *Великодушіе, или Рекрутскій Наборъ* Ильина, *За Богомъ Молитва, а за Царемъ служба не пропадаетъ*, Иванова. Князь Шаховской умножилъ также этотъ репертуаръ, особенно воспоминаніями двѣнадцатаго года. Г. Полевой, помнившій дѣйствіе, какое эти драмы произвели на публику, возобновилъ этотъ родъ во всѣхъ его подробностяхъ, съ тѣми же достоинствами и недостатками. Лица его цѣлкомъ берутся изъ прежнихъ драмъ, выкроенныя по той же мѣркѣ, и говорятъ тѣмъ же самымъ языкомъ.

«Доказательствомъ справедливости нашего мнѣнія о драмѣ г. Полеваго, что она успѣхомъ своимъ обязана чувствамъ патриотическимъ, а не своему литературному достоинству, можетъ служить одна изъ напечатанныхъ теперь піесъ — *Солдатское Сердце, или Биваки въ Саволактѣ*. Въ ней выведено событіе изъ жизни г. Булгарина, какъ сознается самъ авторъ, хотѣвшій постѣ патриотическихъ драмъ прославить и добрый подвигъ своего искренняго друга. Драма упала, по признанію самого же автора. Какая была этому причина? На эфискѣ не было объявлено, что драма представляетъ подвигъ изъ военной жизни г. Булгарина; да если бы и было объявлено, то публика петербургская такъ любитъ г. Булгарина, какъ онъ самъ насъ не рѣдко въ томъ увѣрять, что подобное объявленіе конечно не повредило бы успѣху піесы. Враги же его вѣрно не такъ ужъ сильны, чтобы могли составить заговоръ противъ его драматической апофеозы, написанной, въ знакъ дружбы, г.

Полевымъ. Нѣтъ, причина не въ томъ. Въ драмѣ выведено событіе изъ простой жизни частнаго человѣка, ужъ безъ всякихъ патріотическихъ чувствъ, безъ громкихъ или завлекательныхъ именъ Державина, Хемницера, Сумарокова... тутъ требовалось одно простое искусство, безъ всякой помощи посторонней, и драма упала, потому что искусства не было.

«Когда нѣтъ у автора въ запасѣ патріотическихъ чувствъ, чтобы привлечь нашу публику, то онъ прибѣгаетъ къ извѣстнымъ историческимъ именамъ нашей литературы, выводитъ безъ всякаго угрызенія совѣсти Державина, Хемницера, или уродуетъ Тредьяковскаго, Сумарокова, вызываетъ рукоплесканія себѣ громкими стихами нашего лирика, или баснями Хемницера, или заставлятъ смѣяться на счетъ дурныхъ стиховъ Тредьяковскаго, уродливо прочтенныхъ актеромъ, — или пародируетъ между Трисоттиномъ и Вадисомъ, замѣнивъ ихъ именами Сумарокова и Тредьяковскаго... Мотивы все не новые, давно употребленные княземъ Шаховскимъ и другими... Только жаль, что тутъ выѣщиваются имена такія, которыми мы должны дорожить и которыя надобно выводить осторожно... Не пріятно же слышать, какъ Державинъ и Хемницеръ, наперерывъ другъ передъ другомъ, хвастаютъ своими стихами на глазахъ всей публики...

«Друзья г. Полеваго, говоря объ его драмахъ, всегда прибавляютъ: «если бы г. Полевой не писалъ для сцены, что было бы съ русскимъ театромъ?». Весьма достойно замѣчанія, какъ г. Полевой, владѣющій умомъ смѣтливымъ и оборотливымъ, являлся всегда тамъ, гдѣ совершалось паденіе какого-нибудь рода словесности... Упали журналы въ Москвѣ и Петербургѣ и состарѣвшіеся лѣтнво мѣняли свои страницы... Г. Полевой явился кстѣти съ своимъ Телеграфомъ... Умеръ Карамзинъ, не завѣщая никому историческаго пера своего... Г. Полевой тутъ какъ тутъ съ Исторіею Русскаго Народа... Упала русская драма на нашей сценѣ. Дѣятельный и остроумный князь Шаховской сходитъ съ нея съ безконечнымъ роємъ своихъ произведеній. Г. Кукольникъ дѣлаетъ трагическія усилія, чтобы поддержать нашу Мельпомену, но и тотъ покидаетъ роль драматика. Сцена почти пуста и живетъ только передѣлками съ французскаго... Г. Полевой и тутъ поспѣваетъ, и строитъ какую-нибудь драму изъ обломковъ патріотической драмы Ильина и Федорова, изъ прежнихъ мотивовъ князя Шаховскаго, изъ ужасовъ неистовой мелодрамы французской, воспроизведенной имъ въ Уголино, изъ прежнихъ дѣтскихъ своихъ воспоминаній о драмѣ Коцебу, съ примѣсью нѣкоторыхъ новыхъ изъ Дюма, Гюго, Шиллера, Шекспира, а иногда изъ оперъ, какъ на-примѣръ: Фрейшица, и проч. Вотъ происхожденіе драмы г. Полеваго... Это постный ужинъ, который хозяинъ дома, за невѣжіемъ свѣжей провизіи, на скорую руку составляетъ изъ оставшихся объѣдковъ отъ своей обѣденной трапезы и предлагаетъ неожиданно наѣхавшимъ гостямъ... Они и тому рады, по извѣстной пословицѣ русскаго хлѣбосольства о безрыбьи....»

Ничего не может быть справедливѣе и безпристрастнѣе этого сужденія, такъ замысловато и остро высказаннаго! Есть истины до того очевидныя и неопровержимыя, что въ нихъ не могутъ не соглашаться люди самыхъ противоположныхъ характеровъ, самыхъ несходныхъ убѣжденій и направленій, словомъ, люди, которымъ какъ-будто назначено ни въ чемъ не соглашаться другъ съ другомъ. Такова, напримѣръ, истина сужденія «Москвитянина» о патріотическихъ и всякихъ другихъ «представленіяхъ» г. Полеваго: мы, ни въ чемъ не согласные съ «Москвитяниномъ», признаемъ его мнѣніе о драмахъ г. Полеваго неоспоримо истиннымъ, — и думаемъ, что если самъ г. Булгаринъ, сей искренній другъ г. Полеваго, не согласится теперь съ этимъ мнѣніемъ, то развѣ по какимъ-нибудь непредвидѣннымъ обстоятельствамъ настоящей минуты... Что же касается до мнѣнія «Москвитянина» объ изворотливой и сметливой литературной дѣятельности г. Полеваго, всегда поспѣшающей строить и созидать на развалинахъ падшихъ зданій, изъ мусорныхъ матеріаловъ самыхъ этихъ развалинъ, — то это мнѣніе, съ которымъ мы безусловно согласны, еще прежде «Москвитянина» высказано самимъ г. Булгариномъ, съ которымъ мы тогда же въ этомъ согласились. А было это, помнится, еще въ 1839 году; и «Отечественныя Записки» въ свое время сообщили публикѣ этотъ любопытный фактъ безпристрастія г. Булгарина въ дѣлѣ литературнаго сужденія о другѣ; но какъ повтореніе основательныхъ мнѣній, чьи бы они ни были, служить къ ихъ распространенію и утвержденію, то мы вновь сообщимъ читателямъ интересное мнѣніе г. Булгарина, — тѣмъ болѣе, что это нужно намъ, въ настоящемъ случаѣ, для доказательства единодушнаго согласія всѣхъ и каждого въ дѣлѣ слишкомъ очевидныхъ истинъ:

•Почтенный Н. А. Полевой пишетъ, какъ говорятъ, полосами. О чемъ рѣчь въ публикѣ, за то принимается почтенный Н. А. Полевой. Была эпоха жур-

назовъ Н. А. издавалъ журналъ; была мода на Шеллингову философію и политическую экономію — онъ писалъ о философіи и политической экономіи. Настала мода на романы, онъ сталъ писать романы. Альманахи ввели въ моду оригинальныя повѣсти — Н. А. сталъ писать повѣсти. Заговорили объ исторіи, — вотъ есть и исторія; наконецъ, вкусъ высшаго сословія и публики явно обратился къ театру, и Н. А. Полевой пишетъ трагедіи, драмы, драматическія представленія, драматическія были и водевили. Пишетъ онъ такъ много, что мы не можемъ постигнуть, когда онъ выбираетъ время, чтобы читать и учиться! Н. А. Полевой человѣкъ умный и удивительно смѣшленный. Онъ не можетъ написать ничего рѣшительно дурнаго, а между тѣмъ написалъ онъ много хорошаго. Что онъ ни напишетъ, во всемъ пробивается то талантъ, то смѣтливость, то ловкое подражаніе, и все прицорвлено къ понятіямъ большинства. Невозможно быть безпристрастнымъ насъ къ Н. А. Полевому, п. не взирая на прошедшее, мы всегда отдаемъ справедливость его таланту, уму, трудолюбію, а больше всего его смѣтливости, въ которой онъ не имѣетъ равнаго въ нашей литературѣ.

Совершенная правда! Такъ какъ пришлось къ слову, замѣтимъ тутъ же, что этою дѣйствительно удивленія достойною сметливостью обладаетъ, между русскими литераторами, не одинъ г. Полевой: отдавая ему полную справедливость, мы не должны же быть несправедливы и къ г. Булгарину, тоже обладающему замѣчательнымъ талантомъ въ этомъ родѣ. Вся разница въ характерѣ таланта: г. Полевой больше устремляется, какъ справедливо замѣчаетъ «Москвитянинъ», туда, гдѣ совершилось паденіе какого-нибудь рода словесности; г. Булгаринъ, напротивъ, является неожиданно большею частію послѣ какого-нибудь успѣха посредствомъ литературнаго оборота. Въ то время, какъ мода на альманахи заставляла г. Полеваго писать повѣсти, — ихъ писалъ и г. Булгаринъ; успѣхъ альманаховъ заставилъ г. Булгарина издать «Талію»; удачная подписка на неконченную доселѣ «Исторію Русскаго Народа» имѣла своимъ слѣдствіемъ неудачную и то же неконченную «Россію» г. Булгарина; успѣхъ «Посредника» родилъ «Эконома»; успѣхъ «Нашихъ» произвелъ «Картинки Русскихъ Нравовъ»; политическая исторія Суворова г. Полеваго поро-

дила «Романтическія Сцены изъ Жизни Суворова» съ политическими же, которые, говорить г. Булгаринъ, скоро явятся въ свѣтъ; успѣхъ драматическихъ «представленій» г. Полеваго на Александринскомъ театрѣ породилъ неуспѣшную, впрочемъ, «Шкуну Нюкарлеби». Подражая всему успѣшному, г. Булгаринъ иногда огорчается, если видитъ, что задуманное имъ «успѣшное» — упреждается чужимъ «успѣшнымъ», особенно «успѣшнѣйшимъ». Такъ, напримѣръ, «Юрій Милославскій» упредилъ выходомъ «Дмитрія Самозванца» — и за то навлекъ на себя довольно грозную критику въ «Сѣверной Пчелѣ». Равнымъ образомъ г. Булгаринъ не любитъ совмѣстничества: просимъ читателей вспомнить извѣстную исторію о капустныхъ кочерыжкахъ...

Возвратимся къ «представленіямъ» г. Полеваго, въ изданномъ нынѣ третьемъ ихъ томѣ.

Этотъ третій томъ содержитъ въ себѣ «Гамлета» — драматическое представленіе Вилліама Шекспира, и «Уголино» — драматическое представленіе Николая Полеваго. Хотя «Гамлетъ» только переводъ г. Полеваго, но и его можно счесть за сочиненіе, ибо сущность всякаго произведенія составляетъ его духъ, а въ переведенномъ г-мъ Полевымъ «Гамлетѣ» Шекспира — нѣтъ нисколько Шекспировскаго духа: переводчикъ замѣнилъ его собственнымъ своимъ. Поэтому, «Гамлетъ» такъ же точно есть сочиненіе г. Полеваго, какъ и «Уголино»: въ обоихъ одинъ духъ, одна манера, — и если Шекспиръ болѣе или менѣе виноватъ въ «Гамлетѣ» г. Полеваго, то онъ же болѣе или менѣе виноватъ и въ «Уголино»: ибо въ какомъ отношеніи находится «Гамлетъ» г. Полеваго къ «Гамлету» Шекспира, въ такомъ же точно отношеніи находится «Уголино» г. Полеваго къ «Ромео и Юліи» Шекспира... Многіе считаютъ это отношеніе весьма похожимъ на отношеніе пародіи къ оригиналу... Мы сказали, что сущность всякаго произведенія

заклѣчается въ его духѣ, и потому должны характеризовать духъ «Гамлета» и «Уголино». Съ этой точки зрѣнія, оба эти произведенія чрезвычайно интересны, потому что оба они — родовыя, типическія явленія въ области русской литературы.

Иныя слова, по особеннымъ обстоятельствамъ, получаютъ въ послѣдствіи совѣтъ другое значеніе, нежели какое имѣли въ началѣ и какое назначила имъ выражать этимологія языка. Такъ напримѣръ, русское слово «чувствительный» сперва означало человѣка съ чувствомъ, съ душою; слѣдовательно, оно имѣло похвальное значеніе. Но сентиментальность, овладѣвшая нашею литературою и нашимъ обществомъ въ концѣ прошлаго и началѣ текущаго столѣтія, дала слову «чувствительный» проницеское значеніе, такъ что теперь говорятъ «человѣкъ съ чувствомъ» и уже не говорятъ «чувствительный человѣкъ», ибо послѣднее означаетъ слезливаго воздыхателя, аркадскаго пастушка въ соломенной шляпѣ, съ розывыми лентами на груди, — лицо, нѣкогда извѣстное въ русской литературѣ подъ именемъ Эраста Чертополохова. Такимъ же точно образомъ у Нѣмцевъ выраженіе «прекрасная душа» (*schöne Seele*) и произшедшее отъ него неловкое въ русскомъ переводѣ слово «прекраснодушіе» (*Schönseelichkeit*), получили, въ послѣднее время, совершенно противоположное значеніе. Слово «прекрасная душа» у Нѣмцевъ выражаетъ собою понятіе о тѣхъ слабыхъ и поверхностныхъ характерахъ, которые исполнены энтузизма ко всему высокому и прекрасному, но которые никогда не могутъ понять хорошенько, въ чемъ состоятъ и что такое это «высокое» и «прекрасное», отъ котораго они всегда въ такомъ восторгѣ. Сердце у этихъ людей дѣйствительно доброе, ума въ нихъ также отрицать нельзя; но они лишены всякаго такта дѣйствительности. Они узнаютъ высокое и прекрасное только въ книгѣ, и то не всегда; въ жизни же и въ дѣйствительности, они никогда не узнаютъ ни того, ни другаго, и отъ этого скоро

во всемъ разочаровываются (любимое ихъ словцо!), холодѣютъ душою, старѣются во цвѣтѣ лѣтъ, останавливаются на полудорогѣ, и оканчиваютъ тѣмъ, что или (и это по большой части) примиряются съ дѣйствительностію, какова бы она ни была, т. е., съ облаковъ прямо падаютъ въ грязь; или дѣлаются мистиками, мизантропами, лунатиками, сомнамбулами. Обыкновенно, они смѣшны и жалки въ томъ и другомъ случаѣ; но въ первомъ, они бываютъ иногда ужъ и не жалки, а скорѣе страшны своимъ примиреніемъ съ дѣйствительностію... Не разочаровываться имъ невозможно: ибо у нихъ идеаль не имѣетъ ничего общаго съ дѣйствительностію и неспособенъ къ осуществленію на дѣлѣ. Если этотъ идеаль — дѣва, то непремѣнно неземная, которая не ѣстъ, не пьетъ и не хвораетъ, питаясь одними высокими чувствами, любовью, восторгомъ, вдохновеніемъ и пр. И потому, въ дѣвахъ — они наиболѣе разочаровываются: неспособные понять и оцѣнить ничего, что просто, безъ претензій и безъ эффектовъ прекрасно, они всего чаще привязываются къ ничтожнымъ созданіямъ, — и умножаютъ число несчастныхъ браковъ по страсти. Если этотъ идеаль — другъ, то горе ему: самолюбіе — болѣзнь «прекрасныхъ душъ», потребуетъ отъ него, чтобъ онъ отказался отъ себя и безпрестанно любовался прекрасными чувствами и словами своего друга, страдалъ бы его страданіями, радовался его радостями. а о себѣ не думалъ бы вовсе; въ противномъ случаѣ, онъ — эгоистъ, холодная душа, «разочарователь». Идеаль блаженства любви «прекрасныхъ душъ» — пустыня вдали отъ людей, природа, прогулки при лунѣ, вздохи, поцѣлуи и — больше всего — совершенное бездѣйствіе. Они вѣчно стремятся туда, а здѣсь недовольны всѣмъ: люди ихъ не понимаютъ, жизнь для нихъ пошла, ибо въ ней нужны и деньги, и пища, и одежда, необходимы горе и трудъ. Труда они не любятъ въ особенности: въ немъ такъ много прозы, а они хотятъ дышать одною поэзіею.



Но чтобы сдѣлать вѣрный очеркъ того, что Нѣмцы называютъ «прекрасною душою», нужна цѣлая статья. Итакъ, удовольствуемся однимъ намекомъ: догадливые поймутъ насъ. У насъ были попытки ввести въ употребленіе слово «прекраснодушіе», которыя остались тщетными, и по справедливости: у Нѣмцевъ это слово получило такое значеніе черезъ развитіе самой общественности, такъ же, какъ у насъ слово «чувствительный». Мы думаемъ, что слова «романтикъ» и «мечтатель» довольно близко подходятъ подъ значеніе нѣмецкаго выраженія «прекрасная душа» (schöne Seele). Кто хочетъ познакомиться съ характерами и натурами романтиковъ и мечтателей, — тѣмъ рекомендуемъ изъ романовъ г. Полеваго «Аббадонну», а изъ повѣстей въ особенности — «Живописца», «Блаженство Безумія» и «Эмму»: это тонкіе, злые картины и очерки романтиковъ и мечтателей. Но всѣхъ ихъ выше — «Гамлетъ» и «Уголино»: это просто сатирическая апофеоза романтическихъ душъ и мечтательныхъ характеровъ. Мы не будемъ распространяться въ доказательствахъ: перечтите въ «Уголино» сцены любви между Нино и Вероникою, — и вы сами увидите, что улика на лицо. Одна уже мысль жить въ пустынь аркадскими пастушками, занимаясь одною любовію — въ высшей степени «романтическая» и «мечтательная»... Этотъ Нино съ своею Вероникою, просто — Маниловъ съ своею супругою; онъ держитъ въ рукѣ конфетку и говоритъ супругѣ: «Разинь, душенька, ротикъ, я тебѣ положу этотъ кусочекъ»...

Что касается до «Гамлета», то достоинство его, какъ перевода, вполне оцѣнено великимъ знатокомъ Шекспира, покойнымъ профессоромъ Харьковскаго университета, И. Я. Кронебергомъ, и, въ другой статьѣ, сыномъ его, А. И. Кронебергомъ. Но нѣтъ худа безъ добра: изъ перевода вышло сочиненіе г. Полеваго, и это послужило къ успѣху пьесы на нашей сценѣ, гдѣ Шекспиръ такъ какъ онъ есть (не обсахаренный

и не разсыропленный) еще недоступенъ. Но за то, нѣкоторые потому только и прочли превосходный переводъ «Гамлета» г. Вронченко и поняли его, что видѣли на сценѣ «Гамлета» г. Полеваго... И то заслуга!

---

**ПЕРЕВОДЧИКЪ, ИЛИ СТО ОДНА ПОВѢСТЬ И СОРОКЪ СОРОКОВЪ АНЕКДОТОВЪ, ДРЕВНИХЪ, НОВЫХЪ И СОВРЕМЕННЫХЪ; МЫСЛЕЙ, ПРАВИЛЪ, СУЖДЕНІЙ, МНѢНІЙ, И ПР., ПОДВИГОВЪ, ХРАБРОСТИ, ДОБРОДѢТЕЛИ, УМА, ГЛУПОСТИ, ПРОСТОДУШІЯ, И ПР., ОСТРЫХЪ СЛОВЪ, ВЫРАЖЕНІЙ, ЭПИГРАММЪ, КАЛАМБУРОВЪ, И ПР. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХЪ ОЧЕРКОВЪ, ПОРТРЕТОВЪ, И ПР. И ПР. Спб. 1843. Четыре тома.**

Нельзя не одобрить мысли этого предпріятія, по словамъ издателей—«оконченного и притомъ безконечнаго». Повѣсть, въ наше время, есть зеркало общественной жизни, органъ со-знанія общества и умственная его пища; повѣсть теперь — сама литература, исторія, нравственность, философія, добро и зло, полнота и пустота, жизнь и апатія, величіе и ничтожность общества и времени. Повѣсть завладѣла вниманіемъ всѣхъ и каждаго, сдѣлалась необходимымъ условіемъ не только литературныхъ журналовъ, но и газетъ политическихъ. Если у васъ есть задушевная мысль, которая кажется другимъ слишкомъ серьезною, или мало интересною, и ее не хотятъ отъ васъ выслушать—изложите ее въ формѣ повѣсти, или разказа—и васъ непременно прочтутъ и даже поймутъ. Книга, состоящая изъ однѣхъ повѣстей, не можетъ не имѣть успѣха, если повѣсти хоть сколько-нибудь не лишены литературнаго достоинства. Вотъ почему и у насъ начали появляться разные сборники, преимущественно наполняемые повѣстями и разказами. Но

наша литература еще не въ состояніи удовлетворять этой потребности: у насъ мало писателей съ дарованіемъ, еще меньше писателей трудолюбивыхъ, много пишущихъ, — можетъ-быть, и потому что наша общественность не даетъ достаточно матеріаловъ для сочиненій такого рода. За то, для сборниковъ переводныхъ повѣстей сколько матеріаловъ, какое неистощимое богатство! Только издавайте — а читать и покупать будутъ. Анекдоты и разныя мелочи, какъ смѣсь при журналахъ, представляя собою богатый матеріалъ для лѣниваго перелистыванія, много придадутъ цѣны вашему сборнику въ глазахъ любителей легкаго чтенія.

Итакъ, мысль «Переводчика» прекрасна; но, къ сожалѣнію, въ дѣлахъ человѣческихъ, и особенно въ дѣлахъ русской литературы, выполненіе очень рѣдко соответствуетъ мысли, а мысль — выполненію. Это случилось и съ «Переводчикомъ»: сколько хорошъ этотъ сборникъ по мысли, столько дуренъ онъ по выполненію. Повѣсти, составляющія его содержаніе, ничтожны и по объему и по содержанію; это какіе-то рассказы, плохо переведенные. Что же касается до анекдотовъ, — это тысяча первое повтореніе старыхъ, съ издѣтства каждому извѣстныхъ вздоровъ, съ прибавленіемъ новыхъ пустяковъ. А переводъ? — Боже мой, что это такое!... Издатели объявили даже имена переводчиковъ; слогъ и языкъ перевода отъ этого ни сколько не сдѣлались лучше. Опечаткамъ нѣтъ числа.

Наружность «Переводчика» не щегольская. За то, скажутъ, дешево! Конечно, отвѣтимъ мы, дешевыя изданія заслуживаютъ благодарность со стороны публики, это правда; но тогда только, когда они дѣльны. Промышленность книжная — весьма важное дѣло для успѣховъ самой литературы, но тогда только, когда она образованна — иначе она вредъ, ибо подрываетъ довѣріе публики и превращаетъ литературу въ толкучій рынокъ. Вотъ почему «Отечественныя Записки» никогда не будутъ под-

держивать, кредитомъ своего мѣнія, подобныхъ предпріятій, предоставляя это благонамѣренности, безпристрастію и безкорыстію тѣхъ газетъ, которыя давно уже извѣстны этими достоинствами. Мы очень были бы рады, еслибъ слѣдующіе выпуски «Переводчика» заставили насъ переимѣнить наше о немъ мѣніе.

---

*АРИСТОКРАТКА, былъ недавнихъ временъ, рассказанная Л. Брантомъ. Спб. 1843.*

Всѣ жалуются на непрерывное размноженіе плохихъ «сочиненій» въ русской литературѣ, и эти жалобы всегда наводятъ на размышленіе о причинахъ такого горестнаго размноженія. Нѣкоторыя изъ этихъ причинъ кроются очень глубоко, и говорить о нихъ въ короткой журнальной рецензіи невозможно; другія, ближайшія, очевидны. Ихъ-то мы и хотѣли бы показать читателямъ. Побужденій, которыя заставляютъ у насъ сочинительствовать людей безъ призванія, безъ образованности, безъ всего, что нужно для занятія литературою, — такихъ побужденій два: «деньги» и собственно такъ называемое, внушаемое самолюбіемъ, желаніе печататься, слыть «сочинителемъ». По первому побужденію дѣйствуютъ люди, съ болѣе или менѣе замѣчательнымъ практическимъ разсудкомъ и направленіемъ чисто промышленнымъ. Человѣкъ, перебивавшій, можетъ быть, на всѣхъ поприщахъ дѣятельности, долго и внимательно присматривавшійся ко всѣмъ доступнымъ ему родамъ занятій, съ одною ни на мигъ не покидавшею его мыслию, гдѣ бы вѣрнѣе и легче зашибить копейку, почему либо разочтеть, что быть сочинителемъ выгоднѣе, чѣмъ переписывать отношенія, торговать пряными кореньями, обучать юношество грамматикѣ и «россійской словесности», или рисовать выѣски для мелоч-

ныхъ лавокъ, — и вотъ онъ сочинитель. Безстрашно бросается онъ на тотъ родъ литературныхъ произведеній, который преимущественно читается (а иногда и на всѣ роды вдругъ), и небу жарко отъ трескотни его крѣпкаго пера, и полки книжныхъ лавокъ ломаются подъ тяжестію быстро производимыхъ имъ огромныхъ томовъ книжнаго товара. Если, несмотря на остервенѣніе, съ которыми онъ напалъ на литературу, первыя попытки окажутся неудачными, то-есть, не доставятъ ему существенной выгоды — денегъ, онъ смиренно идетъ на иное поприще, уступая мѣсто другому. Но если удача, которой такъ не трудно, при нѣкоторыхъ условіяхъ, достигнуть въ нашей литературѣ, увѣнчаетъ труды его, онъ на вѣкъ остается сочинителемъ, и никакія преслѣдованія критики не выживутъ его изъ литературы. Брань журналовъ, если она не наноситъ существеннаго вреда сбыту его сочиненій, онъ переноситъ въ молчаніи, съ стоическимъ хладнокровіемъ. Она даже не сердитъ его внутренно: онъ человѣкъ добрый и нерѣдко сознающійся въ своей слабости. Подъ веселый часъ, онъ пожалуй и самъ вмѣстѣ съ вами будетъ смѣяться надъ своими сочиненіями и надъ публикой, которая ихъ покупаетъ. Печатныя отреченія отъ своихъ мнѣній, вторичныя обращенія къ нимъ и потомъ новыя отреченія — для него ни-почемъ. Только при сильныхъ наступательныхъ дѣйствіяхъ критики, которая въ томъ кругу, гдѣ она употребляется, извѣстна подъ именемъ «битья по карманамъ», сердце его судорожно сжимается, и голосъ издаетъ звуки, подобные тѣмъ, какіе встарину можно было слышать въ глухую полночь на большой муромской дорогѣ... Такого рода сочинителей очень много; они, какъ извѣстно, раздѣляются на разные классы: много такихъ, которые тысячами считаютъ свои доходы и давно уже въ печати усвоили себѣ пазваніе «заслуженныхъ литераторовъ» и титулъ «почтенѣйшихъ»; но еще больше такихъ, которые таятся Богъ-знаетъ

въ какомъ литературномъ захолустьѣ и приводятся въ движеніе не совсѣмъ-то щедрымъ великодушіемъ книгопродавцевъ толкучаго рынка. Къ тому же разряду принадлежать господа, посвящающіе свои книги «благодѣтелямъ», «сіятельствамъ», «превосходительствамъ» въ знакъ душевнаго уваженія, отмѣнной пресмыкаемости, глубочайшей преданности и другихъ похвальныхъ чувствъ.

Совершенно противное явленіе представляетъ принадлежащій ко второму разряду сочинитель, — сочинитель по страсти къ сочинительству. Это существо въ высшей степени странное, мелкое по природѣ, великое для самого себя, жалкое для другихъ, самолюбивое, раздражительное, лишенное малѣйшей способности сознать свои недостатки, грубо и неисправимо ослѣпленное самимъ собою. Однажды на всегда, во глубинѣ души своей, рѣшивъ утвердительно вопросъ о своей геніяльности, маленькій великій-человѣчекъ спитъ и видитъ себя сочинителемъ. И, Боже мой! чего бы онъ не далъ, на что бы не рѣшился, только бы видѣть поскорѣе осуществленіе безумныхъ грезъ своихъ! Каждая строка, каждая буква, которую онъ написалъ, кажется ему чѣмъ-то важнымъ; какъ ребенокъ съ игрушкою, какъ помѣшанный съ пунктомъ своего помѣшательства, носитъ онъ съ жалкимъ своимъ сочиненьищемъ: не надышитъ на него, не на радуется; не доѣстъ, не доспитъ, только бы по красивѣе его напечатать; обоветъ пороги въ типографію, гдѣ оно печатается, безпрестанно справляясь «скоро ли», любясь на корректурные листы и «задавая тону» передъ типографскими рабочими. А какъ шибко бьется самолюбивое сердечко его при выходѣ книги въ свѣтъ! Съ какимъ трепетомъ, съ какими надеждами носить онъ ее по книжнымъ лавкамъ, по знакомымъ, по журналистамъ! Вездѣ подслушиваетъ, всюду замѣчаетъ, что о немъ говорятъ, впутывается самъ въ разговоръ, и за долго еще до наступленія перваго числа мѣсяца бѣжить въ типографію

провѣдать, что скажутъ о немъ «Отечественныя Записки». И вотъ явилась книжка «Отечественныхъ Записокъ». Если, въ пылу добраго намѣренія, журналъ посвятитъ дрянной книжонкѣ его серьёзный разборъ, гдѣ ясно докажетъ сочинителю, что писать не его дѣло, и будетъ заклинять его, именемъ здраваго смысла, удержаться отъ пагубной страсти, — въ какой ужасъ, въ какое ярое, необузданное негодованіе приходитъ тогда маленькій великій-человѣкъ! Кроткія увѣщанія, внушенныя со-страданіемъ, превращаются, въ глазахъ его, въ порожденіе зависти, въ лицемерное посягательство на его гений, на вѣнокъ его будущей славы! Уязвленный въ самое сердце, но болѣе, чѣмъ когда-нибудь убѣжденный въ своемъ достоинствѣ, онъ принимается издавать брошюры противъ своихъ доброжелателей: безсильнымъ жалобамъ его на несправедливость, пристрастіе, личности журналовъ — нѣтъ конца и умолку; онъ даже готовъ принести официальную жалобу на своихъ благонамѣренныхъ судей. . . Что жъ далѣе? Далѣе, о немъ никто уже не говорить, его оставило даже небольшое число слушателей, привлеченныхъ къ нему первоначально дикостью его воплей и новостью нелѣпныхъ претензій; имени его уже никто не произносить, даже въ насмѣшку, но долго, долго еще, гдѣ-нибудь въ темномъ захолоствѣ литературы, раздается пискливый голосокъ его колоссально-мелкаго самолюбія. Наконецъ, не дождавшись похвалъ журналистовъ и публики, онъ принимается хвалить самъ себя, выставляя на видъ свои небывалыя заслуги; онъ не щадитъ никакихъ усилій, не пренебрегаетъ никакими средствами для пріобрѣтенія извѣстности, и готовъ даже, пользуясь открытымъ въ себѣ, при помощи услужливыхъ пріятелей и собственной проницательности, сходствомъ съ какимъ-нибудь великимъ человѣкомъ, выдать себя за пра-пра-правнука Шекспира, внука Вальтеръ Скотта, только бы побольше «предъявить» міру правъ на громкое имя. И все нѣтъ удачи! Но вотъ

тщетность усилий, кажется, наконец охладила его рвеніе: имя его рѣже и рѣже появляется въ печати, и наконецъ изчезаетъ. Публика не сожалеетъ; журналисты торжествуютъ, отъ души радуясь своему доброму дѣлу. Увы, торжество преждевременное!... Вотъ опять является брошюра съ именемъ, которое уже знакомо журналамъ. Это онъ! да, точно онъ, только уже въ другомъ видѣ: онъ значительно присмирѣлъ; посмотрите: онъ хвалитъ уже тѣхъ, которые его порицаютъ, противъ которыхъ самъ же онъ, въ пылу перваго гнѣва, разослалъ столько бранныхъ брошюръ. Чтò это значить? Бѣдный мученикъ пагубной страсти къ сочинительству! до чего дошелъ ты? Чтòбъ добиться вождѣнныхъ похвалъ, ты льстишь, ты поешь комплименты тѣмъ, которыхъ прежде ругалъ и которыхъ въ душѣ считаешь врагами!... Но журналисты, равнодушные нѣкогда къ брани маленькаго великаго-человѣка, еще равнодушнѣе къ похваламъ его: они снова говорятъ ему напрямикъ горькую, убійственную истину... И чтò жъ бы вы думали?... Неудача послѣдней попытки образумить его, возвратитъ на путь истинный, остановить отъ сочинительства?... Увы, нѣтъ!... И тогда, когда ни ожесточенные вопли ребяческаго самолюбія, ни безсильная брань, ни умышленная лесть, ни безденежное разсыланіе публикѣ брошюръ о своей геніальности, ни даже похвалы въ какой-нибудь газетѣ, доступной состраданію при нѣкоторыхъ условіяхъ, не помогутъ маленькому человѣку вырваться изъ безвѣстности, назначенной ему судьбою, — осмѣянный, согнанный съ литературной арены на самую послѣднюю ступень ея, онъ все еще не можетъ преодолѣть злѣйшаго врага своего: собственнаго самолюбія, и продолжаетъ нерѣдко до самой могилы сочинительствовать... Жалки обрисованные нами выше литературные дѣятели изъ корысти, но еще болѣе жалки отверженцы искусства, зараженные страстью къ сочинительству, и не первый ли долгъ



критики останавливать сколько возможно столь пагубную страсть въ самомъ ея началѣ, пока она не успѣла еще совершенно овладѣть человѣкомъ? Вотъ почему «Отечественныя Записки» не рѣдко говорили, и впередъ намѣрены иногда говорить о самыхъ неутѣшительныхъ явленіяхъ нашей литературы съ большимъ вниманіемъ, чѣмъ они, повидимому, заслуживаютъ.

Все сказанное, само собою разумѣется, не имѣетъ никакого прямого отношенія къ книгѣ, которой заглавіе выставлено въ началѣ статьи. Все это не болѣе, какъ очеркъ, могущій послужить матеріаломъ для будущаго составителя статьи въ «Наши», гдѣ вѣдь долженъ же быть нарисованъ «сочинитель». — Теперь обратимся къ сочиненію г. на Бранта.

Неоднократно мы имѣли случай замѣчать г. Бранту, какъ бесполезны для литературы и для него самого усилія его сочинять, сочинять во что бы то ни стало. Но г. Брантъ неисправимъ: едва прошло полгода отъ появленія его странныхъ критическихъ брошюръ, и вотъ онъ является съ новымъ произведеніемъ: «Аристократка»... Аристократка—и г. Брантъ! Какъ много сказано однимъ заглавіемъ! Кажется, нечего и прибавлять... Не можемъ, однакожь, не обратить вниманія на одну новую, чрезвычайно тонкую выходку г. Бранта. Послушайте: г. Брантъ говоритъ о преслѣдованіи критикой людей ничтожныхъ и глупыхъ:

«Отчего именно (спрашиваетъ онъ) на этихъ именно бѣдныхъ недорослей, вѣчныхъ, произвольныхъ дѣтей человѣчества, должно изливать желчь ума и сатиры, предназначенной преимущественно бичевать предразсудки и пороки людей не незначительныхъ по рогу, разыгрываемой ими въ обществѣ, не *невѣжды* и *глупцовъ* обыкновенныхъ, дюжинами дюжинъ встрѣчаемыхъ, но людей съ вѣсомъ и внѣшняго и внутренняго значенія?»

Подумаешь, къ какимъ средствамъ не прибѣгаютъ люди! Не преслѣдуйте насмѣшкой невѣжды и глупцовъ, говоритъ г.

Брантъ: «насмѣшка создана для людей съ вѣсомъ внутренняго и вѣшняго значенія». Зачѣмъ бы, казалось, придумывать г-ну Бранту такой странный парадоксъ?.. Но положимъ, что это придумалось такъ, съ проста; главное тутъ — ложность парадокса. Если преслѣдовать только слабости и недостатки людей съ умомъ и вѣсомъ, какъ желаетъ г. Брантъ, то глупость, невѣжество и шарлатанство могутъ вообразить, что въ нихъ нѣтъ ни слабостей, ни недостатковъ. Намъ, кажется, что именно дерзкія-то усилія попасть куда не слѣдуетъ, невѣжественныя предразсудки и простодушныя ухищренія глупцовъ и невѣждъ, которыхъ вы, г. Брантъ, защищаете, и должны быть преимущественно преслѣдуемы насмѣшкою; если мало одной насмѣшки — ихъ, какъ язвы на тѣлѣ общественномъ, должно искоренять всеми мѣрами — выжигать, вырѣзывать, вытравлять. Si medicamenta non sanant, ignis sanat, si ignis non sanat, ferrum sanat, сказалъ еще Иппократъ, на котораго мы и ссылаемся, въ подтвержденіе нашихъ словъ...

Кто желалъ бы по чему-либо короче познакомиться съ новымъ произведеніемъ г. Бранта, тому мы должны сказать еще, что въ этомъ произведеніи нѣтъ даже тѣхъ простодушныхъ, неумышленныхъ обмолвокъ, которыя иногда встрѣчаются въ сочиненіяхъ такого рода и, подъ веселый часъ, срываютъ невольную улыбку; здѣсь все чистенько, гладенько, отдѣлано съ рачительностію самой терпѣливой бездарности, и оттого чрезвычайно пошло. Дѣйствующія лица — аристократка, которая ѣздитъ въ Александринскій театръ и объясняется, какъ героини представляемыхъ тамъ водевилей; учитель исторіи, педагогъ, который изъ рукъ вонъ глупъ; сверхъ того самъ сочинитель — г. Брантъ, иногда замедляетъ и безъ того уже вялое дѣйствіе повѣсти отступленіями, въ родѣ слѣдующаго:

• Не знаю отчего рука моя дрожитъ, начертывая строки, приближающія меня къ описанію послѣднихъ событій этой повѣсти; отчего оставляетъ меня

спокойствіе историка, и я чувствую нѣкоторое трепетаніе сердца, подобно путнику, завидѣвшему тучу и боящемуся, что гроза застигнетъ его вдали отъ крова и всякаго пріюта?»...

Но довольно. Изъ того, что мы сказали, кажется, можно ясно понять, какова новая повѣсть г. Бранта, и какого рода аристократію, «окритиковалъ онъ въ своей литературѣ». О! г. Брантъ большой критиканъ!

**СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНІЕ.** Книжка, составленная изъ трудовъ: А. Ѳ. Вельтмана, Н. С. Волкова, С. С. Гадурина, В. И. Даля, И. И. Иванова, М. Н. Заюскина. И. И. Побыдина, К. Ѳ. Эмельке, княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ и А. П. Заблужкимъ. Спб. 1843.

Эта книга, принадлежа собственно къ тому, что обыкновенно называется «литературою»,—тѣмъ не менѣе принадлежитъ къ важнѣйшимъ произведеніямъ современной литературы, и въсомъ своей внутренней цѣнности перетянетъ многіе пуды романовъ, повѣстей, драмъ—даже «патріотическихкихъ». Явленіе такой книжки, какъ «Сельское Чтеніе», должно радовать всякаго истиннаго патріота, всякаго друга общаго добра. Бѣдна наша учебная литература, бѣднѣе ея наша дѣтская литература, и мы сказали бы, что бѣднѣе всѣхъ ихъ наша простонародная литература, еслибы только у насъ существовала какая-нибудь литература для простаго народа. Цѣлыя горы бумаги ежегодно печатаются для него подъ названіемъ «Похожденій Георга Аглицкаго Милорда», «Похожденій Ваньки Каина», «Анекдотовъ о Балакиревѣ», и сѣробумажныхъ книгъ, въ родѣ «Разгуляя Купеческихъ Сынковъ въ Марьиной Рощѣ», «Козла-Бунтовщика» и т. п. Всѣ эти пошлости расходятся:

стало быть, ихъ покупають и читають. Но какая же польза отъ этихъ книгъ? — Пользы никакой, а вредъ можетъ быть: отъ нихъ только грубѣють и безъ того грубыя понятія простолюдина, тупѣетъ и безъ того неизощренная его мыслительная способность. Былъ нѣкогда на Руси почтенный человѣкъ — профессоръ Николай Кургановъ; издалъ онъ книжицу, или лучше сказать, книжицу: «Письмовникъ, содержащій въ себѣ науку руссійскаго языка со многими присовокупленіемъ разнаго учебнаго и полезнозабавнаго вещесловія, съ присовокупленіемъ книги: Неустрашимость духа, геройскія подвиги и примѣрные анекдоты Русскихъ» и съ таковымъ замысловатымъ эпиграфомъ:

Духовной ли, мірской ли ты? прилежно се читай:

Все найдешь здѣсь, тотъ и другой; но разумѣть съѣдай.

Книга эта имѣла успѣхъ чрезвычайный: еще въ 1796 году была напечатана она уже шестымъ изданіемъ, и до сихъ поръ еще перепечатывается такъ, какъ была, безъ измѣненій, только развѣ съ выпускомъ кое-гдѣ смысла. Для своего времени, эта книга — просто золото; теперь она никуда негодится. И не нашлось на Руси ни одного литератора, который бы издалъ, для народа, такую же книгу, только сообразную съ требованіями нашего времени, въ отношеніи къ языку и выбору статей! Кромѣ изданной г. Максимовичемъ «Книги Наума о великомъ Божіемъ мірѣ», не было ни одной замѣчательной попытки написать что-нибудь полезное и вмѣстѣ завлекательное для простаго народа. Да и самая книжка г. Максимовича оказалась неудовлетворительною. Простой народъ похожъ на ребенка, только говорить съ нимъ еще труднѣе: у ребенка умъ мягокъ, какъ воскъ, и чуждъ всякихъ привычныхъ понятій, а у простаго народа умъ и неразвитъ и упрямъ: за него надо приниматься умѣючи и съ толкомъ. Главное правило тутъ — не торопиться, не желать сдѣлать многое вдругъ, не высказывать

всего за-разъ, и всегда держаться въ уровень съ понятіемъ простолюдина. Избѣгая книжнаго языка, не должно слишкомъ гоняться и за мужицкимъ нарѣчіемъ: простолюдины обыкновенно недовѣрчивы къ собственному способу выраженія, и думаютъ, что бары смѣются надъ ними, говоря «по-печатному» ихъ глупымъ языкомъ. Простота языка должна, въ этомъ случаѣ, быть только выраженіемъ простоты и ясности въ понятіяхъ и въ мысляхъ.

«Сельское Чтеніе» вполне удовлетворяетъ всеѣмъ этимъ требованіямъ. Оно знаетъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и не потчуетъ папшетами того, кому калачъ въ сласть и лакомство. Въ книгахъ такого рода обыкновенно думаютъ, что дѣло въ шляпѣ, если наговорили съ три короба правоученій: «Сельское Чтеніе» понимаетъ, въ какомъ правоученіи нуждается нашъ народъ, и, какъ искусный врачъ, оно не лѣчитъ отъ подагры человѣка, который пьетъ не шампанское, а сивуху. Внушая простому человѣку правила религіи, преданность и благодарность престолу, «Сельское Чтеніе» постоянно держится въ сферѣ быта и положенія простаго человѣка, — въ сферѣ чисто практической. У всякаго народа свои добродѣтели и свои пороки, и съ каждымъ народомъ, по этому, должно говорить особеннымъ языкомъ. Русскій мужикъ вообще кротокъ и спокоенъ, какъ стѣверянинъ и притомъ Славянинъ, необыкновенно смышленъ и сметливъ; но въ то же время, онъ лѣнивъ и тѣломъ и умомъ; чтобъ скорѣе отдѣлаться отъ работы, любить дѣлать все на «авось». Авось — это болѣзнь русскаго человѣка; это такой же нравственный его недостатокъ, какъ у Швейцаровъ физическій недостатокъ — кретинство (*crétinisme*). И «Сельское Чтеніе» представляетъ цѣлую повѣсть объ «авось», которая простому крестьянскому уму покажется изыщитѣ всякаго романа Вальтеръ Скотта, убѣдительно истинны, что когда солнце свѣтитъ — свѣтло бываетъ. Потомъ, къ числу пороковъ

русского крестьянина принадлежит страсть зашибаться хмѣлиной; къ этой страсти присоединяется неразсчетливость составляющая общій недостатокъ русскаго человѣка, который какъ-будто родится миллионеромъ и уважаетъ только рубли, а съ копейками и гривнами, изъ которыхъ составляются рубли, обходится какъ съ соромъ: и на этотъ счетъ «Сельское Чтеніе» предлагаетъ поучительный «Разсказъ о томъ, какъ крестьянинъ Спиридонъ научилъ крестьянина Ивана не пить вина, и что изъ того вышло». Русскій человѣкъ, по натурѣ своей, склоненъ къ повиновенію властямъ, но по незрѣлости своей не всегда умѣетъ понимать благія намѣренія власти, особенно, если эти намѣренія для него новы и непривычны. Тогда людямъ, которые любятъ въ мутной водѣ рыбу ловить, весьма легко смущать и сбивать съ толку мужика злонамѣренными объясненіями простаго дѣла. Такъ, напримѣръ, теперь мужикъ не вооружается противъ прививанія коровьей оспы, дѣтямъ его, но прежде онъ смотрѣлъ на эту мѣру благотѣльного правительства, какъ на что-то страшное, грозящее гибелью...

Книжка украшена простыми полиטיפажными картинками и виньетками, сообразно содержанію. И это очень хорошо: простые люди, что малыя дѣти—наглядность и заохочиваетъ ихъ къ чтенію и помогаетъ понимать читаемое. Картинокъ числомъ семь; изъ нихъ одна—очеркъ съ картины Венеціанова: «Мать, которая учитъ дѣтей своихъ молиться», а другая — очеркъ съ портрета Петра Великаго.

Есть люди (какихъ людей не бываетъ на бѣломъ свѣтѣ!), которые отъ души убѣждены, что крестьянину нужны щи да каша, а грамота бесполезна. Слава Богу, время начинаетъ обнаруживать ту великую истину, что безъ ума не будетъ и щей съ кашей, а умъ родитъ грамота. Сверхъ того, нѣтъ ничего труднѣе, какъ вразумлять дикаря: вы хлопчете о его же благѣ, а онъ, если не можетъ оказать вамъ прямого сопроти-

вленія, упрямствомъ своимъ и равнодушіемъ безъ явнаго противодѣйствія разрушаетъ самые лучшіе ваши планы, для выполнения которыхъ вы жертвовали и сномъ, и спокойствіемъ, и удовольствіемъ. Вы велите ему сѣять картофель, чтобъ его же спасти отъ голодной смерти, а онъ твердитъ, что картошка трава поганая, проклятая... Но если на свѣтъ такъ много глухихъ умниковъ, ханжей и изувѣровъ, которые смотрятъ съ ненавистью на всякое преуспѣаніе, на всякій шагъ впередъ, то утѣшимся мыслию, что на томъ же бѣломъ свѣтѣ бываютъ и люди, твердые волею, свѣтлые умомъ и благословенные предвидѣніемъ на выполнение и осуществленіе его благихъ преднамѣреній... И да будутъ честны и славны изъ рода въ родъ имена такихъ людей, подъ просвѣщеннымъ покровомъ которыхъ каждый можетъ возложить свою посильную лепту на алтарь общаго блага!...

---

**ДРАМАТИЧЕСКІЯ СОЧИНЕНІЯ И ПЕРЕВОДЫ Н. А. ПОЛЕВАГО.**  
*Часть четвертая. Спб. 1843.*

Въ четвертой части «Драматическихъ Сочиненій и Переводовъ» г. Полеваго содержатся три драмы: «Смерть или Честь!», «Елена Глинская» и «Мать Испанка». Всѣмъ извѣстно, что г. Полевой взялъ содержаніе драмы «Смерть или Честь» изъ повѣсти, но не всѣ знаютъ, можетъ-быть, почему именно онъ взялъ его изъ повѣсти. Тѣ, которые полагаютъ, что онъ поступилъ такъ по общему всѣмъ нашимъ доморощеннымъ драматургамъ недостатку воображенія, очень ошибаются. Вотъ собственные слова г. Полеваго:

• Мнѣ хотѣлось испытать важность въ наше время *драмы-собственно* (?) въ родѣ драмы Лессинга, Иффланда, Дидерота и съ тѣмъ вмѣстѣ увѣриться

справедливо ли мнѣніе нѣкоторыхъ критиковъ, будто изъ *повѣсти*, или *романа*, не можетъ быть заимствовано *сценическое представленіе*, въ чемъ ссылались на множество неудачныхъ опытовъ? *Содержаніе* сей драмы взято изъ повѣсти Мишель-Массона *Le Grain de Sable*, помѣщенной въ изданномъ имъ собраніи повѣстей, подъ заглавіемъ: *Daniel le Lapidaire ou les Contes de l'atelier* (Парижъ, 1833 г.).

Кто же тѣ «нѣкоторые критики, которые утверждали, что изъ повѣсти нельзя сдѣлать истинно-хорошей драмы»?... Да первый — самъ же г. Полевой! Не тотъ г. Полевой, который не додалъ шести книжекъ «Русскаго Вѣстника», не тотъ, который выкраиваетъ изъ чего попало плохія драмы, создаетъ комедіи въ родѣ «Войны Оедосыи Сидоровны съ Китайцами» и воспѣваетъ «деньги»; но тотъ, который издавалъ «Телеграфъ», который ссорился съ другомъ и недругомъ за свои убѣжденія, порицалъ направленіе драмъ гг. Шаховскаго и Кукольника и не воспѣвалъ «денегъ»...

Намъ особенно нравятся тѣ драмы г. Полеваго, въ которыхъ онъ изображаетъ вельможъ и вообще людей высшаго тона. Здѣсь онъ неподражаемъ. Смотри на его графинь и баронессъ, не скажешь, что онѣ вчера еще были кухарками своихъ мужей, которые, въ свою очередь, только что сошли съ запытокъ; слушая, какъ разсуждаютъ у г. Полеваго герцогини и герцоги, не подумаешь, что ошибся дверью и попалъ, вмѣсто гостиной, въ лакейскую... «Смерть или Честь» — драма самаго высшаго тона: въ ней дѣйствуютъ графы, министры, самъ герцогъ и весь дворъ его.

Допустимъ, что примѣчаніе, на которое мы указали выше, придумано не для того, чтобъ придать побольше важности слабому, тщедушному созданію и прикрыть благовиднымъ предлогомъ несовѣсть хорошо рекомендующееся литературное похищеніе; согласимся, что дѣйствительно не другое что-нибудь, а только желаніе увѣриться — можно ли изъ повѣсти сдѣлать драму, — заставило г. Полеваго заимствовать содержаніе



драмы «Смерть или Честь» изъ повѣсти. Но вотъ вопросъ: что заставило г. Полеваго заимствовать содержаніе «Елены Глинской» у Шекспира и Вальтеръ Скотта? Въ чемъ увѣриться желалъ г. Полевой, пародируя «Макбета» и насильственно перетаскивая въ свое шивиде произведеніе нисколько неподходящую къ тогдашнему русскому быту сцену изъ «Кенильвортскаго Замка»? Зачѣмъ также г. Полевой передѣлалъ свою «Мать-Испанку» изъ романа Мейснера «Рѣдкая Мать», а «Парашу Сибирячку» изъ повѣсти Метра «Молодая Сибирячка», — словомъ, для чего сшилъ онъ всѣ свои драматическія представленія и повѣсти, историческія были и небылицы, анекдоты и сказки изъ чужихъ лоскутьевъ?... Ради какого испытанія, наконецъ, еще недавно, въ послѣднемъ блистательнѣйшемъ твореніи своемъ, «Ломоносовъ», исказилъ г. Н. Полевой повѣсть брата своего, К. Полеваго, и повторилъ въ своей передѣлкѣ гуртомъ всѣ эффекты, которыми, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ озадачивалъ публику Александринскаго театра по-одиначкѣ?... Вопросы неразрѣшимые, на которые едва ли и самъ г. Полевой возьмется отвѣчать удовлетворительно...

---

**ФИЗИОЛОГІЯ ЖЕНАТАГО ЧЕЛОВѢКА. К. Поль де-Кока. Сиб. 1843.**

Наши доморощенные поставщики текста къ картинкамъ, то-есть, сочинители такъ называемыхъ «Очерковъ Русскихъ Нравовъ», никогда не достигнутъ десятой доли того искусства, съ какимъ набрасываютъ свои «физиологіи» Французы и въ особенности Поль-де-Кока. Не вытянутыми насильственно изъ воображенія вздорами, не валымъ пустословіемъ, не

простоумно-безсильными придирадками къ чужимъ журналамъ и книгамъ наполняютъ ови свои физиологіи, но живымъ, вѣрнымъ изображеніемъ дѣйствительности. Посмотрите напримѣръ, какъ живо, остроумно и вѣрно съ природою написана «Физиологія Женатаго Человѣка», которую кто-то перевелъ на русскій языкъ и издалъ съ полтипажами французскаго изданія! Найдете ли вы въ «россійскихъ» сочиненіяхъ такого рода хоть сотую долю того остроумія и знанія жизни, той наблюдательности и оригинальности, которыя поражаютъ васъ на каждой страничкѣ въ небольшой физиологіи, написанной Польде-Кокомъ? И у насъ еще находятся люди, которые обвиняютъ въ настоящемъ мелочномъ направленіи нашей литературы Французовъ, какъ-будто Французы виноваты, что мы, подобно обезьянамъ, перенимаемъ только ихъ дѣйствія, не усвоивъ себѣ и даже не понимая настоящей цѣли ихъ дѣйствія: французскія «книжечки съ картинками» имѣютъ цѣну не только какъ красивыя игрушки, но и какъ вѣрное отраженіе современной жизни...

---

**ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ ПО РОССИИ, въ двадцати губерніяхъ, С. Петербургской, Новороссійской, Тверской, Московской: Владимірской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Харьковской, Екатеринославской, Полтавской, Кіевской, Черниговской, Могилевской, Витебской, Псковской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Симбирской. Михайла Жданова. Спб. 1843.**

Бываютъ же на свѣтѣ книжки съ удивительными заглавіями! Напримѣръ, что такое «Записки по Россіи?» а потомъ что такое «Россія въ двадцати губерніяхъ»? Всего же забавнѣе

умѣнье сочинителя считать: вмѣсто выставленныхъ въ заглавіи двадцати губерній, онъ въ этомъ же заглавіи насчитываетъ ихъ двадцать-двѣ... Но оставимъ это; посмотримъ, что-то кроется подъ этимъ удивительнымъ заглавіемъ?

Чтобъ съ самаго начала ясно обозначить свое положеніе въ отношеніи къ читателю и къ избранному предмету, г. Михайло Ждановъ такъ начинаетъ свое любопытное сказаніе: «Въ половинѣ 1838 года мнѣ представился случай, не теряя ничего по службѣ, и даже съ пользою для нея, объѣхать значительную часть европейской Россіи». Итакъ вотъ ключъ ко всему! Г. Михайло Ждановъ — чиновникъ, который путешествовалъ по двадцати губерніямъ, не теряя ничего по службѣ, и даже со пользою для нея. Объ этомъ счастливомъ для г. Михайла Жданова обстоятельствѣ, вѣроятно, весьма пріятно будетъ узнать всякому читателю, какъ было пріятно и намъ, не имѣющимъ чести знать лично г. Михайла Жданова.

«Отправляясь въ путь» говоритъ онъ далѣе: «я предположилъ вести путевыя записки, — и велъ ихъ». Удивительный примѣръ твердости воли! Далѣе: «У насъ такъ мало писано и пишется о Россіи, что и что-нибудь можетъ заслужить вниманіе». Каково? какъ это вамъ нравится? То-есть, другими словами, это значить, что у насъ-де такъ еще мало смыслятъ, что если я и вздоръ напишу, то и это должно быть принято съ уваженіемъ. Очень хорошо! Но между тѣмъ позвольте, г. Михайло Ждановъ, вы, который путешествовали «безъ всякой потери для службы, и даже съ пользою для нея!» вѣроятно, вамъ извѣстно, что почти отъ каждаго министерства у насъ издаются особые журналы, преимущественно и исключительно посвященные изслѣдованію Россіи въ разныхъ отношеніяхъ; не безъизвѣстно вамъ и то, что въ этихъ журналахъ, а равно и во многихъ частныхъ, уже лѣтъ двадцать накапливаются богатые матеріалы для узнанія Россіи: матеріалы эти только ждутъ

искусной руки и трудолюбиваго пера для обработки ихъ; — вѣдомо, вѣроятно, вамъ и то, что у насъ есть нѣсколько десятковъ весьма умныхъ и ученыхъ путешествій академиковъ по разнымъ частямъ нашего обширнаго отечества; у насъ есть около 800 болѣе или менѣе обширныхъ сочиненій, заключающихъ въ себѣ разныя свѣдѣнія о Россіи... Нѣтъ, вы жестоко ошибаетесь: у насъ не только не мало писано о Россіи, но, напротивъ, весьма много; скажемъ болѣе: ни въ одной европейской литературѣ нѣтъ спеціальныхъ періодическихъ изданій, посвященныхъ исключительно свѣдѣнію объ одномъ только государствѣ; а у насъ такихъ изданій нѣсколько... Вотъ, что значитъ путешествовать безъ всякой потери для службы и даже съ пользою для нея, не зная ничего основательнаго о своемъ отечествѣ, не прочитавъ ничего того, что до насъ было уже давно извѣдано и описано, пуститься по двадцати губерніямъ, надѣлать въ своей памятной книжкѣ нѣсколько пустыхъ замѣтокъ, все это пустить въ тисненіе, завернуть въ грязную зеленую бумажку, на которой написать: «Путевыя Записки по Россіи» — положить такую книжицу передъ собою съ улыбкою самодовольствія и сказать: «все, что до меня писано о Россіи, не стоитъ порядочной пареной рѣпы, а моя книга первая заслуживающая вниманіе!»

Хотите ли доказательствъ, что это настоящая мысль сочинителя? — Онъ говоритъ: «Собираясь путешествовать по Россіи, я хотѣлъ имѣть какую-нибудь (!?) книгу для руководства, книгу, которая, заключаая въ себѣ свѣжій (!) запасъ свѣдѣній о нашемъ отечествѣ, могла бы указать путешественнику гдѣ и на что онъ долженъ обратить вниманіе, и къ сожалѣнію, если не къ стыду нашему, не могъ найти ничего цѣлаго; отыскивать же по частямъ въ періодическихъ изданіяхъ и брошюрахъ мнѣ было некогда». — Помилуйте, да чего же бы Россіи стыдиться, что вамъ некогда было изучить ее поосновательнѣе,

что вы хотѣли узнать огромнѣйшее въ мірѣ государство, пролиставъ какую-нибудь книжечку, да еще небольшую, чтобъ немного времени отнимать у службы; что вы не нашли себѣ по вкусу книжки для руководства въ такомъ путешествіи, въ какомъ, какъ видно изъ вашихъ записокъ, всего бы лучше было взять поваренную книгу?...

«Не есть ли долгъ cadaго Русскаго, которому привелось хоть бы даже мимоѣздомъ, видѣть какую-нибудь часть своего отечества, писать о томъ, что онъ видѣлъ?... Если наберется человекъ девять, прокатившихся по Россіи и записавшихъ, что они видѣли,—вотъ уже и составитъ что-нибудь!» Смѣло можемъ удостовѣрить г. Жданова, что изъ этого ровно ничего не выйдетъ. Не только еслибы девять человекъ, но еслибы девять миллионовъ человекъ прокатились безъ пользы по Россіи, и каждый изъ нихъ написалъ бы по небольшой книжечкѣ въ 200 страницъ, то и тогда бы ничего не вышло. Еслибы взять 34 буквы азбуки и раскладывать ихъ до конца вѣка, безъ всякой мысли, во всѣхъ возможныхъ сочетаніяхъ, то, вѣрно, никогда бы изъ этого не вышло «Иліады»!

Но довольно; не станемъ болѣе спорить съ г. Михайломъ Ждановымъ изъ-за предисловія, хотя бы мы могли замѣтить ему неправильность многихъ выраженій, неумѣстность его quasi-ироническаго презрѣнія, какое онъ кидаетъ на «ученыхъ по ремеслу», и странное впечатлѣніе, какое производитъ его отвращеніе стоять на ряду «съ сочинителями повѣстей и журнальныхъ статей» (т. е. напимѣръ, съ Гёте, Шюллеромъ, Вальтеръ Скоттомъ, Байрономъ, Гизд, Тьеромъ, и многими другими, которые писали прекрасныя и умныя журнальныя статьи), — все это мы оставляемъ и пускаемся дружно съ г. Ждановымъ въ путь по двадцати двумъ губерніямъ. Начнемъ сначала и будемъ слѣдовать за авторомъ постепенно въ его любопытныхъ наблюденіяхъ.

Во первыхъ, г. Михайло Ждановъ убѣждаетъ, что для путешествія нужно только надѣть дорожный сюртукъ и взять въ карманъ подорожную. Благодаря этому удобному и спокойному средству, онъ весьма натурально началъ свое путешествіе еще не выходя изъ своей комнаты. Первымъ дѣломъ путешественника было—взять дѣсть бумаги, написать на верху для начала путевыхъ записокъ: «С. Петербургъ», потомъ сдѣлать нѣсколько глубокомысленныхъ разсужденій о томъ, какъ, «посѣтивъ двадцать губерній, можно видѣть много любопытнаго», и тутъ же надѣлать нѣсколько грамматическихъ ошибокъ (посѣтивъ, и за тѣмъ можно—грубая ошибка противъ грамматики). Изъ своей комнаты, г. Ждановъ хотѣлъ сначала попутешествовать по Васильевскому-острову; но въ то время шелъ ледъ, и не было переправы черезъ Неву. Такая помѣха наполнила путешественника грустью, тѣмъ болѣе, что ему «въ дорожномъ платѣ стало неловко» (стр. 5). Но г. Ждановъ умѣетъ все употребить съ пользою, и, собираясь путешествовать «безъ потери для службы и даже съ пользою для нея», не захотѣлъ терять даромъ время, и тутъ же отправился въ Таврической-садъ. Пройдясь по его дорожкамъ, онъ сдѣлалъ нѣсколько маленькихъ открытій въ ботанической номенклатурѣ: на примѣръ, вмѣсто *genista*, говорить *ginesta* вмѣсто *auberpine*, говорить *aulerpine*, вмѣсто *Phogmium tenax*, говорить *Fogmium tinix*. Но это его нисколько не останавливаетъ. Да и чтѣ такое вся ботаника, когда нужно путешествовать, не теряя ничего по службѣ? И когда тутъ учиться этой ужасной наукѣ? Не въ два же часа, въ самомъ дѣлѣ, проглотить всю мудрость!

Послѣ столь полезнаго путешествія по прекрасному саду, г. Ждановъ сталъ путешествовать по набережной Невы, которую онъ называетъ «капризницей» (стр. 8). Послѣ разныхъ витіеватыхъ и звонкихъ фразъ, внушенныхъ путешественнику картиной Невы, покрытой льдомъ, ему удалось, наконецъ,

сѣсть въ экипажъ и продолжать на этотъ разъ свое путешествіе по большой дорогѣ. Замѣтивъ очень удачно мимоѣздомъ, что дорога шоссе убита щебнемъ и очень гладко, сочинитель очутился на станціи Чудово, откуда онъ заглянулъ въ село Грузино, принадлежавшее графу Аракчееву, и по этому поводу изъяснилъ, что графъ Аракчеевъ былъ нѣкогда извѣстнымъ человѣкомъ (стр. 19). Въ Спасскомъ Полѣсѣ сочинитель нашелъ порядочную гостиницу и милостивую Нѣмочку. Въ Новгородѣ (по случаю этого города, онъ восклицаетъ въ восторгѣ: «О, Новгородъ!») г. Михайло Ждановъ посмотрѣлъ на какой-то куполь, крытый «бѣлымъ желѣзомъ» (стр. 19), видѣлъ дубинку Іоанна Грознаго, отъ которой у него г. Жданова, волосы стали дыбомъ (стр. 20), и замѣтилъ, въ качествѣ агронома, что въ городскомъ саду можно разводить разныя деревья и кустарники (стр. 20). Новгородскимъ обществомъ онъ остался недоволенъ, и потому, не занимаясь имъ много, онъ отправился на извозничьихъ дрожжахъ въ Юрьевъ монастырь, увидѣлъ, что къ монастырю принадлежатъ два сада, да и поѣхалъ далѣе... По дорогѣ, въ Броницахъ, онъ заходилъ съ визитомъ къ какой-то бабѣ Агаѣ, «девяностолѣтней старухѣ» (стр. 23), видѣлъ на Вышневолоцкомъ каналѣ «барки съ яйцами» (стр. 25), и съ удовольствіемъ замѣтилъ, что въ гостиницѣ Пожарскаго приготовляются очень вкусныя котлеты изъ курицы, въ Помераніи угощаютъ вафлями, а въ Яжелбицахъ форелью (стр. 26). Послѣ этихъ вкусныхъ закусокъ, г. Михайло Ждановъ, столичный житель, отправился посмотрѣть провинціальное общество въ загородный воксалъ, возлѣ Твери. Пересчитать всѣхъ хорошенькихъ, замѣтить, что одна дама, тамъ бывшая, «миленькое существо» (стр. 27), а другая — «брюнетка съ томными черными глазками», но что вся эта пляска, все это собранье, всѣ эти наряды скучны, смѣшны, невеселы, — было дѣломъ одной минуты для столичнаго путешественника.

Изъ Твери сочинитель прямо является въ Москву. Москву онъ называетъ «золотыми маковками и *potre grande cité*, и удивляется огромному въ ней числу «хижинъ холопскихъ» (стр. 29). Посмотрѣвъ тусклымъ взоромъ на все, что такъ любопытно въ Москвѣ и что уже всякому извѣстно и много разъ описано, онъ принялся бранить какого-то фокусника за то, что тотъ показалъ ему зеркала... Въ Нескучномъ онъ видѣлъ какую-то «прехорошенькую женщину», у которой молодой человекъ цѣловалъ руку (стр. 43), и, наконецъ, свои воспоминанія о Москвѣ заключилъ вкуснымъ обѣдомъ у Лабади (стр. 46). Впрочемъ, по долгу совѣсти, мы не можемъ выѣхать съ сочинителемъ изъ Москвы, не сказавъ, что онъ прежде обѣдалъ у Печкина, куда его привлекъ органъ, играющій «Грасъ, Сжался, Робертъ» (стр. 46).

Во Владимірѣ, сочинителю пришли въ голову нѣкоторыя историческія воспоминанія, взятые на прокатъ изъ «Россійской Исторіи» г. Кайданова. Въ гостиницѣ, гдѣ онъ остановился, комнаты были порядочныя, но «кушанье очень посредственное» (стр. 48); что же касается до Владимірской губерніи, то она славится своими вишнями (стр. 49). Въ Муромѣ сочинитель изобрѣлъ новое слово «огородство» (стр. 50) и познакомился съ какимъ-то чиновникомъ, который передъ нимъ никакъ не хотѣлъ садиться, вслѣдствіе чего сочинитель нашелъ, что онъ «очень не глупой» (стр. 50). Арзамасъ, Починки, Пенза — все промелькнуло предъ глазами путешественника безъ особенныхъ приключеній; но въ Саратовѣ случилось нижеслѣдующее, любопытное для всякаго читателя приключеніе: «Саратовъ богатъ хорошею рыбою и въ особенности стерлядьми, и потому «я поспѣшилъ въ одной изъ гостиницъ заказать стерляжь уху... и она мнѣ такъ понравилась своимъ вкусомъ, янтарнымъ цвѣтомъ, что я съѣлъ три тарелки вдругъ». Жаль, что не четыре! Впрочемъ, чтобы не подумалъ кто-нибудь, что путе-



пешественникъ невоздерженъ, онъ прибавляетъ, себѣ въ извиненіе, что отъ Пензы до Саратова онъ ничего не ѣлъ. Но здѣсь картина перемѣняется. Доселѣ мы видѣли сочинителя кушающаго во всѣхъ гостиницахъ и слышали только его основательныя сужденія по кухонной части, — въ Саратовѣ ужъ не то: о вафляхъ, форели и пр. нѣтъ помина, и сочинитель трунить надъ провинціальнымъ обществомъ. Жизнь въ Саратовѣ онъ называетъ ссылкой, вѣроятно потому что вспомнилъ, извѣстный стихъ Грибоѣдова: «Въ глушь — въ Саратовъ». «Въ губерніи не то, что въ столицѣ, — нѣтъ возможности поволочиться какъ слѣдуетъ». А! такъ вотъ что! Итакъ, г. Михайло Ждановъ оттого скучалъ, что нельзя было волочиться безъ потери по службѣ и даже съ пользою для нея? Очень хорошо! И отъ скуки онъ написалъ три страницы объ обществѣ саратовскомъ такъ живо, что вы, читая ихъ, сейчасъ вспомните нашего общаго пріятеля Ивана Александровича Хлестакова. Особенно развился талантъ путешественника въ Липецкѣ на водахъ. Онъ такое имѣетъ предубѣжденіе противъ провинціи, что съ невольнымъ удивленіемъ замѣчаетъ всякій разъ, когда ему встрѣтится человѣкъ «неглупый». Въ Липецкѣ сочинитель танцевалъ съ одною дѣвицею: «оказалось; что, несмотря на незнаніе французскаго языка, моя дама очень умная, любезная дѣвушка и къ тому же очень хороша собою. Сказать правду: ея прелестныя глаза, прекрасный цвѣтъ лица, остались на долго въ моей памяти. Впрочемъ, для избѣжанія провинціальныхъ сплетней, сгѣшу оговориться, я не влюбленъ въ нее». Послѣ такого явнаго и печатнаго объясненія, кто же осмѣлится сказать, что г. Ждановъ былъ влюбленъ въ эту прекрасную дѣвицу? Вотъ удобный способъ описывать провинціи, не правда ли? И тонко, и остро, и деликатно!

Послѣ описанія липецкихъ водъ, очень похожаго на письмо Ивана Александровича въ послѣднемъ актѣ «Ревизора», со-

чинитель отправился въ Воронежъ, остановился тамъ въ гостиницѣ, переодѣлся, напился чаю (стр. 89), и поскакалъ далѣе; по дорогѣ, доказалъ до очевидности, что «прусаки—это кочующій народъ» (стр. 94); на Коренной ярмаркѣ онъ видѣлъ барышень, которыя, взявшись подъ руки, вереницами ходили по рядамъ: «сколько изъ нихъ хорошенькихъ, красавицъ!» восклицаетъ онъ. Отъ Курска до Луганскаго литейнаго завода, самымъ замѣчательнымъ происшествіемъ было-то, что на почтовомъ дворѣ въ Бахмутѣ очень вѣжливый, услужливый Еврей встрѣтилъ путешественника и тотчасъ велѣлъ запрягать лошадей (стр. 160). По поводу Луганской образцовой фермы, авторъ выписываетъ, со многими ошибками и противъ языка и противъ самого дѣла, изъ одной забытой статейки «Земледѣльческой Газеты», о воздѣлываніи вайды, крапа, вау, сафлора, рапса и табаку (стр. 111 — 120). Видъ Потемкинскаго дворца въ Екатеринославѣ вызываетъ у г. Жданова глубокомысленное восклицаніе: «Суета суеть!» (стр. 125), а видъ церкви Рождества Богородицы, въ Нижнемъ, другое восклицаніе: «Зачѣмъ я не Викторъ Гюго! (стр. 200). Послѣ этого осталось только пріѣхать въ «Хвалынскъ, и, разумѣется, прямо къ городничему, спросить себѣ рыбы. закусить немного» (стр. 206), бросить прощальный взоръ на положеніе крестьянъ Николаевского уѣзда, и подписать въ заключеніе всего этого— «конецъ», не теряя ничего по службѣ, и даже на этотъ разъ, съ явною пользою для нея.

Вотъ какъ путешествовалъ, въ половинѣ 1838 года, по благословенному царству русскому, одинъ столичный чиновникъ! Неужели, скажете вы, человѣкъ, проскакавшій по 22 губерніямъ, на протяженіи тысячъ 12-ти верстъ, не вынесъ изъ своего путешествія ни одной дѣльной замѣтки, ни одного умнаго наблюденія, ни одной неизвѣстной доселѣ подробности о какомъ-нибудь мѣстѣ? Неужели все сочиненіе составлено

изъ замѣтокъ о вафляхъ или фореляхъ, и смѣшныхъ фразахъ о провинціальномъ обществѣ? Увы, точно такъ! отвѣчаемъ мы, съ грустнымъ вздохомъ. — «Богъ съ нею, съ этою книгою говорите вы: стѣить ли она чтенія». И подлинно, не стѣить. Только жалко и смѣшно подумать, что такіе пустяки печатаются, да еще безъ потери для службы, и даже, будто бы, съ пользою для нея!

---

ПАРАША. *Разсказъ въ стихахъ. Т. А. Спб. 1843.*

Теперь, когда Лермонтова уже нѣтъ, а прекрасное дарованіе г. Майкова пока не общаетъ идти дальше антологическаго рода, — поэзія русская если не умерла, то уснула, какъ это всегда съ нею бываетъ, какъ скоро тотъ, кому дано свыше быть ея покровителемъ, или скончается во цвѣтѣ лѣтъ, или измѣнитъ надеждамъ, которыя подастъ о себѣ. Теперь стихи встрѣчаются только въ журналахъ; между ними попадаютъ и такіе, въ которыхъ есть чувство и замѣтно болѣе или меньшее дарованіе; но они всѣ лишены присутствія могучей мысли. А такъ какъ поэзія русская давно уже пережила свой періодъ прекрасныхъ чувствъ и сладостныхъ мечтаній, и еще съ Пушкина начала періодъ мысли, — то теперь проходятъ мимо вниманія публики такіа стихотворенія, которыми прежде легко было бы въ одинъ день стяжать славу великаго гения. Другими словами: могучимъ властителемъ душъ нашего времени уже перестали быть «стишки» — въ потребности публики ихъ смѣнила поэзія мысли. Это особенно стало замѣтно послѣ Лермонтова. Вотъ почему, если теперь и нельзя пожаловаться на бѣдность въ стихотворныхъ произведеніяхъ, то нельзя и сказать, чтобъ было чтѣ читать по этой части. День появле-

нія въ журналѣ неизвѣстнаго стихотворенія Лермонтова—теперь эпоха въ исторіи русской литературы: стихотвореніе читаютъ, перечитываютъ, списываютъ, вытверживаютъ на память. Стихотворенія, не принадлежащія Лермонтову, тоже прочитываютъ, даже похваляютъ, но съ тѣмъ, чтобъ совершенно забыть ихъ по выходѣ новой книжки журнала. Многіе заключаютъ изъ этого, что вмѣстѣ съ Лермонтовымъ умерла и русская поэзія. Что касается до насъ, мы не раздѣляемъ этого мнѣнія, и думаемъ, что русская поэзія не умерла, а только уснула, по обыкновенію, и что по временамъ она будетъ просыпаться и рассказывать намъ свои прекрасные сны—до тѣхъ поръ, пока не явится на Руси новый поэтъ...

Небольшая книжка, на дняхъ появившаяся въ Петербургѣ, подъ скромнымъ названіемъ «разказа въ стихахъ», есть именно одинъ изъ такихъ прекрасныхъ сновъ на минуту проснувшейся русской поэзіи, какіе давно уже не видѣлись ей. Увѣренные въ глубокомъ снѣ нашей поэзіи, мы взяли за «Парашу» съ явнымъ предубѣжденіемъ, думая найти въ ней—или сентиментальную повѣсть о томъ, какъ онъ любилъ ее, или какъ она вышла замужъ за него, или какую-нибудь юмористическую болтовню о современныхъ нравахъ, написанную прозаическими стихами. Каково же было наше удивленіе, когда, вмѣсто этого, прочли мы поэму, не только написанную прекрасными поэтическими стихами, но и проникнутую глубокою идеею, полною внутренняго содержанія, отличающуюся юморомъ и ироніею!... Однакожь, несмотря на то, увѣренность наша въ тяжеломъ снѣ русской поэзіи была такъ велика, что мы не повѣрили первому впечатлѣнію и прочли снова, — еще лучше! И теперь, когда, отъ многократно повтореннаго чтенія, мы почти знаемъ наизусть прекрасное поэтическое произведеніе, такъ неожиданно, такъ отрадно освѣжившее душу нашу отъ прозы и скуки ежедневнаго быта, — спѣшимъ познакомить

публику съ явленіемъ, которое имѣетъ полное право на ея вниманіе.

Хоть авторъ «Параши» (И. С. Тургеневъ), скрывшій свою фамилію подъ литерами Т. Л., и обозначилъ свое произведеніе скромнымъ именемъ «разказа въ стихахъ», однако оно тѣмъ не менѣе — «поэма», въ томъ смыслѣ, какой усвоенъ Пушкинымъ произведеніямъ такого рода. Итакъ, мы будемъ называть «Парашу» поэмой: оно и короче и гораздо справедливѣе, если вспомнить, что «Чернецъ», «Элла», «Наталя Долорукая», «Борскій» и тому подобные стихотворные рассказы величались поэмами. Содержаніе «Параши» въ смыслѣ «сюжета» до того просто и немногосложно, что его можно рассказать въ двухъ словахъ: на уѣздной барышнѣ женится помѣщикъ-сосѣдъ, — вотъ и все. Но это не содержаніе, а только канва содержанія; само же содержаніе поэмы такъ полно и богато, что его нельзя передать во всей его жизни, во всей благоуханной свѣжести его поэзіи, не заставляя самого поэта перерывать нашей прозаической рѣчи своими поэтическими стихами.

Прежде всего мы должны обратить вниманіе читателей на эпиграфъ поэмы изъ Лермонтова:

«И ненавиждь мы и любимъ мы случайно».

Этотъ эпиграфъ выбранъ авторомъ не въ исполненіе давно заведеннаго обычая заманивать любопытство читателей загадочнымъ смысломъ чужой рѣчи; нѣтъ, стихъ Лермонтова, какъ мы увидимъ, находится въ живой связи со смысломъ цѣлой поэмы, и столько же служитъ объясненіемъ поэмѣ, сколько и самъ объясняется ею. Поэма начинается описаніемъ помѣщичьяго дома съ безобразною наружностію, съ садомъ, похожимъ на огородъ, но съ гротомъ, который любила посѣщать героиня поэмы.

Ея отецъ — помѣщикъ беззаботный,  
Сперва служилъ — и долго; наконецъ

Въ отставку вышелъ—и супругой плотной  
 Обзавелся; теперь большой дѣлецъ!  
 Живетъ въ ладу съ своими мужичками...  
 Онъ очень добръ и очень плутовать,  
 Торгуется и пьетъ чаёкъ съ купцами.  
 Какъ водится, его супруга—кладъ,  
 О, сущій кладъ! и умица такая!  
 А женщина она была простая  
 Съ лицомъ весьма похожимъ на пирога;  
 Ее супругъ любилъ какъ только могъ.

Дочери этой достойной четы никто не называлъ бы красавицею,  
 но она была стройна, походка ея была легка и плавна, пре-  
 красная нога ловко обута, и если рука была немного велика,  
 за то пальцы были прозрачны и тонки.

Ея лицо мнѣ нравилось... оно  
 Задумчивою грустію дышало;  
 Всегда казалось мнѣ: ей суждено  
 Страданій въ жизни испытать не мало...  
 И что жъ? мнѣ было больно и смѣшно:  
 Вѣдь въ наши дни спасительно страданье...

Но глаза больше всего въ Парашѣ нравились автору —

Взглядъ этихъ глазъ былъ мягокъ и могучъ—  
 Но не блестяъ онъ блескомъ торопливымъ;  
 То былъ онъ ясенъ, какъ весенній лучъ,  
 То холодомъ проникнуть горделивымъ,  
 То чуть блисталъ, какъ мѣсяцъ изъ-за тучъ.  
 Но взглядъ ея задумчиво-спокойный,  
 Я больше всѣхъ любилъ: я видѣлъ въ немъ  
*Возможность страсти горестной и знойной —*  
*Залогъ души, любимой Божествомъ.*

Она была не безъ странностей, свойственныхъ «уѣзднымъ ба-  
 рышнямъ»; но не имѣла ничего общаго съ восторженными дѣви-  
 цами, мечтательницами и охотницами до сладенькихъ стишковъ:

Она была насмѣшлива, горда,  
 А гордость—добродѣтель, господа...

Здѣсь мы находимся въ большомъ затрудненіи: поэтъ такъ увлекательно, такъ поэтически описываетъ внутреннюю тревогу дѣвственной души своей героини, что намъ совѣстно было бы пересказывать это нашею убогою прозою, а выписывать стихи — значить переписать всю поэму... Но это такъ хорошо, что нѣтъ возможности не выписать:

..... Каждый день,  
 Я вамъ сказала—она въ саду скиталась;  
 Она любила гордый шумъ и тѣнь  
 Старинныхъ липъ—и тихо погружалась  
 Въ отрадную, забывчивую лѣнь.  
 Такъ весело качались березы,  
 Облиты сверкающимъ лучомъ...  
 И по щекамъ ея катились слезы  
 Такъ медленно—Богъ вѣдаетъ о чемъ.  
 То подойдя къ убогому забору,  
 Она стояла по часамъ... и взору  
 Тогда давала волю... но глядитъ,  
 Бывало, все на блѣдный рядъ ракъ.  
 Тамъ, черезъ ровный лугъ, отъ нихъ села  
 Верстахъ въ пяти, дорога шла большая;  
 И какъ змѣя свивалась и ползла  
 И дальній лѣсъ украдкой обгибая,  
 Ея всю душу за собой влекла.  
 Озарена какими-то блескомъ дивнымъ,  
 Земля чужая вдругъ являлась ей...  
 И кто-то милый голосомъ призывнымъ  
 Такъ чудно пѣлъ и говорилъ о ней.  
 Таинственной исполненные муки,  
 Надъ ней, звеня, носились эти звуки .  
 И вотъ, искалъ ея молящій взоръ  
 Другихъ небесъ—высокихъ, пышныхъ горъ  
 И тополей, и трепетныхъ оливокъ...  
 Искалъ земли плѣнительной и дальней...  
 Вдругъ русской пѣсни грустный переливъ  
 Напомнить ей о родинѣ печальной;  
 Она стоитъ головку наклонивъ,  
 И надъ собой дивится—и съ улыбкой  
 Себя бранить, и медленно домой

Пойдетъ вздохнувъ... то сломить пруты гибкой,  
 То бросить вдругъ... разстѣнной рукой  
 Достанетъ книжку—развернетъ, закроетъ,  
 Любимый шепчетъ стихъ... а сердце ноетъ,  
 Лицо блѣднѣетъ... въ этотъ чудный часъ  
 Я, признаюсь, хотѣлъ бы встрѣтить васъ,  
 О, барышня моя!... Въ тѣни густой  
 Широкихъ липъ стоите вы безмолвно;  
 Вдыхаете; надъ вашей головой  
 Склонилась вѣтвь... а ваше сердце полно  
 Мучительной и грустной тишиной.  
 На васъ гляжу я: прелестью степною  
 Вы дышите—вы нашей Руси дочь...  
 Вы хороши, какъ вечеръ предъ грозой,  
 Какъ майская томительная ночь.

Кто получилъ отъ природы благодатную способность понимать поэзію какъ поэзію—не въ однихъ стихахъ, не въ однихъ книгахъ, но и въ жизни, и въ природѣ, тѣ согласятся съ нами, что въ этомъ отрывкѣ каждое слово такъ и дышитъ всею роскошью, всѣмъ обаяніемъ истинной поэзіи.

Есть два рода поэзіи: одна, какъ талантъ, происходитъ отъ раздражительности нервъ и живости воображенія; она отличается тѣмъ блескомъ, яркостію красокъ, тою рѣзкою угловатостію формъ, которые мечутся въ глаза толпѣ и увлекаютъ ея вниманіе. Чѣмъ болѣе повидимому заключаетъ въ себѣ такая поэзія, тѣмъ пустѣе она внутри самой себя, ибо она вся въ воображеніи и ничего общаго съ дѣйствительностію не имѣетъ; мысли ея похожи на громкія слова и звучныя фразы, а картины ея похожи только до тѣхъ поръ, пока смотришь на нихъ: отведите глаза, и въ вашемъ воображеніи не останется никакого образа, никакого созерцанія, никакого представленія.—Другая поэзія, какъ талантъ, имѣетъ своимъ источникомъ глубокое чувство дѣйствительности, сердечную симпатію ко всему живому, а потому ея чувства всегда истинны, ея мысли всегда оригинальны, даже и не будучи новыми, ибо онѣ



не пойманы извнѣ и на лету, а возникли и выросли въ душѣ поэта. Произведенія такой поэзіи не бросаются въ глаза, но требуютъ, чтобъ въ нихъ вглядывались, и только внимательному взору открывается во всей глубинѣ своей ихъ простая, тихая и цѣломудренная красота. Печать оригинальности составляетъ ихъ неразлучную принадлежность; она есть слѣдствіе способности схватывать сущность, а слѣдовательно, и особенность каждаго предмета. И потому, описанія ея запечатлѣны достовѣрностію, такъ что, еслибъ вы и никогда не видывали описываемаго предмета, вы тѣмъ не менѣе убѣждены, что онъ точно таковъ и другимъ быть не можетъ. Разбираемая нами поэма можетъ служить образцомъ такихъ произведеній. Вотъ вамъ картина неаполитанскаго лѣта:

Прежаркій день—но вовсе не такой,  
Какихъ видаѣ я на далекомъ югѣ:  
Томительно-глубокой спиевой  
Все небо пышетъ; какъ больной въ недугъ,  
Земля горитъ и сохнетъ; подъ скалою  
Сверкаетъ море блескомъ нестерпимымъ—  
И движется, и дышитъ, и молчитъ...  
И всѣ цвѣта подъ тѣмъ неутомимымъ,  
Могучимъ солнцемъ рдѣютъ... дивный видъ!  
А вотъ, зарывшись весь въ песокъ блестящій,  
Рыбакъ лежитъ, и каждый проходящій  
Любуется имъ съ завистью—я самъ  
Имъ тоже любовался по часамъ.

Въ этихъ тринадцати стихахъ такая полная картина, что вамъ ничего не остается ожидать къ ея дополненію, хотя, въ тоже время, вы знаете, что тысячи другихъ поэтовъ могли бы ту же картину представить вамъ совсѣмъ иначе, совсѣмъ другими словами. Природа неистощима въ своемъ разнообразіи, и дѣло не въ томъ, чтобъ поэзія представляла ее въ сколько можно обширныхъ и сложныхъ картинахъ, а въ томъ, чтобъ она умѣла схватить особенность каждаго ея явленія. Лѣто—вездѣ

лѣто: вездѣ отъ него и жарко, и душно, и пыльно; но въ Неаполѣ свое лѣто, въ Россіи—свое. Первое вы сейчасъ видѣли; вотъ второе:

У насъ не то, хоть и у насъ не радъ  
 Бываешь жару... точно, жаръ глубокий,  
 Гроза вдали собирается, трещать  
 Кузнечики неистово въ высокой,  
 Сухой травѣ; въ тѣни сноповъ лежать  
 Жнецы; носы разинули вороны;  
 Грибами пахнетъ въ рощѣ; тамъ и самъ  
 Собаки лаютъ; за водой студеной  
 Идетъ мужикъ съ кувшиномъ по кустамъ.  
 Тогда люблю ходить я въ лѣсъ дубовый,  
 Сидѣть въ тѣни спокойной и суровой,  
 Иль иногда подъ скромнымъ шалашомъ  
 Бесѣдовать съ разумнымъ мужичкомъ.

Въ такой-то день Параша встрѣтилась съ охотившимся молодымъ человѣкомъ. Мы пропускаемъ большую часть прекрасно изложенныхъ поэтомъ подробностей этой встрѣчи. Скажемъ только, что охотникъ началъ свой разговоръ съ Парашею не восклицаніемъ: «о, дѣва чудная!» или другою какою-нибудь пошлостію въ этомъ родѣ, но адресовался къ ней съ очень простымъ вопросомъ: «умоляю васъ, скажите, который теперь часъ?»; потомъ: «чей это домъ?» а тамъ объявилъ ей, что его покойный дѣдъ былъ очень друженъ съ ея отцомъ.

Портретъ незнакомца превосходно очерченъ авторомъ. Это одинъ изъ тѣхъ великихъ маленькихъ людей, которыхъ теперь такъ много развелось, и которые улыбкою презрѣнія и насмѣшки прикрываютъ тощее сердце, праздный умъ и посредственность своей натуры. Онъ былъ за границею, и вынесъ оттуда множество бесплодныхъ словъ и сомнѣній... У нѣкоторыхъ журналовъ теперь вошло въ манію нападать на такихъ путешественниковъ, и они съ торжествомъ указываютъ на нихъ какъ на живое доказательство, что нечего за добромъ ѣздить

на Западъ. Авторъ «Параша» думаетъ объ этомъ иначе, и, соглашаясь съ нимъ, мы вдругъ вспомнили сказку, нѣкогда переведенную Жуковскимъ «Кабудъ Путешественникъ»... Къ особенностямъ героя поэмы принадлежитъ и то, что, будучи влюбчивымъ, онъ былъ спокоенъ и горделивъ, а потому и счастливъ въ женщинахъ, удачно обманывая и такихъ между ими, которыхъ самъ не стоялъ; еще: не будучи особенно умнымъ, онъ вполне владелъ умомъ, дарованнымъ ему отъ Бога. Говоря о страсти своего героя сгибаться передъ знатью, авторъ очень остроумно признается въ томъ, что любить пустой блескъ большого свѣта, не увлекаясь имъ и смотря на него безъ желанія; онъ очень остроумно подшучиваетъ надъ моральными выходками противъ большого свѣта непризнанныхъ, безхвостыхъ львовъ и львицъ, т. е. людей, которые бранятъ большой свѣтъ за то, что тотъ не хочетъ ихъ знать. Люблю, говоритъ авторъ,

Люблю я пышныхъ комнатъ стройный рядъ  
И блескъ и прихоть роскоши старинной...  
А женщины... люблю я этотъ взглядъ  
Разсыанный, насмѣшливый и длинный;  
Люблю простой, обдуманный нарядъ...  
Я этихъ губъ люблю надменный очеркъ,  
Задумчиво приподнятую бровь,  
Душистыя записки, быстрый почеркъ,  
Душистую и быструю любовь;  
Люблю я эту поступь, эти плечи,  
Небрежная, заманчивая рѣчи...  
«Но (скажутъ мнѣ) вѣ свѣта никогда  
Вы не встрѣчали женщины прекрасной?»  
Такихъ особъ встрѣчалъ я иногда,  
И даже въ двухъ влюбился очень страстно;  
Какъ полевой цвѣтокъ онъ всегда  
Такъ милы—но, какъ онъ, свой легкій запахъ  
Онъ теряютъ вдругъ... и Боже мой.  
Какъ не завянуть имъ въ неловкихъ запахахъ  
Чиновника, довольнаго собой?

Эти стихи не обойдутся автору даромъ: его объявятъ за нихъ «аристократомъ», скажутъ, что внѣшній блескъ предпочитаетъ онъ душѣ и сердцу, и т. п. По обыкновенію, въ этомъ случаѣ, ему припишутъ то, чего онъ и не думалъ, и горячо будутъ оспаривать его въ томъ, чего онъ не говорилъ. Дѣло тутъ идетъ не о душѣ и сердцѣ: поэтъ говоритъ совсѣмъ не о внутренней святинѣ женщины, а о ея поэтической внѣшности, которою могутъ не дорожить только натуры сухія и грубыя. Поэзія формы, изящество внѣшности, столь очаровательныя въ женщинѣ, могутъ почестся исключительными явленіями внѣ большаго свѣта. Женщины другихъ круговъ общества смотрятъ на красоту и изящество, какъ на средство поскорѣ выйти замужъ. Достигнувъ этой вождѣнной цѣли, онѣ скоро перестаютъ вѣять, и плакать, и читать сладенькіе стишки, и кокетливо наряжаться, и поэтически держать себя; онѣ предаются прозѣ жизни, скоро полиѣютъ, пристращаются къ утреннему дезабильѣ, забываютъ музыку, луну, стихи, мечту и т. д. Оттого, до замужества, почти каждая изъ нихъ — ангелъ доброты, дѣва чудная, неземная, идеальная, Полина или Надина, а послѣ замужества — солидная дама съ вѣсомъ въ обществѣ, женщина съ характеромъ, Палагея Петровна и Надежда Алексѣвна. Тутъ есть и другая причина. Юность сама по себѣ есть уже поэзія жизни, и въ юности каждый бываетъ лучше, нежели въ остальное время своей жизни; женщины въ особенности. Надо имѣть слишкомъ много глубины и силы въ натурѣ, чтобъ не охолодѣть въ прозѣ жизни, сберечь чувство и душу отъ холода дѣйствительности и сохранить юность сердца и въ лѣта зрѣлости и въ годы старости. Но такія натуры слишкомъ рѣдки, и поэзія юности слишкомъ рѣдко бываетъ ручательствомъ за поэзію дальнѣйшихъ возрастовъ. Бракъ есть рѣшительная эпоха въ жизни мужчины, и еще болѣе въ жизни женщины: для обоихъ, это — гробъ поэзіи и колыбель пошлой прозы и

очерствѣнія души и чувства. Авторъ «Параши» превосходно охарактеризовалъ эпитетомъ «довольнаго собою» цѣлый разрядъ людей, особенно страшныхъ и гибельныхъ для благоуханной поэзіи женственныхъ существъ. Люди раздѣляются не только на умныхъ и на дураковъ: тѣ и другіе равно рѣдки, и между ними занимаетъ мѣсто огромный разрядъ пошлыхъ людей. Эти люди по большей части не умны и не глупы, иногда же между ними попадаются люди не безъ ума и не безъ способностей; но главное ихъ качество въ томъ и другомъ случаѣ — довольство самими собою. Эти господа не знаютъ, что такое раскаяніе, стремленіе къ идеалу и тоска отъ невозможности достигъ его, что такое горе безъ несчастія и страданіе при хорошемъ положеніи дѣлъ и добромъ здоровьѣ. Какъ бы ни была глубока и богата духовными дарами натура женщины, но если ея мужемъ сдѣлается одинъ изъ такихъ господъ, ей остаются только двѣ неизбежныя дороги: или медленно зачахнуть, или помириться съ жизнію, какъ она есть... Последнее всего чаще случается. Въ высшихъ кругахъ общества, при этомъ не исчезаетъ поэзія внѣшности, и нарядъ остается навсегда обдуманно простъ, взглядъ разсѣянъ, насмѣшливъ и дологъ, и любовь душиста и быстра, какъ записки и почеркъ; но въ среднихъ кругахъ общества, внѣшняя пошлость вѣрно отражаетъ внутреннюю, и милые полевые цвѣтки быстро вянутъ въ неволе кихъ лапахъ довольнаго собою чиновника...

На другой день, въ домѣ отца Параши ждутъ гостя. Старикъ надѣлъ фракъ; дочь въ тайномъ волненіи; ея прическа такъ мила, а перчатки такъ свѣжи... Наконецъ гость является. Онъ говоритъ съ стариками, очаровываетъ ихъ; съ Парашею ни слова; но все въ немъ дышало «сознаніемъ внезапнаго сближенія»,

И предаваясь дивной тишинѣ,  
Онъ наслаждался страстно и вполне.

Поэтъ даже заставляетъ его «пылать святымъ и чистымъ жаромъ» и увѣряетъ, что онъ былъ любимъ... Предупреждая сомнѣнiе читателей, авторъ спрашиваетъ ихъ:

Скажите—ваша память мнѣ поможетъ—  
 Какъ мнѣ назвать ту страстную тоску,  
 Ту грустную, невольную тревогу,  
 Которая беретъ васъ понемногу...  
 Къ чему намъ лицебръить, о, друзья!  
 Ее любовью называю я.

Наступаетъ ночь; хозяинъ приглашаетъ гостя погулять въ саду, и съ своею супругою понемногу отстаетъ отъ молодой четы. Душа Параши не совсѣмъ спокойна, а онъ не начинаетъ разговора за тѣмъ, что боится внезапныхъ ощущенiй и чувствительныхъ порывовъ, за тѣмъ что былъ смущенъ своимъ положенiемъ: онъ клялся въ любви только тогда, когда не любилъ; начиная же чувствовать жаръ любовной лихорадки, онъ зарывалъ свою любовь какъ кладъ. Жаль! прелестныя читательницы, охотницы до сладенькихъ стихковъ и восторженныхъ сценъ, вѣрно ожидали тутъ пламеннаго объясненiя, при лунѣ и звѣздахъ; но герой поэмы ужасный прозаикъ: если онъ и допускалъ возможность исключенiй, то въ пошлость вѣрилъ твердо и всегда, и рѣдко ошибался, а о другомъ мирѣ не имѣлъ никакого понятiя. Чтò же касается до самого поэта, то чувствительныя и восторженныя читательницы, навѣрное будутъ имъ еще меньше довольны, нежели героемъ поэмы, и объявятъ его чело-вѣкомъ безъ души и сердца, демономъ, который не вѣритъ любви и презираетъ прекрасное и высокое... Предоставляемъ ему самому защищаться противъ этого грознаго суда, и обратимся къ прерванной нити разсказа.

Сказавъ, что герою поэмы въ саду съ уѣздною барышней было едва ли отраднѣе, чѣмъ въ аду, авторъ заставляетъ его постепенно таять и объявляетъ — влюбленнымъ! Какъ и по-

чему это сдѣлалось? Поэтъ удовлетворительно отвѣчаетъ на эти вопросы:

*Во перелѣтъ:* ночь прекрасная была,  
Ночь лѣтняя, спокойная, нѣмая:  
Не свѣтила луна, хоть и взошла;  
Рѣка, во тьмѣ таинственно сверкая,  
Текла вдали... Дорожка къ ней вела:  
А листья въ тишинѣ толпой незримой  
Лепечуть. Вотъ они сошли въ оврагъ  
И словно ихъ движеніемъ гонимый,  
Предъ ними разступался мягкій прахъ...  
Противиться не могъ онъ обаянью —  
Онъ волю далъ безпечному мечтанью,  
И улыбался мирно и вздыхалъ...  
А свѣжій вѣтръ въ глаза ихъ лобызалъ.  
А во вторыхъ: Параша не молчитъ,  
И не вздыхаетъ съ приторной ужимкой,  
Но говорить, и просто говорить.  
Она такъ мило движется—какъ дымкой  
Прозрачной тѣнью трепетно облитъ  
Ея высокій станъ... онъ отдыхаетъ;  
Ужъ онъ и радъ, что съ ней они вдвоемъ —  
Заговорилъ, а сердце въ ней пылаетъ  
Невѣдомымъ, томительнымъ огнемъ.  
Ихъ запахомъ встрѣчаетъ кустъ незримый  
И, словно тоже страстію томимый,  
Вдали, вдали—на рубежѣ степей  
Гремитъ, поетъ и плачетъ соловей.  
И можетъ-быть, онъ началъ понимать  
Всю прелесть первыхъ трепетныхъ движеній  
Ея души—и сталъ въ немъ умирать  
Крикливый рой смѣшныхъ предубѣжденій;  
Но ей одной доступна благодать  
Люви простой, и дѣтской, и стыдливой...  
*Нѣтъ! о любви не думаетъ она—*  
*Но, какъ листокъ блестящій и стыдливый,*  
*Ее несетъ широкая волна...*  
Все въ этотъ мигъ кругомъ ей улыбалось,  
Надъ ней одной все небо наклонялось,  
И, колыхаясь медленно, трава  
Ей вслѣдъ шептала милыя слова...

Увѣжая домой, нашъ герой думалъ про себя: «Я радъ сосѣдямъ... Онъ человѣкъ богатый... дочь у нихъ одна и «притомъ она мила». Думая такъ, онъ гналъ отъ себя другія, неумѣстныя мечты, отголоски давно минувшихъ дней... А что же Параша? Ей казалось, что все прежнее, вся жизнь ея измѣнилась; во снѣ ей видѣлся онъ, а поэту слышится надъ нею, спящею, какой-то «насмѣшливый» голосъ, который говорить:

• Въ теплый вечеръ, въ ульяхъ чистыхъ  
 • Зрѣютъ свѣтлыя соты;  
 • Въ теплый вечеръ липъ душистыхъ  
 • Раскрываются цвѣты;  
 • И тогда по нимъ слезами  
 • Потечетъ прозрачный медъ—  
 • Вьѣтся жадно надъ цвѣтами  
 • Пчелъ ликующій народъ...  
 • Наклоняя сладострастно  
 • Свой усталый стебелекъ,  
 • Гостя милого напрасно  
 • Ни одинъ не ждетъ цвѣтокъ.  
 • Такъ и ты цвѣла стыдливо,  
 • И въ тебѣ, дитя мое,  
 • Созрѣвало прихотливо  
 • Сердце страстное твое...  
 • И теперь, въ красѣ расцвѣта,  
 • Обаянія полна,  
 • Ты стоишь подъ солнцемъ лѣта  
 • Одинока и пышна.  
 • Такъ склонись же, стебель стройный;  
 • Такъ раскройся жъ, мой цвѣтокъ;  
 • *Прилетѣлъ женихъ... достойный*  
 • Въ твой забытый уголокъ.

Однакожь странно: почему эти прекрасные стихи такъ неожиданно смѣняются такимъ прозаическимъ стихомъ—«съ достойнымъ женихомъ?»... Не забывайте, что эти стихи прозвучалъ насмѣшливый голосъ... Чей же это голосъ? — Должно быть, сатаны: эта догадка тѣмъ основательнѣе, что самъ по-



этѣ, вслѣдъ за тѣмъ, заставляетъ сатану «поникнуть угрюмою головою надъ любящей четою». Но не ожидайте сцены оболъщенія: нашъ поэтъ—писатель благонравный, а герой его поэмы не былъ Донъ Хуаномъ—въ этомъ увѣряетъ насъ самъ авторъ:

Мой Викторъ не былъ Донъ-Хуаномъ.. ей  
 Не предстояли грозныя волненья.  
 •Тѣмъ лучше• скажутъ мнѣ: •разгулъ страстей  
 Опасенъ... *Точно; лучше, безъ сомнѣнья,*  
*Спокойно жить и приживатьъ дѣтей—*  
 И не давать, особенно въ началѣ,  
 Щекамъ пылать... склоняться головѣ...  
 А сердцу забываться—и такъ далѣ.  
 Не правда ль? Общепринятой молвѣ  
 Я покоряюсь молча... поздравляю  
 Парашу—и судьбѣ ее вручаю—  
 Подобной жизнью будетъ жить она;  
*А кажется, тохочетъ сатана.*

Мой Викторъ пересталъ любить давно...  
 Въ немъ снѣзжала горѣли страсти скупю;  
 Но впрочемъ, тѣмъ же свѣтомъ рѣшено,  
 Что по любви жениться—даже глупо.  
 И вотъ въ кого ей было суждено  
 Влюбиться... Что жъ? онъ человѣкъ прекрасный,  
 И—какъ умѣетъ—самъ влюбленъ въ нее;  
 Ея души задумчивой и страстной  
 Сбылись надежды всѣ... сбылося все,  
 Чему она дать имя не умѣла,  
 О чемъ молиться смѣла и не смѣла...  
 Сбылося все... и оба влюблены...  
*Новсе жъ мнѣ слышенъ тохотъ сатаны.*

Да чему же обрадовался лукавый?... Не приготовляетъ ли онъ измѣны, ревности, кинжала, яда, и другихъ золъ, которыми нарушается супружеское счастье?... Ничего не бывало! Вы правы, чувствительныя и восторженные читательницы, говоря, что авторъ «Параша» человѣкъ прозаическій и холодный... Въ самомъ дѣлѣ, оставивъ сатану, онъ вдругъ извѣщаетъ васъ,

что онъ долго былъ въ отсутствіи и лѣтъ черезъ пять посѣтилъ влюбленныхъ. Четвертый годъ, какъ они были супругами, и Викторъ какъ-то странно потолстѣлъ; но ее встревожилъ приходъ поэта, напомнивъ ей о прежнемъ, и она даже сгрустнула и поплакала;

Но грусть замужней женщины смѣшна.  
Какъ ручеекъ извилистый, но плавный,  
Катилась жизнь Прасковьи Николаевны!

Мужъ ее любилъ. «Можетъ-быть, вы скажете, что онъ не стоялъ ея любви?» говоритъ поэтъ, и отвѣчаетъ такъ: «кто знаетъ!»

Но—Боже! то ли думалъ я, когда,  
Исполненный нѣмага обожанья,  
Ея душѣ я предрекалъ года  
Святаго, благодатнаго страданья!  
Съ надеждами разставшись навсегда,  
Свыкался я съ суровымъ отчужденьемъ,  
Но въ ней ласкалъ послѣднюю мечту  
И на нее съ таинственнымъ волненьемъ  
Гладѣлъ, какъ на любимую звезду...  
И что жъ? я былъ обманутъ такъ невинно,  
Такъ просто, такъ естественно, такъ чинно,  
Что въ истинѣ своихъ желаній я  
Сталъ сомнѣваться, милые друзья.  
И вотъ что ей сулили ночи той,  
Той лѣтней ночи страстныхъ мгновенья,  
Когда съ такой тревожной быстротой  
Въ ея душѣ смѣнялись вдохновенья...  
Прощай, Параша!... Время на покой;  
Перо къ концу спѣшить нетерпѣливо...  
Что жъ мнѣ сказать о ней? Признаться вамъ—  
Ее никто не назоветъ счастливой  
Вполнѣ... она вздыхаетъ по часамъ,  
И въ памяти хранить, какъ совершенство,  
Невинности негѣпное блаженство!  
Я скоро съ ней разстался... и едва ль  
Ее увижу вновь... ее мнѣ жаль...

Если и теперь не для всѣхъ будетъ понятенъ хохотъ сатаны, то мы, право, не знаемъ, какъ и объяснить его... Этотъ сатана долженъ быть знакомъ русскимъ читателямъ, потому что они встрѣчались съ нимъ и въ «Онѣгинѣ», и въ «Горѣ отъ Ума», и въ «Ревизорѣ», и въ повѣстяхъ Гоголя, и въ «Герое Нашего Времени», и вмѣстѣ съ нимъ смѣялись или грустили надъ неточнымъ и превратнымъ употребленіемъ разныхъ ежедневно употребляемыхъ словъ. Въ «Парашѣ», навлекло на себя насмѣшку бѣса слово «любовь» и неумѣніе многихъ любить, и умѣніе ихъ дѣлать комедію изъ всякаго чувства. Наши юноши и дѣвы въ любви всего менѣе думаютъ о любви, но тѣ и другія ищутъ въ ней счастья, а счастье любви полагаютъ въ союзѣ съ нимъ и съ нею. Любовь, какъ всякое сильное чувство, какъ всякая глубокая страсть, есть сама себѣ цѣль; для любящихся она — долгъ, требующій служенія и жертвъ. и, предаваясь чувству, они не отступаютъ назадъ, что бы ни сулила имъ развязка ихъ романа — счастливый ли союзъ, или терновый вѣнецъ страданія и безвременную могилу... Но есть люди, которые очень уважаютъ чувство, пока оно сулитъ имъ вѣрное счастье и пока оно не требуетъ отъ нихъ ничего, кромѣ прекрасныхъ словъ и поэтическихъ восторговъ... И потому участь такихъ людей рѣшаетъ не страсть, не чувство, а теплая лѣтняя ночь и одинокая прогулка, располагающія къ нѣгѣ, мечтательности, и заставляющія расплываться душою и сердцемъ. И какъ же иначе? для страсти надо воспитаться, развиваться. А для этого надо возрасти въ такой общественной сферѣ, въ которой духовная жизнь черезъ дыханіе входитъ въ человѣка, а не изъ книгъ узнаётся имъ. Только тогда изъ его страсти можетъ выйти или серьёзная повѣсть, или высокая драма, а не жалкая комедія, не карикатурная пародія для потѣхи сатаны...

Но, можетъ-быть, все это инымъ читателямъ покажется довольно темно, и они найдутъ очень серьёзною развязку по-

вѣсти. Въ самомъ дѣлѣ: влюбилась и женились, оба молоды и съ достаткомъ, оба приличная партія другъ другу; дай Богъ такъ всякому!... И то правда! Такимъ читателямъ мы ничего не находимся отвѣтить, и рецензенту остается только извиниться передъ ними словами поэта:

Но вы добры, я слышалъ, и меня,  
По глупости, простите ради Бога.

Другіе, можетъ-быть, стануть благоразумно рассуждать, что выйди Параша, вмѣсто Виктора, за человѣка съ душою возвышенною, сердцемъ страстнымъ, и проч., — она не утратила бы благоуханія души своей и въ пошломъ спокойствіи не забыла бы жаркаго волненія сердца и сладости страданія... Нѣтъ, еслибъ она была выше своей судьбы, не спокойствіе, а страданіе было бы удѣломъ ея — хотѣли мы сказать, но, вспомнивъ, что предупредительный поэтъ лучше насъ рѣшилъ этотъ вопросъ, мы ограничиваемся повтореніемъ его словъ:

Мнѣ жаль ея... быть можетъ, еслибъ рокъ  
Ее повелъ другой—другой дорогой...  
Но рокъ—такъ всѣмъ принято—жестокъ,  
А потому и поступаетъ строго.

Выписанныя нами мѣста изъ поэмы достаточно говорятъ за дарованіе и мастерство автора. Стихъ обнаруживаетъ необыкновенный поэтический талантъ; а вѣрная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная изъ тайника русской жизни, изящная и тонкая иронія, подъ которою скрывается столько чувства, — все это показываетъ въ авторѣ, кромѣ дара творчества, сына нашего времени, носящаго въ груди своей всѣ скорби и вопросы его. Объ оригинальности мы не говоримъ: она то же, что талантъ—по крайней мѣрѣ, безъ нея нѣтъ таланта. Многіе найдутъ въ poemѣ слѣды подражанія Пушкину и особенно Лермонтову: это не удивительно, ибо живая историческая послѣдовательность литературныхъ явленій всегда смѣшивается

толпою съ холодной и бездушной подражательностью. Но люди мыслящіе понимаютъ, что быть подъ неизбѣжнымъ вліяніемъ великихъ мастеровъ родной литературы, проявляя въ своихъ произведеніяхъ упроченное ими литературѣ и обществу, и рабски подражать—совсѣмъ не одно и то же: первое есть доказательство таланта, жизненно развивающагося, второе—безталантности. Можно поддѣлаться подъ стихъ и подъ манеру писателя, но не подъ духъ и натуру его, ибо можно цѣлый вѣкъ проживать съ чужими словами и чужими манерами, но отъ собственнаго духа и собственной натуры отречься нельзя, каковы бы они ни были—велики или малы... Въ стихахъ г. Т. Л. столько жизни и поэзіи, въ созерцаніи его столько истины и вѣрности, что тутъ всякая мысль о подражательности негѣпа. Вся поэма проникнута такимъ строгимъ единствомъ мысли, тона, колорита, такъ выдержана, что обличаетъ въ авторѣ не только творческій талантъ, но и зрѣлость и силу таланта, умѣющаго владѣть своимъ предметомъ. Вообще, нельзя не замѣтить, по случаю этой поэмы, какіе великіе успѣхи въ последнее время сдѣлали наша поэзія и наше общество: чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоить только вспомнить о поэмахъ, являвшихся до «Цыганъ» Пушкина... Иронія и юморъ, овладѣвшія современною поэзіею, всего лучше доказываютъ ея огромный успѣхъ: ибо отсутствіе ироніи и юмора всегда обличаетъ дѣтское состояніе литературы.

Для любителей мелкихъ прищѣпокъ, укажемъ на четыре неудачные стиха въ «Парашѣ». На стр. 7, строфа IV, стихъ: «Ея два брата умерли чахоткой» не клеится съ цѣлымъ и явно вставленъ для рифмы. Кстати: рифма къ нему «красоткой» нехороша, потому что слово «красотка» по-русски немного вульгарно. На стр. 23, строфа XXXI, въ стихѣ «Отъ толпы съ презрѣніемъ отчуждался», вѣроятно есть опечатка, и его должно читать такъ: «Онъ отъ толпы съ презрѣніемъ отчуждался».

На стр. 29, послѣдній стихъ XLII-й строфы странно неумѣ-  
тенъ («Читатель—я, признайтесь, я смѣшонъ»). На стр. 33,  
третій стихъ прекрасной XLIX строфы испорченъ неправиль-  
нымъ удареніемъ: «Не свѣтила луна, хотъ и возшла». — Больше  
не къ чему придираться самому мелочному ловцу чужихъ оши-  
бокъ и промаховъ.

Словно гармоническимъ аккордомъ оканчивается поэма пос-  
лѣднею строфою, оставляя на душѣ глубокой слѣдъ взволнован-  
ной думы:

А если кто разскажъ небрежный мой  
Прочтеть—и вдругъ задумавшись невольно  
На мигъ одинъ поникнетъ головой  
И скажетъ мнѣ спасибо: мнѣ довольно...  
Тому давно—стоялъ я надъ кормой,  
И плыли мы вдоль города чужаго;  
Я былъ одинъ на палубѣ... волна  
Вздыхала насъ и опускала снова...  
И вдругъ мнѣ кто-то машетъ изъ окна;—  
Кто онъ, когда и гдѣ мы съ нимъ видались,  
Не могъ я вспомнить... быстро мы промчались—  
Ему въ отвѣтъ и я махнулъ рукой—  
И городъ тихо скрылся за горой...

Дай Богъ, чтобъ наша встрѣча съ талантомъ автора «Параши»  
не была также случайна, но превратилась въ знакомство про-  
должительное и прочное. Грустно было бы думать, что такой  
талантъ — не болѣе, какъ вспышка юности, кипѣніе моло-  
дой крови, а не признакъ призванія, и можетъ обмануть воз-  
бужденныя имъ ожиданія и надежды, какъ обманула поэта  
героиня его поэмы...

**ФИЗИОЛОГІЯ ТЕАТРОВЪ, ВЪ ПАРИЖѢ И ВЪ ПРОВИНЦІЯХЪ.** Соч. Куальяка. Спб. 1843.

**ФИЗИОЛОГІЯ ВИВЕРА. (ЛЮБИТЕЛЯ НАСЛАЖДЕНІЯ).** Джемса Руссо. Спб. 1843.

Нельзя не удивляться легкости, игривости и остроумію, съ какими Французы воспроизводятъ свою національную жизнь въ юмористическихъ и нравоописательныхъ очеркахъ. Это не то, что наши стопудовыя и отзывающіяся по́томъ труда и напряженія сатирическія и нравоописательныя статьи и статейки, въ которыхъ денежная спекуляція таращится изображать русскую жизнь и съ-лица и съ-изнанки, а между тѣмъ изображаетъ ее только наыворотъ, непохожею ни на какую жизнь. Такія статьи у насъ дѣлаются теперь къ картинкамъ, такъ что ихъ и печатаютъ и покупаютъ только для картинокъ. Въ Парижѣ, напротивъ, текстъ и картинки составляютъ союзъ двухъ дарованій, взаимно другъ другу помогающихъ. Доказательствомъ этому могутъ служить хоть вотъ эти двѣ книжки, заглавіе которыхъ выставлено въ началѣ нашей статьи: въ нихъ текстъ объясняетъ картинки, а картинки объясняютъ текстъ; и то и другое вѣрно отражаетъ въ себѣ дѣйствительность. Тѣмъ не менѣе, мы нисколько не радуемся появленію этихъ физиологій на русскомъ языкѣ; скажемъ болѣе: мы видимъ въ нихъ несомнѣнное доказательство той горькой истины, до какого глубокаго униженія и упадка дошла современная русская литература! Она держится и существуетъ не мыслию, не творчествомъ, не умомъ, не поэзіею, выражающимися въ словѣ, — а картинками, которыя забавляютъ праздную толпу взрослыхъ и старыхъ дѣтей. Что во Франціи является, какъ мелочь, какъ шутка и забава, отдыхъ отъ дѣла, какъ острое слово, сказанное за веселымъ столомъ, за бокаломъ шампанскаго, — у насъ это съ благоговѣніемъ переводятъ и какъ можно лучше изда-

ють. Это шутовское и жалкое благоговѣніе простирается до того, что переводчики, не понимая ироніи, принимаютъ за важное дѣло самыя шутки составителей французскихъ «Физиологій», — и одинъ изъ нихъ, именно переводчикъ «Вивѣра», пресерьёзно возражаетъ, въ выносахъ, на шутки умнаго и острого Джемса Руссо... А между тѣмъ, педанты кричатъ: вотъ въ чемъ состоитъ французская литература! вотъ какими вздорами наполнена она! Это ужъ точно — съ больной головы да на здоровую: Французы виноваты тѣмъ, что умѣютъ и шутить, занимаясь дѣломъ, а мы гордимся предъ ними тѣмъ, что, не дѣлая ничего важнаго, передаемъ дебелымъ языкомъ ихъ легкія и граціозныя дурачества... И что интереснаго для нашей публики въ этихъ парижскихъ «физиологіяхъ»? что пойметъ она въ нихъ?—Дѣло очень просто: она поступаетъ съ ними такъ же, какъ и съ русскими книжонками этого рода: не читаетъ ихъ, а любитъ одними картинками и только за нихъ платитъ деньги, благо цѣна имъ не высока. Хорошая публика! наконецъ-то наши ловкіе издатели, наши новые книгопродавцы-капиталисты, смѣнившіе Смирдина, который надарилъ тебя дешевыми и красивыми изданіями Крылова, Карамзина, Державина, Жуковского, Батюшкова, —наконецъ-то догадались они, чѣмъ надо имъ тѣшить тебя, добраго недоросля! Глядя на ихъ подвиги по этой части, право, нельзя не удивляться ихъ ловкости и сметливости...

---

**МОЛОДИКЪ, украинскій литературный сборникъ, издаваемый И. Бецкимъ. Харьковъ. 1843.**

Въ Украинѣ есть своя литература: послѣ «Молодика», въ этомъ не остается никакого сомнѣнія. Что такое «Молодикъ», мы, въ качествѣ Москалей, не знаемъ; знаемъ только, что



это альманахъ, наполненный русскими статьями въ стихахъ и прозѣ, которыя многимъ, безъ сомнѣнія, очень понравятся. Харьковъ, по своему многолюдству и красотѣ, сравнительно съ другими губернскими городами, есть нѣкоторымъ образомъ столица Украйны, а слѣдовательно и столица украинской литературы, украинской прозы и въ особенности украинскихъ стиховъ. Во всѣхъ русскихъ губерніяхъ, много пишется стиховъ, но въ Харьковѣ особенно. Стихи эти хороши, какъ только могутъ быть хороши провинціальныя стихи; въ столицахъ ихъ читаютъ мало, но за то много читаютъ въ провинціи, особенно на Украйнѣ, и еще болѣе, вѣроятно, въ Харьковѣ. Это обстоятельство дѣлаетъ Харьковъ особенно интереснымъ городомъ и возбуждаетъ охоту покороче съ нимъ познакомиться. Вотъ почему, вѣроятно, одинъ изъ вкладчиковъ «Молодика», г. Основьяненко, пересказываетъ намъ въ «Молодикѣ» старинное преданіе объ «Основаніи Харькова». Г. Основьяненко, какъ извѣстно, владѣетъ необыкновеннымъ талантомъ рассказывать разныя старинныя преданія языкомъ легкимъ и понятнымъ даже простолюдину. Общаемъ бездну удовольствія тому, кто прочтетъ до конца «старинное преданіе» г. Основьяненки. Нельзя не пожалѣть, что въ «Молодикѣ» только и есть, что одна эта украинская статья, а всѣ прочія, или московскія, или нѣмецкія. Въ pendant къ «старинному преданію» г. Основьяненко, очень бы шла статья о Харьковѣ, въ которой было бы показано значеніе этого дѣйствительно замѣчательнаго города Россіи, въ торговомъ, промышленномъ и ученомъ отношеніяхъ; но такой статьи, къ сожалѣнію, въ «Молодикѣ» нѣтъ, а она была бы и любопытна и полезна. — Очень недуренъ отрывокъ изъ драматическаго сочиненія г. В. Корженевскаго «Горецъ», но тѣмъ болѣе жалъ, что это сочиненіе помѣщено не вполне, а потому теряетъ все свое достоинство. Переводы г. Бецкаго и г-жи Васильковичевой изъ Жанъ-Поль-Рихтера сдѣланы очень хорошо; но нельзя

похвалить выбора переводчиковъ: переведенное ими могло бы остаться въ подлинникѣ безъ всякой потери для украинской публики. Сверхъ того, это совсѣмъ не альманачныя статьи. Жанъ-Поль-Рихтеръ — довольно странное явленіе. Это писатель, сверкающій искрами генія, но совсѣмъ не геній. Геній образуется изъ соединенія глубокаго разума съ сильнымъ разсудкомъ: разума въ Жанъ-Полѣ много, но разсудка нѣтъ ни на грошъ, и оттого творенія этого писателя представляютъ собою смѣсь грубой руды съ блестками чистаго золота. Иногда онъ удивляетъ широкостію и глубиною своихъ созерцаній, но чаще—дикостію и уродливостію выраженія и мыслей. Переводить его надо осторожно, избирая одно хорошее и обходя обыкновенное и дурное. Кромѣ того, по своему направленію, Жанъ-Поль принадлежитъ теперь къ писателямъ эпохи, которая для настоящаго времени уже мертва.

Стихотвореній въ «Молодикѣ» множество. Провинціальныя поэты дѣятельны, благодаря невзыскательности своей публики и удивительной охотѣ ея къ чтенію стиховъ, которыхъ въ столицахъ, какъ сказано, читаютъ мало, если ихъ достоинство состоитъ только въ томъ, что они—стихи, а не проза. Боже мой, сколько поэтовъ на Украинѣ, и какъ хорошо, т. е. какъ много пишутъ они стиховъ, которые именно—стихи, а не проза! Гг. Бороздна, Дьяченко, Кленовъ, Лукашевичъ, Майсуровъ, Мещерскій, Недолинъ, Руэль, Чужбинскій, Щербина, Щоголевъ: все это украинскіе поэты... Изъ нихъ должно исключить только одного г. Кронеберга, хотя онъ живетъ и въ Харьковѣ. По таланту понимать и переводить Шекспира, г. Кронебергъ принадлежитъ къ замѣчательнымъ поэтамъ русскихъ столицъ. Помѣщенный въ «Молодикѣ» отрывокъ изъ «Гамлета» возбуждаетъ живѣйшее желаніе прочесть весь переводъ этой драмы.

«Молодикъ» украшенъ нѣсколькими піесами, и въ прозѣ и въ стихахъ, петербургскихъ и московскихъ литераторовъ. Г.

Погодинъ описываетъ Брюссель и Амстердамъ своими короткими фразами, напоминающими его знаменитыя историческія афоризмы. Эта статья г. Погодина такъ же замѣчательна, какъ и прежніе отрывки изъ его путевыхъ записокъ, которые онъ предлагалъ публикѣ въ «Москвитинѣ» и «Бесѣдѣ Русскихъ Литераторовъ». Изъ столичныхъ поэтовъ, украсили «Молодикъ» своими стихами гг. Кукольникъ, Бенедиктовъ, Гребенка, Фетъ, Ѳ. Глинка, Шевыревъ. Посмертныя стихотворенія г. Соколовскаго знамениты своею длиннотою и прозаичностію; а три стихотворенія г. Шевырева знамениты тою превыспренностію мысли и выраженія, которыя рѣшительно недоступны уму слабыхъ смертныхъ, къ числу которыхъ мы смиренно и себя причисляемъ.

---

КАЗАКИ. *Повѣсть Александра Кузьмича. Спб. 1843. Двѣ части.*

Кто не пишетъ въ наше время романовъ и повѣстей, особенно историческихъ романовъ и повѣстей? Кто? — только люди, ничего непишущіе! Откуда же эта страсть, въ чемъ ея причины? Объ этомъ можно бы много сказать; но мы на этотъ разъ ограничимся немногими словами. Большая часть пишущаго народа вообразила себѣ, что романъ, особенно историческій, не поэзія, потому что пишется прозою. Эти господа думаютъ, что событіе (т. е. завязка или развязка какого-нибудь приключенія, или происшествія) уже само по себѣ такъ интересно, что можетъ занять вниманіе читателя и доставить ему удовольствіе. Это «событіе» у нихъ всегда бываетъ одно и то же: герой, одаренный всеми добродѣтелями, красотою и умомъ, влюбляется въ героиню, которая тоже — фениксъ своего пола.

За нее обыкновенно сватается какой-нибудь «злой», на стороне которого отец. Слѣдуютъ разныя препятствія и страданія; но вѣрность и постоянство все преодолеваютъ — даже здравый смыслъ, — и герои, по претерпѣніи разныхъ несчастій, совокупляются наконецъ законнымъ бракомъ. Къ этому вздору г. сочинитель примѣшаетъ исторію, выведетъ нѣсколько историческихъ лицъ и заставитъ ихъ говорить и дѣйствовать для вожделѣннаго соединенія героев своего романа, такъ что у иного такого сочинителя и полтавская битва и бородинское сраженіе даются именно съ этою цѣлью и, кромѣ счастливаго брака глухихъ любовниковъ, не оставляютъ послѣ себя никакихъ результатовъ для міра. Согласитесь, что такъ писать легко: нечего выдумывать, не надъ чѣмъ думать; взялъ перо — и пошелъ писать! Чудаки — эти сочинители! Они не понимаютъ, что сущность и достоинство романа (и историческаго, и не историческаго) не въ сюжетѣ; что сюжетъ — дѣло всегда готовое: бери только. Что составляетъ сюжетъ, напримѣръ, «Ламмермурской Невѣсты» Вальтера Скотта? Молодой человекъ любитъ дѣвушку, которая отвѣчаетъ на его любовь; они объяснились и помѣнялись кольцами; остается только получить согласіе родителей Люціи. Отецъ бы и не прочь отъ этого; но мать, ненавидѣвшая Равенсвуда, имѣніемъ котораго заставила завладѣть своего слабохарактернаго мужа, не хочетъ и слышать объ этомъ союзѣ, и заставляетъ свою дочь выйти замужъ за другаго. Встрѣтивъ неожиданное сопротивленіе со стороны дочери, леди Астонъ пользуется отсутствіемъ Равенсвуда и убѣждаетъ Люцію, что онъ измѣнилъ ей. Бѣдная, слабая дѣвушка рѣшается, съ отчаянія, выйти за немилаго; брачный контрактъ подписанъ ею; вдругъ входитъ въ залу Равенсвудъ, словно обвинительная тѣнь, вызванная изъ гроба вѣроломствомъ. Братья Люціи вызываютъ его на дуэль; онъ принимаетъ ихъ вызовъ, и удаляется. Вечеромъ того же дня, помѣ-

шавшаяся Люція чуть не зарѣзала своего мужа, а Равенсвудъ на утро исчезаетъ въ топкихъ болотахъ, черезъ которыя спѣшить на поединокъ. Тѣмъ и оканчивается романъ. Все это просто, даже обыкновенно. И кому не могъ бы прійти въ голову точно такой же, или подобный сюжетъ? Тысячи такихъ сюжетовъ приходили въ голову тысячъ писателей, — и между тѣмъ никто не знаетъ ни ихъ именъ, ни ихъ романовъ, а «Ламмермурская Невѣста» Вальтеръ Скотта извѣстна всему образованному міру и вѣчно будетъ вѣдома ему, какъ драгоценный алмазъ, украшающій корону великаго царя. Въ чемъ же состоитъ превосходство романа Вальтеръ Скотта предъ тысячею другихъ романовъ съ столь же, или еще болѣе интересными, болѣе заманчивыми сюжетами? Въ талантъ — скажутъ намъ. Но въ какомъ же талантѣ? Вѣдь таланты бываютъ разные: одинъ владѣетъ талантомъ править государствомъ, другой одерживать побѣды на полѣ битвы, третій прорывать каналы и устроить ходы подъ рѣками, четвертый измѣрять движеніе свѣтилъ небесныхъ, и т. п. Талантомъ поэзіи — скажутъ намъ. Такъ. но и этимъ еще не все сказано. Чтѣ такое поэзія, въ чемъ состоитъ она? — вотъ вопросъ! Дюжинные сочинители полагаютъ ее въ вымыслахъ воображенія. Но вѣдь и бредъ спящаго, мечты сумасшедшаго — вымыслы фантазій; однакожь они — не поэзія. Должны же имѣть какой-нибудь опредѣленный характеръ вымыслы поэзіи, чтобъ отличаться отъ всѣхъ вымысловъ другаго рода. «Поэзія есть творческое воспроизведеніе дѣйствительности, какъ возможности». По этому, чего не можетъ быть въ дѣйствительности, то ложно и въ поэзіи; другими словами: чего не можетъ быть въ дѣйствительности, то не можетъ быть и поэтическимъ. Такое опредѣленіе поэзіи вводитъ фантазію въ живое органическое соотношеніе съ другими способностями души, и преимущественно — съ разумомъ. Чтобъ умѣть изображать дѣйствительность, мало

даже дара творчества: нуженъ еще разумъ, чтобъ понимать дѣйствительность. Кто хочетъ быть поэтомъ на бумагѣ, тотъ прежде долженъ быть поэтомъ въ душѣ и, по натурѣ своей, видѣть дѣйствительность съ ея поэтической стороны. Поэзія не въ однихъ книгахъ: она въ дыханіи жизни, въ чемъ бы ни проявлялась эта жизнь — въ природѣ, въ исторіи, или въ частномъ бытѣ человѣка. Такимъ поэтомъ былъ Вальтеръ Скоттъ, и оттого онъ смѣло могъ брать для своихъ романовъ самые простые, обыкновенные, даже избитые сюжеты, и дѣлать ихъ, въ своихъ романахъ, новыми и необыкновенными. Оттого, дѣйствующія лица его романовъ — живыя лица, живые люди, а не тѣни, не призраки; ихъ чувства и побужденія, добрыя и злыя, истинны; отношенія другъ къ другу естественны. Оттого, наконецъ, нѣтъ ничего легче, какъ рассказать въ нѣсколькихъ словахъ сюжетъ любого романа Вальтеръ Скотта, и нѣтъ ничего труднѣе, какъ изложить содержаніе его даже въ большой статьѣ. Для истиннаго таланта, канва ничего не стѣдитъ, а важны краски и тѣни, которыми оживить онъ свою канву. Бездарность же, напротивъ, полагаетъ всю важность только въ канвѣ, а о краскахъ и тѣняхъ не думаетъ, не подозревая того, что въ нихъ-то, въ этихъ краскахъ, въ этихъ тѣняхъ, и скрывается поэзія.

Такова новая историческая повѣсть «Казаки». Сочинитель не жалѣлъ ни бумаги, ни чернилъ, ни словъ, ни фразъ, ни разговоровъ, ни описаній, ни провѣществій — всего этого у него вдоволь; нѣтъ одного только — поэзіи! Читаешь, читаешь — въ глазахъ рябитъ, въ головѣ смутно, на душѣ скучно, и спрашиваешь себя: да къ чему же все это? Люди говорятъ, ходятъ, ѣздятъ, пьютъ, ѣдятъ, влюбляются, сражаются, — все это Богъ знаетъ зачѣмъ и для чего. Да и люди ли это? Нѣтъ, тѣни, или, лучше сказать, марьйонетки дурной работы, приводимыя въ движеніе бѣлыми нитками, рукою неловкаго фокусника.

Никакой истины, никакой естественности ни въ характерахъ, ни въ событіяхъ. Герой романа—лицо безцвѣтное. Сочинитель увѣряетъ, что онъ — молодой Малороссъ, жившій въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣка. Но если такъ, — гдѣ же въ его характерѣ черты вѣка и страны? Посмотрите на Андрія Бульбу въ повѣсти Гоголя: это натура страстная, сильная, глубокая, благородная, — и совсѣмъ этимъ дикая и грубая при всей ея нѣжности и поэзіи, потому что она родилась и возрасла въ варварское время, среди полудикаго общества. А Василій Мурашко г. Кузмича—просто какой-то мечтатель въ родѣ образованнаго департаментскаго чиновника нашего времени, который читаетъ «Пчелку» и хлопаетъ въ Александринскомъ театрѣ. А его возлюбленная Настасья? — барышня изъ французскаго водевиля, переложеннаго на русскіе нравы. Въ чемъ же сюжетъ романа? Карубка, отецъ Настасьи, былъ пріятель покойному отцу Василія и прочитъ за него дочь свою. Карубка не любитъ Мазепы и подозреваетъ его въ измѣнѣ царю; но Мазепа позвалъ къ себѣ Карубку, — и тотъ, воротившись отъ него его поклонникомъ и врагомъ царя, прогоняетъ Василія и хочетъ отдать свою дочь за Чечеля. Василій похищаетъ Настасью, но не какъ казакъ, который за минуту готовъ отдать жизнь, а какъ резонёръ изъ плохой повѣсти: надѣлавъ шума, онъ возвращаетъ Настасью отцу, а самъ, съ слугою своимъ Тарко (пародіею на Киршу въ «Юріи Милославскомъ»), пробирается къ царскому войску. Потомъ въ него влюбляется Катерина, дочь Скоропадскаго; маленькая сестра ея съ дѣтскою наивностію, высказываетъ тайну любви Катерины, отчего та конфузится и краснѣетъ, а Василій ни о чемъ не догадывается. Ну, точь-вточь сантиментальный романъ изъ чиновнической жизни! Катерина спасаетъ Василія отъ плѣна, а Тарко отъ смерти. Потомъ Василій дружится съ Т — ымъ, молодымъ русскимъ офицеромъ, который страстно влюбленъ въ Катерину, —

и оба мечтателя приторными, сладенькими фразами разговаривают другъ съ другомъ о своихъ любезныхъ, — точно два офицера въ любомъ русскомъ водевилѣ, передѣланномъ съ французскаго, и только что не говорятъ другъ другу: «монъ-шеръ». На полтавскомъ сраженіи Василій былъ тяжело раненъ, и, не давъ сдѣлать себѣ операциі, поскакалъ къ умирающему Карубкѣ (который, подъ именемъ Рябко, отчаянно рѣзался съ Шведами, во изъясненіе своего раскаянія, что позволилъ Мазепѣ обмануть себя). Тамъ Василю опять ранили, и Рябко ѣдетъ къ Настасѣ съ страшною вѣстію. Читатель радуется, что глупый герой не будетъ больше надоедать ему своею пошлостію, и что длинная повѣсть кончилась: не тутъ-то было! Эта смерть придумана для эффекта: Василій воскресаетъ, чтобъ жениться и быть счастливымъ въ законномъ супружествѣ, по претерпѣніи толикихъ несчастій. Катерина до послѣдней страницы романа остается блѣдною и томною, любя Василю, и только изъ угожденія волѣ родителя выходитъ замужъ за Т—ова. Этотъ Т—овъ есть не кто иной, какъ Петръ Толстой. По исторіи извѣстно, что Скоропадскому хотѣлось выдать замужъ (разумѣется, за кого-нибудь изъ Малороссіянъ) пятнадцатилѣтнюю дочь свою, на что онъ и просилъ разрѣшенія у Петра Великаго; но государь, вѣрный своей политикѣ и своимъ видамъ на Малороссію, далъ такой отвѣтъ Скоропадскому: «Въ ознаменованіе вѣрности, по примѣру своихъ предмѣстниковъ, гетманъ долженъ сговорить и выдать дочь за одного изъ чиновниковъ великороссійскихъ». Черезъ два года, зять Скоропадскаго, Толстой, получилъ нѣжинскій полкъ, по смерти полковника Журавовскаго, «во уваженіе вѣрной и усердно-радѣтельной службы тестя». Стало-быть, бракъ Толстаго съ дочерью Скоропадскаго былъ дѣломъ политическихъ расчетовъ, безъ всякихъ любовныхъ фразъ. Такъ бы и слѣдовало его изобразить. Но нѣкоторые сочинители не понимаютъ поэзіи истины



и дѣйствительности, предпочитая ей шумиху избытыхъ и изношенныхъ вымысловъ празднаго воображенія...

Повѣсть г. Кузьмича, къ сожалѣнію, издана изыщно. Говоримъ—«къ сожалѣнію», ибо видѣть прекрасно изданною пустую книгу такъ же непріятно, какъ видѣть пустаго человѣка, пользующагося всѣми матеріальными благами жизни.

---

**НОВѢСТИ ИВАНА ГУДОШНИКА.** *Собранныя Николаемъ Полевымъ. Въ двухъ частяхъ. Спб. 1843.*

Вѣроятно, для весьма многихъ ничего не можетъ быть заvidнѣе участи стараго сочинителя, долго и неуспѣшно подвизавшагося на литературномъ поприщѣ и, слѣдовательно, много написавшаго. Въ самомъ дѣлѣ, если исключить небольшія обиды, наносимыя самолюбію стараго сочинителя успѣхами новаго поколѣнія, то это едва-ли не счастливѣйшее состояніе въ человѣческой жизни! Старому сочинителю, написавшему на своемъ вѣку нѣсколько десятковъ повѣстей и романовъ, пять-шесть сочиненій историческихъ, полсотни патріотическихъ драмъ, представленій, былей, небылицъ и анекдотовъ, сотню водевилей и нѣсколько сотенъ юмористическихъ, сатирическихъ и нравственно-философическихъ отрывковъ, замѣчаній и афоризмовъ, — на закатѣ дней остается только очень пріятное и легкое занятіе: издавать плоды многолѣтнихъ трудовъ своихъ и получать за нихъ деньги съ почтеннѣйшей публики... Не правда ли, завидное положеніе?... Но и въ немъ есть непріятная сторона. Оно можетъ быть вполне хорошо только при одномъ, весьма важномъ условіи—именно, если публика не разлюбила стараго сочинителя и не охладѣла къ его сочиненіямъ. А это-то, на бѣду старыхъ сочинителей, случается очень рѣдко.

Надобно, чтобъ сочинитель обладалъ слишкомъ могучимъ дарованіемъ, или чтобъ предметы, о которыхъ писалъ онъ въ свое время, заключали въ себѣ какой-нибудь особенный интересъ для поколѣнія, смѣнившего его публику; иначе «труды» стараго сочинителя не привлекутъ ничего вниманія и издавать ихъ вновь — тоже, что созидать капища въ честь идоловъ, которымъ поклонялись наши неозаренные свѣтомъ христіанства предки, но которымъ теперь никто ужъ не поклоняется. Гораздо чаще случается, и мы видимъ тому ежедневно примѣры, что старые сочинители выходятъ изъ себя отъ охлажденія къ нимъ публики, и, совершенно забытые ею, употребляютъ тысячи усилій, часто всею забавныхъ, чтобъ снова добыть себѣ поклонниковъ, бросаются на самые новые роды литературныхъ произведеній, ожесточенно преслѣдуютъ въ литературѣ все великое и истинно прекрасное, предъ чѣмъ въ первые поблѣднѣли и показались въ настоящемъ своемъ видѣ жалкія порожденія ихъ скудной фантазіи, и наконецъ, истощившись въ бесполезныхъ усиліяхъ, съ судорожнымъ, болѣзненнымъ жаромъ, проклиная, надъ грудой вновь изданныхъ, но, увы! — нераскупленныхъ своихъ сочиненій, и новый міръ, и новое время, и новыя идеи, — какъ будто человечество виновато, что оно ушло впередъ и какъ-будто было бы лучше, еслибъ оно остановилось на той точкѣ прогресса, на которой время застигло жалкихъ старыхъ сочинителей!...

У насъ, въ настоящее время, есть много сочинителей, которые въ печатныхъ обращеніяхъ другъ къ другу давно уже взаимно называютъ себя «заслуженными литераторами», «ветеранами русской литературы», «учениками Дмитріева и Карамзина» и т. п. Нѣкоторые изъ такихъ сочинителей уже принимали новыя изданія своихъ сочиненій, но, испуганные плохимъ расходомъ ихъ въ публикѣ, остановились, вѣроятно поджидая времени болѣе благопріятнаго, которое, впрочемъ,

едва ли наступить. Другіе, еще болѣе ослѣпленные своими мнимыми достоинствами и заслугами, продолжаютъ возобновлять свои старыя писанія, находя, вѣроятно, въ столь невинномъ занятіи, утѣшеніе и усладу при огорченіяхъ и недугахъ преклонныхъ лѣтъ.

Въ 1840 году, г. Полевой собралъ нѣсколько критическихъ статей своихъ, писанныхъ имъ для «Библіотеки для Чтенія» (гдѣ онѣ помѣщались, по собственному сознанію сочинителя, съ чужими поправками, искаженіями и вставками), и издалъ въ двухъ томахъ подъ названіемъ «Очерки Русской Литературы». Книга вызвала только весьма недвусмысленную улыбку на уста рецензентовъ и нѣкоторой части публики своимъ «введеніемъ», исполненнымъ странными признаніями à la Jules Janin, и осталась въ книжныхъ лавкахъ: залпъ высшихъ взглядовъ, которыми она была нагружена, не попалъ ни въ голову, ни въ карманы читателей. Затѣмъ, въ недавнемъ времени, г. Полевой предпринялъ полное изданіе своихъ драматическихъ сочиненій и переводовъ, которые, сначала «по-штучно» погребались въ одномъ театральномъ сборникѣ и были его украшеніемъ.

Успѣхъ полного изданія «Драматическихъ Сочиненій и Переводовъ» былъ незавиднѣе успѣха критическихъ очерковъ. Теперь г. Полевой, при содѣйствіи какого-то книгопродавца Штукина, котораго имя въ первый разъ встрѣчается въ печати, подарилъ публику изданіемъ «Повѣстей Ивана Гудошника». Нѣкогда, въ блаженное старое время, лѣтъ пятнадцать назадъ, можетъ-быть, были люди, которымъ нравились историческія сказочки, гдѣ плавнымъ и величественнымъ слогаомъ разсказывалось о томъ, какъ жили «наши предки Словене», и гдѣ, между тѣмъ, не было ничего похожаго на жизнь нашихъ предковъ, гдѣ безбожно коверкался современный русскій языкъ въ тщетныхъ усиліяхъ поддѣлаться подъ ладъ старинной

рѣчи; гдѣ, наконецъ, герои и героини падали въ обморокъ и говорили чувствительныя фразы, въ родѣ тѣхъ, какія встрѣчаются на каждой страницѣ «Кузмы Мирошева» и подобныхъ ему плохихъ романовъ. Но теперь, едва ли найдется такой добрый и невзыскательный человѣкъ, которому могли бы поправиться «Разказы Ивана Гудошника». Всѣ эти разказы такъ скучны и до того проникнуты добродушною, умилительною пошлостью, что рѣшительно ни котораго изъ нихъ дочитать до конца нѣтъ возможности. Итакъ, разбирать ихъ подробно — значило бы дѣлать имъ честь, которой они не заслуживаютъ. Въ началѣ первой части, помѣщено предисловіе, которое поражаетъ какою-то ненатуральною задумчивостію и приторною, тоже не совсѣмъ естественною, любезностію, въ древле-словенскомъ вкусѣ. Въ немъ, между прочимъ, высказывается мнѣніе г. Полеваго, будто бы не должно бранить того, что уже давно написано. Полно, такъ ли?... Мы, съ своей стороны, думаемъ совершенно иначе. По нашему мнѣнію, все дурное, являющееся въ печати, когда бы оно писано ни было, журналъ долженъ подвергать осужденію, — потому что предостерегать публику отъ плохихъ сочиненій, есть одна изъ главнѣйшихъ обязанностей добросовѣстнаго журнала...

---

**КНЯЗЬ КУРСКІЙ, историческій романъ изъ событій XVI вѣка. Соч. Бориса Федорова. Въ четырехъ частяхъ. Спб. 1843.**

Кто не знаетъ Бориса Михайловича Ф(Ѳ)едорова? Это безспорно одинъ изъ знаменитѣйшихъ писателей нашего времени. На изчисленіе всѣхъ заслугъ его потребовалась бы цѣлая книга... Дѣйствительно, никто не доставлялъ въ своихъ сочи-

неніяхъ такъ много торжествъ добродѣтели, никто столько разъ не казнилъ въ нихъ порока, какъ доблестный борзошсець, о которомъ говоримъ мы: Б. М. Ф(Θ)едоровъ дѣлалъ то и другое, по крайней мѣрѣ тысячу разъ, — и если свѣтъ не сдѣлался лучше, если добродѣтель по прежнему пребываетъ въ угнетеніи, а порокъ торжествуетъ, то ужь конечно не отъ недостатка дѣятельности сего сочинителя, а оттого, что свѣтъ былъ чрезвычайно испорченъ прежде, нежели сочинитель сей началъ дѣйствовать. Не говоря уже о безчисленномъ количествѣ дѣтскихъ книгъ, которыхъ, къ сожалѣнію, никто не помнитъ и не читаетъ, Б. М. Ф(Θ)едоровъ написалъ нѣсколько сказокъ, и между прочимъ «Віолетту», одно изъ остроумнѣйшихъ «аллегорическихъ сочиненій», какія только когда либо писались руками смертныхъ. Сверхъ того, въ продолженіи многихъ лѣтъ, въ «Трудахъ», издававшихся «Россійской Академіею», печатались постоянно стихотворенія Б. М. Ф(Θ)едорова, писанныя, большею частію, на разные торжественные случаи... Но и это еще не все. Въ короткіе промежутки, оставшіеся отъ столь важныхъ и разнообразныхъ занятій, Б. М. Ф(Θ)едоровъ изрѣдка возвышалъ свой голосъ въ нѣкоторыхъ поврежденныхъ изданіяхъ, и есть, говорятъ, счастливые журналы, которые могутъ насчитать у себя по нѣскольку страницъ, украшенныхъ плодами вдохновенной музы сего дѣятельнаго сочинителя... Нѣтъ сомнѣнія, что столь неуспынные и многочисленные труды давно уже доставили бы Б. М. Ф(Θ)едорову по крайней мѣрѣ вѣнецъ безсмертія, еслибъ на нихъ было обращено хоть какое-нибудь вниманіе благодарною публикою... Здѣсь время сказать, что, при всѣхъ достоинствахъ Б. М. Ф(Θ)едорова, изчисленныхъ выше, онъ еще и глубочайшій философъ. Извѣстно, что сочиненія его, отъ перваго до послѣдняго, по какому-то странному и необъяснимому случаю, всѣми журналами единогласно подвергались и подвергаются

жестокимъ насмѣшкамъ и порицаніямъ. О дѣтскихъ книжкахъ его столько наговорено остротъ, и забавныхъ и пошлыхъ, что пересчитать ихъ нѣтъ возможности. Недавно еще одинъ журналъ серьезно рассказывалъ, что дѣтямъ за какую-то шалость, предлагали на выборъ два наказанія: чтеніе правоучительныхъ сказокъ Бориса Михайловича или розги, и что дѣти избрали послѣднее. Каллимахъ дѣтскихъ книгъ, Б. М. Ф(Θ)едоровъ перенесъ эту и тысячи подобныхъ ей насмѣшекъ, съ терпѣніемъ истинно стоическимъ. Въ возмездіе за все, онъ только продолжалъ ревностно и неуныпно трудиться на своемъ блестящемъ поприщѣ, и, вслѣдъ за осмѣянной книгой, выпускалъ другую, которая подвергалась не лучшей участи. Не было еще примѣра, чтобъ хоть одинъ журналъ, сколько-нибудь одаренный здравымъ смысломъ и уважающій своихъ читателей, похвалилъ хоть одну строку, написанную Б. М. Ф(Θ)едоровымъ, а между тѣмъ Борисъ Михайловичъ донинѣ ревностно продолжаетъ писать! Не вѣрить онъ, что для «сочинительства» недостаточно одной страсти марать бумагу, какъ бы ни была сильна эта страсть, — не вѣрить, что добродѣтель, торжествующая въ его описаніяхъ, ничего не выигрываетъ отъ его усилій, — не вѣрить, что дѣтскія книги его пошлы и бесполезны, сатирическія иносказанія пошлы и никому не вредны, а торжественныя и другія стихотворенія наводятъ дремоту; даже крайне плохая продажа книгъ, одно изъ очевидныхъ доказательствъ негодности литературнаго товара, не разувѣряетъ его въ достоинствѣ его сочиненій... Чтѣ жъ тутъ дѣлать!...

Да; Б. М. Ф(Θ)едоровъ, къ несчастію, не только не перестаетъ писать, но даже въ послѣднее время значительно расширилъ кругъ своей дѣятельности. Крайняя испорченность настоящаго поколѣнія взрослыхъ людей, совершенно нечитающихъ сочиненій Бориса Михайловича, внушила ему мысль, что недостаточно заботиться объ исправленіи одного «юношества»

тамъ, гдѣ всѣ члены общества заражены пороками. И онъ рѣшился... Продолжая поучать «юношество», онъ двадцать лѣтъ носилъ въ душѣ своей идею о возвращеніи на путь истинный всѣхъ и каждаго, и наконецъ издалъ книгу, въ которой филантропическая и глубоконравственная идея его является въ полномъ блескѣ. Эта книга — «Князь Курбскій»; она названа еще «историческимъ романомъ изъ событій XVI столѣтія»...

Здѣсь уже не дѣтямъ, но всему человечеству, безъ различія пола и возраста, говоритъ Борисъ Михайловичъ, — съ чрезвычайными ошибками противъ грамматики, т. е. синтаксиса и умѣнья ставить знаки препинанія, — что добродѣтель полезна и, рано ли, поздно ли, будетъ торжествовать; а порокъ вреденъ и непременно будетъ наказанъ. Вотъ собственные слова Бориса Михайловича:

«Цѣль моего романа: (*двоеточіе!*...) показать, что никакія доблести, никакія заслуги не оградятъ отъ стыда и укоровъ; (*точка съ запятой!*) преступника предъ царемъ и отечествомъ; въ самой славѣ онъ не можетъ быть счастливъ, и казнится! — въ собственной своей совѣсти.»

Кто бы не узналъ, по однимъ этимъ строкамъ, почтеннѣйшаго Б. М. Ф(Ѳ)едорова, еслибъ даже на романѣ не было его имени?... «За преступленіями слѣдуютъ угрызенія совѣсти». Глубокая, оригинальная истина! Вы, можетъ-быть, скажете, что ее всѣ уже давно знаютъ безъ Б. М. Ф(Ѳ)едорова; что не стояло писать четырехъ частей для доказательствъ того —

Въ чемъ всѣ увѣрены давно;

что идея, которую избралъ Борисъ Михайловичъ, тысячу разъ была уже развиваема въ букваряхъ и прописяхъ... Все такъ; но у Б. М. Ф(Ѳ)едорова свои понятія о цѣляхъ, которыя должно избирать для сочиненія романовъ... Предоставляя себѣ удовольствіе возвратиться, въ концѣ статьи, къ предисловію, изъ котораго мы заимствовали вышеприведенныя строки и въ

которомъ еще осталось много подобныхъ имъ, взглянемъ теперь на самый романъ, написанный съ такою прекрасною цѣлью.

Дѣйствіе романа начинается во время войны Русскихъ съ Ливонією. «Россіяне», подъ предводительствомъ князя Курбскаго и другихъ славныхъ «мужей», празднуютъ за побѣдой побѣду. А въ Москвѣ, между тѣмъ, царь Іоаннъ Васильевичъ производитъ судъ и расправу: Адашевъ, Сильвестръ и многіе бояре, по наветамъ клеветниковъ, обвинены въ колдовствѣ и въ изведеніи чародѣйнымъ зельемъ царицы Анастасіи, которая, на бѣду ихъ, около того времени умерла. Все это узнавши мы изъ разговоровъ бояръ, осаждающихъ ливонскіе города. За тѣмъ слѣдуетъ описаніе любви рыцаря Тонненберга къ дочери дерптскаго гражданина Риделя, Миннѣ. Ридель былъ богатъ, Минна прекрасна; удивительно ли, замѣчаетъ сочинитель, что Тонненбергъ старался ей понравиться? Между рыцарями, Минна никого не видала отважнѣе и прекраснѣе: удивительно ли, продолжаетъ тотъ же сочинитель, что онъ нравился ей?

*• Юность его красовалась мужественнымъ видомъ, стройный станъ придавалъ ему величавость. Страстный взоръ часто безмолвный изъяснитель любви, и Минна, не понимая чувствъ своихъ, краснѣя застѣнчиво, опускала въ землю свои прелестныя глаза голубые, встрѣчаясь съ краснорѣчивыми зорами рыцаря, но снова желала ихъ встрѣтить. (Какое сказано?) Тонненбергъ невинному сердцу льстилъ такъ пріятно, что прелестное личико Минны невольно обращалось къ нему, какъ цѣтокъ по разлукѣ съ солнцемъ тоскующій. При Тонненбергѣ ей въ шумныхъ собраніяхъ рыцарей не было скучно, безъ него и на вечеринкахъ не было весело. Прежде Минна любила подразнить новымъ нарядомъ завистливыхъ ратсгерскихъ дочекъ, но когда привыкла видѣть Тонненберга, то лишь тотъ нарядъ ей казался красивѣе, которымъ онъ любовался и самое легкое блестящее ожерелье тяготило ее, когда рыцарь отлучался изъ Дерпта. •*

До такой-то степени новыми, оригинальными, грамматически правильными фразами изображаетъ Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ любовь



героевъ своего «сочиненія». Но рука его еще не расходилась; посмотрите, что будетъ дальше. Въ Минну влюбленъ также дворянинъ Вирландъ, котораго сочинитель выдаетъ за величайшаго остряка и насмѣшника. Вотъ образчикъ остроумія Вирланда. Рѣчь идетъ о рыцарѣ Зейденталѣ, который со всѣмъ соглашается, по привычкѣ, какъ думаетъ Ридель. «Этого не скажу (замѣчаетъ острякъ). Онъ соглашается потому, что иначе бы долженъ молчать, а молчать всю жизнь, также трудно какъ баронессѣ Крокштейнъ перестать говорить».

Чертовски остро!... Вирландъ старается всѣми силами замарать Тонненберга въ глазахъ «почтеннаго родителя» Минны и, наконецъ, посредствомъ какого-то письма, успѣваетъ въ своемъ намѣреніи. Ридель запретилъ Тонненбергу приходить къ нему въ домъ. Минна плачетъ, и въ одинъ прекрасный день пропадаетъ; въ то же самое время пропадаетъ и Вирландъ, котораго всѣ считаютъ похитителемъ Минны. Тонненбергъ является къ огорченному родителю и вторично получаетъ отъ него согласіе на бракъ съ Минной, если рыцарю удастся найти ее. Слѣдуетъ глава восьмая: «Болѣзненный Одръ». «Жизнь человѣческая», говоритъ Борисъ Михайловичъ: «подобна дню, который то проясняется, то вдругъ становится сумрачнымъ». Адашевъ, признанный достойнымъ смертной казни и только по особенной милости разжалованный изъ воеводъ въ намѣстники выжженного Феллина, захворалъ. «Глаза его не могли узнавать окружающихъ. Тоскуя, въ жару бросался онъ изъ края въ край одра своего; то вдругъ вскакивалъ, то опускался безъ чувствъ на ложе; лице его рдѣло, дыханіе ускорялось, уста засохли—и ничто не могло утолить жажды его». Онъ умеръ; «печать тлѣнія изобразилась на лицѣ прекрасномъ». Курбскій, простившись съ покойникомъ, отправился въ Москву. При вѣздѣ, онъ встрѣтилъ похоронный поѣздъ: хоронили жену Адашева. Іоаннъ Васильевичъ, между тѣмъ, продолжалъ казнить

адашевцевъ. Заступничество Курбскаго только усилило ярость царя; самъ Курбскій подпалъ его гнѣву. Въ возникшей вслѣдъ за тѣмъ войнѣ съ Поляками, Курбскій оказалъ много мужества и предусмотрительности; но неудача подъ Новлемъ все испортила. Чтобъ унижить Курбскаго, Іоаннъ послалъ ему повелѣніе быть намѣстникомъ Юрьева. Здѣсь негодующій Курбскій узналъ, что самой жизни его угрожаетъ опасность. Тогда онъ рѣшился бѣжать. Поручивъ рыцарю Тонненбергу проводить жену и сына въ Нарву, къ Головинымъ, Курбскій сталъ приготовляться въ путь. Слѣдуетъ чувствительная картина. Тонненбергъ влюбился въ жену Курбскаго и, вмѣсто того, чтобъ везти въ Нарву, привезъ ее въ свой замокъ, окруженный подъемными мостами. Тутъ онъ открылъ ей любовь свою. «Злодѣй!» отвѣчала ему княгиня, со всею достоинствомъ оскорбленной добродѣтели: «ты забываешь, что говоришь съ женою князя Курбскаго, ты можешь держать меня въ неволѣ, даже лишить жизни, но кромѣ презрѣнія ничего не увидишь въ глазахъ моихъ». — Ночью княгиня подслушала разговоръ Тонненберга съ его приближенными, и узнала, что онъ дѣйствительно ужасный злодѣй. Богъ знаетъ, чѣмъ бы кончились наступательныя дѣйствія Тонненберга, еслибъ сама судьба не поспѣшила на выручку добродѣтели злополучной княгини: Тонненбергъ, возвращаясь однажды съ добычи, былъ застигнутъ наводненіемъ и утонулъ. Всѣ жертвы, томившіяся въ замкѣ, получили свободу. Между ними княгиня узнала Вирланда и Минну, которую, какъ теперь оказалось, похитилъ Тонненбергъ, вмѣстѣ съ остроумнымъ ея обожателемъ. Княгиня рѣшилась идти въ Нарву, но на дорогѣ заблудилась и попала въ хижину къ рыжему Эстонцу, который сначала хотѣлъ ее убить, а потомъ сжалился и предложилъ ей у себя пріютъ. Она жила у Эстонца нѣсколько лѣтъ. Эстонецъ имѣлъ обыкновеніе отправляться за дровами съ ея сыномъ; въ одну изъ

такихъ поѣздокъ, Эстонца съѣли волки, а Юрій, по уши завязшій въ сѣтѣгу, былъ вытащенъ проѣзжимъ купцомъ и взятъ имъ на воспитаніе. Оплакавъ краснорѣчиво, хоть и безграмотно, потерю сына, княгиня отправилась въ Нарву. Для чего она не сдѣлала того прежде? спросите вы. Богъ ее знаетъ! ужъ видно такова была у нея натура! Между тѣмъ, Курбскій явился при дворѣ Сигизмунда и былъ принятъ чрезвычайно ласково. Король нарекъ его княземъ Ковельскимъ, осыпалъ богатствомъ и почестями и поставилъ на ряду съ первѣйшими своими вельможами. Но ничто не радуешь измѣнника; ему тяжело на чужой землѣ; «въ самой славѣ онъ не можетъ быть счастливъ и — казнится въ собственной совѣсти»... Замѣчаете: цѣль романа видимо достигается!... Участіе, которое принималъ Курбскій въ непріязненныхъ дѣйствіяхъ Сигизмунда и потомъ Стефана Баторія противъ Россіи, еще болѣе увеличило его терзанія; бракъ съ графиней Дубровицкою совѣмъ не имѣлъ тѣхъ послѣдствій, какихъ ожидалъ Курбскій: графиня оказалась вѣтренною, вустою и капризною женщиною. Курбскій развелся съ женою, и въ ковельскомъ замкѣ своемъ, отъ нечего дѣлать, принялся наблюдать за полетомъ птицъ, сопровождая свои наблюденія чувствительными тирадами. въ родѣ слѣдующей:

«Онѣ (птицы) летать туда, гдѣ странствуетъ Гликерія (прежняя жена Курбскаго) съ сыномъ моимъ. Можетъ быть онѣ пролетали передъ ними, а я еще не скоро увижу родныхъ! Для чего я не могу увидѣть оставленныхъ мною? Не могу уже подать имъ помощи, и облегчить жребій ихъ, инѣ самому безвѣстный! Летите птицы, вы возвратитесь въ прежній пріютъ свой, а я бѣжалъ изъ отечества!»

Такъ, именно такъ долженъ былъ думать и говорить Курбскій. Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ, такъ мастерски представившій его въ важнѣйшихъ случаяхъ жизни резонёромъ и селадоннымъ вздыхателемъ, а въ остальныхъ негодаемъ и глупцомъ, —

правъ какъ нельзя болѣе. Да и можетъ ли ошибиться такой опытный и стародавній сочинитель?...

Но дайте. Княгиня Курбская, узнавъ о вторичномъ бракѣ своего невѣрнаго супруга, сперва, какъ водится, упала въ обморокъ, а потомъ уѣхала въ Тихвинскую обитель и тамъ постриглась. Туда же прибыла прежняя воспитанница княгини, четвертая жена Іоанна Васильевича, Анна Колтовская. «Пріятность вида кроткой Анны», говоритъ Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ, «возбуждала общее удивленіе». Игуменья повела ее по келльямъ; въ одной изъ монахинь царица узнала прежнюю свою воспитательницу — княгиню Курбскую.

«— Неповѣдими судьбы Господни! воскликнула княгиня, *всплеснувъ руками*.— Царица приходитъ ко мнѣ, и я въ ней вижу свою питомцу! Богъ возвеличилъ твое смиреніе, и утѣшилъ меня твоимъ присутствіемъ!

— Велика ко мнѣ милость его! воскликнула Анна, — когда я еще вижу тебя. Здѣсь отрада душъ моей! Здѣсь въ благоговѣйныхъ молитвахъ прославляется имя Господне!»

Когда царица прибыла въ Тихвинскую обитель, княгиня Курбская была уже на краю гроба. День ото дня становилось ей хуже. Послали за исповѣдникомъ. «Пришелъ почтенный старецъ въ сопровожденіи юнаго черноризца, его послушника». Молодой инокъ не сводилъ глазъ съ княгини.

«И она взглянула на него; до того времени не обращала она вниманія на окружающихъ ее, предавшись благоговѣйному чувству, но тутъ она *быстро, быстро* устремила взоръ на него, приподнялась качая головою; сердце ея сказалося ей воскресшею надеждою; всѣ черты ея сына представились ей въ лицѣ инока, и она простерла къ нему дрожащія руки. «Сынъ мой, Юрій! *исторглось* изъ устъ ея.

Въ заключеніе, княгиня взяла съ Юрія обѣщаніе отправиться къ отцу, и умерла. «О, родительница!» воскликнулъ Юрій, и упалъ безъ чувствъ на трупъ ея. — Князь Курбскій продолжалъ слѣдить, въ своемъ козельскомъ замкѣ, за поле-

томъ птицѣ и по прежнему говорилъ къ нимъ чувствительныя тирады, когда ему доложили о русскомъ странникѣ, который желаетъ съ нимъ увидѣться. Вошелъ Юрій. Курбскій не узналъ сына, и тотъ не счелъ нужнымъ открыться. Болѣе года жилъ онъ въ замкѣ отца подъ именемъ инока, разсуждая съ нимъ о любезномъ ихъ сердцу отечествѣ.

«Въ сихъ разговорахъ непримѣтно проходило время. Курбскій(.) предавался стремленію мыслей, забывалъ свою скорбь, и удивлялся ли, что Юліанъ слушалъ его съ восторгомъ. Ему пріятно было питать дѣятельность размышленій его отца, чтобы только успокоить болѣзненное чувство его души.»

Наконецъ ему наскучило такое прекрасное занятіе, и онъ однажды сказалъ отцу, что, можетъ-быть, сынъ его живъ.

—Нѣтъ, отвѣчалъ Курбскій, онъ погибъ съ моею Гилкерією; вѣрный слуга мой не нашелъ слѣдовъ ихъ; были и другіе слухи, но не оправдались. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что они (слуги?) погибли; я увѣрился въ смерти ихъ (?)

«Сынъ твой живъ!» вскричалъ Юліанъ, не удерживая болѣе порыва сердечнаго... «Ужели ты не узнаешь меня, злополучный родитель?»

Слѣдуютъ обниманія, цѣлованія и разсматриваніе какого-то рубца, по которому выходитъ, какъ дважды-два, что Юрій дѣйствительно сынъ Курбскаго. Радуются; потомъ снова плачутъ. Чтобы искупить грѣхи «злополучнаго родителя», Юрій рѣшается на великую жертву: онъ становится въ рядъ русскихъ воиновъ, дерется съ Поляками и погибаетъ. Вскорѣ послѣ того въ Польшу приходитъ вѣсть о кончинѣ Іоанна Васильевича, а вслѣдъ за тѣмъ умираетъ Стефанъ Баторій. Курбскій, забывъ свои немощи, спѣшитъ въ Гродно поклониться царственному праху своего покровителя. На дорогѣ онъ останавливается въ корчмѣ и здѣсь встрѣчается съ призракомъ, явленіе котораго Борисъ Михайловичъ изображаетъ слѣдующимъ образомъ:

Курбскій лежалъ на одрѣ, но тревоженъ былъ сонъ его, и глаза по вре-

женивъ открывались въ смутной дремотѣ. Внезапно слышитъ онъ шумъ... слышитъ, какъ хлопнуло окно при сильномъ порывѣ вѣтра... и въ сію минуту кто-то появился. Курбскій не вѣрить глазамъ своимъ: при свѣтѣ лампы, онъ видитъ самого Грознаго, въ черной одеждѣ инока; его волнистая *брада*, его посохъ остроконачный.

Курбскій содрогнулся.—Что тебѣ? вскричалъ онъ, торопливо поднявшись съ одра, и устремивъ взоръ на страшное видѣніе.

— Я пришелъ за тобою, сказалъ гробовымъ голосомъ призракъ, остановивъ на немъ впалые, неподвижные глаза, и стуча жезломъ, приближался къ одру князя.

— Отступи! воскликнулъ князь въ ужасномъ волненіи духа, отражая призракъ знаменіемъ креста.

Привидѣніе уже стояло у одра его и подняло остроконачный жезлъ.

За этою, чисто Шекспировскою сценою, слѣдуетъ вождѣ-  
ленный конецъ. Слава Богу!

Изъ всѣхъ прелестей, которыхъ можно насчитать въ этомъ романѣ по крайней мѣрѣ до тысячи, насъ особенно поразило слѣдующее обстоятельство. На всѣхъ почти дѣйствіяхъ героевъ и героинь Б. М. Ф(Θ)едорова лежитъ печать какой-то глупости и тупоумія, какъ-будто необходимыхъ спутниковъ дѣлъ того времени. Этотъ странный колоритъ сообщенъ даже нѣкоторымъ событіямъ чисто-историческимъ, нисколько не-принадлежащимъ изобрѣтательности Бориса Михайловича. Отчего это? Вѣроятно, это сдѣлалось невольно, безсознательно... Царь Іоаннъ Васильевичъ, остающійся донынѣ нерѣшенной загадкою русской исторіи, обладавшій умомъ великимъ, плодомъ котораго было столько славныхъ дѣлъ,—окруженный въ самыхъ порокахъ и преступленіяхъ своихъ какимъ-то грознымъ, неприступнымъ величіемъ,—этотъ Іоаннъ Васильевичъ совершенно разгаданъ въ романѣ Б. М. Ф(Θ)едорова. Борисъ Михайловичъ представилъ его бездушнымъ тираномъ, злодѣйствующимъ по внушенію глупыхъ и неискусно-сплетенныхъ клеветъ. Такъ искажаются въ рукахъ бездарности самые очевидные историческіе факты!... Князь Курбскій, какъ

мы уже сказали, ~~никуда~~ до степени недалёковидного и пошло-чувствительного резонёра, и, обреченный «казниться въ собственной своей совѣсти», вмѣсто того, ~~чтобъ~~ дѣйствовать, безпрестанно толкуетъ о добродѣтели и о ~~помраченныхъ~~ извѣстной заслугахъ своихъ, которыхъ, впрочемъ, изъ романа нисколько не видно. — Смѣшно вспомнить, какъ изображёнъ у г. Ф(Θ)едорова дворъ Сигизмунда, графиня Дубровицкая, «почтеннѣйшій» Радзивилъ и другіе польскіе магнаты! Это — верхъ совершенства... Но стоить ли говорить о такихъ мелочахъ? Какъ-будто можно было ожидать отъ почтеннѣйшаго Б. М. Ф(Θ)едорова болѣе того, что онъ далъ намъ? Борисъ Михайловичъ сдѣлалъ свое дѣло: онъ представилъ намъ въ своемъ романѣ нѣсколько умилительно-трогательныхъ встрѣчъ и прощаній нѣжныхъ чадъ съ дражайшими родителями, мужей съ женами, сестеръ съ братьями, вывелъ на сцену юрдиваго, безъ котораго ни одинъ плохой историческій романъ обойтись не можетъ, наградилъ добродѣтель, наказалъ порокъ, — а до исторической вѣрности характеровъ, до колорита мѣста и времени и до всего прочаго, что требуется отъ историческаго романа, ему нѣтъ и дѣла. Было бы доказано, что злодѣй въ самой славѣ не можетъ быть счастливъ и казнится въ собственной совѣсти; все же прочее — вздоръ!...

Изъ выписокъ, приведенныхъ выше, читатели, между прочимъ, вѣроятно, замѣтили, что романъ Б. М. Ф(Θ)едорова написанъ плавнымъ, высоко-торжественнымъ слогомъ, какимъ нынѣшнее развратное человѣчество уже не пишетъ. Что прикажете дѣлать? Въ наше время, когда нѣкоторые дерзкіе люди осмѣливаются говорить, что будто и литература и языкъ русскій значительно шагнули впередъ, Б. М. Ф(Θ)едоровъ все еще придерживается старины, и округляетъ свои періоды по методу «Карамзинской рѣчи», не обращая вниманія на то, что самъ Карамзинъ, послѣ прозы Пушкина, не сталъ бы писать

тѣмъ, какъ писать въ свое время. Эта метода, какъ всякому извѣстно, заключается въ употребленіи разнаго рода риторическихъ фигуръ и въ особенномъ расположеніи словъ, по которому причастія и прилагательныя имена ставятся весьма часто послѣ существительныхъ.

При всемъ нашемъ уваженіи къ почтеннѣйшему Б. М. Ф(Ѳ)едорову, мы, — не имѣя обыкновенія занимать читателей вздоромъ, какъ бы онъ ни былъ забавенъ, — ни за что не распространились бы такъ о «Князѣ Курбскомъ», еслибъ въ предисловіи къ этому роману не было строкъ, весьма замѣчательныхъ:

*«Многіе знаменитые литераторы и любители словесности одобрили трудъ мой, въ которомъ видѣли начатки русскаго историческаго романа» (?!??).*

Вотъ куда метнулъ почтеннѣйшій Борисъ Михайловичъ! Начатки русскаго историческаго романа — шутка! И въ чемъ же эти начатки?... Въ невѣрномъ и пошломъ до невѣроятности пересказѣ нѣкоторыхъ историческихъ событій, съ примѣсью пустяковъ собственнаго издѣлія сочинителя! Любопытно было бы услышать отъ самихъ знаменитыхъ литераторовъ и любителей словесности, какъ и съ какою миною отзывались они о романѣ почтеннѣйшаго Бориса Михайловича?... Не желая, чтобъ «скромное» предисловіе сочинителя ввело кого-нибудь въ заблужденіе, мы сочли долгомъ показать читателямъ «сочиненіе», въ которомъ «многіе видѣли начатки русскаго историческаго романа», — въ полномъ и настоящемъ его блескѣ, и съ своей стороны повторяемъ, что не видѣли въ романѣ Б. М. Ф(Ѳ)едорова ничего, кромѣ въ высшей степени неудачнаго порожденія невѣроятныхъ, но, увы, бесполезныхъ усилій безталантности...

Сочинитель, какъ видно, страстно влюбленный въ свое хвостое дѣтище, не ограничился въ предисловіи тѣмъ, что мы написали. Съ чувствомъ рассказываетъ онъ, какъ двадцать слиш-



комъ лѣтъ сочинялъ «Курбскаго» и какія препятствія, соединенныя съ воспоминаніемъ горестныхъ для сочинителя потерь, замедляли появленіе романа, въ которомъ, какъ говоритъ онъ, принимали участіе (?) многіе любезные сердцу сочинителя особы. «Князь Курбскій взялъ такую долю въ моей жизни», заключаетъ Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ: «что я долженъ бы написать повѣсть о моемъ романѣ. Многіе ожидали его появленія, но мысль о тѣхъ изъ нихъ, которыхъ уже нѣтъ, нѣсколько разъ останавливала надолго мой трудъ; безъ нихъ тяжело мнѣ было оканчивать историческую картину, которая была предметомъ ихъ вниманія, участія, заботливости!» Покойники видно, въ самомъ дѣлѣ, были добрые люди, и нѣтъ ничего страннаго, что Борисъ Михайловичъ такъ горько о нихъ сокрушается: онъ потерялъ въ нихъ, можетъ-быть, единственныхъ своихъ читателей!

«Сочиненіе» испещрено эпитафиями, которые вмѣстѣ взятые, представляютъ живое подобіе такъ называемыхъ «россійскихъ пѣсенниковъ», — гдѣ рядомъ съ стихами Пушкина безграмотные издатели помѣщаютъ нелѣпыя вирши разныхъ темныхъ стихоплетовъ. Напечатано оно на сѣрвовой бумагѣ, съ чрезвычайными ошибками, и посвящено памяти княгини Юсуповой, Н. М. Карамзина и А. С. Шишкова «благотворившихъ сочинителю». Словомъ, въ романѣ соблюдены все, какъ внѣшнія, такъ и внутреннія условія, требуемыя отъ книги публикою, которая запасается умственной пищею отъ брадатыхъ букинистовъ, разносящихъ по лицу Россіи творенія, неприняемые въ порядочныхъ книжныхъ лавкахъ.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКАГО, сочиненіе Н. М. Карамзина. Изданіе И. Эйперлима. Книга III. (Томы IX, X, XI и XII). Спб. 1843.

Карамзинъ воздвигнулъ своему имени прочный памятникъ «Исторію Государства Россійскаго», хотя и успѣлъ довести ее только до избранія на царство дома Романовыхъ. Какъ всякій важный подвигъ ума и дѣятельности, историческій трудъ Карамзина пріобрѣлъ себѣ и безусловныхъ, восторженныхъ хвалителей, и безусловныхъ порицателей. Разумѣется, тѣ и другіе равно далеки отъ истины, которая въ серединѣ. Для Карамзина уже настало потомство, которое, будучи чуждо личныхъ пристрастій, судить ближе къ истинѣ. Главная заслуга Карамзина, какъ историка Россіи, состоитъ совсѣмъ не въ томъ, что онъ написалъ истинную исторію Россіи, а въ томъ, что онъ создалъ возможность въ будущемъ истинной исторіи Россіи. Были и до Карамзина опыты написать исторію, но тѣмъ не менѣе для Русскихъ исторіи ихъ отечества оставалась тайною, о которой такъ или сякъ толковали одни ученые и литераторы. Карамзинъ открылъ цѣлому обществу русскому, что у него есть отечество, которое имѣетъ исторію, и что исторія его отечества должна быть для него интересна, и знаніе ея не только полезно, но и необходимо. Подвигъ великій! И Карамзинъ совершилъ его не столько въ качествѣ историческаго, сколько въ качествѣ превосходнаго бельетрическаго таланта. Въ его живомъ и искусномъ литературномъ разсказѣ вся Русь прочла исторію своего отечества, и въ первый разъ получила о ней понятіе. Съ той только минуты сдѣлались возможными и изученіе русской исторіи и ученая разработка ея матеріаловъ: ибо только съ той минуты русская исторія сдѣлалась живымъ и всеобщимъ интересомъ. Повторяемъ: великое это дѣло совершилъ Карамзинъ преимущественно своимъ превосходнымъ бель-

летрическимъ талантомъ. Карамзинъ вполне обладалъ рѣдкою въ его время способностію говорить съ обществомъ языкомъ общества, а не книги. Бывшіе до него историки Россіи не были извѣстны Россіи, потому что прочесть ихъ исторію могло только одно испытанное школьное терпѣніе. Они были плохи, но ихъ не бранили. Исторія Карамзина, напротивъ, возбудила противъ себя жестокую полемику. Эта полемика особенно устремляется на собственно историческую или фактическую часть труда Карамзина. Большая часть указаній критиковъ дѣльна и справедлива; но укоризненный тонъ ихъ дѣлаетъ вреда больше самимъ критикамъ, нежели Карамзину. Трудъ его должно разсматривать не безусловно, а принимая въ соображеніе разные временныя обстоятельства. Карамзинъ, воздвигая зданіе своей исторіи, былъ не только зодчимъ, но и каменщикомъ, подобно Аристотелю Фіоравенти, который, воздвигая въ Москвѣ Успенскій соборъ, въ то же время училъ чернорабочихъ обжигать кирпичи и растворять известь. И потому фактическія ошибки въ исторіи Карамзина должно замѣчать для пользы русской исторіи, а обвинять его за нихъ не должно. Гораздо важнѣе разборъ его понятій объ исторіи вообще и взглядъ его на исторію Россіи въ частности, равно какъ и манера его повѣствовать. Но и здѣсь должно брать въ соображеніе временныя обстоятельства: Карамзинъ смотрѣлъ на исторію въ духѣ своего времени—какъ на поэму, писанную прозою. Занявъ у писателей XVIII вѣка ихъ литературную манеру изложенія, онъ былъ чуждъ ихъ критическаго, отрицающаго направленія. Поэтому, онъ сомнѣвался, какъ историкъ, только въ достовѣрности нѣкоторыхъ фактовъ; но нисколько не сомнѣвался въ томъ, что Русь была государствомъ еще при Рюрикѣ, что Новгородъ былъ республикою, на манеръ кареагенской, и что съ Іоанна III-го Россія является государствомъ, столь органическимъ и исполненнымъ самобытнаго, богатаго внутренняго содержанія,

что реформа Петра Великого скорѣе кажется возбуждающею собогѣзнованіе, чѣмъ восторгъ, удивленіе и благодарность. Въ одномъ мѣстѣ своихъ сочиненій, Карамзинъ ставитъ въ вину Сумарокову, что тотъ, въ трагедіяхъ, «называя героевъ своихъ именами древнихъ князей русскихъ, не думалъ соображать свойства, дѣла и языкъ ихъ съ характеромъ времени». И что же? такой же упрекъ можно сдѣлать самому Карамзину: герои его исторій отчасти напоминаютъ собою героевъ трагедій Корнея и Расина. Переводя ихъ рѣчи, сохранившіяся въ лѣтописяхъ, онъ лишаетъ ихъ грубой, но часто поэтической простоты, придаетъ имъ характеръ какой-то витіеватости, риторической плавности, симметріи и заботливой стилистической отдѣлки, такъ что эти рѣчи, въ его переводѣ, являются похожими на переводъ рѣчей римскихъ полководцевъ изъ исторіи Тита Ливія. Сличите отрывки въ подлинникъ изъ писемъ Курбскаго къ Іоанну Грозному съ Карамзинскимъ переводомъ ихъ (въ текстѣ и примѣчаніяхъ), и вы убѣдитесь, что, переводя ихъ, Карамзинъ сохранялъ ихъ смыслъ, но характеръ и колоритъ давалъ совсѣмъ другой. Историческая повѣсть Карамзина «Марѳа Посадница» можетъ служить живымъ свидѣтельствомъ его историческаго созерцанія: герои ея—герои Флоріановскихъ поэмъ, и они выражаются обработаннымъ языкомъ витіеватаго историка, римскаго—Тита Ливія. Русскаго въ нихъ нѣтъ ничего, кромѣ словъ, какъ напримѣръ, въ рѣчи боярина московскаго на новгородскомъ вѣчѣ, и въ отвѣтѣ ему Марѳы, въ которомъ она ссылается на исторію Рима и упоминаетъ о Готахъ, Вандалахъ и Эрулахъ!!...

Скажутъ, мы говоримъ о повѣсти Карамзина, а не объ исторіи: нѣтъ, мы говоримъ о взглядѣ его на русскую исторію и жизнь нашихъ предковъ... И однакожь, мы далеки отъ дѣтскаго намѣренія ставить въ упрекъ Карамзину то, что было неосостаткомъ его времени. Нѣтъ, лучше воздадимъ благодар-

ность великому человѣку за то, что онъ, давъ средства сознать недостатки своего времени, двинулъ впередъ послѣдовавшую за нимъ эпоху. Если когда-нибудь явится удовлетворительная исторія Россіи—этимъ обязано будетъ русское общество историческому же труду Карамзина, упрочившему возможность явленія истинной исторіи Россіи. Но и тогда исторія Карамзина не перестанетъ быть предметомъ изученія и для историка и для литератора, и новый историкъ Россіи не разъ сошлется на нее въ трудѣ своемъ... Какъ памятникъ языка и понятій известной эпохи, исторія Карамзина будетъ жить вѣчно.

Изданіе «Исторіи Государства Россійскаго», предпринятое г. Эйнерлингомъ, почти окончено; остается напечатать только «Ключъ», составляемый г. Строевымъ. О достоинствѣ этого изданія говорить нечего: лучшаго ничего нельзя ни требовать, ни вообразить, за исключеніемъ довольно высокой цѣны. Приложенія, сдѣланныя издателемъ, показываютъ, что онъ смотритъ на изданіе классическихкихъ писателей истинно европейски. Говорятъ: эти приложенія не важны. Пусть такъ; но пріятно имѣть въ одной книгѣ все, что только написано рукою автора. Статья «О Древней и Новой Россіи» чрезвычайно любопытна, какъ живое свидѣтельство историческихкихъ и политическихкихъ понятій Карамзина, и г. Эйнерлингъ очень хорошо сдѣлалъ, помѣстивъ и ее въ числѣ приложеній.

---

**СТИХОТВОРЕНІЯ МИЛЬКЪЕВА. Москва. 1843.**

Иронія составляетъ одинъ изъ преобладающихъ элементовъ современной поэзіи. Это понятно: поэзія есть воспроизведеніе дѣйствительности, вѣрное зеркало жизни, — а гдѣ же больше иронія, какъ не въ самой дѣйствительности? кто же больше и

згѣ смѣется надъ самою собою, какъ не жизнь? Посмотрите, какъ любить она противорѣчіе, жертвою котораго бываетъ безпрестанно бѣдная человѣческая личность! Вотъ, на примѣръ, два актёра: одинъ — «безумецъ, гуляка праздный», неподозрѣвающій ни святости искусства, ни его высокаго назначенія, невѣжда безграмотный, лѣннivecъ, добродушный хвастунъ, — и между тѣмъ, въ этой грязной натурѣ скрыты богатые самородки великихъ чувствованій, могучихъ страстей; эта безумная голова озаряется горящимъ ореоломъ вдохновенія, — и рыдаетъ, и колеблется многочисленная толпа при звукахъ голоса этого самовластнаго чародѣя, и каждый уноситъ съ собою изъ театра тѣ высокія откровенія, тѣ таинственные глаголы жизни, для принятія которыхъ нужно посвященіе. . . За что же этотъ даръ, это могущество слова, взора и жеста, эта чудодѣйственная сила? За что, за какой подвигъ такая высокая награда? Иронія, иронія, иронія! . . . Вотъ другой актёръ: страсть къ искусству—его жизнь; изученіе искусства—занятіе, забота, трудъ всей его жизни; стремленіе къ славѣ—болѣзнь его души. . . И вотъ появляется онъ передъ толпою, разбѣленный и разрумяненный, съ важнымъ видомъ, и ловко, смѣло, съ граціею повертываетъ картонною булавою гладіатора, или картоннымъ мечомъ Александра Македонскаго, величаво говоритъ съ другомъ своимъ Алхимересомъ объ измѣнѣ Амалафриды,—театръ дрожитъ отъ рукоплесканій, вызовамъ нѣтъ конца. . . Но отчего же въ этомъ восторгѣ толпы слышенъ одинъ шумъ и крикъ? отчего она съ такимъ же точно восторгомъ, черезъ минуту послѣ того, принимаетъ пошлый водевиль, и ни одинъ человѣкъ изъ нея не выходитъ изъ театра съ поникшею головою, съ грустнымъ раздумьемъ на челѣ? . . . Художникъ упоенъ, восхищенъ своимъ торжествомъ; онъ такъ вязко, такъ почтительно кланяется вызывающей его толпѣ. . . Но отчего же такъ раздражаетъ его всякое двусмысленное суж-

деніе «немногихъ» — его, который такъ доволенъ «всѣми»? Отчего же такъ уязвляетъ его легкая улыбка «немногихъ»? Что онъ видитъ въ ней? — Иронію видитъ въ ней онъ, жертва ироніи, самъ воплощенная, иронія дѣйствительности... Послѣ этого, какъ понятны эти слова Пушкинскаго Сальери:

Гдѣ жъ правота, когда священный даръ,  
Когда безсмертный гений — не въ награду  
Любви горящей, самоотверженья,  
Трудовъ, усердія, моленій посланъ,  
А озаряетъ голову безумца,  
Гуляки празднаго?...

Это значить совсѣмъ не то, чтобъ жизнь состояла изъ однихъ противорѣчій и чтобъ гений всегда былъ «праздный гуляка», а самоотверженіе труда и изученія всегда было признакомъ ограниченности и бездарности: нѣтъ, мы хотимъ сказать только, что дѣйствительность часто любитъ отступать отъ своихъ разумныхъ законовъ, часто любитъ пошутить сама надъ собою. Въ этомъ-то и состоитъ ея иронія. Вездѣ и повсюду видимъ мы эту иронію; вездѣ и повсюду видимъ мы жертвъ этой ироніи, вездѣ и повсюду — и въ природѣ, и въ исторіи, и въ судьбѣ индивидуумовъ. Вотъ дѣвушка, одаренная столь дивною красотою, что, кажется весь міръ долженъ преклониться передъ нею... И что же? — иногда (и чаще всего) оказывается, что душа ея пуста, сердце холодно, умъ ограниченъ, и велико только ея мелочное самолюбіе... Вотъ дѣвушка, вся созданная изъ великодушнаго самопожертвованія, изъ горячей любви и высокаго стремленія, созданная для того, чтобъ осчастливить жизнь достойнаго человѣка, быть наградою за великій подвигъ жизни, — но увы! никто не добивается этого счастья, этой награды: она дурна собою, ей не дано волшебнаго обаянія женственности, съ ней говорятъ, какъ съ умнымъ мушиною... Заглянемъ ли въ исторію — и тамъ иронія царить

надъ людьми. Никогда, говорятъ знатоки военнаго дѣла, никогда Наполеонъ не развертывалъ въ такой ширинѣ и глубинѣ своего военнаго генія, какъ передъ своимъ паденіемъ, — и все-таки падъ, низринутый какою-то невидимой рукою, какою-то странною ироніею дѣйствительности... Сколько людей съ торжествомъ и славою выступило на историческое поприще; но одна минута, — и лавровый вѣнокъ смѣнялся шутовскимъ колакомъ, — и эти люди оказывались столь же малыми для исторической арены, сколько были они велики для обыкновеннаго круга жизни. Стало-быть, имъ не было мѣста ни тамъ, ни здѣсь, — и тамъ и здѣсь имъ суждено было погибнуть жертвою ироніи... Не мало представляетъ такихъ жертвъ ироніи область искусства и литературы. Этотъ мрачный законъ ироніи особенно часто тяготѣетъ надъ такъ называемыми «самоучками» и вообще надъ людьми, которые вдругъ измѣняютъ назначенную имъ судьбою дорогу жизни, и измѣняютъ вслѣдствіе сознанія тайнаго внутренняго призванія къ искусству. Дѣйствительно, тайный внутренній голосъ зоветъ и манитъ ихъ къ блестящей метѣ, раздаваясь во глубинѣ души ихъ звуками Вадимова колокольчика; грудь ихъ полна тревогою, и даже во снѣ слышать они слова: «встань изъ грязи, въ которую бросила тебя судьба, мужайся и иди впередъ, — лавры побѣды, удивленіе толпы и безсмертіе въ вѣкахъ ожидаютъ тебя!» Ужасенъ этотъ голосъ, ибо нельзя узнать, чей онъ — ангела-хранителя, или чернаго демона; такой вопросъ рѣшается только временемъ и фактами, — а въ этомъ-то и состоитъ иронія жизни. Правда, характеръ истиннаго призванія тѣмъ отличается отъ ложной тревоги, что въ немъ преобладаетъ сторона разсудка, тогда какъ въ послѣдней дѣйствуетъ преимущественно фантазія; но въ томъ-то и заключается возможность ошибки, что мечты фантазіи часто очень похожи на проявленіе дѣйствительности, и что въ этихъ мечтахъ есть своя доля дѣйствительности.



человѣкъ не доволенъ своимъ положеніемъ, имъ овладѣваетъ сильное, неодолимое стремленіе вырваться изъ тѣснаго круга, въ который поставила его судьба: это еще не значитъ, чтобъ внутренній голосъ этого человѣка звалъ его сдѣлаться великимъ дѣятелемъ въ сферѣ исторіи или искусства; чаще всего этотъ внутренній голосъ означаетъ не болѣе, какъ стремленіе сдѣлаться просто человѣкомъ, развить въ себѣ всѣ данныя Богомъ духовныя силы; но въ томъ-то и состоитъ иронія жизни, что люди не всегда могутъ или умѣютъ понять истинный смыслъ своихъ стремленій, и принимаютъ за тревогу генія зовъ къ человѣческому достоинству.

Литературная дѣятельность имѣетъ въ себѣ гораздо больше обаятельнаго, чѣмъ что-нибудь, — можетъ-быть потому именно, что она представляетъ собою одно изъ важнѣйшихъ поприщъ для таланта. Вотъ почему молодые люди съ пылкимъ воображеніемъ и горячею кровью хотятъ у насъ быть непременно поэтами. Для нихъ всѣ люди раздѣляются на два разряда: на людей великихъ, т. е. поэтовъ, и на людей обыкновенныхъ, т. е. не поэтовъ. Если они почувствуютъ въ груди своей эту неопредѣленную тревогу, которая производится горячею кровью, пылкимъ воображеніемъ, маленькимъ избыткомъ чувства, искоркою ума, а главное — молодостію, — они сейчасъ хватаются за перо и пишутъ стихи, либо романъ. «Я поэтъ!» — за право сказать себѣ это слово, они готовы пожертвовать всѣмъ; но какъ это право не требуетъ особенно дорогихъ жертвъ, по крайней мѣрѣ выше того, что стоитъ одна или двѣ дести писчей бумаги да отважная досужестъ измарать ее размыренными строчками или размашистою прозою, — то многіе изъ нихъ легко добиваются счастья быть печатно посвященными въ поэты со стороны пріятельскаго журнала. Потомъ они издаютъ книжечку своихъ стихотвореній. Пріятельскій журналъ заранѣе извѣщаетъ о выходѣ этой книжечки, какъ о дѣлѣ не-

обыкновенномъ, потомъ расхваливаетъ книжечку; публика засынаетъ за нею, — а сатана хохочетъ... И вотъ вамъ иронія жизни! Изъ такихъ бѣдныхъ стихотворцевъ особенно жалки такъ называемые поэты по призванію, поэты-самоучки и т. п. Между ними есть люди дѣйствительно съ призваніемъ — быть людьми порядочными и образованными, съ потребностію развить въ себѣ природные дары; между ними бываютъ даже люди съ внутренними вопросами, на которые могли бы дать имъ отвѣтъ наука и нравственное развитіе; но они предпочитаютъ искать болѣе легкаго и болѣе пріятнаго разрѣшенія своихъ вопросовъ и находятъ его — въ поэзіи, но не въ поэзіи великихъ гениевъ творчества, а въ своихъ бѣдныхъ и жалкихъ виршахъ. Прощесть творчества они считаютъ какою-то кабалястикой: они думаютъ, что если найдетъ на человѣка дурь вдохновенія, то онъ безъ ума уменъ, безъ науки свѣдущъ и можетъ видѣть безъ глазъ, слышать безъ ушей. А тутъ еще удивленіе людей, лавровый вѣнокъ славы, безсмертіе въ вѣкахъ, — и все это за такую дешевую цѣну! И пишетъ нашъ поэтъ, и издаетъ онъ наконецъ книжечку своихъ стихотвореній; но міръ спокоенъ, люди и не подозреваютъ, что между ними явился геній...

Къ числу такихъ явленій книжнаго міра принадлежать «Стихотворенія г. Милькѣва». Изъ посвященія книги и приложеннаго къ ней нисѣма поэта къ Василю Андреевичу Жуковскому, мы узнаемъ, что г. Милькѣвъ родился и выросъ на берегахъ Иртыша, чувствовалъ въ себѣ неодолимое стремленіе вырваться изъ тѣснаго, душнаго и ограниченнаго круга, въ который поставила его судьба, въ сферу болѣе высшую, болѣе человѣческую, которую онъ, почему-то, полагалъ для себя въ поэтической дѣятельности; и что, наконецъ, ободренный вниманіемъ В. А. Жуковскаго и пользуясь его просвѣщеннымъ покровительствомъ, перѣхалъ изъ Сибири въ Россію.

Вообще все письмо г. Милькѣва къ В. А. Жуковскому проникнуто простотою, умомъ и достоинствомъ. Къ интереснѣйшимъ подробностямъ этого письма принадлежатъ тѣ, изъ которыхъ мы узнаёмъ, что г. Милькѣвъ чувствовалъ рѣшительное желаніе сдѣлаться поэтомъ при чтеніи Плутарха, когда ему было шестнадцать лѣтъ; онъ не имѣлъ никакого понятія о правилахъ стопосложенія, и до уразумѣнія ихъ долженъ былъ дойти собственною проникательностію. Также точно понялъ онъ и правила орѳографіи русской. Безъ сомнѣнія, все это стоило ему большихъ трудовъ и большихъ усилій, какъ человѣку, лишенному всѣхъ пособій, какія представляютъ собою учителя и учебники. Изъ этого видно, что г. Милькѣвъ — то, что называется «поэтъ самородный», «поэтъ-самоучка». Самородные поэты особенно замѣчательны потому, что на ихъ твореніяхъ, какъ бы ни были они грубы и необдѣланны, всегда лежитъ печать оригинальности, столь часто чуждой обыкновеннымъ талантамъ. Таковъ былъ Кольцовъ, стихотворенія котораго, дышущія самобытнымъ вдохновеніемъ и талантомъ, до того оригинальны, что нѣтъ никакой возможности поддѣлаться подъ ихъ простую и наивную форму. Но, увы! не къ такимъ поэтамъ принадлежитъ самородный поэтъ, г. Милькѣвъ, если только принадлежитъ онъ къ какимъ-нибудь поэтамъ. Не только самобытности и оригинальности, — въ его стихахъ нѣтъ даже того, что прежде всего составляетъ достоинство всякихъ порядочныхъ стиховъ: нѣтъ таланта поэтическаго. Нашъ приговоръ можетъ быть жѣстокъ, но онъ тѣмъ не менѣе справедливъ, и это не трудно будетъ доказать при сколько-нибудь внимательномъ разсмотрѣніи лежащихъ передъ нами стихотвореній.

Они начинаются гимномъ къ солнцу:

*О дневный красавецъ, колоссъ міроздавъ!  
Даря насъ торжественнымъ зрѣлищемъ дней,  
Выходишь ты съ бездной тепла и сіянья,*

Въ коронѣ *зизждительно-мощныхъ лучей*.  
 Природы великой *женить воцаренный*.  
 Съ тѣхъ поръ, какъ ея украшеніемъ сталъ,  
 Когда не поспѣлъ ты на подвигъ священный,  
 Когда на *державную цѣль* опоздалъ?

Остановимся на минуту на этихъ стихахъ, чтобы спросить: есть ли въ этой кучѣ фразъ и словъ, есть ли въ ней—не говоримъ, поэзія, вдохновеніе — есть ли въ ней какой-нибудь логическій смыслъ? Чтò такое: «дивный красавецъ, колосъ мірозданья?» Фразы, пустыя восклицанія, чуждыя всякаго поэтическаго воззрѣнія, лишеныя всякаго чувства... «Солнце выходитъ съ бездной тепла и сіянья, въ коронѣ зизждительно-мощныхъ лучей, даря насъ торжественнымъ зрѣлищемъ дней»: чтò это такое написали вы, г. Милькѣвъ? Неужели выраженія: «бездна тепла и свѣта, торжественное зрѣлище дней» и лучи съ «зизждительно-мощнымъ» эпитетомъ,—неужели все это—поэзія, а не дурная проза въ плохихъ стихахъ?... Положимъ, что солнце—женить природы, но почему же оно—воцаренный женихъ? Конечно, въ этомъ есть смыслъ, но только одинъ грамматическій, а всякаго другаго смысла тутъ нѣтъ и признака. И чтò за похвала такая солнцу, что оно всегда «поспѣвало на священный подвигъ» и никогда «не опаздывало на державную цѣль»? Вѣдь другими, болѣе простыми и болѣе богатыми смысломъ словами, это значить, что солнце всегда во-время встаетъ и во-время заходитъ... И чтò за подвигъ священный, чтò за державная цѣль?—Галиматія!...

Въ остальной половинѣ стихотворенія, г. Милькѣвъ говоритъ къ солнцу, что его, солнце, древніе принимали за божество, но что мы, новые, уже «не дадимъ поклоненія», ибо знаемъ, что Богъ-то не оно, но что оно только создано Богомъ. Все это правда; но кто же не зналъ этой правды безъ стихотворенія г. Милькѣва? Вѣдь и то правда, что дважды два—

четыре, неужели же и эту истину надобно перекладывать на плохія стихи? Древніе обожествили, въ поэтическомъ образѣ Аполлона, солнце, какъ отдѣльную благодѣтельную силу природы, — и сколько глубокаго значенія было заключено въ ихъ роскошно поэтическомъ мнѣніи бога свѣта! Г. Милькѣвъ, конечно, разсудительнѣе Грековъ смотритъ на солнце, но это не мѣшаетъ ему ничего въ немъ не видѣть и говорить о немъ пустою прозою въ холодныхъ виршахъ, тогда какъ Греки, не смотря на всю младенческую наивность своего воззрѣнія на солнце, такъ много въ немъ видѣли, и въ такихъ обаятельно творческихъ формахъ выражали свое созерцаніе!

Но перейдемъ ко второму стихотворенію въ книжкѣ г. Милькѣва: онъ воспѣваетъ въ немъ «Возрожденіе»:

Снѣга холоду *крутому*,  
Снѣга мертвымъ, *душнымъ* льдамъ,  
Сну *болезненно-нѣмому*,  
Земнымъ вихрямъ и снѣгамъ!  
Міръ очнулся весь *глубоко*,  
И прелестенъ и богатъ,  
Одѣвается *широко*  
Въ *новосвадебный* нарядъ.

Стоять ли такіе стихи какого-нибудь дѣльнаго разбора? Въ нихъ нѣтъ ни одного живаго образа, никакой картины. Эпитеты дѣтски неточны, вычурны. А мысль всего стихотворенія — это чистое резонерство о томъ о сѣмъ, а больше ни о чемъ! Ежегодная измѣняемость природы подаетъ поэту поводъ разсуждать, длинно и водяно, о неизмѣняемости человѣка. Піеса оканчивается такими курьёзными стихами:

И сынамъ твоимъ судьбами  
Заповѣданъ тотъ же путь,  
Такъ же въ нихъ *реветъ* громами  
Огнедышущая *грудь*.

Хоть бы г-ну Бенедиктову такъ выразиться!...

Впрочемъ, едва ли у кого достанетъ силъ слѣдить за всѣми стихотвореніями г. Милькѣва. Въ одномъ у него —

Пылаютъ сердца какъ лампы,  
Къ предѣламъ парятъ неземнымъ.

Въ стихотвореніи «Сухарева Башня», г. Милькѣвъ такъ ставляетъ Петра Великаго говорить полковнику Сухареву:

Хочу оставить я народу  
Знакъ неподкупности твоей,  
Гдѣ жилъ ты съ вѣрными стрѣльцами,  
Построй тамъ башню, да про васъ  
Она являетъ предъ вѣками  
Живописующій разсказъ.

Потомъ стихотворецъ говоритъ о Брюсѣ, который

Сидѣлъ одинъ какъ демонъ, точно  
Съ неразрѣшимымъ сатаной  
Творя бесѣду полночно.

Вода бассейна Сухаревой Башни есть «бальзамъ холодный» и «живой, который льется въ наше тѣло, чтобы оно крѣпчало и свѣтлѣло всегдашней чистотой». Чудная вода! Она такъ и блещетъ въ чудныхъ стихахъ г. Милькѣва!...

Въ другомъ стихотвореніи нашего водянаго поэта —

Мглою огненно-зыбучей  
Вдругъ одѣтъ небесный сводъ...

Въ третьемъ стихотвореніи (стр. 22) поэту явилось таинственное видѣніе, въ которомъ, за мракомъ мистицизма, не видно смысла, и въ которомъ поэтъ говоритъ нескладными стихами:

А грудь моя билась и сердце звучало,  
Какъ будто нашествіа тайнъ ожидало.

Въ четвертомъ стихотвореніи (стр. 73) поэтъ спрашиваетъ:

Кто надъ бездной власть докажетъ,  
Ярость дикую уймешь  
И безмолвіемъ обяжешь  
Глубину ревучихъ водъ?

Вся эта болтовня клонится къ сравненію моря во время бури съ человѣческими страстями: какая пошлая риторика!

Есть стихотвореніе, въ которомъ, въ числѣ другихъ дико-винокъ,

Земля, *играло* пространство,  
Сама вертится колесомъ:  
И тверди гордая свѣтила  
Обречены на быстрый ходъ;  
*Круговращательная сила*  
*Весь поворачиваетъ сводъ.*

Въ стихотвореніи «Буря», у г. Милькѣва «удалый» вѣтеръ бѣтъ въ рѣку, черный воронъ сидитъ на «сѣснѣ», внимая «задорный» гулъ веселой, «молодой» грозы, машетъ крыльями «живо» подъ скрипъ деревъ и «трепетъ» (!) скалъ, и спрашиваетъ другаго ворона, куда сѣрый братъ стремилъ нынче «свои полеты», богатъ ли воротился онъ съ лихой и «доблестной» охоты и не слыхалъ ли гдѣ «голоса» мечей... Боже мой, какая изысканная, какая высокопарная дичь!...

Но довольно! Изъ выписаннаго можно видѣть, что въ стихахъ г. Милькѣва не только нѣтъ никакихъ признаковъ поэтического дарованія, но даже видна положительная, рѣшительная бездарность. Г. Милькѣвъ — подражатель г. Бенедиктова, подобно всѣмъ подражателямъ, доводящій до каррикатуры и безъ того поразительные недостатки своего оригинала. Мы не встрѣтили въ цѣлой книжкѣ г. Милькѣва ни одного поэтического стиха, ни одного живаго образа, ни одной картины; стихъ его есть не что иное, какъ насильственное сведеніе словъ, которыя ревутъ, видя себя поставленными вмѣстѣ. Въ выборѣ предметовъ, въ мысляхъ не замѣтно никакихъ слѣдовъ человѣческихъ симпатій, живыхъ стремленій, такта дѣйствительности. Особенно ссылаемся на два стихотворенія. Героння одного — кто бы вы думали? — кукушка!!!!... Въ этой несча-

стной кукушкѣ (стр. 49) г. Милькѣвъ думалъ опозитизировать народную легенду, надѣялся объектировать свои задушевные вѣрованія, — и, самъ того не замѣчая, только унижилъ предметъ, который усиливался поднять. Другое стихотвореніе воспѣваетъ—что бы вы думали?—русскую сивуху, иначе нарицаемую «сиволдаемъ»!!!... Это, вѣроятно, для народности! Хороша народность!...

Здравствуй, русское веселье,  
Здравствуй, русское вино,  
*Православное* (?) похмѣлье,  
Чашъ потопленное дно!  
Ты по юношескимъ жиламъ  
Влагой крѣпости бѣжишь,  
И къ былымъ, *каленымъ* (?)! сияешь  
Грудь увядшую стремишь!

*Какъ возникли дни отчизны,*  
Кто изъ русскихъ чадъ, любя  
Свой предѣлъ безъ укоризны,  
Не отвѣдывалъ тебя?  
Кто въ пылу борьбы кровавой  
Дрался на-смерть, и не пилъ?  
Кто, привѣтствованный славой,  
Чашъ не пѣнилъ и не билъ?

Какъ кто, г. Милькѣвъ? — думаетъ, что всѣ порядочные люди въ Россіи... Пѣньте, пожалуй себѣ, въ чаши «пѣнное» и «зеленое», если вамъ это нравится, бейте не только чаши (т. е. стаканы и плошки), но и стекла во храмахъ русскаго Бахуса, мы не мѣшаемъ вамъ, — только, ради всего пристойнаго и образованнаго, увольте насъ отъ вашего радушнаго потчиванья; мы, право, не будемъ въ претензіи, если вы обнесете насъ, — такъ же, какъ не были бы въ претензіи, еслибы вы уволили насъ и отъ изліяній вашей музыки... Очень забавно, что въ этомъ стихотвореніи г. Милькѣвъ причину генія Ломоносова полагаетъ въ несчастной страсти этого великаго человѣка къ пѣн-



ному вину... О, милая наивность самородной музы! о горькая ядовитая иронія жизни! Стояло ли прїѣзжать въ Москву съ береговъ Иртыша, если это было за тѣмъ только, чтобъ издать книжку такихъ стихотвореній? Стояло ли о такомъ перѣѣздѣ писать въ журналахъ и ожидать отъ него столь многого для русской поэзіи? Стояло ли въ журналахъ извѣщать публику, какъ о чемъ-то важномъ, о скоромъ выходѣ въ свѣтъ такихъ стихотвореній? Чтò такое все это?—Иронія, горькая, ядовитая иронія жизни...

---

РУССКАЯ ГРАММАТИКА ДЛЯ РУССКИХЪ. *Виктора Половцова*  
Спб. 1843.

Грамматика г. Половцова, выходящая уже шестымъ изданіемъ, отличается отъ всѣхъ прочихъ русскихъ грамматикъ только своею методою, нынѣ, впрочемъ, принятою всѣми опытными, знающими свое дѣло преподавателями. Переходить отъ анализа къ синтезу, изъ примѣровъ извлекать правила — самая полезная система въ преподаваніи: объ этомъ въ наше время никто уже и спорить не будетъ. Но это болѣе дѣло учителя въ классахъ, нежели составителя систематическаго учебника. Въ этомъ смыслѣ, трудъ г. Половцова можно почесть скорѣе вспомогательнымъ средствомъ при изученіи грамматики, нежели полнымъ систематическимъ курсомъ. Для кого онъ назначалъ свою книгу? Для преподающихъ, или для учащихся? Для первыхъ, въ видѣ руководства въ классахъ, нуженъ курсъ въ полномъ, строгомъ систематическомъ порядкѣ, курсъ, который до сихъ поръ едва ли мы имѣемъ. Для учениковъ? — всякій согласится, что рѣдкій ребенокъ успѣетъ въ какой-либо наукѣ безъ помощи учителя. Паскаль, на двѣнадцатомъ году само-

учкою постигшии Эвклидовы начала, для насъ не примѣръ. Но положимъ, что авторъ «Русской Грамматики для Русскихъ» хотѣлъ упростить изученіе своей науки до того, что дитя, читая и перечитывая его книгу, можетъ само собою достигнуть до полнаго свѣдѣнія правилъ отечественнаго языка. Учащійся, положимъ, открываетъ первую страницу и читаетъ: «Человѣкъ прежде думаетъ, а потомъ говоритъ. Итакъ сперва надобно искать мысли (?), находить ихъ, схватывать и удерживать; далѣе сличать ихъ между собою, упрощать, соединять, раздѣлять, распространять и усиливать» и проч. Мы, знакомые съ теоріею мышленія, смеемъ, что это такое; но пошлемся на всѣхъ дѣтей въ свѣтѣ: поймутъ ли они изъ этого хоть слово. Вы скажете: объяснить учитель. Такъ не лучше ли было бы написать такую книгу, въ которой, по примѣрамъ, невыходящимъ изъ круга дѣтскихъ понятій, помаленьку, такъ сказать по пальцамъ, изъяснить, что такое значить мыслить, что такое сличать мысли между собою. Признаемся, мы сами не понимаемъ, что такое «искать мысли, схватывать, упрощать мысли»...

Какъ скоро дѣло дошло до науки, тутъ главное дѣло система, порядокъ, котораго мы не находимъ въ книгѣ г. Половцова. Онъ безпрестанно переходитъ отъ логическихъ началъ къ законамъ языка, отъ правилъ синтаксиса къ правиламъ какъ ставить знаки препинанія; потомъ этимологія; потомъ опять правила правописанія... Но иногда, по своей методѣ, онъ переходитъ отъ примѣровъ къ правиламъ, а иногда, вопреки ей (стр. 3), отъ правилъ къ примѣрамъ; кое-что извлечено изъ законовъ разума, что очень хорошо; а многое излагается такъ, безъ основанія, какъ въ большей части другихъ грамматикъ.

Ограничимся нѣкоторыми отдѣльными замѣчаніями. «Тщательный разборъ нѣсколькихъ басень (почему же только басень?) и постоянное наблюденіе ученика за самими собою (!)

лучше всѣхъ правилъ о знакахъ препинанія. Только невѣжды оправдываютъ себя незнаніемъ правилъ.» Это ужъ очень наивно. — «Буква ѣ употребляется въ словахъ: письмо, деньги, больше, меньше, весьма, тесма, и нѣкоторыхъ другихъ.» Въ какихъ же другихъ? Тутъ надобно или найти общее правило, или ужъ выписать всѣ слова, въ которыхъ употребляется буква ѣ. — «Причастія имѣютъ три рода или числа» (?). Вѣрно авторъ хотѣлъ сказать три рода и два числа. — «Междометіе есть частица рѣчи, выражающая ощущенія». Много ли поймутъ дѣти изъ этого опредѣленія? — «Въ словосочиненіи разсматривается составъ, происхожденіе и образованіе предложій, а также значеніе и изложеніе сочиненій (по крайней мѣрѣ тѣхъ, которыми должно заниматься въ училищахъ)». Воля ваша, а значеніе и изложеніе сочиненій относятся уже къ теоріи прозы. Особенно, если возьмемъ въ соображеніе, что въ училищахъ воспитанники, по мѣрѣ своихъ способностей, могутъ, а слѣдовательно и должны заниматься сочиненіями, довольно значительными по предмету и по содержанію.

Иные примѣры (а ихъ очень много въ книгѣ) выбраны не весьма удачно. Неужели для дѣтей, даже для самыхъ малолѣтнихъ, нечего выбрать изъ Карамзина, Жуковского, Пушкина, — а эти писатели будто и не существуютъ для книги г. Полѣцова; вмѣсто того, онъ извлекаетъ таковыя словеса изъ книги, изданной въ 1762 году: «Человѣкъ духомъ и жизнью, а не деньгами и пожиткомъ богатъ. Хотябъ твои сундуки золотомъ да серебромъ наполнены были, однако ты отъ сего щ(е)з(а)с(т)авѣйшимъ не з(с)дѣлаешься, ежели въ себѣ спокоенъ и своимъ состояніемъ доволенъ не будешь.» Что за охота приучать дѣтей къ такому варварскому слогу?

СКАЗКА О МЕЛЬНИКѢ КОЛДУНѢ, О ДВУХЪ ЖИДКАХЪ И О ДВУХЪ  
БАТРАКАХЪ. Соч. Е. Алипанова. Спб. 1843.

Имя г. Алипанова всегда приводитъ намъ на мысль другое, не менѣе прославленное имя Б. М. Ф(Θ)едорова, которому со-  
чинитель «Мельника Колдуна» одолженъ открытіемъ и разви-  
тіемъ своего поэтического генія. Это было давно — въ тѣ вре-  
мена, когда въ «Дамскомъ Журналѣ» печатались нѣжныя по-  
слания «къ ней», «къ розѣ», «къ лимонамъ, апельсинамъ и дынямъ-  
мелонамъ», а въ «Благонамѣренномъ» помѣщались шарады и  
логогрифы. Въ тѣ достолюбезныя времена господствовала  
страсть повсюду открывать и приглублять доморощенные рус-  
скіе таланты: русскихъ самоучекъ-астрономовъ и механиковъ,  
русскихъ музыкантовъ, и пуще всего поэтовъ. «Посмотрите,  
посмотрите», кричали тогда: «вотъ десятилѣтній мальчикъ,  
сынъ дьячка, грамотѣ не знаетъ, а самоучкою дѣлаетъ часы и  
въ механикѣ заткнетъ за поясъ любого германскаго профессора.  
Вотъ стихи, сочиненные пахатнымъ крестьяниномъ, будущимъ  
Ломоносовымъ, будущимъ Бѣрсомъ». И всѣ радовались и уми-  
лялись; умилялись тому и мы, тогда еще малыя, неразумныя  
дѣти. Но особенно умилялся этимъ отраднымъ явленіемъ Б.  
М. Ф(Θ)едоровъ, со славою Горация любившій соединять славу  
Мецената. Тогда еще онъ не нисходилъ до дѣтскихъ повѣстей,  
которыя въ послѣдствіи отпускалъ дюжинами и сотнями; тогда  
онъ въ одно и то же время вѣнчался сценическою славою за  
«Суматоху въ Маскарадѣ» и другія комедіи, въ «Дамскомъ  
Журналѣ» и «Благонамѣренномъ» печаталъ нѣжныя стихи,  
большую частію воспѣвая цвѣты: розу, жасминъ, нарцисъ и  
даже резеду; обдумывалъ своего «Юлія Цесаря», трагедію вы-  
сокую, а между тѣмъ таилъ въ душѣ мысль гениальную — со-  
здать русскій романъ историческій, т. е. «Курбскаго». Въ это  
время, въ русскихъ вѣсахъ отдаленныхъ возникли Слѣпушкинъ,

Сухановъ и Алипановъ—три самобытные таланта поэтические, будто цвѣты, одиноко благоухающіе. Всѣхъ ихъ отыскалъ и призрѣлъ Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ, къ поэтической славѣ Россіи ревнующій.

Но гдѣ жъ теперь эти таланты и гдѣ ихъ слава? Не знаемъ, здравствуютъ ли гг. Сухановъ и Слѣпушкинъ, или съ добра ума забыли наставленія своего пѣстуна, перестали писать и снова принялись за свои честныя и полезныя занятія. Только въ сердце г. Алипанова глубоко запали назиданія Б. М. Ф(Ѳ)едорова, и онъ, увлеченный примѣромъ и стихотворною доблестью своего учителя, до сихъ поръ ищетъ рифмы. Вотъ плоды полезныхъ наставленій! Твореніямъ г. Алипанова указывали на храмъ безсмертія, а вмѣсто того они попали въ мѣшки букинистовъ на макарьевскую ярмарку, въ руки деревенскихъ лакеевъ, и т. д.

Размахнулъ батракъ руками,  
Въ столъ ударилъ кулаками,  
Крикнулъ: «Я жъ вамъ докажу,  
Что отъ мертвыхъ не дрожу,  
И съ кольцомъ явлюсь предъ вами:  
Пусть отвѣтятъ сапогами,  
Кто останется не правъ,—  
У тебя таковъ ли нравъ?» (?!).  
Споръ согласьемъ повершили: (?)  
Дѣло сладили, скрутили,  
Въ полу хлопнули полой, (?)  
Какъ гора съ ихъ плечъ долой.

Вотъ какіе стихи пишетъ нашъ доморощенный Бѣрысь. Эти стихи, обверточная бумага, грязное изданіе и типографія Сычова обнаруживаютъ, что «Сказка о Мельникѣ Колдунѣ» снимается въ вышеозначенной публикѣ славу... Чего жъ больше?

ПОВѢСТИ А. ВЕЛЬТМАНА. *Спб. 1843.*

Г. Вельтману суждено играть довольно странную роль въ русской литературѣ. Вотъ уже около пятнадцати лѣтъ, какъ всѣ критики и рецензенты, единодушно признавая въ немъ замѣчательный талантъ, тѣмъ не менѣе остаются положительно недовольными каждымъ его произведеніемъ. По нашему мнѣнію (которое, впрочемъ, принадлежитъ не однимъ намъ), причина этого страннаго явленія заключается въ странности таланта г. Вельтмана. Это талантъ отвлеченный, талантъ фантазіи, безъ всякаго участія другихъ способностей души, и при этомъ еще талантъ причудливый, капризный, любящій странности. Вотъ почему нельзя безъ вниманія и удовольствія прочесть ни одного произведенія г. Вельтмана, и въ то же время нельзя остаться удовлетвореннымъ ни однимъ его произведеніемъ. Встрѣчаете прекрасныя подробности — и не видите цѣлаго; поэтическія мѣста очаровываютъ вашъ умъ — и смѣняются мѣстами, исполненными изысканности, странности, чуждыми поэзіи; а когда дочтете до конца, спрашиваете себя: да что же это такое, и къ чему все это, и зачѣмъ все это? Особенно вредитъ автору желаніе быть оригинальнымъ: оно заставляетъ его накидывать покровъ загадочности на его и безъ того довольно неопредѣленные и неясныя созданія.

Лежащія передъ нами пять повѣстей г. Вельтмана такъ же точно оправдываютъ наше мнѣніе о талантѣ этого автора, какъ и всѣ другія его произведенія. Во всѣхъ ихъ много проблесковъ истиннаго таланта, и ни въ одной нельзя видѣть поэтическаго возсозданія дѣйствительности. Первая называется «Пріѣзжіи изъ уѣзда, или суматоха въ столицѣ»; она была первоначально напечатана въ одномъ плохомъ и теперь окончательно падающемъ московскомъ журналѣ. Содержаніе ея можетъ служить доказательствомъ, что авторъ владѣетъ инстинктомъ и

тактомъ дѣйствительности. Въ ней описывается страшная суматоха въ Москвѣ отъ появленія въ ней генія: извѣстно, что нигдѣ такъ часто и такъ много не является геніевъ, какъ въ Москвѣ.

«Свѣдѣніе черезъ заборъ дошло и до Филата Кузмича, знатнаго почетнаго гражданина съ золотой медалью на шеѣ. До того Филата Кузмича, что купивъ себѣ *княжескія палаты*, только что не позолоченныя снаружи, сказалъ: что мнѣ до баръ! Я самъ господинъ! и подбѣжалъ въ княжескія палатахъ лежанки, и живетъ себѣ самъ-шестъ: Анисья Тихоновна, да Федя, да старуха, да дѣвка кухарка, да дворникъ. Бывало, тутъ у неразсчитливаго князя сотъ пять гостей въ сутки перебываетъ, пудовъ пять восковыхъ свѣчей въ вечеръ сожгутъ, рублей тысячу въ день скушаютъ, да двѣ выпьютъ: а теперь, у расцѣливаго Филата Кузмича, ворота на-заперты, въ подворотню собака на прохожихъ лаеетъ, дескать «проваливай мимо! сама голуу кость гложу!» Свѣту только божій день, лампадка передъ кивотомъ, да салная свѣча. Золотая мебель прикрыта чехлами, чтобъ не попортилась отъ неупотребленія; пища—щей горшокъ, самъ большой, да мостолыга мяса; за то самоваръ какой знатный! ведра въ три! жаль, чашечки *больно маленьки*, съ глоточекъ. Живетъ себѣ Филатъ Кузмичъ, словно чужое богатство стережетъ. Садъ былъ слишкомъ великъ, такъ онъ повырубилъ его подъ огородъ, да посадилъ капустки и огурчиковъ. Оранжерею такъ таки *ранжереей* и оставилъ, только самъ не съѣстъ ни грушки, ни сливки, ни лимончика не сорветъ для домашняго обихода—все на откупъ. По парадному крыльцу не ходить; разъ пошелъ было, да причудился ему въ дверяхъ офиціантъ княжой, стоитъ себѣ съ булавой, да словно кричить: куда тебя чортъ несетъ!—Съ тѣхъ поръ Филатъ Кузмичъ заперъ на ключъ парадное крыльцо.

«Слышалъ, Филатъ Кузмичъ, что люди говорятъ!—сказала Анисья Тихоновна:—говорять тово, явился вишь какой-то Яній, крылатый человекъ.

—Ой-ли?

«Знать тово, что ужъ это чудо какое? Явился въ имѣнїѣ у князя Синегорскаго. Сегодня сюда привезутъ: чай со всей Москвы съѣжится народъ. Что, кабы ты у дворецкаго мѣстечко добылъ, на хорахъ что ль, аль гдѣ у подѣзда, смотрѣть маленько.

—А что тово, Федя! сходи, братъ, попроси ко мнѣ дворецкаго; такъ скажи, дѣльце тятенькѣ есть.

Федя побѣжалъ, а Филатъ Кузмичъ, значительно откашлянувшись, вынулъ бумажникъ съ ассигнаціями, и сказалъ: постой, все устроимъ.»

Не правда ли, что вѣрно? съ натуры? Но только и есть вѣрнаго и естественнаго во всей повѣсти. Все остальное—кар-

рикатура. Бываютъ на свѣтѣ такіа происшествія, да только не такъ они дѣлаются... Къ слабымъ сторонамъ этой повѣсти принадлежитъ еще изображеніе московскаго высшаго общества: неужели гдѣ-нибудь можетъ быть такое высшее общество? Дуракъ мальчишка читаетъ блистательному сборищу князей, графовъ и разныхъ другихъ знаменитостей преглуные стишонки, и всѣ въ восторгѣ, и изъявляютъ этотъ восторгъ самыми пошлыми фразами.

Повѣсть «Радой» ужасно запутана, перепутана и нисколько не распутана. Въ ней есть прекрасныя подробности. Особенно прекрасно лицо Серба, съ его восклицаніемъ: «Теперь піе, брате, за здоровье моей сестрицы Лильяны! піе руйно віно! была у меня сестра, да не стало!» и съ его рассказомъ о своей судьбѣ. Прекрасны также подробности объ отношеніяхъ матери къ дочери, ненавидимой ею за то, что она была плодомъ насильственнаго брака съ немилымъ: это глубоко и вѣрно воспроизведено авторомъ. Но, несмотря на то, общаго впечатлѣнія повѣсть не производитъ, потому что ужъ слишкомъ перехитрена ея оригинальность и отрывчатость. Сверхъ того, она испещрена, безъ всякой нужды, молдаванскими словами, которыя оскорбляютъ и зрѣніе и слухъ читателя и мѣшаютъ ему свободно слѣдовать за теченіемъ рассказа.

Пестрить свои рассказы странными словами—это страсть г. Вельтмана. И потому вольтеровскія кресла онъ называетъ «розвальнями», какъ православные мужички называютъ особенный родъ дрянныхъ саней; «патэ» г. Вельтманъ называетъ «лежанкою», а французское выраженіе *l'homme comme il faut* переводитъ «человѣкомъ какъ быть», забывъ, что оно давно переведено «порядочнымъ человѣкомъ».

«Путевыя Впечатлѣнія, и между прочимъ горшокъ ерани»—очень миленькій юмористическій рассказъ, въ которомъ даже много глубокой истины, подиѣченной въ женскомъ сердцѣ.



Прекрасна была бы повѣсть «Ольга»: въ ней такъ много естественности и вѣрности, за исключеніемъ идеальнаго лица садовника; начало ея — лирическая пѣснь, исполненная глубокаго чувства и истины. Но авторъ испортилъ ее счастливою развязкою черезъ посредство *deus ex machina*, — и изъ прекрасной повѣсти вышла пустая мелодрама.

Во всякомъ случаѣ, повѣсти г. Вельтмана, хотя онѣ уже и не новостъ, могутъ быть перечитаны съ удовольствіемъ. А такъ какъ публикѣ русской теперь рѣшительно нечего читать, то она должна быть рада, что ей хоть есть что-нибудь порядочное перечитать снова.

**ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. (Ольскій). Описательный романъ XIX вѣка. Соч. Еюра Классена. Часть I. 1841.**

Со времени появленія «Мертвыхъ Душъ» — а этому прошло уже около года съ половиною, — никто не рѣшился издать романа. Даже самаго неустрашимаго барона Брамбеуса одолѣлъ страхъ и трусъ велій, — и обѣщанная имъ, года три назадъ, «Идеальная Красавица» такъ и пропала безъ вѣсти, оставшись въ «Библіотекѣ» и недочитанною, и недописанною. Вотъ отчего столь многіе и такъ сильно сердились и еще сердятся на «Мертвыя Души»! Будь живъ теперь Лермонтовъ, никто бы не осмѣлился печатать своихъ стиховъ, и многіе потеряли бы охоту писать ихъ даже для собственнаго удовольствія. Вообще, надобно замѣтить, что Петербургъ давно уже занимается только приготовленіемъ повѣстей, а о романахъ и не думаетъ, — и только одинъ г. Ф(Ѳ)едоровъ недавно рѣшился проюркнуть съ своимъ «Княземъ Курбскимъ» мимо глазъ публики, въ надеждѣ быть незамѣченнымъ ею, въ чемъ и не

ошибся. Но московская литература думаетъ объ этомъ иначе. Москва городъ романовъ по преимуществу. Посмотрите въ самомъ дѣлѣ, что дѣлаютъ, кромѣ этого, московскіе литераторы? Они не пишутъ, а оттого ихъ и не читаютъ и о нихъ не говорятъ; но впрочемъ, они писатели, у которыхъ или былъ, или предполагается талантъ. Еслибъ они писали, ихъ, можетъ-быть, читали бы, и, вѣроятно, нашлись бы на Руси люди, которые даже и хвалили бы ихъ. Вотъ, напримѣръ, г. Кирѣевскій: онъ уже лѣтъ десять (такъ говорятъ московскіе слухи) собирается издать богатое собраніе русскихъ народныхъ пѣсень. Можетъ-быть, онъ и не успѣетъ издать ихъ при жизни своей — что жъ? — онъ издадутся послѣ его смерти, и если не мы, то наши дѣти будутъ читать ихъ. Г. Погодинъ уже около двадцати лѣтъ общается доказывать, что Варяги были Скандинавы, и что Каченовскій ввелъ опасный расколъ въ ученую литературу русской исторіи, — и будьте увѣрены, что онъ когда-нибудь докажетъ намъ эту интересную истину. А если не успѣетъ — не бѣда: онъ передастъ ее какому-нибудь молодому ученому, и тотъ докажетъ. Г. Шевыревъ давно хлопочетъ объ истребленіи въ русской литературѣ вреднаго духа неуваженія къ писателямъ, съ которыми онъ, г. Шевыревъ, находился въ пріятельскихъ отношеніяхъ; для этого онъ рѣшился твердо, какими бы то ни было способами, заставить замолчать «литературныхъ бобылей» и «безыменныхъ критиковъ», которые, кромѣ критикъ и рецензій, иногда пишутъ и типическіе очерки... Не знаемъ, удастся ли г. Шевыреву его истинно благонамѣренное литературное предпріятіе; но знаемъ, что онъ не отстанетъ отъ него, не употребивъ всѣхъ усилій, не испробовавъ всѣхъ средствъ. Изъ живущихъ въ Москвѣ поэтовъ, всѣхъ даровитѣе г-нъ Фетъ, а всѣхъ знаменитѣе гг. Языковъ и Хомяковъ. Оба они ничего или почти ничего не пишутъ; но за то о нихъ въ Москвѣ много пишутъ и еще больше

говорять. На г. Хомякова друзья его смотрятъ, какъ на представителя, въ поэзіи, славянскаго элемента. Такую странную извѣстность пріобрѣлъ онъ въ Москвѣ двумя стихотвореніями, въ которыхъ доказалъ, что древній Римъ и новая Англія скоро будутъ смѣнены Россією. Стихи г. Хомякова всегда звучны, но ужасно напряженны. — блестящи, но совершенно чужды поэзіи: это единственный ихъ недостатокъ; во всемъ остальномъ они столько хороши, сколько могутъ быть хороши славянскіе стихи. Въ Москвѣ издается даже литературно-учебный журналъ. Вотъ уже третій годъ, онъ общается развитію каку-то мысли, но отлагаетъ исполненіе своего обѣщанія на неопредѣленный срокъ. Въ этомъ журналѣ печатаются преимущественно статьи о Славянахъ и славянскихъ литературахъ, стихотворенія г. Михайла Дмитріева, да брань на «Отечественныя Записки»... Кстати о стихотвореніяхъ г. Михайла Дмитріева: сей поэтъ пишетъ стихи уже больше двадцати лѣтъ, но славою поэта никогда не пользовался даже въ кругу московскихъ своихъ пріятелей, гдѣ такъ легко дается слава поэту даже людямъ, ненаписавшимъ ни одного стиха. Чтобъ добиться этой постоянно убѣгающей его славы, г-нъ Михайло Дмитріевъ вмѣсто дидактическаго рода, въ бесполезномъ упражненіи которымъ онъ убѣдился, изобрѣлъ теперь новый, до него небывалый родъ поэзіи, произведенія котораго можно было бы назвать «рифмованными денонціаціями» на безнравственность критиковъ, не признающихъ въ ихъ сочинителяхъ ни искры поэтическаго таланта. Въ рукахъ человѣка талантливаго и остраго, такіа стихотворенія были бы по крайней мѣрѣ опасны для его враговъ; но г. Михайло Дмитріевъ доставляетъ своимъ врагамъ только одно невинное удовольствіе — смѣяться надъ беззубою злобою его странныхъ стихотвореній.

Мы сказали выше, что Москва — по преимуществу городъ романовъ. Это до того справедливо, что Москву не удержало

отъ романовъ даже появленіе «Мертвыхъ Душъ». Патріархъ московскихъ романистовъ, г. Загоскинъ, издалъ если не романъ, то физиологію Москвы въ разсказахъ и сценахъ, подъ названіемъ «Москва и Москвичи»; г. Воскресенскій издалъ, кажется, «Сердце Женщины». Романовъ прочихъ московскихъ романистовъ и не перечесть. «Іоаннъ Грозный и Стефанъ Баторій. Историческій романъ. Сочиненіе А. А. Изданіе второе. Москва». — «Панъ Ягожинскій. Отступникъ и Мститель. Романъ, взятый изъ древнихъ польскихъ преданій А. П-мъ. Изданіе второе. Москва». — Видите ли: это все московскіе романы!

А сколько издали ихъ Касторъ и Поллуксъ московскихъ романистовъ — гг. Кузьмичевъ и Славинъ!... И вотъ теперь является умножить собою число сихъ геніяльныхъ романистовъ г. Классенъ. Онъ такъ увѣренъ заранѣе въ успѣхъ своего произведенія, что издалъ его только первую часть, предоставивъ себѣ издать вторую когда-нибудь, на досугѣ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ. Романъ его изданъ опрятно, хотя и украшенъ пятью плохими литографіями. Но чтѣ же содержаніе этого романа? Вотъ тутъ-то и бѣда, потому что въ романъ г. Классена нѣтъ никакого содержанія, а есть путаница, въ которой ровно ничего нельзя понять и изъ которой ровно ничего нельзя упомянуть. Тутъ есть городничій, который боится жены, потому что она его больно щиплетъ, какъ только онъ скажетъ какую-нибудь глупость, а онъ только за тѣмъ и раззѣваетъ ротъ, чтобъ говорить глупости. Разъ, будучи на ярмаркѣ, городничій больно вскрикнулъ отъ щипка своей супруги, а одинъ изъ собесѣдниковъ бросился къ мужикамъ, продававшимъ квасъ, вырвалъ у нихъ кувшины, и сталъ лить квасъ на голову городничаго, облилъ всѣхъ дамъ, и, вѣроятно отъ стыда, что надѣлалъ столько глупостей, упалъ въ рѣку и утонулъ. Все это г. Классенъ почитаетъ юморомъ и вѣрнымъ

изображеніемъ провинціальныхъ нравовъ. Хорошъ эпиграфъ при первой главѣ этого романа:

Писать характеры людей  
Есть два манера:  
Перомъ Гомера  
И ядомъ змѣй.  
Такъ пишутъ мужи славы. —  
Гдѣ жъ славы взять,  
Когда писать  
Придется для забавы?

—  
Такъ поэтъ на зубъ гнилой  
Пробуетъ орѣхи;  
Но раскуситъ лишь пустой —  
Полный, для потѣхи,  
Смелеть онъ на жернову,  
И поетъ про скорлупу.

Этотъ эпиграфъ, смастеренный очевидно самимъ сочинителемъ, можетъ служить образчикомъ и вывѣскою слога, мыслей, понятій и чувствъ, которыми отличается романъ. Это больше, чѣмъ просто бездарность: это явное отсутствіе здраваго смысла. Не только г. Воскресенскій, но даже гг. Кузьмичевъ и Славинъ — геніи первой величины въ сравненіи съ г. Класеномъ.

---

**РАЗНЫЯ ПОВѢСТИ. Спб. (Года не означено).**

На оборотѣ заглавнаго листка этой сѣренькой книжонки напечатано: «Изъ журнала Маякъ книжки XIX и XX 1841». Стало-быть, эта книжонка есть невинная спекуляція на вниманіе читателей: разныя повѣсти, оставшіеся въ этомъ никому неизвѣстномъ «Маякѣ» безъ читателей, хотѣли, во что бы ни

стало, быть прочтенными, и для этого заблагоразсудили, черезъ два года, выйти въ свѣтъ особенною книжкою. «Маякъ» уже не въ первый разъ прибѣгаетъ къ этому средству заставлять хоть кого-нибудь прочитывать нѣкоторые изъ его статей. Къ несчастію этого темнаго журнала, гдѣ-то издающагося, и еще къ большому нашему несчастію, однимъ только рецензентамъ достанется прочитывать неслыханныя и чрезвычайныя статьи «Маяка», особо издаваемые. Въ книжкѣ, о которой идетъ рѣчь, три повѣсти: первая изъ нихъ «Царское Село» писана женщиною, благоразумно скрывшею свое имя; вторая — «Сельская Быль», сочинена какимъ-то г. Веселымъ, а третья, «Закладъ» — написана какимъ-то г. Тихорскимъ. Оба эти господина очень неблагоразумно выставили наружу свои имена. Первая повѣсть — пречувствительная; ужъ такъ и видно, что дамской работы! Она начинается фразою: «Вы знаете, что лѣтніе мѣсяцы прожила я въ Царскомъ-селѣ». Не правда ли, что эта фраза очень неосторожно капнула съ пера на бумагу, и что каждый изъ читателей имѣетъ право отвѣтить на нее, бросая книгу подъ столъ: «Не знаю, да и знать не хочу?» Живучи въ Царскомъ-селѣ, сочинительница бродила по его садамъ съ Виландомъ въ рукахъ. Боже мой! да кто жъ теперь читаетъ Виланда и въ самой Германіи? Одинъ разъ сочинительница съѣла въ кусты (стр. 14, строка 19), и вытащивъ изъ большого ридикюля толстую не дамскую книгу, не теряя напрасно времени, принялась за чтеніе нѣмецкаго ученаго писателя, Платона, написавшаго «Республику». Право, такъ! Любопытные могутъ справиться сами. Это самая достопримѣчательная и характеристическая черта повѣсти «Царское-село»: все остальное въ ней такой вздоръ, что не хочется и говорить о немъ, и нѣтъ силъ его запомнить. — «Сельская Быль» нанечатана съ двумя эпиграфами — французскимъ: «C'est quelque chose de moujique?» и русскимъ: «Квасной патріотизмъ!»

Мѣстами эта повѣсть довольно удачно передразниваетъ «густорь», т. е. «мужицкую рѣчь», или «баить по-мужицки», но въ сюжетѣ, въ мотивахъ, чувствахъ, мысляхъ она — ложь лжей и неистинность неистинностей. Въ деревнѣ мота и дурака-пошляка, между мужиками есть богачи! Между ними одинъ далеко превзошелъ въ добродѣтели и благотворительности Карамзинскаго «Флора Силина». «Кто третьяго года роздалъ на поствѣ почти весь свой анбаръ; кто на свои деньги купилъ лошадь и корову вдовѣ Акинѣ; кто помогалъ хлѣбомъ и чѣмъ ни попало, вонъ его (одного парня) матери?» Фантазія! Ребята борются, а дѣвушки ободряютъ возлюбленныхъ своимъ присутствіемъ, взглядами и улыбками: русская національность въ Флоріановскомъ пастушескомъ нарядѣ! У каждаго парня есть зазноба, у каждой дѣвушки — любимецъ сердца; ребята всѣ молодцы и комплиментисты, а дѣвушки кокетки: — клевета на лапотную и сермяжную дѣйствительность, которая не влюбляясь женится, а женившись, больно дерется! Аня тоскуетъ по своему возлюбленному, а отецъ ее нѣжно разспрашиваетъ о причинѣ грусти: тогда она не можетъ говорить отъ рыданій, и только, бросаясь къ отцу на шею, осыпаетъ его поцѣлуями (стр. 102). Къ довершенію всего, эта сермяжно-идеальная дѣва говоритъ своему брадату родителю не ты, а вы, и если называетъ его «батишкою», а не «папашею», то, вѣроятно, только изъ уваженія къ проповѣдуемой «Маякомъ» народности. На 139 стр. исправникъ краснѣетъ при фразѣ мужика, что съ бѣды да горя взятки гладки: невѣроятность! Г. Веселый (да проститъ ему Господь его неумѣстную веселость!) хотѣлъ въ своей повѣсти изобразить неизреченное счастье быть мужикомъ, — и, самъ того не подозревая, написалъ презлую каррикатуру на это счастье. Соперникъ идеальнаго героя повѣсти убиваетъ прожскаго купца и, съ вѣдома земской полиціи, подбрасываетъ окровавленное платье убитаго подъ полъ избы Федора, кото-

раго осуждаютъ на кнутъ и каторгу. Къ счастью, земскаго застѣдателя лошадь разбила на смерть, и онъ, упавъ подлѣ церкви, успѣлъ покаяться въ своемъ злоумышленіи.

Повѣсть «Закладъ» г. Тихорскаго взята изъ малороссійскаго быта. Героиня повѣсти—Галя, въ звательномъ падежѣ Галю. Это напомнило намъ «Вечера на Хуторѣ» Гоголя, и потому мы уже не въ состояніи были дочесть до конца сказки г. Тихорскаго. Охота же этимъ господамъ братья за изображеніе идиллическаго быта сельской Малороссіи послѣ «Сорочинской Ярмарки», «Утопленницы» и «Ночи передъ Рождествомъ»? Охота имъ сталкиваться съ Гоголемъ! Увѣряемъ васъ, господа-сочинители въ родѣ неизвѣстнаго г. Тихорскаго, что это для васъ такъ же невыгодно, какъ для вывѣсочнаго маляра сталкиваться въ сюжетахъ своихъ аляповатыхъ картивъ съ грандіозными созданіями Брюлова, или граціозными твореніями Моллера.

Прочь эту взорную книжонку!

---

**ГОЛОСЪ ЗА РОДНОВ. Повѣсть. Соч. Ф. Фанъ-Димъ. Спб. 1843.**

Только что одну книжонку прогнали—глядимъ, лезетъ другая, и все въ томъ же духѣ и въ томъ же тонѣ. Какъ и у первой, на оборотѣ заглавнаго листка безграмотно напечатано: «Изъ журнала Маякъ книжки XIX и XX 1841». Сколько помнится намъ, мы уже когда-то читали это маяковское нѣщечко и уже говорили о немъ въ Библиографической Хроникѣ «Отечественныхъ Записокъ». Содержаніе этой книжонки вполнѣ соотвѣтствуетъ ея сѣренькой наружности: оно не то, чтобъ ужъ черезчуръ нелѣпо, да и не то, чтобъ и очень отличалось смысломъ, а такъ, середка на половинѣ. Главные эле-



менты этой книжонки: крайняя ограниченность взгляда и чрезвычайная бездарность выполненія; а результат ихъ — скука смертельная...

*РѢЧЬ ОВЪ ИСТИННОМЪ ЗНАЧЕНІИ ПОЭЗІИ, написанная для произнесенія въ торжественномъ собраніи Императорскаго Харьковскаго университета 30 августа 1843 года адвокатомъ А. Метлинскимъ. Харьковъ. 1843.*

Въ этой «Рѣчи» можно найти все, что угодно, кромѣ истиннаго значенія поэзіи. Авторъ очень ловко маневрируетъ около своего вопроса, но не нападаетъ на него, не хватаетъ его. Оттого, много фразъ и словъ, рѣчь длинна и скучна, а дѣла въ ней нѣтъ. Въ иныхъ мѣстахъ, пустѣйшій наборъ словъ выданъ за краткія и многообъемлющія характеристики, напр.:

«Камозсъ, ограничившій свою поэму подвигами отечества, *прозвучалъ пѣснію по бурнымъ океанамъ во слѣдъ мореходцамъ Лузитаніи.* Въ Испаніи, Кальдеронъ раскрывалъ въ тайнахъ религіи мирное просвѣтленіе человѣка, встревоженного бурей мятежныхъ страстей; Сервантесъ глубоко-проницательнымъ взглядомъ обнажилъ двуличность жизни, въ которой нерѣдко суетливое ничтожество таятся подъ видомъ торжественной важности мнимыхъ подвиговъ» (стр. 10—11).

Творецъ небесный! что это такое? Неужели это характеристики Камозенса, Кальдерона и Сервантеса? И неужели такъ должно понимать великое созданіе Сервантеса — «Донъ-Кихоть»? По всему замѣтно, что авторъ «Рѣчи» много читалъ и много думалъ, но, за отсутствіемъ въ душѣ непосредственнаго созерцанія таинства поэзіи, ничего не вычиталъ, ничего не выдумалъ. Говоря о сущности поэтического выраженія, авторъ «Рѣчи» приводитъ иногда такіе примѣры, въ которыхъ не только поэзіи, но и смысла нѣтъ, напр.:

Бѣжить въ свой путь съ весельемъ многимъ  
 По холмамъ грозный исполнивъ;  
 Ступаетъ по вершинамъ строгимъ (т. е. острымъ),  
 Презрѣвъ глубоко дно долинъ.

Знаемъ, что противъ насъ подымутся крики и вопли за рѣзкій приговоръ стихамъ великаго челоѣка. Отвѣчаемъ заранѣе этимъ господамъ: великаго челоѣка, написавшаго эти стихи, уважаемъ, а въ этихъ стихахъ его все-таки не видимъ ни поэтическаго, ни другаго какого-либо смысла...

Силясь опредѣлить поэзію и такъ и этакъ, и видя, что такое дѣло рѣшительно не удастся, авторъ «Рѣчи» вздумалъ было противопоставить ее, какъ выраженіе духа, чувственности, забывъ, во первыхъ, что чувственность есть необходимый моментъ самой поэзіи, что, во вторыхъ, идеальная сущность поэзіи состоитъ не въ духовности, а въ идеальной всеобщности, дающей себя чувствовать въ индивидуальномъ и частномъ, и что, наконецъ, вслѣдствіе этого, сама чувственность можетъ имѣть всеобщее, идеальное значеніе, какое и имѣла у самаго эстетическаго въ мірѣ народа — древнихъ Грековъ. Все это показываетъ, что или г. Метлинскому надо еще поучиться, отложивъ сочиненіе рѣчей, или что тайнѣ поэзіи нельзя выучиться, если натурѣ челоѣка не присуще откровеніе этой тайны...

ОСАДА ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКОЙ ЛАВРЫ; ИЛИ РУССКІЕ ВЪ 1608 ГОДУ. Историческій романъ XVII вѣка. Три Главы. Благодарительность, дума. Человѣкъ, дума, Александра С\*\*\*. Спб. 1843.

За бессмысленнымъ заглавіемъ этого «историческаго романа XVII вѣка», слѣдуетъ посвященіе, изъ котораго узнаемъ мы, что сочинитель, «преданный сынъ», котораго фамилія — А. С-нъ. посвящаетъ галиматію о XVII вѣкѣ своимъ «достойнымъ родителямъ», Павлу Петровичу и Матронѣ Ивановнѣ, которыхъ фамилія — Протъ-вы... Какая странная разница въ фамиліяхъ сына и обоехъ его родителей! Но не будемъ останавливаться на этомъ... За посвященіемъ слѣдуетъ «Воззваніе къ публикѣ и рецензентамъ». Какъ оригинально это слово—воззваніе! Совершенно въ тонѣ и вкусѣ Кутейкина, извѣстнаго лица въ комедіи Фонъ-визина «Недоросль»! Въ «воззваніи» остроумный сочинитель вызываетъ, или гласитъ, что его романъ — не романъ, а только отрывки изъ романа, изданные имъ «для того, чтобъ узнать мнѣніе публики и благонамѣренныхъ рецензентовъ—заслуживаетъ ли, по этимъ главамъ, весь романъ быть напечатаннымъ, или должно оставить его въ портфель?» Что касается до насъ, то, при всей своей благонамѣренности, мы убѣждены, во первыхъ, въ томъ, что цѣлаго романа у «преданнаго сына» нѣтъ и не будетъ, а эти главы сочинены имъ по случаю насущныхъ потребностей настоящаго дня; во вторыхъ, что и эти главы, для чести русской словесности и русскаго книгопечатанія, должны были бы остаться въ портфелѣ, или пойти на кухню для разныхъ домашнихъ потребностей, а не появляться въ свѣтъ, въ которомъ и безъ того много разной галиматіи. За «воззваніемъ» слѣдуютъ три отрывка, которые писаны двумя родами слога—высокимъ, т. е. напыщеннымъ до бессмыслицы, и низкимъ,

площаднымъ и тривьяльнымъ. Вотъ образчики того и другого.  
№ 1-й. слогъ надутый:

«Случалось ли вамъ послѣ отрадной ночи пить теплоту утренняго августовскаго солнца, когда роса колеблется по вѣточкамъ и бѣшетъ различнымъ цвѣтамъ? И если случилось, то вы согласитесь, что эта теплота упоительно-сладостна... воздухъ тогда—поэзія и наслажденіе. Сіяніе роскошнаго дня возбуждаетъ чувство признательности; кровь стремится къ сердцу и удваляетъ жизнь; въ то время бываетъ какъ-то отратно-легко: тихій восторгъ окочываетъ душу. Мы *любимъ отщипки* чувствъ и возносимся выше вещественнаго міра...»

Итакъ далѣе, и все такъ же хорошо. Или, вотъ еще:

«Въ огромномъ пространствѣ мірозданія, на этомъ *великолѣпномъ* днѣ вселенной, *усыпанномъ алмазными ознями*, съ которыми любите играть мысль поэта (вѣроятно, преданнаго сына?)».

№ 2-й, —слогъ площадной:

«Слышь ты, и впрямъ такъ! не удастся поганымъ смердамъ пощетиться монастырскимъ добромъ; отпрянемъ ихъ такъ, что и своихъ не узнаютъ! Экъ они больно *разботались* съ коврижнымъ царькомъ—то своимъ! Думаютъ, что вотъ мы-де нагрянемъ на монаховъ—то, такъ трусу и спразднуютъ, — *приходитко!* мы васъ встрѣтимъ. *собачьи дѣти!* ужъ была не была,—смерть, такъ смерть,—одинъ разъ умирать—то! а кажись, какъ появится подь стѣнами, такъ вотъ выскочу, да и давай топоромъ мозжить ихъ безмозглыя башки —хорохорясь приговорилъ молодой дѣтина лѣтъ 26-ти. — Ну, что говорить съ *вахлакомъ*—то, дѣдушка Фома!...»

И далѣе, все въ такомъ же вахлацкомъ тонѣ и вкусѣ. Да здравствуютъ вахлацкіе романы и вахлацкая литература!

За отрывками изъ вахлацкаго романа XVII вѣка слѣдуютъ, ни съ того, ни съ сего, какъ говорится — ни къ селу, ни къ городу,—двѣ думы: «Благотворительность» и «Человѣкъ». Эти думы писаны особеннымъ слогомъ, именно—галиматейнымъ. Вотъ образчикъ этого новаго слога: «Хороша, дивно обольстительно хороша высота поднебесная! какъ роскошна она! какъ великолѣпна она! то свѣтла, какъ брильянтъ; то вдругъ пасмурна, какъ чело генія» (вѣроятно «преданнаго сына?»),

когда онъ думаетъ о людяхъ; то лазурна, какъ Эмаль, то, въ пеленахъ тумана, какъ надежда на будущность!» Въ этихъ думкахъ, глубокомысленный сочинитель рассуждаетъ о неравенствѣ состояній и о торговлѣ, и притомъ такимъ глубокомысленнымъ образомъ, что изъ его рассужденій ровно ничего нельзя понять. Видно, догадавшись объ этомъ самъ, онъ «взываетъ», или «гласить»: «Да не скажетъ кто-нибудь, что это вздорная теорія, заносчивое умозрѣніе!» Спѣшимъ успокоить г. сочинителя увѣреніемъ, что заносчиваго умозрѣнія никто не найдетъ въ его книжкѣ, потому что въ ней нѣтъ никакого умозрѣнія; а вздорную теорію, хочетъ онъ, или не хочетъ, всякій увидитъ въ наборѣ словъ, который ему угодно было такъ не кстати назвать душою...

Замѣчателенъ эпиграфъ къ этому вахлацкому роману XVII вѣка — самый вахлацкій эпиграфъ; такъ и видно, что — онъ произведеніе сочинителя отрывковъ изъ вахлацкаго романа:

Земля ходить по землѣ, облаченная въ пурпуръ и злато;  
Земля идетъ въ землю прежде нежели хочетъ;  
Земля строить на землѣ замки и башни;  
Земля говорить землѣ: это все наше!...

Очень хорошо! Сколько глубокомыслия и поэзіи! Вахлаки будутъ отъ нихъ въ восторгѣ!

**ДЕМОНЪ СТИХОТВОРСТВА.** *Комедія, въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ. Соч. В. Н....ю. Спб. 1843.*

Вотъ эта комедія рѣшительно не хочетъ быть вахлацкою и претендуетъ на порядочный тонъ. Дѣйствующія лица ея — все или «аристократы», или литераторы. Но природы своей никому не побѣдить:

Гони природу въ дверь—она влетитъ въ окно!

Несмотря на всѣ претензіи комедіи, она принадлежит рѣшительно къ вахлацкой литературѣ. Посмотрите, напримѣръ: что за названія дѣйствующихъ лицъ — Добряковъ, Зорской, князь Болтуновъ, Лирова (молодая дѣвица, писательница), Пристрастьевъ, Острословскій, Туманинъ (журналисты), Щеталовъ (книгопродавецъ), Продажный (служащій по министерству и редакторъ періодическаго изданія)... Настоящія куплы, съ надписями на лбу о личныхъ качествахъ, которыя назначено имъ представлять собою! При комедіи есть и предисловіе — нѣчто въ родѣ «воззванія», изъ котораго ясно значится, что 1) сочинитель весь вѣкъ свой прожилъ за 900 верстъ отъ Петербурга и за 700 верстъ отъ Москвы (оно и очень замѣтно какъ изъ тона предисловія, такъ и изъ самой поэзіи); что 2) сочинитель не имѣлъ до сихъ поръ случая видѣть въ лицо ни одного изъ теперешнихъ гг. журналистовъ и литераторовъ, кромѣ одного только, котораго талантъ онъ очень уважаетъ; что 3) въ рукописи его комедіи, тотчасъ по отсылкѣ ея въ Петербургъ, читавшія ее лица увидѣли въ ней пасквиль; но что, 4) въ ней нѣтъ рѣшительно никакого сходства ни съ однимъ журналистомъ, или литераторомъ. (Пред. стр. VII).

Публика, вѣроятно, будетъ очень благодарна сочинителю «Демона Стихотворства», что онъ такъ предупредительно поспѣшилъ ей отрекомендоваться и сообщить ей такія интересныя подробности о собственной своей особѣ. Теперь познакоимся съ комедіею. Это и нетрудно и недолго: таково свойство всѣхъ «вахлацкихъ» произведеній!

Зорскій, отставной корнетъ, бѣднякъ и поэтъ, влюбляетъ въ племянницу Добрякова, Ольгу Львовну, которая, въ знакъ любви своей къ нему, находитъ очень острыми его плоскости и очень поэтическими его плохіе стихи. Симпатія ея къ Зорскому простирается до того, что она сама безпрестанно гово-

рять плоскости и предурными стихами. Зорскій ужасно глупъ, что можно видѣть изъ того, что онъ говоритъ грубости князю Болтунову и вызываетъ его на дуэль за то только, что тотъ считаетъ поэзію вздоромъ, а людей, занимающихся ею — пустыми людьми. Болтуновъ это сказалъ Ольгѣ Львовнѣ, какъ свое мнѣніе, безъ всякаго намѣренія оскорбить Зорскаго, и тотчасъ же извинился передъ нимъ. Но Зорскій — поэтъ, слѣдовательно, по мнѣнію уѣздныхъ сочинителей, человекъ пламенный, грозный и храбрый. Съ Ольгою Львовною Зорскій обращается *en laquais endimanché* а она съ нимъ *en servante endimanchée*. Надобно сказать, что Зорскій приготовилъ на сцену комедію своего сочиненія, которая потомъ и разыгрывается въ комедіи г. Н... го. Зорскій проситъ у Добрякова руки его племянницы; Добряковъ говоритъ, что онъ боится имѣть зятемъ человека, освищенного въ театрѣ, и потому въ такомъ только случаѣ рѣшится отдать за него свою племянницу, если его комедія будетъ хорошо принята публикою. Завязка — какъ видите — совершенно въ русскихъ нравахъ и обнаруживаетъ въ сочинителѣ большое знаніе русскаго общества и рѣдкую наблюдательность! Піесу Зорскаго даютъ на Александринскомъ театрѣ, и журналисты стараются ее уронить, посредствомъ клакеровъ, а князь Болтуновъ хлопочетъ, тѣмъ же способомъ, поддержать ее. Автора вызываютъ, и онъ женится. Вотъ и вся комедія! Но паюсъ ея составляетъ не это, а портреты журналистовъ. Одного изъ нихъ. Туманина, вотъ какъ заставляють говорить остроумный сочинитель.

Нашъ юный критицизмъ и наши умозрѣнья  
Повергли въ прахъ его творенья!...  
А есть комедія у насъ: ея творецъ —  
Мой закадычный другъ. — Вотъ, это образецъ!  
Жизнь улетучилась въ созданъи этомъ дивномъ  
Въ какое слитное единство,  
И въ духъ творчества субъектно-объективномъ

Искусства видно въ немъ—цвѣтенье, торжество!  
 Пластичность образовъ и формы просвѣтлѣные—  
 Въ ней осязательны. А какъ ужъ соблюденъ  
 Основной общаго законъ.  
 Законъ замкнутости и обособленія!!!! —  
 Но чтобы уяснить мои слова  
 Хочу я разрѣшить сперва,  
 Что есть комедія?...

Г. Не...въ, кажется, въ полной увѣренности, что, заставляя Туманина говорить эту галиматью, онъ очень зло подшутилъ надъ людьми, употребляющими слова: субъектъ, объектъ, обособленіе, замкнутость и т. д. Слова эти дѣйствительно должны казаться очень смѣшными въ глазахъ г. Не...ва и подобныхъ ему сочинителей: живя въ 900 верстахъ отъ Петербурга и въ 700 верстахъ отъ Москвы, онъ, разумѣется, не понимаетъ ихъ значенія, а довольное собою незнаніе всегда находитъ смѣшнымъ то, чего не знаетъ, и, не понявъ дѣла, всегда предается «вахлацкому» юмору. Конечно, можно смѣяться, но не надъ этими словами, а надъ ихъ неумѣстнымъ, или неправильнымъ употребленіемъ; но и тутъ можетъ смѣяться только тотъ, кто самъ понимаетъ ихъ. Не въ примѣръ будь сказано, слуги всегда смѣются надъ образомъ мыслей и выраженія господъ своихъ; но не слугамъ, а все господамъ же удастся умно и дѣльно смѣяться надъ этимъ! Въ своемъ предисловіи, г. Не...въ говоритъ, что въ изображенныхъ имъ журналистахъ онъ «желалъ изобразить три главныхъ направленія, которымъ (будто-бы) слѣдуетъ наша литература: Острословскій изображаетъ собою духъ французской словесности, остроумной, легкой, антипоэтической (?!...); Туманинъ долженъ быть выраженіемъ нѣмецкой философіи, которая всегда почти изъясняется языкомъ туманнымъ, неопредѣленнымъ, надутымъ; Пристрастѣеву назначено быть представителемъ англійской литературы, которая составляетъ нѣчто среднее между двумя первыми». Изъ



этого видно, что г. Не...въ глубоко изучилъ французскую, нѣмецкую и англійскую литературы, особенно нѣмецкую философію. Посмотрите, какъ коротко и ясно отдѣлалъ онъ ихъ! Французская литература — антипозитическая, нѣмецкая философія — надута и туманна, а литература англійская есть нѣчто среднее между французскою литературою и нѣмецкою философіею! Онъ до того убѣжденъ въ своемъ познаніи этихъ литературъ и достоинствъ своей комедіи, что дѣлаетъ смѣлое предположеніе: «будь эта комедія переведена на иностранныя языки, вѣрно нашлись бы въ Германіи и во Франціи добрые люди, которые сейчасъ узнали бы въ Пристрастьевѣ, Острословскомъ и Туманинѣ своихъ знакомыхъ литераторовъ.» Советуемъ г. Не...ву заняться переводомъ этой комедіи на нѣмецкій и французскій, да ужъ кетати и на средній между этими языками, языкъ англійскій: за успѣхъ ручаемся!

Неужели же, спросятъ насъ, въ этой комедіи нѣтъ ничего хорошаго, и она никуда не годится? Выписавъ образчикъ ея комическаго слога, мы не выписывали изъ нея такихъ стиховъ, какъ эти, которые сочинитель вложилъ въ уста свѣтскаго челоуѣка и льва, князя Болтунова:

Здѣсь шикаютъ какія-то *ракалы*...

Да нѣтъ! не *выиграть* ихъ *баталы*!

Кому выписанное нами понравится и кто найдетъ въ немъ талантъ, съ тѣмъ не будемъ спорить. Чтò касается до насъ, скажемъ, что въ русской литературѣ очень часто появляются произведенія, которыя далеко хуже еще и «Демона Стихотворства»: стало-быть, эта комедія не можетъ быть образцомъ возможной бездарности и нелѣпости. Ея характеръ — посредственность, — и тѣмъ хуже для нея. Намъ понравились въ ней только два стиха:

О, зототъ челоуѣкъ для остраго словца,

Не пощадитъ ни мать, ни отца!

Но и эти два стиха не сочинены г. Не...мъ, а вырваны имъ изъ третьей сатиры Милонова (см. «Сатиры, Послания и другія мелкія стихотворенія Михайла Милонова» 1819 стр. 46).

Бѣги его, страшись: для остраго слова  
Въ сатирѣ узвѣить онъ матеръ и отца.

Ни одинъ родъ поэзіи не труденъ такъ для нашихъ — не только сочинителей, но и литераторовъ, какъ комедія. Это понятно: хорошую трагедію такъ же мудроно написать, какъ и хорошую комедію; но легче написать посредственную трагедію, чѣмъ сколько-нибудь сносную комедію. Первая, т. е. посредственная трагедія, требуетъ лишь нѣкотораго жара и хорошаго стиха, а комедія, кромѣ того, еще и наблюдательности, знанія общества, и, главное, юмора, который есть самъ по себѣ талантъ. Наши комики всего менѣе знаютъ нравы даже того круга общества, среди котораго сами живутъ. Оттого, они всегда ищутъ смѣшнаго въ словахъ, а не въ понятіяхъ, въ покроѣ платья, а не въ складѣ ума, въ бородѣ и причeskѣ à la gusse, а не въ нравахъ и характерахъ; словомъ, они ищутъ комическаго снаружѣ, а не изнутри. И потому, самыми смѣшными лицами въ своихъ комедіяхъ являются — они же сами, ихъ сочинители. Сколько у насъ комиковъ и драматурговъ — числа вѣдь нѣтъ! а, за исключеніемъ Фонъ-Визина, Грибоѣдова и Гоголя, комедія наша упорно стоитъ на одномъ мѣстѣ, не двигаясь впередъ. Къ ней теперь можно примѣнить слова одного умнаго литератора, сказанныя имъ за тринадцать лѣтъ предъ симъ <sup>1)</sup>: «Вообще нашъ театръ представляетъ странное противорѣчіе съ самимъ собою: почти весь репертуаръ нашихъ комедій состоитъ изъ подражаній Французамъ, и, несмотря на то, именно тѣ качества, которыя отличаютъ комедію французскую отъ всѣхъ другихъ — вкусъ, приличіе, остроуміе,

<sup>1)</sup> См. «Девница, альманахъ на 1830 годъ», стр. 64—65.

чистота языка, и все, что принадлежит къ потребностямъ хорошаго общества, — все это совершенно чуждо нашему театру. Наша сцена, вмѣсто того, чтобъ быть зеркаломъ нашей жизни, служить увеличительнымъ зеркаломъ для однѣхъ лакейскихъ нашихъ, дагѣ которыхъ не проникаетъ наша комическая муза. Въ лакейской она дома, тамъ ея и гостиная. и кабинетъ, и зала, и уборная; тамъ проводитъ она весь день, когда не ѣздитъ на запяткахъ дѣлать визиты музамъ сосѣднихъ государствъ, и чтобъ русскую талію изобразить похоже, надобно представить ее въ ливреѣ и сапогахъ».

---

**III.**

**ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.**



## АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ КОЛЬЦОВЪ.

(НЕКРОЛОГЪ).

Еще смерть, еще утрата—еще не стало одного примѣчательнаго челоѣка въ русской литературѣ и русскомъ обществѣ, которыя по справедливости могли гордиться имъ: извѣстный поэтъ русскій, Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ скончался въ Воронежѣ, прошлаго года, въ октябрѣ мѣсяцѣ, на тридцать-третьемъ году отъ роду... Тяжела и горька была жизнь этого челоѣка, страшна была смерть его... Въ продолженіе почти двухъ лѣтъ, онъ медленно хилѣлъ и таялъ, проводя время въ лѣченіи, то оправляясь, то вновь и еще сильнѣе одолеваясь тяжкимъ внутреннимъ недугомъ... Крѣпкая и сильная натура его могла бы еще преодолѣть болѣзнь тѣла, но семейныя огорченія, совершенное одиночество среди близкихъ ему, но непонимавшихъ его людей, потерянное время въ прошедшемъ и безнадежность въ будущемъ, горькія разочарованія въ томъ, что любилъ и за любовь къ чему встрѣтилъ вражду и ненависть, потрясли въ основаніи этотъ мощный и благородный духъ... Пожираемый лютою чахоткою, одинокій и отчаянный, лишенный не только участія—даже пособій врачевныхъ (ибо ему не на что было покупать лѣкарства), Кольцовъ окончилъ страдальческую жизнь свою 19 октября прошлаго года, въ три часа по-полудни... Кто зналъ этого челоѣка лично и умѣлъ

понимать и цѣнить его, — для тѣхъ неожиданное и уже позднее извѣстіе о смерти его было истиннымъ ударомъ...

Кольцовъ родился въ Воронежѣ, 1809 года, октября 2-го дня. Его не совсѣмъ основательно называли поэтомъ-самоучкою, смѣшивая съ простолюдинами, которые, въ зрѣлыхъ лѣтахъ выучившись грамотѣ, сочли это за право кропать стихи. Кольцовъ зналъ грамотѣ съ малолѣтства; по инстинкту, онъ всегда стремился къ сближенію съ людьми, отличенными искрою Божіею—и никогда не обманывался, въ своемъ выборѣ. Рано проснулась въ немъ страсть къ чтенію, и жадно читалъ онъ всякую книгу, какая только попадалась ему подъ руку. Дружба съ однимъ молодымъ человѣкомъ, Серебрянскимъ, подобнымъ ему горемыкою, котораго также уже нѣтъ на свѣтѣ, имѣла сильное и рѣшительное вліяніе, на внутреннюю жизнь Кольцова. Серебрянскій былъ человѣкъ замѣчательный, съ душою, съ умомъ, съ рѣдкими дарованіями, — чему можетъ служить доказательствомъ статья его «Мысли о Музыкѣ». (Въ приложеніи къ Стихотвореніямъ Кольцова). Получивъ образованіе схоластическое, Серебрянскій взялъ отъ него только одни, хотя и скудные, свѣдѣнія, и самъ довершилъ свое воспитаніе чрезъ чтеніе и чрезъ суровую школу нужды, бѣдности и тяжелаго опыта, въ борьбѣ съ которыми и палъ, сраженный преждевременною смертію... Потомъ судьба свела Кольцова съ однимъ изъ тѣхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благоговѣйная память и таинственные слухи о которыхъ изъ тѣснаго кружка близкихъ имъ людей переходятъ иногда въ общество: мы говоримъ о Станкевичѣ... Черезъ него Кольцовъ вошелъ именно въ такой кругъ людей, котораго всегда жаждала душа его, — и единственными счастливыми эпохами въ его жизни были встрѣчи его съ этими людьми, во время его поѣздокъ, по торговымъ дѣлать отца, въ Москву и Петербургъ. Небольшая книжка изданныхъ въ свѣтъ

его стихотвореній, доставила ему честь личнаго знакомства съ Пушкинымъ, Жуковскимъ, княземъ Вяземскимъ, княземъ Одоевскимъ и другими извѣстными литераторами, — и онъ былъ всѣми ими радушно принятъ и обласканъ. Нѣкоторые изъявили ему свое участіе даже оказаніемъ помощи въ дѣлахъ его, — и въ этомъ случаѣ, Кольцовъ особенно хранилъ признательную память къ князю Вяземскому. 1836 — 1840 годы были самые счастливые для его развитія: Кольцовъ тогда былъ необходимъ для дѣлъ отца своего, и потому часто бывалъ и долго жила въ Москвѣ и Петербургѣ, пріобрѣтая себѣ книги и на собственныя средства и получая ихъ въ подарокъ отъ всѣхъ знакомыхъ ему литераторовъ. Но, несмотря на то, онъ всегда чувствовалъ, что его воспитаніе невозможно заключило его въ ограниченный кругъ нравственнаго существованія, — и его глубокій, смѣлый, ясный умъ, вѣрный тактъ дѣйствительности, служили ему больше, къ горестному сознанію этой истины, чѣмъ къ выходу изъ заколдованной черты обведенной вокругъ него судьбою. И онъ глубоко страдалъ, видя, что многое для него мудрено и непостижимо, потому только, что ново и непривычно. Съ раннихъ лѣтъ ринутый въ жизнь дѣйствительную, онъ коротко зналъ, глубоко понималъ ее, — и судя по его практическому такту, его иронической улыбкѣ, его осторожному разговору, многіе дивились, какъ онъ въ то же время могъ быть поэтомъ... Есть люди, которые смотрятъ на поэта, какъ на птицу въ клѣткѣ, и заговариваютъ съ нимъ для того только, чтобъ заставить его пѣть: такъ любители соловьевъ трутъ ножикъ о ножикъ, чтобъ звуками этого тренія вызвать птицу на пѣніе... Зная хорошо дѣйствительную жизнь, участвуя, по неволѣ, въ ея дразгахъ, Кольцовъ не загрязнилъ души своей этими дразгами: его душа всегда оставалась чиста, возвышенна, благородна, хотя ироническая улыбка никогда не сходила съ устъ его...



Противорѣчіе между дѣйствительностію, въ которую бросила его судьба, и между внутренними потребностями души, — вотъ что всегда было причиною его страданій, и вотъ что наконецъ свело его въ раннюю могилу. Одаренный характеромъ сильнымъ, Кольцовъ умѣлъ терпѣть; но всякому терпѣнію бываетъ конецъ: онъ все могъ перенести, только не ядовитую ненависть тѣхъ, кого любилъ и отъ кого оторваться навсегда у него не было вѣшнихъ средствъ...

Какъ поэтъ, Кольцовъ былъ явленіемъ весьма примѣчательнымъ. Онъ обладалъ талантомъ сильнымъ, глубокимъ и энергическимъ, и, несмотря на то, долженъ былъ оставаться въ довольно ограниченной сферѣ искусства — сферѣ поэзіи народной. Въ своихъ «Думахъ», онъ рвался къ другимъ высшимъ мірамъ жизни и мысли, но выражалъ ихъ всегда въ своей однообразной народной формѣ. Если же смотрѣть на стихотворенія Кольцова какъ на произведенія народной поэзіи, которая уже перешла черезъ себя и коснулась высшихъ сферъ жизни и мысли, — то они останутся навсегда однимъ изъ любопытѣйшихъ явленій русской литературы и поэзіи. О нихъ нельзя судить порознь, но собранныя вмѣстѣ, они представляютъ нѣчто цѣлое — самобытную и интересную въ самой ограниченности своей сферу творчества. Друзья покойнаго поэта, горячо любившіе его и какъ человѣка, желая достойно почитать его память, намѣрены издать въ скоромъ времени избранныя его стихотворенія, съ его портретомъ, fac-simile и біографіею.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЯ И ЖУРНАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Новый годъ всегда бываетъ эпохою въ жизни нашей литературы и мгновеннымъ ея пробужденіемъ изъ обычной ея летаргіи. Въ это время только и слышишь о новостяхъ, по большей части интересныхъ лишь до ихъ появленія. Журналы тутъ всѣ выходятъ въ срокъ; иной за прошлый годъ опоздаетъ нѣсколькими книжками, а съ первою книжкою на новый годъ какъ разъ явится перваго января. По этимъ первымъ книжкамъ можно судить о состояніи журнала: если онъ въ первой книжкѣ не рвется изъ всѣхъ силъ, не старается возбудить вниманія разными штукаами (напримѣръ, заставляя новыя книги плясать, въ критикѣ, тропака и т. п.), а идетъ ровнымъ шагомъ, нынче, какъ вчера, — вѣрный знакъ, что журналъ чувствуетъ свою силу. Въ противномъ же случаѣ, вѣрный знакъ что онъ падаетъ, и пышными, часто фантастическими обѣщаніями силится во что бы ни стало поддержать охладѣвшее къ нему вниманіе публики. Въ это же время года являются новые журналы, прекращаются старые, выходятъ альманахи, романы, стихотворенія, собранія сочиненій извѣстныхъ писателей... Новый 1843 годъ особенно счастливъ во многихъ изъ этихъ отношеній: онъ ознаменовался выходомъ четырехъ томовъ сочиненій Гоголя, полного собранія стихотвореній Лермонтова, новаго изданія сочиненій Державина. Что касается до романовъ, — они не замедлятъ появиться въ числѣ какого-нибудь бѣднаго, неполнаго десятка. Г. Загоскинъ уже началъ ихъ рядъ своимъ сочиненіемъ «Москва и Москвичи»: теперь очередь за г. Воскресенскимъ, а тамъ, Богъ дастъ, издадутъ по роману гг. Зотовъ и Штевенъ. Сверхъ того, это блистательное собраніе романовъ должно пополниться «Дѣвою Чудною» барона Брамбеуса, обѣщанною еще въ началѣ

прошлаго года. Новыхъ журналовъ не явилось ни одного; изъ бывшихъ скончался во цвѣтъ лѣтъ «Русскій Вѣстникъ»: смерть пресѣкла дни этого недоросля на 5 и 6 книжкахъ (изданныхъ въ одной оберткѣ) за прошлый годъ; съ остальными подписчики увидятся когда-нибудь тамъ, гдѣ назначено свиданіе всѣмъ покойникамъ... Кромѣ «Русскаго Вѣстника», всѣ другіе журналы продолжаютъ и въ нынѣшнемъ году. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ дѣйствительно произошли большія или меньшія перемѣны. Взглянемъ на нихъ.

«Библіотека для Чтенія», по обыкновенію своему, перемѣнила цвѣтъ обертки, а въ Литературной Лѣтописи дала своимъ читателямъ спектакль, который мы назвали бы небывалою новостію въ исторіи русской журналистики, еслибъ этотъ спектакль не былъ уже вторымъ по счету. Въ первомъ, «Библіотека для Чтенія» заставила Шехеразаду рассказывать султану-публикѣ разныя сказки о новыхъ книгахъ; во второмъ, т. е. нынѣшнемъ, она заставила плясать въ присядку книги «Были и Небылицы» съ «Супружескою Истиною» и «Голосомъ за Родное». Мысль чрезвычайно оригинальная, и вѣрно многимъ изъ почитателей «Библіотеки для Чтенія» покажется даже остроумною... Теперь надо ожидать, что «Библіотека для Чтенія» когда-нибудь сама пропляшетъ въ присядку хоть съ повѣстями барона Брамбеуса. Замѣчательно однако безпристрастіе «Библіотеки для Чтенія»: въ первой ея книжкѣ за нынѣшній годъ напечатано новое «патріотическое представленіе» г. Полеваго, и въ той же самой книжкѣ препорядочно отдѣланы «Были и Небылицы» того же самаго г. Полеваго. Въ первой же книжкѣ «Библіотеки для Чтенія» напечатана повѣсть Фанъ-Дима, — и въ той же книжкѣ «Голосъ за Родное» того же автора обреченъ на пляску въ шутовскомъ дивертисманѣ... Вообще книгамъ, о которыхъ объявляетъ прежде другихъ книжный магазинъ Ольхиной, въ «Библіотекѣ для Чтенія» пришлось играть не

слишкомъ веселую, хотя и плясовую ролю. Чтѣ же такое. спросить насъ, новое «представленіе» г. Полеваго?—Да все то же, чтѣ и прежнія его «представленія»: чувствительная героиня, на которой хочетъ насильно жениться жестокий заимодавецъ ея матери, и когда ихъ обѣихъ тащить онъ въ тюрьму, является великодушный любовникъ, платитъ деньги, которыя на этотъ разъ ему словно съ неба падаютъ, и женится на «милѣй воровкѣ своего покоя»... Содержаніе повѣсти г. Фанъ-Дима такъ мудрено, что никому не понять его. Герой ея—духъ, а извѣстно, когда духи дѣйствуютъ въ повѣстяхъ вмѣстѣ съ людьми, тогда здравый смыслъ уступаетъ мѣсто «чудесному»...

«Современникъ» выходитъ, въ нынѣшнемъ году, ежемѣсячно, въ числѣ двѣнадцати книжекъ. Отъ этого онъ много выигрываетъ, какъ журналъ. Первая книжка его прелестна по наружности, интересна по содержанію. Долгомъ почитаемъ указать на превосходную статью М. С. Куторги: «Лжовикъ XIV» (историческій очеркъ), и просимъ «Современника» почаще дарить публику такими статьями.

«Москвитянинъ» въ первой книжкѣ своей предлагаетъ цѣлыя три переводныя повѣсти. Онѣ очень коротки, но какъ въ то же время онѣ и очень плохи, то эта краткость, стало-быть, не вредитъ журналу. Историческихъ матеріаловъ въ немъ, по прежнему, много; также и славянскихъ сказокъ, которыя тоже можно назвать матеріалами для исторіи народной славянской поэзіи. Вообще, эти матеріалы даютъ «Москвитянину» видъ альманаха, содержаніе котораго—матеріалы для исторіи и словесности Славянъ. Изданіе полезное и почтенное, но оно не журналъ. Между тѣмъ, «Москвитянинъ», во что бы ни стало, хочетъ быть журналомъ. Для этого онъ изрѣдка разсуждаетъ о современной литературѣ и довольно часто общается поговорить о томъ о другомъ. Въ первой книжкѣ онъ обозрѣваетъ русскую литературу 1842 года и доказываетъ сродство музы

г. Бенедиктова съ музою Шиллера. Замѣчательнѣе всего въ этой статьѣ признаніе «Москвитянина», что онъ «не представлялъ еще всего того, что сказать имѣеть», ибо «такое важное дѣло должно быть совершенно вслѣдствіе трудовъ многосложныхъ и новыхъ» (стр. 275). Между прочимъ, тамъ же намекается и прямо говорится, что всѣ журналы издаются съ промышленною цѣлю, и что исключеніе остается за однимъ «Москвитяниномъ»; мы въ этомъ никогда не сомнѣвались...

«Репертуаръ и Пантеонъ», превратившись въ зеркало театровъ русскаго и иностраннаго, сбросили съ себя затѣйливую обертку, на которой было изображено въ лицахъ, какая бываетъ страшная давка при раздачѣ книжекъ этого изданія... Видно, теперь уже давки нѣтъ, — и «Репертуаръ» является въ скромной и пристойной оберткѣ... Не понимаемъ, почему это изданіе носитъ двойное названіе: каковъ бы ни былъ покойникъ «Пантеонъ», въ немъ печатались драмы Шекспира, а въ «Репертуаръ» печатается только то, что играется на Александринскомъ театрѣ... Въ 1 № напечатаны: «Русская Боярыня XVII столѣтія» г. Ободовскаго, «Школьный Учитель» г. Каратыгина и «Супруги-арестанты» г. Коровкина; изъ нихъ только «Школьнаго Учителя» можно видѣть на сценѣ, но прочесть нѣтъ возможности ни одной пьесы... По обыкновенію, 1-й нумеръ «Репертуара» украшенъ статьею г. Булгарина, въ которой, по обыкновенію же твердится въ тысячу первый разъ, что г-жа Каратыгина выше г-жи Алланъ и знаменитой Марсъ. Г-жа Каратыгина дѣйствительно даровитая артистка, въ сравненіи съ прочими актрисами Александринскаго театра; она лучше ихъ держитъ себя, съ бѣльшимъ умомъ и ловкостью играетъ; но между ею и г-жею Алланъ нѣтъ ничего общаго, а знаменитую Марсъ еще болѣе слѣдовало бы оставить въ покоѣ... Прошлаго года «Репертуаръ» обѣщалъ много приложений — и не выполнилъ своего обѣщанія. За это онъ представ-

ляетъ теперь довольно большую и довольно плохую литографію— «Разъѣздъ изъ Александринскаго театра», въ которомъ впрочемъ есть кой-какія не совсѣмъ дурныя подробности, напримѣръ, купецъ съ женою, зѣвующіе истинно по-купечески!

Изъ газетъ, мы упомянемъ только объ одной, именно «Русскомъ Инвалидѣ», потому что о немъ можно было бы сказать много хорошаго. Съ увеличеніемъ своего формата и расширеніемъ программы, эта газета совершенно переродилась. Въ каждомъ ея номерѣ теперь есть фельетонъ, разсуждающій съ публикою о замѣчательнѣйшихъ явленіяхъ современной русской литературы, объ интереснѣйшихъ новостяхъ русскаго и заграничнаго міра. И въ вышедшихъ доселѣ номерахъ есть любопытныя статьи въ отдѣленіи слѣдующемъ за политическими извѣстіями, особенно «Исторія Русскаго Инвалида», составленная его основателемъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что въ «Инвалидѣ» русская публика имѣетъ теперь газету, во всѣхъ отношеніяхъ соотвѣтствующую требованіямъ отъ изданій такого рода. Въ «Инвалидѣ» читатели находятъ все, что можно встрѣтить во многихъ только газетахъ; не находятъ въ немъ развѣ одного — полемики, сплетень, несообразныхъ съ достоинствомъ газеты официальной. И старанія редакціи «Инвалида» къ улучшенію этого изданія не остались тщетными: публика замѣтила перемѣну, и число подписчиковъ на «Инвалидъ», какъ слышно, чрезвычайно умножилось; со всѣхъ сторонъ слышны похвалы разнообразію, живости и занимательности фельетона, который умѣетъ быть занимательнымъ безъ брани, безъ торговыхъ криковъ... Пожелаемъ, чтобъ преобразованная въ нынѣшнемъ году газета, поддерживая въ себѣ этотъ характеръ, т. е. соединяя благородство тона и направленія съ занимательностію и разнообразіемъ содержанія, вывела, наконецъ, русскую публику изъ бѣдственной необходимости—довольствоваться жалкими листками печатной бумаги, выдаваемыми ей подъ

именемъ газетъ и имѣющими претензіи на характеръ политико-литературнаго изданія.

Говорятъ, г. Вронченко перевелъ первую часть «Фауста». Приятная новость: можно ожидать, что переводчикъ «Гамлета», «Макбета», «Манфреда» и «Дядювъ» прекрасно передастъ намъ великое твореніе Гёте. Если переводы г-на Вронченко не имѣютъ пока заслуженнаго успѣха въ большинствѣ публики, — этому причиною не слабость, не недостатки, а развѣ высокое достоинство ихъ. Г. Вронченко передаетъ не букву, а духъ переводимыхъ имъ великихъ твореній, показываетъ Шекспира такимъ, какъ онъ есть, не передѣланнымъ въ миньятюрныя статуйки. А такъ какъ Шекспиръ для большинства не доступенъ, то и переводы г-на Вронченко не всѣмъ нравятся. Въ этомъ отношеніи, г. Полевой, причесывающій и убирающій Шекспира по вкусу публики Александринскаго театра, всегда перебьетъ дорогу у г-на Вронченко.

Самую свѣжую и интересную новость въ современной русской литературѣ, безъ всякаго сомнѣнія, составляетъ теперь нѣсколько новыхъ и доселѣ неизвѣстныхъ публикѣ стихотвореній покойнаго Лермонтова. Неожиданный случай доставилъ ихъ намъ въ руки, и мы поспѣшили подѣлиться съ нашими читателями высокимъ наслажденіемъ этихъ, какъ будто-бы замогильныхъ звуковъ столь много обѣщавшей и столь безвременно замолкнувшей лиры. Нѣтъ нужды говорить и доказывать, что Лермонтовъ былъ великій поэтъ: въ этомъ уже давно и единодушно согласились всѣ, кто только не лишень здраваго смысла и эстетическаго чувства. Блескъ поэтическаго ореола загорѣлся надъ головою молодаго поэта тотчасъ же со времени появленія первыхъ его опытовъ. Немного Лермонтовъ успѣлъ произвести, но это немногое тотчасъ же дало

ему, во мѣстѣ общества, мѣсто подлѣ Пушкина. Мало того: теперь уже спорять не о томъ, можетъ ли имя Лермонтова упоминаться вмѣстѣ съ именемъ Пушкина, но о томъ: кто выше — Пушкинъ, или Лермонтовъ. Подобный вопросъ и подобный споръ могутъ быть плодомъ самаго смѣшнаго дѣтства, если въ нихъ дѣло будетъ идти не объ идеяхъ, а объ именахъ. Вообще, сравненія одного великаго поэта съ другимъ чрезвычайно трудны; если же въ нихъ видно желаніе возвысить или уронить его на счетъ другаго, то они просто нелѣпы и пошлы. Однакожъ, злоупотребленіе какого-нибудь дѣла, не должно унижать самого дѣла, и сравненіе одного писателя съ другимъ, дѣлаемое съ цѣлію оцѣнить вѣрно и безпристрастно достоинства и недостатки каждаго изъ нихъ, съ полнымъ уваженіемъ къ обоимъ, есть одна изъ важнѣйшихъ задачъ здоровой и основательной критики. Результатомъ такого сравненія никогда не можетъ быть пошлое заключеніе, что Пушкинъ никуда не годится, потому что Лермонтовъ хорошъ, или что Лермонтовъ никуда не годится, потому что Пушкинъ хорошъ. Нѣтъ, результатомъ такого сравненія можетъ быть только объясненіе, въ чемъ именно заключается и великая и слабая сторона того и другаго поэта, чѣмъ одинъ изъ нихъ и выше и ниже другаго. Не время и не мѣсто распространяться здѣсь о такомъ важномъ вопросѣ, какъ сравненіе Пушкина и Лермонтова; но мы считаемъ кстати сказать по этому поводу нѣсколько словъ, тѣмъ болѣе, что теперь другіе толкуютъ объ этомъ кстати и не кстати, вкривъ и вкось.

Сравненіе Пушкина съ Лермонтовымъ особенно трудно по тому горестному обстоятельству, которое какъ будто бы сдѣлалось неизбѣжною участію нашихъ великихъ поэтовъ: мы разумѣемъ безвременный конецъ ихъ поприща, вслѣдствіе котораго нельзя судить о нихъ, какъ о поэтахъ въполнѣ развившихся и опредѣлившихся. Это особенно относится къ Лермонтову.



Посмертныя сочиненія Пушкина—лучшія, художественнѣйшія его созданія. ясно обнаруживаютъ вполнѣ установившееся на-  
правление его. Они не совсѣмъ безосновательно были приня-  
ты публикою холодно. Въ объясненіи противорѣчія, почему  
лучшія и художественнѣйшія созданія Пушкина не безоснова-  
тельно приняты были публикою холодно, заключается объ-  
ясненіе тайны поэзіи Пушкина и значенія его, какъ поэта.  
Пушкинъ — это художникъ по преимуществу. Его назначеніе  
было — осуществить на Руси идею поэзіи, какъ искусства.  
Намъ скажутъ: неужели же до Пушкина не было на Руси ни  
поэзіи, ни поэтовъ, и неужели поэзія Пушкина не имѣетъ ни-  
какой связи съ поэзією предшествовавшихъ ему поэтовъ; не-  
ужели она не развилась исторически, а, словно съ неба, спу-  
стилась къ намъ? На такой вопросъ, имѣющій всю внѣшность  
истины и совершенно ложный въ сущности, мы отвѣтимъ во-  
просомъ же, только истиннымъ и извнѣ и изнутри: неужели  
до Грековъ не было на землѣ искусства, и поэзія Индусовъ,  
изваянія Египтянъ не заслуживаютъ никакого вниманія, какъ  
произведенія искусства? Нѣтъ. они составляютъ одинъ изъ  
интереснѣйшихъ предметовъ изученія для эстетики, археологій  
и исторіи изящнаго; а между тѣмъ искусство какъ искусство,  
въ полномъ, пышномъ и благоуханномъ цвѣтѣ своего развитія  
явилось только у Грековъ, и, въ этомъ смыслѣ, послѣ Грековъ,  
ни одинъ народъ доселѣ не имѣлъ такого искусства. И все-таки  
это нисколько не противорѣчитъ той исторической истинѣ, что  
искусство Грековъ было подготовлено искусствомъ другихъ,  
предшествовавшихъ имъ на поприщѣ развитія народовъ. Та-  
кимъ же точно образомъ, не лишая заслуженной славы пред-  
шествовавшихъ Пушкину поэтовъ, не отрицая ихъ вліянія на  
него, вполнѣ признавая, что безъ нихъ не было бы и его,  
можно утверждать, что поэзія, какъ искусство, какъ это, а  
не что-нибудь другое, явилась на Руси только съ Пушкинымъ

и через Пушкина. Для такого подвига, нужна была натура до того артистическая, до того художественная, что она и могла быть только такою натурою, и ничѣмъ больше. Отсюда проистекають и великія достоинства и великіе недостатки поэзіи Пушкина. И эти недостатки не случайные, а тѣсно связанные съ достоинствами, необходимо условливаются ими такъ же, какъ лицо необходимо условливаетъ собою затылокъ: потому что у кого есть лицо, у того не можетъ не быть затылка. Скажемъ сперва о достоинствахъ поэзіи Пушкина, а потомъ уже о недостаткахъ, необходимо вытекающихъ изъ самыхъ этихъ достоинствъ. Пушкинъ первый сдѣлалъ русскій языкъ поэтическимъ, а поэзію русскою. Стихъ его неподражаемо художественъ, пластиченъ, рельефенъ, упруго-мягокъ. Въ отношеніи къ художественности и виртуозности поэтического стиха и поэтическихъ образовъ, Пушкинъ можетъ быть сравниваемъ съ величайшими европейскими поэтами. Что бы ни говорили о стихѣ Жуковского (дѣйствительно превосходномъ), но между имъ и стихомъ Пушкина такое же (если еще не большее) разстояніе, какъ между стихомъ Дмитріева (И. И.) и стихомъ Жуковского. Но еще не велика была бы заслуга Пушкина, еслибъ достоинство стиха его было чисто внѣшнее, какъ напримѣръ, стиха г. Языкова и другихъ; нѣтъ, стихъ Пушкина, полный мелодіи и гармоніи, силы и граціи, упругости и нѣжности, металлической твердости и хрустальной прозрачности, былъ выраженіемъ поэтической его натуры: этотъ дивный человѣкъ былъ художникомъ не только въ стихѣ своемъ, но и въ своемъ чувствѣ. Объяснимся. Чувство свойственно всякому человѣку, но у cadaго человѣка оно имѣетъ свой характеръ. Есть люди, у которыхъ самыя возвышенныя, самыя благородныя чувства имѣютъ въ себѣ что-то тяжелое, грубое; у другихъ самыя глубокія чувства имѣютъ въ себѣ что-то мягкое до слабости, и т. д. Преобладающій характеръ чувства

Пушкина—художественная красота, виртуозность, если можно так выразиться, при гибкости и силѣ. Чувство Пушкина изящно само по себѣ, взятое отдѣльно отъ его выраженія; и выраженіе его, по одному уже этому, не могло не быть изящно. Каждое стихотвореніе Пушкина можетъ служить доказательствомъ нашихъ словъ; но мы въ особенности укажемъ на «Разлуку» (Для береговъ отчизны дальней). Подобно Гёте, Пушкинъ есть поэтъ внутреннего міра души, и можетъ-быть, еще болѣе, чѣмъ Гёте, способенъ воспитать чувство человѣка, разработать и развить его, сдѣлать его эстетически прекраснымъ. Если поэзія, взятая только какъ искусство, даже въ ея философскаго или нравственнаго значенія, улучшаетъ душу человѣка, то лучшее доказательство этому можетъ представить собою поэзія Пушкина. — Это только лицевая сторона поэзіи Пушкина: взгляните на нее съ другой стороны, и васъ поразитъ ея объективность — качество, столь превозносимое непонимающими его настоящаго значенія людьми и столь близкое къ нравственному индифферентизму, — отсутствіе одного преобладающаго убѣжденія, а иногда даже устарѣлость во мнѣніяхъ и странныя предразсудки. Таковъ необходимо долженъ быть (особенно въ наше время) всякій художникъ, который только художникъ, (т. е. вмѣстѣ съ тѣмъ не мыслитель, не глашатай какой-нибудь могучей думы времени). Онъ космополитъ въ мірѣ, явленія котораго, въ глазахъ его, всѣ равно прекрасны и равно интересны, какъ явленія природы въ глазахъ естествоиспытателя; онъ все любитъ и ни къ чему не прилѣпляется; ничего не ненавидитъ, ничего не отрицаетъ. Поэтическая дѣятельность Пушкина удивляетъ своею случайностію въ выборѣ предметовъ. Онъ пытается создать драму изъ русской исторіи до временъ Петра Великаго; дѣлаетъ изъ нее все, что можетъ сдѣлать гениальный поэтъ, — и если, при всемъ этомъ, ему удалось сдѣлать не слишкомъ много, то это

ужь не его вина. Поддѣлка двухъ Французовъ заставляетъ его взяться за народныя пѣсни Сербіи, — и онъ создаетъ рядъ пѣсень, дышащихъ всею роскошью дикой поэзіи дикаго народа. Въ то же время, онъ, по свѣдѣнію, воссоздаетъ идеаль Донъ-Хуана, — и производитъ драматическую поэму, исполненную первокласныхъ художественныхъ красотъ. Не спрашивайте: какое отношеніе, какую связь имѣютъ всѣ эти произведенія съ русскимъ обществомъ, съ русскою дѣйствительностію? Несмотря на глубоко національные мотивы поэзіи Пушкина, эта поэзія исполнена духа космополитизма, именно потому, что она сознавала самоё себя только какъ поэзію и чуждалась всякихъ интересовъ внѣ сферы искусства. И вотъ причина, почему русское общество вдругъ охолодѣло къ своему великому, своему дотолѣ любимому поэту, какъ скоро онъ достигъ апогеозы своего художническаго величія. Общество въ этомъ случаѣ и право и неправо: право—потому что не всѣмъ же быть дилеттантами и знатоками искусства; не право—потому что Пушкинъ не могъ же въ угоду ему измѣнить своего великаго призванія—водворить поэзію, какъ искусство, въ жизни русской. Призваніе это заключалось въ самой натурѣ Пушкина, и не его вина, если общество, подобно самому поэту, приняло временное броженіе его молодой крови за выраженіе его натуры...

Какъ творецъ русской поэзіи, Пушкинъ на вѣчныя времена останется учителемъ (maestro) всѣхъ будущихъ поэтовъ; но еслибъ кто-нибудь изъ нихъ, подобно ему, остановился на идеѣ художественности, — это было бы яснымъ доказательствомъ отсутствія геніяльности, или великости таланта. Вотъ почему, или Лермонтовъ пошелъ дальше Пушкина, или онъ—талантъ обыкновенный, не стоящій тѣхъ разнообразныхъ толковъ и жаркихъ споровъ, предметомъ которыхъ онъ сдѣлался. Въ самомъ дѣлѣ, есть люди, которые считаютъ Лермонтова не болѣе,

какъ счастливымъ подражателемъ Пушкина, еще не успѣвшимъ проложить собственной дороги для своего таланта. Это мнѣніе столь мелочно и ошибочно, что не стоитъ и возраженія. Нѣтъ двухъ поэтовъ столь существенно различныхъ, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ. Пушкинъ — поэтъ внутреннего чувства души; Лермонтовъ — поэтъ беспощадной мысли истины. Паеосъ Пушкина заключается въ сферѣ самого искусства, какъ искусства; паеосъ поэзіи Лермонтова заключается въ нравственныхъ вопросахъ о судьбѣ и правахъ человѣческой личности. Пушкинъ дѣлалъ всякое чувство, и ему любо было въ теплой сторонѣ преданія; встрѣчи съ демономъ нарушали гармонію духа его, и онъ содрагался этихъ встрѣчъ: поэзія Лермонтова растетъ на почвѣ беспощаднаго разума и гордо отрицаетъ преданіе. Для кого доступна великая мысль лучшей поэмы его «Бояринъ Орша», и особенно мысль сцены суда монаховъ надъ Арсениемъ, тѣ поймутъ насъ и согласятся съ нами. Демонъ не пугалъ Лермонтова: онъ былъ его пѣвцомъ. Послѣ Пушкина ни у кого изъ русскихъ поэтовъ не было такого стиха, какъ у Лермонтова, и конечно Лермонтовъ обязанъ имъ Пушкину; но тѣмъ не менѣе у Лермонтова свой стихъ. Въ «Сказкѣ для Дѣтей» этотъ стихъ возвышается до удивительной художественности; но въ бѣльшей части стихотвореній Лермонтова онъ отличается какою-то стальною прозаичностію и простотою выраженія. Очевидно, что для Лермонтова стихъ былъ только средствомъ для выраженія его идей, глубокихъ и вѣдѣтъ простыхъ своею беспощадною истиною, и онъ не слишкомъ дорожилъ имъ. Какъ у Пушкина грація и задумчивость, такъ у Лермонтова жгучая и острая сила составляетъ преобладающее свойство стиха: это трескъ грома, блескъ молніи, взмахъ меча, визгъ пули. Нѣкоторые критики находятъ очень смѣшнымъ, что Лермонтова называютъ русскимъ Байрономъ: это дѣйствительно смѣшно уже по одному сравненію трехъ тощенькихъ

книжечъ безвременно погибшаго поэта русскаго съ огромною книгою компактной печати британскаго поэта, и это еще смѣшнѣе по сравненію колоссальной и всемірной славы европейскаго гения съ яркою извѣстностію въ своемъ отечествѣ быстро промелькнувшаго поэта русскаго. Еще разъ повторяемъ: это и смѣшно и нелѣпно. Но находить сродство въ духѣ Лермонтова съ духомъ Байрона (сродство, которое можетъ быть и не у поэта, какъ было оно у друга Байрона, Шеллея), и, при условіи полнаго развитія Лермонтова, провидѣть въ немъ не такое же точно (что невозможно), но соответственное Байрону явленіе: это, по нашему мнѣнію, ни сколько не смѣшно, тѣмъ болѣе, что близко къ истинѣ. Есть еще третій родъ критикановъ (самый смѣшной и жалкій), которые увѣряютъ всѣхъ въ великомъ уваженіи, питаемомъ ими къ необыкновенному таланту Лермонтова, и въ то же время говорятъ, что «въ стихахъ Лермонтова отзывается явно отголосокъ лиры другаго». Не знаемъ, что означаетъ подобное мнѣніе — ограниченность и слабость ума, совершенное отсутствіе эстетическаго чувства, или (говоря печатными словами одного критикана) «гадкую, притаенную мысль», которая, еслибъ могла дойти до Лермонтова, такъ же бы точно посмѣшила и потѣшила его, какъ, помнимъ мы, смѣшили и тѣшили его критики одного журнала объ его стихотвореніяхъ и «Героѣ Нашего Времени»... Мы убѣждены, что совершенно ничтоженъ будетъ тотъ, на кого подѣйствуетъ, хотя немного нелѣпное внушеніе, что поэзія русская въ лицѣ Лермонтова не сдѣлала ни шагу впередъ противъ Пушкина... Кстати замѣтимъ, что едва ли какой-нибудь классъ людей представляетъ столько аномалій, какъ классъ «критикановъ»: изъ нихъ есть такіе, которые, изъ зависти къ вашему успѣху и вашей извѣстности на поприщѣ недоступной имъ критики, готовы перевернуть ваши слова и съ умысломъ (если поймутъ ихъ) и безъ умысла (если не поймутъ). За послѣднее да про-

стить имъ Богъ, ради ихъ умственной слабости! но за первое да накажетъ ихъ общественное мнѣніе... Вы сказали, напримеръ, что Лермонтовъ пошелъ далѣе Пушкина, а они кричатъ, что вы употребляете Лермонтова какъ средство для того, чтобъ расторгнуть черезъ него союзъ молодаго поколѣнія съ Пушкинымъ и нарушить связь преданій. Это обвиненіе, достойное завистливаго педанта, очень похоже на знаменитый силлогизмъ: на дворѣ дождь идетъ, слѣдовательно въ углу столъ стоитъ... Но оставимъ педантовъ, критикановъ, ихъ ограниченность и ихъ мелкую зависть, обратимся къ Лермонтову и скажемъ, что восемь новооткрытыхъ стихотвореній его принадлежать къ замѣчательнѣйшимъ его произведеніямъ, особенно: «Сонъ», «Тамара», «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю» и «Выхожу одинъ я на дорогу». Въ нихъ нѣтъ ничего Пушкинскаго, но все Лермонтовское, — разумѣется, для тѣхъ только, кто умѣетъ вникать не въ одну букву, но и въ духъ, и кто не можетъ видѣть въ Лермонтовѣ подражателя не только Пушкина и Жуковскаго, но даже и г. Бенедиктова...

---

## ЛИТЕРАТУРНЫЯ И ЖУРНАЛЬНЫЯ ЗАМѢТКИ.

Представленіе «Женитьбы» на сценѣ Александринскаго театра снова оживило фельетонъ «Сѣверной Пчелы». «Наконецъ (воскликаетъ эта газета въ № 279 прошлаго года), въ бенефисъ г. Сосницкаго, мы видѣли ту знаменитую комедію Гоголя, о которой уже нѣсколько лѣтъ трубятъ его пріатели!»— Что за странная манера, въ дѣлѣ чисто литературномъ, говорить о «пріателяхъ»? Почему фельетонисту знать, кто пріатель Гоголю и кому Гоголь пріатель? Пушкинъ печатно называлъ Дельвига и другихъ своими друзьями и пріателями: стало-быть, и другіе могли, не нарушая приличія, говорить, что такой-то и такой-то—друзья Пушкина; но никто не имѣлъ права называть печатно друзьями и пріателями Пушкина тѣхъ, которыхъ онъ самъ не называлъ этимъ именемъ тоже печатно. Гоголь ни одною строкою и никого не объявлялъ ни другомъ своимъ, ни пріателемъ и, сколько намъ извѣстно, еще никто не называлъ себя печатно ни другомъ, ни пріателемъ Гоголя. Слѣдовательно, «Сѣверная Пчела» самоуправно присвоила себѣ право навязывать Гоголю пріателей, изъ которыхъ онъ иныхъ и въ глаза не видывалъ. И послѣ этого фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» еще позволяетъ себѣ пускаться въ разглагольствованіе о хорошемъ литературномъ тонѣ, о приличіи, объ образованности!... У таланта Гоголя дѣйствительно много въ Россіи и друзей и пріателей, такъ же какъ и враговъ и недруговъ: это общая судьба всѣхъ высокихъ талантовъ; и вотъ объ этихъ-то друзьяхъ и пріателяхъ, врагахъ и недругахъ, позволительно разсуждать въ печати, невыходя изъ предѣловъ литературнаго вопроса. Взгляните на дальнѣйшіе подвиги фельетониста «Сѣверной Пчелы» касательно этого



недающего ей покою, хотя и не знающего о ея существованіи Гоголя. За выписаннымъ нами восклицаніемъ, слѣдуетъ изложеніе содержанія комедіи, для доказательства, что она никуда не годится, такъ что читатель можетъ подумать, будто «Женитьба» Гоголя хуже даже какой-нибудь «Шкуны Нюкарлеби» г. Булгарина. Далѣе слѣдуютъ радостныя, исполненныя торжественности извѣстія о паденіи пьесы, о единодушномъ шиканьи, похвалы тонкому, изящному вкусу и свѣтской разборчивости публики Александринскаго театра... Старыя шутки, господа! На сценѣ давались и пьесы Пушкина: «Русалка», «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», отрывки изъ «Цыганъ» — и все это не имѣло ни малѣйшаго успѣха, слѣдовательно испытало паденіе... За то, на сценѣ же давались въ старину «Филатка и Мирошка», а теперь дается «Комедія о войнѣ Ѳедосьи Сидоровны съ Китайцами», съ одобреніемъ принятая публикою. Чтò это значить — предоставляемъ рѣшить г. фельетонисту...

Между прочимъ, фельетонистъ распространяется о какихъ-то партіяхъ, изъ которыхъ одну называетъ «здѣшнею», а другую «московскою», и послѣднюю заставляетъ прославлять Гоголя, чтобъ черезъ это «заставить публику отвернуться отъ другихъ сатирическихъ и юмористическихъ писателей и романистовъ»... Ну, есть же изъ чего и хлопотать! Не зная никакой московской партіи, тѣмъ не менѣе жалѣемъ о ней, что она занимается такими мелочами, хваля и превознося Гоголя не за его прекрасныя созданія, а изъ желанія ронять тò, чтò и само собою давно уже внѣ всякой опасности упасть, по смыслу русской пословицы: «лежакаго не бьютъ»... И что за смѣшная мысль, будто возможно возвысить недостойное, или уронить достойное! Кто наши юмористическіе писатели, кромѣ Гоголя? — Фонъ-Визинъ, Крыловъ (баснописецъ), Нарѣжный (романистъ), Грибоѣдовъ. Кто же не отдавалъ имъ должнаго, кто ронялъ ихъ?... «Пусть бы (восклицаетъ фельетонистъ) г. Гоголь выступилъ

на журнальное поприще и сдѣлался критикомъ... тогда бы мы увидѣли, какъ тѣ же самыя лица, которыя создаютъ ему пьедесталъ, чтобъ поставить его рядомъ съ Гомеромъ, стали бы разбивать изъ всѣхъ силъ этотъ пьедесталъ!...» А! вотъ что? теперь мы понимаемъ, куда клонятся намеки фельетониста: г. Булгаринъ почитаетъ себя и сатирикомъ, и юмористомъ, и романистомъ, и критикомъ, — и по его мнѣнію, люди безпристрастные потому не соглашаются съ нимъ въ его лестныхъ отзывахъ о самомъ себѣ, что онъ — критикъ!!... Иначе, его признавали бы чѣмъ-то не меньше даже Гоголя!... Г. Булгаринъ и Гоголь—да это еще оригинальнѣе, чѣмъ Гоголь и — Гомеръ!...

А между тѣмъ, Гоголь выступалъ на журнальное поприще и былъ критикомъ: въ «Арабескахъ» напечатаны его превосходныя критическія статьи о Пушкинѣ, о Брюловѣ, о Шлецерѣ, Миллерѣ и Гердерѣ, а въ 1 номерѣ «Современника» 1836 года, есть статья его «О движеніи журнальной литературы», въ которой съ неподражаемымъ юморомъ характеризуется «Сѣверная Пчела» и разные критики!... Ужь не оттого ли въ «Сѣверной Пчелѣ» и понынѣ не отдается Гоголю должной справедливости?... По теоріи самой «Сѣверной Пчелы» выходитъ такъ...

Кстати о Гомерѣ и Гоголѣ: та же газета продолжаетъ увѣрять (см. № 285), будто «Отечественныя Записки» величаютъ Гоголя—Гомеромъ... Просимъ покорнѣйше указать хоть одну страницу въ «Отечественныхъ Запискахъ», гдѣ была бы хоть одна строка, доказывающая справедливость такого обвиненія. Въ «Отечественныхъ Запискахъ», напротивъ, нѣсколько разъ было писано противъ тѣхъ господъ, которые сочинили небывалое сходство Гоголя съ Гомеромъ, и разъ была напечатана большая статья въ опроверженіе этихъ странностей (Соч. Бѣ-

линскаго. ч. VI, стр. 523). Какъ же назвать эту неприличную выходку «Сѣверной Пчелы» противъ «Отечественныхъ Записокъ»?

Изъ журнальных новостей самыя свѣжія — слѣдующія: «Сынъ Отечества» за 1842-й не додалъ только четырехъ книжекъ; «Русскій Вѣстникъ», опоздавшій въ 1841 году двумя книжками, въ нынѣшнемъ опоздалъ шестью книжками (т. е. цѣлымъ полугодомъ), а «Москвитянинъ» — только одною книжкою.

Журнальный мирлифлёръ и Жоржъ Зандъ. — Какой-то господинъ (мы забыли его имя) издаетъ въ Парижѣ модный листокъ въ родѣ *Follet*. Тутъ еще нѣтъ ничего удивительнаго. Но удивительно то, что этотъ господинъ, говорить, съ презрѣніемъ смотритъ на всѣхъ своихъ собратьевъ (т. е. издателей модныхъ журналовъ, которыхъ, какъ извѣстно, въ Парижѣ очень много). Ему, во что бы ни стало, хочется прослыть знаменитымъ литераторомъ. Онъ, бѣдный, совершенно помѣшался на литературной славѣ, и статьи свои (которыя почитаетъ, разумѣется, великими произведеніями) еще въ рукописи читаетъ не только своимъ пріятелямъ, но всѣмъ наборщикамъ типографіи, въ которой печатается его листокъ, своему лакею и даже привратнику. Недавно онъ напечаталъ объ одномъ знаменитомъ скрипачѣ, талантъ котораго восхищалъ въ прошлую зиму весь Парижъ — слѣдующія замѣчательныя строки:

«Прелестныя и милыя мои соотечественницы, о вы, богини красоты и моды! вы, восхищавшіяся дивнымъ, упонительнымъ смычкомъ г. NN, истаявавшія отъ нѣги и блаженства при роскошныхъ, неземныхъ, чародѣйственныхъ звукахъ этого смычка, вы, вѣрно, изумитесь, если я буду имѣть честь доложить вамъ, что г. NN нисколько не виновенъ въ наслажденіи, которое доставлялъ вамъ: я вамъ объявляю за тайну (будьте только скромны, прелестныя мои читательницы!): въ скрипкѣ г. NN заключена душа одной воспитательной дѣвушки.

которая, увы! вслѣдствіе безнадежной любви похищена смертію (не дай вамъ Богъ такой смерти!)... И эти звуки пополамъ раздражіе ваше сердце, сжатое безъ сомнѣнія корсетомъ превосходной работы г. F\*\*\* (Rue Richelieu № 27), эти звуки, извлекавшіе изъ побѣдительныхъ и молніеносныхъ очей вашихъ жемчужны чистѣйшей грусти (жемчугъ снова входитъ въ моду: превосходные жемчужные уборы мы видѣли въ магазинѣ Cazal, rue Montmartre № 21) и эти звуки... повторяю я — о, это стонъ души страдальцы, ея молитвы и жалобы, ея вздохи и рыданія.... и прочее.

Но этотъ удивительный любезникъ, журнальный мирли-флёръ, издатель моднаго листка, такъ галантерейно обращающійся съ дамами, которыя представляются ему, кажется, въ видѣ розанчиковъ, какъ Жевакину въ комедіи Гоголя «Женитьба», — питаетъ страшную ненависть только къ одной изъ всего прекраснаго пола, а именно къ баронессѣ Дюдеванъ (Жоржъ Зандъ). Однажды въ своемъ модномъ и галантерейномъ листкѣ послѣ краснорѣчиваго описанія модныхъ кружевныхъ блондовыхъ чепцовъ и послѣ разныхъ презамысловатыхъ комплиментовъ «очаровательнымъ брюнеткамъ и воздушнымъ блондинкамъ», онъ вдругъ обратился къ нимъ съ слѣдующею рѣчью:

«Я надѣюсь, мои воспитательныя читательницы, что вы не читаете Жоржа Занда? (которую не понимаемъ на какомъ основаніи именуютъ въ цѣлой Европѣ гениальною, великою писательницею)... Сохрани васъ Боже отъ этого! Она все кричитъ противъ брака, mesdames! Не слушайте ее... Я увѣренъ, что вы въ приданое мужу своему принесете чистѣйшее, возвышеннѣйшее счастье, а онъ — вашъ супругъ, коленнопреклоненный, броситъ къ ногамъ вашимъ свое сердце, которое вы, натурально, поднимите, расцѣлуете и запретите въ шкатулочку, отличной работы г. Bertrana jeune (rue des Lombards, 46 au fond de la cour), а ключикъ отъ этой шкатулочки будете носить у своего сердца!... Повѣрьте мнѣ, эта препрославленная, пресловутая Жоржъ Зандъ сама не понимаетъ, что проповѣдуетъ въ неистовыхъ *Индіанахъ*, *Валентинахъ*, *Леліяхъ*, и еще въ другихъ своихъ негѣпныхъ романахъ... Бойтесь, какъ чумы, этихъ романовъ, mesdames! Она хочетъ растлить эстетическій дамскій вкусъ... и васъ — воздушныхъ, прозрачныхъ, роскошныхъ, газовыхъ, эфирныхъ, радужныхъ созданій нарядить въ мужскіе рдегенготы и въ ваши розовыя губки (о! quelle horreur!) вложить сигару... Васъ, мои чи-

тательницы, одѣтъ въ мужскіе реденготы?... Незпная мысль! да что же тогда останется дѣлать нашимъ несравненнымъ артистамъ m-me Pollet и m-me Charbon, и прочимъ, которыя съ такимъ неземнымъ совершенствомъ украшаютъ теперь цѣтми и блондами ваши вдохновенныя головки и такъ ловко стягиваютъ ваши соблазнительныя ни съ чѣмъ несравнимыя талии и облакаютъ васъ въ такія роскошныя платья изъ *popeline* или *gros de Naples*?

Говорятъ, Парижане очень смѣялись надъ этою выходкою журнальнаго мирлифлёра, издателя моднаго листка, который не шутя вообразилъ, что Жоржъ Зандъ хлопочетъ въ своихъ романахъ о томъ только, чтобы отбить хлѣбъ у парижскихъ модистокъ!... Вотъ совершенно новый взглядъ на сочиненія Жоржъ Занда!.. Журнальный мирлифлёръ, глупый любезникъ, выступающій противъ знаменитой писательницы!.. Не правда ли, это очень смѣшно? Жаль, что у насъ нѣкоторые, по справедливости уважаемые образованною публикою журналисты почти съ такой же точки смотрятъ на Жоржъ Занда, какъ вышеприведенный журнальный мирлифлёръ, издатель моднаго листка. Увѣряютъ также, что у насъ есть такіе писатели, которые ни сколько не хуже французскаго журнальнаго мирлифлёра изъясняются съ прекраснымъ поломъ...

Старинная пріятельница наша «Сѣверная Пчела» покончила старый годъ и начала новый достойнымъ ея образомъ: всѣмъ извѣстно, что эта газета отличается безпристрастіемъ, хорошимъ тономъ и безкорыстною любовію къ литературѣ, что она хвалитъ только хорошее и порицаетъ только дурное, смотреть на дѣло, а не на лица, превозносить, когда этого требуетъ справедливость, своихъ враговъ, и говорить горькую правду своимъ друзьямъ. Все это такъ же извѣстно публикѣ, какъ и намъ: — полюбуемся же послѣдними подвигами этой газеты, въ назиданіе ближнимъ, въ поучительный примѣръ для литературной братіи, и въ собственное утѣшеніе... Особенную честь дѣлаетъ «Сѣверной Пчелѣ» то, что она не любитъ полемики,

не любить журнальных браней, и если презираетъ кого-нибудь, такъ молча, съ достоинствомъ... Всѣмъ извѣстно, что эта газета почитаетъ «Отечественныя Записки» журналомъ самымъ плохимъ, недостойнымъ никакого вниманія, — и вотъ то «презрительное молчаніе», которымъ наказываетъ она несчастныя «Отечественныя Записки». Въ послѣднемъ (295) номерѣ за прошлый годъ, «Сѣверная Пчела» извѣщаетъ своихъ читателей, что «она изъ любопытства (страсть кумушекъ!) заходила по нѣскольку разъ въ книжныя лавки передъ праздникомъ, особенно въ новый магазинъ г-жи Ольхиной, и видитъ, что публика, какъ бы нарочно, покупаетъ тѣ книги, которыя болѣе порицаются въ Отечественныхъ Запискахъ et Compagnie (?)», — а порицанія этого журнала, по увѣренію «Сѣверной Пчелы», «сдѣлались нынѣ указателемъ (index) того, что надобно покупать: это такъ вѣрно, какъ то, что послѣ ночи наступаетъ день». Какая твердая, непоколебимая увѣренность! Благодаря «Сѣверную Пчелу» за это любопытное извѣстіе и не желая за него остаться въ долгу, спѣшимъ, съ своей стороны, тоже порадовать ее извѣстіемъ, которое не менѣе утѣшительно и болѣе достовѣрно, ибо подкрѣпляется фактами, всему свѣту извѣстными. По книжнымъ лавкамъ мы не ходимъ, ни въ будни, ни въ праздники, зная, что тамъ ничего не услышишь, кромѣ вздорныхъ сплетень, до которыхъ мы смертельныя неохотники: такая неохота, конечно, можетъ показаться странною «Сѣверной Пчелѣ», но что же дѣлать, когда это такъ? Иногда только бываемъ мы въ книжномъ магазинѣ г. Иванова, гдѣ находится и контора «Отечественныхъ Записокъ»: тамъ слышали мы, что расходятся именно тѣ книги, которыя хвалятся «Отечественными Записками», а плохо идутъ именно тѣ книги, о которыхъ «Отечественныя Записки», по совѣсти, не могутъ отзываться, какъ о литературныхъ произведеніяхъ. Извѣстно всѣмъ и каждому, что «Отечествен-

ныя Записки» высоко цѣнятъ талантъ Гоголя и видятъ великое произведеніе въ его «Мертвыхъ Душахъ»: судя по словамъ «Сѣверной Пчелы», этого было бы достаточно, чтобъ «Мертвыя Души» залежались въ лавкахъ; но, увы! всѣмъ и каждому извѣстно, что «Мертвыя Души», напечатанныя въ числѣ около 3000 экземпляровъ, почти совсѣмъ раскуплены съ небольшимъ въ полгода!... Конечно, «Мертвыя Души» обязаны этимъ совсѣмъ не «Отечественнымъ Запискамъ», а собственно своему высокому достоинству; но ихъ чрезвычайный успѣхъ доказываетъ, вопреки увѣреніямъ «Сѣверной Пчелы», что «Отечественныя Записки» хвалятъ только достойное хвалы. Не прошло еще двухъ недѣль послѣ выхода четырехъ томовъ «Сочиненій Николая Гоголя», и уже нѣсколько сотъ экземпляровъ раскуплено нетерпѣливою публикою: эти сочиненія уже столько лѣтъ постоянно хвалятся «Отечественными Записками», и публика, несмотря на то, раскупаетъ ихъ... Какъ теперь согласить эти факты съ упомянутымъ извѣстіемъ «Сѣверной Пчелы»?... Сочиненія Гоголя постоянно унижаются и преслѣдуются бранью и выдумками въ «Сѣверной Пчелѣ», — и, несмотря на то, публика все-таки раскупаетъ ихъ... Кто же теперь index для публики—«Сѣверная Пчела» или «Отечественныя Записки»?...

За тѣмъ, «Сѣверная Пчела» жалуется, что «Отечественныя Записки» несправедливы къ ея издателямъ и сотрудникамъ... Странная жалоба! Это значитъ жаловаться на то, что «Отечественныя Записки» имѣютъ свой образъ мыслей, свои убѣжденія, свой вкусъ: да кто жъ не имѣетъ права имѣть ихъ? Конечно, жаль, что не всѣ журналы и, особенно, не всѣ газеты имѣютъ мнѣніе, убѣжденіе и вкусъ; но какъ же и ихъ винить за это: чѣмъ виноватъ слѣпо-рожденный, что родился безъ зрѣнія?... Что «Отечественныя Записки» не могутъ, по совѣсти, хвалить устарѣлыхъ и забытыхъ сочиненій издателей

«Сѣверной Пчелы», это очень понятно, это вытекаетъ изъ той же самой причины, по которой «Отечественныя Записки» не могутъ не хвалить, напр., Крылова, Пушкина, Жуковского, Грибоѣдова, Гоголя, Лермонтова... Мы даже не удивляемся и тому, что «Сѣверная Пчела» не жалуетъ «Отечественныхъ Записокъ»: этому должно такъ быть, и это выходитъ изъ той же причины, по которой «Сѣверная Пчела» бранить Пушкина и Гоголя и восхищается сочиненіями своихъ издателей, драмами гг. Полеваго и Ободовскаго, компиляціею Ламбина, романами и повѣстями Фанъ-Дима и проч. Да, это такъ должно быть, и намъ было бы очень прискорбно, еслибы «Сѣверная Пчела» хвалила журналъ нашъ... Мы понимаемъ, что для этой газеты было бы очень пріятно и выгодно, еслибы «Отечественныя Записки» хвалили сочиненія ея издателей; да для «Отечественныхъ Записокъ» — то это было бы и непріятно и невыгодно: ибо «Отечественныя Записки» пользуются и гордятся репутаціею добросовѣстнаго журнала въ глазахъ образованнѣйшей части читающей русской публики... «А между тѣмъ (продолжаетъ та же газета) сами издатели Сѣверной Пчелы и ихъ сотрудники должны терпѣливо сносить всѣ несправедливости, потому что имъ нельзя печатать ничего похвальнаго о собственныхъ трудахъ». — И вслѣдъ за этими строками «Сѣверная Пчела» говорить:

«Теперь, напримѣръ, какъ поступили журналы съ новымъ сочиненіемъ Н. И. Греча: *Письма съ дороги*? Сказали ли гг. критики, что по русски нѣтъ и не бывало такого основательнаго, хотя и краткаго описанія Италіи вообще и главныхъ столицъ ея, древняго и новаго Рима, Неаполя и подземной Помпеи съ планами и видами! Сказали ли критики, что ни при одномъ роскошномъ альманахѣ не было такихъ прелестныхъ гравюръ и притомъ двѣнадцать, какъ при этомъ сочиненіи, и что никогда еще за *четыре рубля серебромъ* не предлагали публикѣ столько картинокъ и политипажей!»

Вотъ и неопровержимое доказательство, что «Сѣверная Пчела», по свойственной ей скромности, никогда не хвалитъ



сочиненій своихъ издателей!!... Неужели публика «Сѣверной Пчелы» добродушно вѣрить такимъ увѣреніямъ, не принимая ихъ въ превратномъ видѣ?... Если такъ, то поздравляемъ «Сѣверную Пчелу», у ней добрая публика...

Въ томъ же номерѣ той же газеты находится странная выходка противъ редактора «Нашихъ» за обѣщаніе его—въ скоромъ времени напечатать статью: «Русскій фельетонистъ»... Фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» рѣшительно въ ужасѣ отъ обѣщанія редактора «Нашихъ»... подумаешь, право, что дѣло идетъ о чьей-нибудь жизни и смерти... Да много ли у насъ фельетонистовъ, да они люди отличнѣйшіе, да они не сословіе!—взываетъ растерявшаяся «Пчела»...

Есть отъ чего въ отчаяніе прійти!

А дѣло очень просто: редакторъ «Нашихъ» хотѣлъ перепечатать изъ «Отечественныхъ Записокъ» (1841 г., Т. XV, отд. «Смѣси») прекрасную статью г. Панаева «Русскій Фельетонистъ» съ политипажамъ; но г. Панаевъ, не совсѣмъ довольный малымъ объемомъ своей статьи, написалъ для «Нашихъ» новую, которая отличается отъ прежней большею общностию и вѣрно представляетъ разныхъ русскихъ фельетонистовъ. О чемъ же тутъ вопіять?... изъ чего хлопоты?

Въ 1-мъ № «Сѣверной Пчелы» новаго, 1843 года, помѣщена статейка «Обозрѣніе журналовъ», въ которой опытные знатоки газетной психологіи провидятъ весьма сомнительное состояніе газеты... Въ этой статьѣ, «Сѣверная Пчела» извѣщаетъ, будто-бы «лестная довѣренность къ Сѣверной Пчелѣ побудила многихъ изъ ея постоянныхъ читателей отнести въ ея редакцію письменно, чтобы редакція извѣстила: на какіе журналы должно подписываться въ наступающемъ 1843 году; но (будто бы) къ сожалѣнію, редакція не можетъ исполнить этого»!!... Вотъ здѣсь «Сѣверная Пчела» рѣшительно побѣдила насъ: между постоянными читателями «Отечествен-

ныхъ Записокъ» нѣтъ ни одного, который бы такъ мало довѣрялъ своему уму и вкусу, чтобы сталъ просить у насъ совѣта, на какіе ему журналы подписываться и на какіе не подписываться... И вотъ «Сѣверная Пчела» начинаетъ совѣтовать «своимъ постояннымъ читателямъ», до небесъ превознося мнѣе русской журналистики — «Сынъ Отечества» и «Русскій Вѣстникъ», находя въ нихъ идеалы всевозможнаго совершенства и только одинъ недостатокъ — неаккуратность въ выходѣ книжекъ (или совершенное прекращеніе выдачи книжекъ, какъ сдѣлалось съ «Русскимъ Вѣстникомъ»). Затѣмъ слѣдуютъ похвалы «Библіотекѣ для Чтенія» и ея редактору, который, по словамъ «Сѣверной Пчелы», «уважаетъ талантъ и заслугу, но если кого не любить, то умалчиваетъ вовсе о его сочиненіи» — вѣроятно, для изъясненія своего уваженія къ таланту и заслугѣ!... Далѣе расхваленъ «Репертуаръ», а за нимъ — «Экономя», и вотъ какъ: «Эконома нельзя хвалить Сѣверной Пчелѣ, потому что онъ принадлежитъ одному изъ издателей этой газеты, но публика доказала, что она благосклонна къ Эконому, который такъ усердно печется о хозяйствѣ своихъ читателей, и о кухнѣ ихъ, и о туалетѣ ихъ женъ и дѣтей, и наконецъ о ихъ здоровьѣ, и потому Эконому остается только благодарить публику за вниманіе»... Вотъ скромность, такъ скромность — тутъ уже самохвальства ни на волюсь!... Затѣмъ «Сѣверная Пчела» проситъ публику, подпискою на журналы, «поддержать существованіе», по крайней мѣрѣ, «четырехъ-сотъ семействъ, отъ ветошника до бумажнаго фабриканта, отъ типографскаго наборщика и переписчика до литератора»... Помилуйте, господа! да съ чего вы взяли, что публика обязана пещись о поддержаніи ветошниковъ, бумажныхъ фабрикантовъ, наборщиковъ и переписчиковъ? Публика покупаетъ книги и журналы для собственной пользы и удовольствія, и въ выборѣ книгъ и журналовъ руководствуется

своимъ смысломъ и вкусомъ, имѣя въ виду лучшіе, т. е. способнѣйшіе доставить ей пользу и удовольствіе книги и журналы, а советѣмъ не поддержку разнаго рабочаго народа!... Этакъ вы ставите ей въ обязанность покупать всякую печатную дрянъ — отъ книжекъ объ истребленіи клоповъ до спекуляцій на Исторію Россіи и Суворова и до залежалыхъ правоописательныхъ романовъ выписавшихся старыхъ сочинителей... Въ заключеніе этой курьёзной статейки, «Сѣверная Пчела» проситъ не подписываться на тѣ журналы, о которыхъ въ статейкѣ не упомянуто; а не упомянуто въ ней объ «Отечественныхъ Запискахъ», «Современникѣ» и «Москвитинѣ» (котораго еще недавно «Сѣверная Пчела» такъ превозносила). Очевидно, вся эта буря въ стаканѣ воды устремлена на «Отечественныя Записки», — и если въ этой статейкѣ «Сѣверная Пчела» скрѣпилась и умолчала о нихъ, за то тѣмъ шибче говорила о нихъ черезъ четыре нумера, какъ о томъ показано ниже.

Фельетонъ 6-го № «Сѣверной Пчелы» начинается похвалою первой книжкѣ «Библіотеки для Чтенія», которая будто бы «появилась въ свѣтъ въ щегольскомъ розовомъ робронѣ» (вѣроятно оберткѣ?), «съ богатымъ ожерельемъ, въ которомъ мы» (т. е. Сѣверная Пчела) «замѣтили три дорогія отечественныя жемчужины: Пиръ — Бенедиктова, Хозяйка, повѣсть Фанъ-Дима и Ломоносовъ, драматическую повѣсть Н. А. Полеваго... Каковъ восточный слогъ? — право, не хуже «отечественныхъ жемчужинъ», т. е. плохого, на погрѣмушкахъ изысканныхъ фразъ основаннаго стихотворенія, плохой, на бессмысленномъ явленіи безплотнаго духа основанной повѣсти, и плохой, на общихъ избитыхъ мѣстахъ и фразахъ основанной драмы, гдѣ низкій заимодавецъ-старикъ хочетъ насильно жениться на дѣвушкѣ, а Ломоносовъ, ея великодушный женихъ,

кстати уплачиваетъ долгъ и кстати женится... За тѣмъ слѣдуютъ подобострастные похвалы и робкіе упрёки «мелкому жемчугу» и алмазамъ «Библіотеки», которая заставила, въ своей «Лѣтописи», плясать Балакирева въ присядку съ «Супружескою Истинною» и о «Письмахъ съ Дороги» г. Греча сказала, что они не новость, потому что были уже напечатаны въ «Сѣверной Пчелѣ». Потомъ идутъ мелкія придирки къ одной ежедневной газетѣ, которая, къ досадѣ «Сѣверной Пчелы», стала несравненно лучше и интереснѣе ея, преобразовавшись съ новаго года... Послѣ того «Сѣверная Пчела» приступаетъ уже къ главному предмету своей статьи — къ «Отечественнымъ Запискамъ»:

«Чтобъ корабль Р(р)усской Ж(ж)урналистики шелъ плавно по прѣсному морю Р(р)усской С(с)ловесности, на дно корабля т. е. въ трюмъ, положены тяжелыя Отечественныя Записки. Поль-книги набито мелкимъ шрифтомъ и мелочными сужденіями — ни вѣсть о чемъ! Все *сбито, перемяшано надуто и раздуто*... и всегдашнее *блюдо*, которымъ въ каждой книжкѣ Отечественныхъ Записокъ подчиваютъ своихъ читателей, *шпикованный*, *Θ. Булгаринъ*, подъ кисло-горькимъ соусомъ — тутъ какъ тутъ! Но только не тотъ *Θ. Булгаринъ*, который написалъ до *сорока томовъ* повѣстей, романовъ и отдѣльных статей <sup>1)</sup>, и который издаетъ, вмѣстѣ съ Н. И. Гречемъ, *Сѣверную Пчелу*, въ теченіи девятнадцати лѣтъ сряду! Нѣтъ, этотъ *Θ. Булгаринъ*, какъ *ежъ* (?), не дается въ руки встрѣчному и поперечному. У Отечественныхъ Записокъ есть свой *Θ. Булгаринъ*, ихъ собственнаго сочиненія, созданный ими по ихъ духу и разуму» (помилуйте! развѣ по духу и разуму «Эконома», потому что шпиковать зайцевъ и тетеревовъ его дѣло!), «и этого-то *несчастнаго истукана* Отечественныя Записки ставятъ ниже гг. Кони, Кузмичева, Орлова, и въ каждой книжкѣ *варятъ, жарятъ, шпикуютъ* — а настоящій *Θ. Булгаринъ* и въ усъ себѣ не дуется... потому что это до него не касается и не прикасается».

Остановимся на этомъ. Не понимаемъ, съ чего взяла «Сѣверная Пчела», что «Отечественныя Записки» считаютъ г. *Θ. Булгарина* однимъ изъ тѣхъ мясныхъ припасовъ, которые

<sup>1)</sup> Что превосходить объемомъ труды А. А. Орлова и г. Кузмичева, вѣстѣ взятыхъ.

и шпикуются, и употребляются на шпикъ?... Не знаемъ также, за что г. Булгаринъ называетъ себя ежомъ, несчастнымъ истуканомъ, варёнымъ, жаренымъ, и пр. Еще менѣе понимаемъ, почему «Сѣверная Пчела» думаетъ, что «Отечественныя Записки» занимаются поварскимъ дѣломъ, неотъемлемо принадлежащимъ «Эконому», который издается г. Θ. Булгаринымъ!... Не вѣдаемъ, наконецъ, какую разницу находить она между шпикуемымъ, говоря ея словами, г. Θ. Булгаринымъ и настоящимъ г. Θ. Булгаринымъ: въ 1 № «Отечественныхъ Записокъ» г. Θ. Булгаринъ представленъ такъ, какъ онъ есть — литераторомъ, который дружески хотѣлъ показать г. Полевому, какъ должно пускать въ ходъ книги о Суворовѣ, и литераторомъ, который «уже не воинъ, а писатель»... Все это сказано было «Отечественными Записками» на основаніи собственной статьи г. Θ. Булгарина, помѣщенной въ фельетонѣ 285 № «Сѣверной Пчелы» прошлаго года... Неужели повторить, со всею вѣрностію, чьи-нибудь напечатанныя уже слова, значить варить, жарить, шпиковать?...

Далѣе фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» (т. е. г. Булгаринъ же), увѣряя что онъ не читаетъ «Отечественныхъ Записокъ» (и, полноте шутить! — читаете, да еще какъ!...), заставляетъ своего сотрудника вырывать разныя фразы изъ разныхъ годовъ «Отечественныхъ Записокъ» — фразы дѣйствительно непостижимыя уму ученыхъ издателей «Сѣверной Пчелы». Болѣе всего пострадала отъ ихъ остроумія выписка изъ 2-й части «Фауста» Гёте (Соч. Бѣлинскаго, Ч. V. стр. 37), которую «Сѣверная Пчела», въ простотѣ невѣдѣнія, вѣрно приняла за сочиненіе редакціи «Отечественныхъ Записокъ». Бѣдный Гёте, досталось же ему! Добрая газета даже искажила его слова, нападая на какія-то матеріи, тогда какъ у Гёте дѣло идетъ о матеряхъ; но это искаженіе сдѣлано безъ всякаго умысла: «Сѣверная Пчела» просто не поняла въ чемъ дѣло,

и по своему обыкновению называть бессмыслицею и галиматеею все, что превышает ее фельетонныя понятія, въ грязь втоптала бѣднаго Гёте. А все оттого, что въ торопяхъ не разсмотрѣла къ нашей статьѣ не однажды повтореннаго имени Гёте и указанія на «Фауста», изъ котораго взято это мѣсто о «царственных матеряхъ», превращенныхъ «Сѣвѣрною Пчелою въ «царственныя материн». Она такъ обрадовалась своей неспособности понимать глубокой смыслъ идей Гёте, или своей способности видѣть бессмыслицу въ идеяхъ Гёте, что начала издавать звуки, смыслъ которыхъ дѣйствительно непостижимъ ни чьему уму какъ, напримѣръ: «Ай, вай!» и пр. (см. 6 № «Пчелы» 1843). Зачѣмъ бы, кажется, нападать на то, чего разумѣть не дано свыше! Какъ, за чѣмъ? за тѣмъ чтобъ показать свое презрѣніе къ такому плохому журналу, какъ «Отечественныя Записки»? Это стоило того, чтобъ перечитывать его за всѣ годы, и въ 1843 году выписывать фразы изъ 1841 года!. Право, господи, не мѣшало бы вамъ или лучше скрывать свои настоящія чувства, или ужъ не противорѣчить себѣ, увѣряя публику, что вы не читаете «Отечественныхъ Записокъ»? Да не мѣшало бы также вамъ быть поосторожнѣе въ своихъ нападкахъ на нашъ журналъ: вѣдь «Отечественныя Записки» не «Сѣвѣрная Пчела» и не «Экономъ»: находить ошибки въ нихъ можно, но тѣмъ только, кто учился чему-нибудь, знаетъ что-нибудь, кромѣ теоріи шпигованія тетерекъ свинымъ саломъ...

Въ этомъ же фельетонѣ, «Сѣвѣрная Пчела» повторила въ тысячу первый разъ, что г. Краевскій «неизвѣстенъ вовсе въ исторіи русской литературы, потому что онъ не написалъ ни одного сочиненія». И это тоже не мѣшало бы оставить, изъ уваженія къ здравому смыслу: кто же повѣритъ вамъ, что бы въ русской литературѣ былъ неизвѣстенъ человѣкъ, уже седьмой годъ сряду дѣйствующій на поприщѣ русской журналистики и пятый годъ редактирующій такой журналъ, какъ

«Отечественныя Записки»?... Правда, онъ не писалъ ни романовъ, ни повѣстей, ни драмъ; но это доказываетъ только, что онъ ни романистъ, ни повѣствователь, ни драматургъ, а совсѣмъ не то, чтобъ онъ не былъ журналистомъ и слѣдственно, литераторомъ. Всѣ очень видятъ, что вы это хорошо знаете; такъ же какъ всѣ очень хорошо понимаютъ и ваше равнодушіе, и ваше презрѣніе къ «Отечественнымъ Запискамъ», и то, что вы ихъ совсѣмъ не читаете, хотя и знаете наизусть цѣлыя статьи изъ нихъ; всѣ знаютъ, что вы и вѣдать не хотите о существованіи «Отечественныхъ Записокъ», хотя только объ нихъ и жужжите, и хотя бываете долго не въ духѣ послѣ выхода каждой книжки этого журнала, безъ умолку толкуете о немъ по выходѣ каждой его книжки, и почему-то умолкаете передъ выходомъ слѣдующей...

Въ 5 № «Сѣверной Пчелы» находится блистательное свидѣтельство скромности этой газеты, т. е. того, что она никогда не прославляетъ своихъ издателей. Вотъ чтò, между прочимъ, сказано въ ней при разборѣ «Записокъ артиллеріи майора Михаила Васильевича Данилова»:

• Въ особенности мило описаны дѣтскія лѣта автора; характеристика перваго его учителя, пономаря Брудастаго, экзекуція сѣрой кошки и тетюшкинъ обычай стѣчь дворнику за шалости своего племянника — описаны превосходно (*характеристика учителя описана превосходно — по каковски это...*). Эти страницы живо напоминаютъ намъ *Ивана Выжигина*, который двинулъ всю литературную Русь на поприщѣ(е) романовъ. Враги Булгарина могутъ его осыпать всѣми возможными субъективными стрѣлами мировой своей критики, но заслугъ его никогда не отнять, не помрачить. Полемика исчезнетъ, факты останутся. *Иванъ Выжигинъ* былъ первый (*послѣ «Бурсака» и «Двухъ Ивановъ» Нарѣзнаго*, — прибавимъ мы отъ себя) нашъ *Р(р)усскій романъ*, и дай Богъ, чтобъ послѣдователи Булгарина писали такіе же романы (вотъ ужъ это бесполезное во всѣхъ отношеніяхъ желаніе!). Вотъ новое доказательство всей естественности, всей истины разсказа Булгарина (гдѣ же

доказательство?—въ «Сѣверной Пчелѣ»!!!...). Дѣтство маіора Данилова описано съ тѣмъ же простодушіемъ, чистосердечіемъ и увлекательностію (должно быть, съ тѣмъ же, если сама «Сѣверная Пчела» увѣряетъ: ей лучше знать все, что касается до ея издателя). Авторъ Выжигина не могъ знать Записокъ Данилова, а одинаковыя положенія должны были родить одинаковыя идеи.

Но чтѣ же общаго между забытымъ сатирическимъ романомъ и «Записками Данилова», кромѣ того, что то и другое писано русскими, а не греческими буквами? Если съ чѣмъ-нибудь есть общее у «Ивана Выжигина», такъ это съ сатирическимъ же романомъ А. Измайлова: «Евгеній, или Пагубныя Слѣдствія дурнаго воспитанія и сообщества». Хотя этотъ романъ напечатанъ въ 1799 году, но по сатирическому направленію и таланту сочинителя, онъ какъ разъ приходится въ родные батюшки «Ивану Выжигину», и, надо сказать, что сыночекъ уродился въ отца, а не въ проѣзжаго молодца, хотя и воспитанъ въ собачей конурѣ.

Преобразование одной ежедневной политической газеты, совершившееся въ нынѣшнемъ году и много улучшившее эту газету, пробудило спящее соревнованіе «Сѣверной Пчелы»: она призвала къ себѣ на помощь, по части театральной критики, одного знатнаго сочинителя, написавшаго до сотни томовъ романовъ для публики толкучаго рынка, а по части критики литературной, одного пережившаго свою славу литератора, который только и дѣлаетъ, что хоронитъ одинъ журналъ за другимъ, стараясь поднять ихъ на ноги. Этотъ вольнопрактикующій журнальный врачъ дебютировалъ въ «Сѣверной Пчелѣ» (№ 2) слѣдующею много-знаменательною фразою: «Содержаніе (повѣсти графа Соллогуба) взято изъ большаго свѣта. Зная область его (т. е. большаго свѣта) только по наслышкѣ, мы готовы спросить: неужели такъ бываетъ въ большомъ свѣтѣ?» Слава Богу! Давно бы такъ пора! Послѣ этого добровольнаго признанія,



которое паче всякаго свидѣтельства, есть надежда, что «Пчела» перестанетъ толковать о дурномъ и высшемъ тонѣ и нападать, за сальности и неприличіе, на Гоголя, котораго читаетъ большой свѣтъ, не видя въ немъ ни сальностей, ни неприличія...

Въ 1 № «Москвитянина» на 1843 годъ, въ статьѣ «Критическій перечень произведеній Р(р)усской С(с)ловесности за 1842 годъ», находится слѣдующее оригинальное сужденіе о г. Бенедиктовѣ, достойное быть сохраненнымъ для потомства:

«Несмотря на своихъ враговъ, онъ (г. Бенедиктовъ) остается всегда отмѣченъ (?) своею яркою особенностію въ Р(р)усской лирической П(п)оэзіи. Главная черта его лиры (черта лиры...) *по нашему мнѣнію* есть мысль, глубоко лежащая въ каждомъ изъ лучшихъ его произведеній, и растворенная часто, особенно прежде, теплотою душевною, въ отношеніи къ слиянію мысли и чувства (?!), М(м)уза Бенедиктова нѣтъ большого родства съ М(м)узою Шиллера, которая произвела на нее сильное вліяніе. Справедливо упрекали Бенедиктова въ изысканности выраженія, въ чемъ можно упрекнуть и славнаго Н(н)ѣмецкаго лирика; но никто не отниметъ у него особенности его стила и звука, которыхъ онъ ни у кого не занялъ».

Итакъ, дѣло рѣшеное: г. Бенедиктовъ — Шиллеръ. г. Левскій—Беранже и проч... Послѣ этого, сравненіе Гоголя съ Гомеромъ ужъ не должно казаться нелѣпостію...

Въ какомъ-то миѳическомъ петербургскомъ журналѣ была, сказывали намъ, напечатана басня «Крысы»; къ удивленію нашему, эта же басня перепечатана въ № XII «Москвитянина» за 1842 годъ. Изъ этого мы заключили, что какъ остроумный сочинитель, такъ и редакторы обоихъ журналовъ, придаютъ большое значеніе этой баснѣ. Чтобъ доставить вящее наслажденіе всѣмъ имъ, перепечатываемъ басню и для нашихъ читателей:

Въ книгопродавческой обширной кладовой,  
Среди печатныхъ книгъ, уложенныхъ стѣной,

Прогрызали какъ-то изъ подполья  
 Лазейку крысы для себя,  
 И поживиться вѣсѣмъ любя,  
 Нашли довольно тутъ и пища и приволья.  
 Не знаю какъ печать  
 Учились крысы разбирать;  
 Но дѣло въ томъ, онѣ какъ знали,  
 Стихотворенія читали,  
 Поэзію зубами рвали,  
 И начали судить, рѣдить,  
 Поэтовъ, какъ котовъ, бранить,  
 И на Державина напали.  
 Одна безхвостая на полку взобралась:  
 Давно у этой забіяки  
 Отгрызли хвостъ *собаки*,  
 Но крысъ учить она взялась.  
 • Державинъ былъ талантъ для вѣсѣхъ временъ великій!  
 • Великій онъ поэтъ лишь для своей поры,  
   • А не для нашей онъ норы;  
   • Для насъ пѣвецъ онъ полудикій!  
   • Для насъ—поэтинъ въ немъ нѣтъ;  
   • Для насъ едина ли онъ какой-нибудь поэтъ;  
   • Для насъ все мертво въ немъ, скажу чистосердечно.  
   • Не наша то вина, и не его конечно,  
   • Мы не винимъ его, а судимъ лишь о немъ;  
   «Пусть судять же и насъ путемъ!...»  
 Такую крыса рѣчь и долго бѣ продолжала,  
 Но груда книгъ, свалясь, безхвостую прижала;  
 Она пищить, скребеть... коть Васька близко былъ  
   И судъ по формѣ совершилъ.  
 Литературныхъ крысъ я наглости дивился;  
 Знать Васька коть запропастился.

Въ 35 № «Сѣверной Пчелы» превозносится до небесъ пло-  
 хая драма г. Полеваго «Ломоносовъ», и, по обыкновенію, съ  
 ожесточеніемъ порицаются «Отечественныя Записки» за то,  
 что онѣ говорятъ правду о новомъ драматическомъ издѣліи г.  
 Полеваго. «Не знаемъ, чему дивиться (воскликаетъ «Сѣверная

Пчела»), храбрости ли Отечественныхъ Записокъ, которыя, вопреки истинѣ и общему мнѣнію, стремятся унижать достоинства писателей, не принадлежащихъ къ ихъ партіи, или терпѣнію публики!» Въ самомъ дѣлѣ, нужна особенная храбрость, чтобъ смѣть сказать правду о такомъ великомъ національномъ геніи, какъ г. Полевой! По нашему мнѣнію, гораздо больше нужно было храбрости разругать седьмую главу «Онѣгина», превознося до небесъ первыя шесть главъ его; но «Сѣверная Пчела» и это сдѣлала. Нужно было также довольно смѣлости, чтобъ разругать и лучшее произведеніе г. Загоскина—«Юрій Милославскій», а потомъ хвалить слѣдовавшіе за нимъ посредственные его романы; но «Сѣверная Пчела» и это сдѣлала. Еще больше нужно смѣлости, чтобъ въ одномъ номерѣ газеты назвать «Уголино» г. Полеваго піесой равною по достоинству съ драмами Шиллера, а черезъ три дня, въ той же газетѣ, поставить ее хуже всего худаго, оправдываясь передъ публикою въ первомъ отзывѣ кумовствомъ, самарадеріе!... Но чтобъ сказать правду о какомъ-нибудь поставщикѣ дюжинныхъ драмъ — для этого ненужно никакой храбрости, и какъ ни хлопотеть «Сѣверная Пчела», а изъ нашихъ отзывовъ объ издѣліяхъ драматической «тли» никогда не удастся ей сдѣлать страшнаго литературнаго преступленія...

—

Въ фельетонѣ того же знаменитаго номера (35-го) «Сѣверной Пчелы», оканчивающагося апопееозомъ блиновъ въ екатерингофскомъ вокзалѣ и въ кафе-ресторанѣ Беранжѣ, есть еще двѣ прекуръёзныя диковинки. Фельетонистъ, превознося до небесъ, виѣсть съ блинами, и «Ломоносова» г. Полеваго, упрекаетъ его только за характеръ Тредьяковского, и на какомъ бы — думали вы — основаніи? Послушайте самого фельетониста: «Точно ли былъ таковъ Тредьяковский? Правда ли, что писалъ о немъ Ломоносовъ и другіе враги? Чтѣ бы было, еслибы потомъ

ство стало судить объ авторахъ (не о сочинителяхъ ли?), на-  
примѣръ, по сужденіямъ Отечественныхъ Записокъ?» — Вотъ,  
поистинѣ, странное опасеніе! Ужь не боится ли г. фельето-  
нистъ, чтобы его нѣкогда не вывели въ какой-нибудь «драма-  
тической повѣсти»? Или, не думаетъ ли онъ, что кто-нибудь  
можетъ замаскироваться отъ потомства, когда онъ знаетъ,  
что и для современниковъ не такъ-то легко ходить долго подъ  
маскою? Державинъ сказалъ великую истину и высокую мысль  
въ этихъ стихахъ:

Какихъ ни вымышляй пружинъ,  
Чтобъ мужу бую умудриться:  
Не можно вѣкъ носить личинъ,  
И истина должна открыться!

Вторую курьёзную вещь въ этомъ фельетонѣ тоже выпишы-  
ваемъ цѣликомъ:

«Пропала русская пословица: «по платью встрѣчаютъ, по уму провожаютъ!». Те-  
перь ни до платья, ни до чужаго ума никому нѣтъ дѣла, если вашъ умъ  
не нуженъ другимъ для спекуляцій! Теперь собесѣдниковъ выбираютъ по адресъ-  
календарю или по биржевымъ извѣстіямъ, а не по уму и любезности. А то  
ли было въ XVIII вѣкѣ? *Что было бы съ авторомъ, котораго писца  
имѣла бы такой блистательный успѣхъ, какъ Ломоносовъ Н. А.  
Полеваго!* Вспомнимъ о Сумарковѣ, Фонѣ-Визинѣ, Аблесимовѣ и многихъ  
другихъ.»

Объ Аблесимовѣ, на этотъ счетъ, мы ничего не помнимъ;  
а о Сумарковѣ хорошо помнимъ, что онъ, по своему раздражи-  
тельному, сочинительскому самолюбію, былъ въ обществахъ не  
очень лестно принятъ. Фонъ-Визинъ — совсѣмъ другое дѣло:  
это былъ не только умный, острый и образованный человѣкъ,  
но и литераторъ честный...

Давно уже слышимъ мы, что въ «Петербургѣ» издается ка-  
кой-то журналъ подъ именемъ «Маяка» и желали, изъ любопыт-  
ства, видѣть его; по справкамъ оказалось, что это чрезвычайно

трудно, и мы принуждены были отказаться отъ своего желанія, — какъ вдругъ 24-й нумеръ «Сѣверной Пчелы» снова возбудилъ въ насъ желаніе удостовѣриться въ существованіи мнѣшескаго журнала. На этотъ разъ, случай помогъ намъ неожиданно достать январскую книжку «Маяка» на 1843 годъ, — и при всей нашей недовѣрчивости къ «Сѣверной Пчелѣ», мы увидѣли, что все, сказанное въ ней (N 24) о «Маякѣ» — сущая правда, не выдумка. Перелистовавъ эту книжку, мы тотчасъ увидѣли, что это журналъ «для немногихъ», и тотчасъ поняли, почему немогли такъ долго убѣдиться собственными глазами въ его существованіи. Между прочими диковинками — представьте себѣ, какой-то г. Мартыновъ общается Степану Онисимовичу, издателю «Маяка», подробный обзоръ стихотвореній А. С. Пушкина. Предвидя удивленіе многихъ, что какой-то господинъ Мартыновъ общается лучше всѣхъ бывшихъ и настоящихъ критиковъ оцѣнить Пушкина, онъ (т. е. г. Мартыновъ) говорить:

*«Лѣтописи грамотности или словесности, по вашему — литературы, представляютъ каждому изъ насъ убѣдительныя доказательства того, что самые извѣстные и знаменитые цѣнители чужихъ произведеній часто впадаютъ въ непростительныя промахи: или слишкомъ заговариваются, или многое не договариваютъ, или многое переговариваютъ; между тѣмъ какъ люди, дотогѣ неизвѣстные, являются на сцену письменности съ ясными, прямыми и вѣрными взглядами на вещи этого рода, безъ малѣйшаго посягательства на высшія точки зрѣнія, и прославленный отъ современниковъ писатель предстаетъ передъ потомство съ оцѣпанными лаврами.» (Крит. стр. 24).*

По мнѣнію г. Мартынова, всѣ критики, хвалившіе Пушкина, и пристрастны и поверхностны; судя по этому и по другимъ фразамъ статьи г. Мартынова, видно, что онъ рѣшился общипать Пушкина не на шутку. Г. Мартыновъ говорить правду, что нѣтъ дѣла до извѣстности или неизвѣстности критика, лишь бы онъ дѣльно критиковалъ; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы какой-нибудь господинъ, хотя бы то былъ самъ

г. Мартыновъ, не сдѣлавъ дѣла, а только посуливъ его, уже имѣлъ, право расхвастаться имъ, какъ великимъ подвигомъ, и утверждать храбро, что всѣ критики заблуждались, а одинъ онъ напалъ на истину. Но въ «Маякѣ» этотъ тонъ принять, какъ видно, за основаніе изданія: имъ такъ и дышать всѣ статьи его. Г. издатель «Маяка» (если не ошибаемся, г. Бурачекъ), въ отвѣтъ на литературное хвастовство г. Мартынова, говоритъ, что для нашей литературы насталъ вѣкъ мишурности, что Батюшковъ былъ предвѣстникомъ, а Пушкинъ основателемъ и утвердителемъ этой мишурности; что противъ нея теперь ратуютъ, елико силъ хватаетъ «Маякъ», «Сынъ Отечества» и «Москвитянинъ», а прочіе журналы горой стоятъ за нее!... Боже великій, что это такое?... Но погодите — то ли еще впереди! «Сыну Отечества» «Маякъ» воздаетъ полную похвалу, какъ достойному его сподвижнику; но «Москвитянинъ» онъ только вполнину доволенъ: «Москвитянинъ» — видите ли — противорѣчить самому себѣ, съ одной стороны утверждая, что русская литература должна свергнуть съ себя вліяніе лукаваго и буйствомъ разума омраченнаго Запада и быть самобытною и оригинальною; а съ другой стороны, утверждаетъ, что «Мертвыя Души» Гоголя — великое произведеніе, что Пушкинъ — великій поэтъ, и что Западъ образованнѣе насъ.

«Въ чемъ (воскликаетъ въ рыцарскомъ негодованіи нашъ восточный витязь)? въ вѣзкѣ блондоевъ (блондъ?), въ развлеченіяхъ и услажденіяхъ жизни, въ желѣзныхъ дорогахъ, операхъ — въ роскоши? — *пожалуй*; но въ любви къ Богу, въ добродѣтели, въ семейности, въ сердечной, духовной образованности, что безконечно важнѣе и труднѣе — Русскіе всегда были и есть выше Запада» (стр. 30).

Далѣе, издатель «Маяка» восклицаетъ: «Добрые Русскіе! вы всѣ согласны, что пора намъ бросить чужое и возвратиться къ своему?» и такъ заставляетъ добрыхъ Русскихъ отвѣчать

ему: «Да, да, мы всё согласны. Это хорошо. Давайте свое, свое, русское, родное! ура!» (стр. 34). «Стало быть и Пушкинъ мишуриникъ!» спрашиваютъ хороми добрые Русскіе г. издателя «Маяка»: «Какъ смѣть! мировой поэтъ! народный гений! краса и столбъ нашей литературы!»... Но издателя «Маяка» нельзя сбить съ толку цѣлому хору добрыхъ Русскихъ, — и онъ, ни мало не запинаясь, отвѣчаетъ такъ:

— Добрые Русскіе! вѣдь это все пока *порожнія рѣчи*, слова — слова — слова! взгляните въ дѣло: разберете Пушкина: вотъ г. Мартыновъ предлагаетъ вамъ свой исполнинскій трудъ: выслушайте его спокойно, не горячась, посудите, потолкуемъ, — убедитесь и положимъ: «быть тому такъ»: всё заблуждался въ словесности, *есть поголовно*, и производители и потребители. Кого же винить? — ложный духъ времени! Кому красить — никому или всѣмъ: а на людяхъ не только смерть, и стыдъ красенъ. Смирите же свою неумѣстную гордость, отринемъ свою мнимую непогрѣшимость, падшими челоуѣками и, подъ такимъ назидательнымъ урокомъ милующей разъ и навсегда перестанемъ повторять *порожнія рѣчи*! (стр. 32).

Вотъ ужъ подлинно порожнія рѣчи! Какъ бы хорошо было, для чести здраваго смысла и русской литературы, еслибы онѣ перестали повторяться! И что за милый, наивный и паріархальный тонъ, что за короткость съ добрыми Русскими! Хорошо еще, что эти «добрые Русскіе» не слышатъ такихъ «порожнихъ» рѣчей! Видите ли: соберемтесь-ка вкупѣ и влюбѣ, сядемъ кругомъ г. Мартынова, читающаго намъ свой исполнинскій трудъ, состоящій изъ порожнихъ рѣчей, — да не горячась, спокойно, — и сознаемся въ ничтожествѣ, или, нѣтъ бишь — въ мишуристности нашего великаго поэта и въ собственной глупости, да, по старинному обычаю, и ударимъ челоуѣ, не боясь запачкать его въ грязи, премудрому г. Мартынову, наведшему насъ такъ легко и скоро на умъ-разумъ... Кстати ужъ заодно въ смиреніи сердца поваляемся въ ногахъ и у новаго великаго муфтія россійской словесности, г. издателя «Маяка», что онъ растолковалъ намъ, невѣждамъ, что Пушкинъ не болѣе,

какъ флигельманъ русской литературы, которая доселѣ повторяетъ его «мишурные артикулы» (стр. 32), — и только попросимъ, чтобы онъ, нашъ литературный муфтіи, смиловался, удержалъ порывъ своего мусульманскаго фанатизма, помня пословицу: гдѣ гнѣвъ, тамъ и милость!... Ну, добрые Русскіе! гаркнемъ же дружно и велегласно: помилуй, отецъ и командиръ, впередъ право не будетъ! Убѣдимся, вразумимся и дружно примемся лѣчиться!...

И это литература?... Но что жъ тутъ огорчаться: вѣдь это литература подземная, — задній дворъ литературы... Однакожъ, интересно знать, что разумѣютъ эти господа подъ «народностию» русской литературы и какія средства почитаютъ они необходимыми для того, чтобы наша литература сдѣлалась народною. Скучно выписывать, а дѣлать нечего, если ужъ начали. Итакъ, слушайте «добрые Русскіе»:

«Давайте выражать русское горячее *чувство*, мудрое *знаніе* и *силу* богатырскую души, — живымъ, кипучимъ, роднымъ, народнымъ, маленько мужицкимъ словомъ... Что же, господа (надобно бы — *ребята* или *братцы*)?... Да гдѣ же вы?... Куда жъ вы разбѣжались?...

Надобно сказать, что вся эта галиматья изложена въ видѣ спора между «Маякомъ» и «Москвитяниномъ». Изъ чего же спорять сіи достойные сподвижники? За что вооружился «Маякъ» на «Москвитянина»? Имъ-то ужъ совсѣмъ бы не слѣдовало ссориться. Но таковы люди! Это еще только перемолвочка — милые бранятся, только тѣшутся; а то бываютъ какія страшныя ссоры между (выражаясь маленько мужицкимъ словомъ) закадышными друзьями!... Гоголь превосходно изобразилъ примѣръ такихъ разрывовъ самой пламенной дружбы въ лицѣ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича... Главная разница въ характерахъ сихъ достойныхъ друзей состояла въ томъ, что Иванъ Ивановичъ былъ чрезвычайно тонкій и разборчивый на слова человекъ; а Иванъ Никифоровичъ любилъ



иногда вернуть въ разговоръ маленько мужицкое словцо...  
 Это и было причиною вражды, смѣнившей ихъ дружбу...

Любопытно и поучительно слѣдить за процессомъ возрастанія какой бы ни было большой славы. Ни какал слава не дается даромъ: ее надо взять съ бою. Люди не охотно признаютъ превосходство надъ собою одного человѣка, и готовы ревновать даже такому успѣху, который, собственно для нихъ, не имѣетъ никакой цѣны. Вотъ почему иногда глупецъ, незнающій грамотѣ, громче другихъ кричитъ противъ литературной славы, потому только, что она — слава. Но кромѣ бессознательной толпы есть еще особенный родъ непримиримыхъ враговъ литературной славы, которыхъ обязанность и назначеніе именно въ томъ и состоитъ, чтобы сдѣлать цѣннѣе вѣнокъ ея: сюда принадлежатъ маленькіе таланты съ большимъ самолюбіемъ, разная посредственность, для мелкаго эгоизма которой всякій успѣхъ есть личная, кровная обида. Эта моль и тля, враждебная всякой знаменитости, вѣчно воюетъ и грызется между собою; но при видѣ знаменитости, словно по инстинкту, дѣйствуетъ согласно и дружно. Взаимное истребленіе у нея идетъ довольно успѣшно: поле битвы покрывается трупами, — и изъ этихъ гнѣющихъ труповъ возникаетъ новая моль, новая тля, и эта исторія повторяется безконечно. Но истребленіе истинной славы никогда не удастся этой завистливой породѣ насѣкомыхъ: мухи на время могутъ запачкать картину генія;

Но краски чуждыя, съ лѣтами.  
 Спадаютъ ветхой чешуей;  
 Созданье генія предъ нами  
 Выходитъ съ прежней красотой.

Но моли, тлѣ, мухамъ и подобнымъ тому дряннымъ насѣкомымъ довольно и того, если имъ удастся хоть на минуту затемнить славу и на время помѣшать ея успѣхамъ, чтобы между тѣмъ,

подъ-шумокъ. пока общественное мнѣніе еще не установилось отъ своего нерѣшительнаго колебанія, воспользоваться крохами отъ убогой трапезы своей бѣдной извѣстности. Забавно смотрѣть, когда эта тля, видя, что дѣло славы уже совершилось, терается въ отчаяніи, сбивается съ плана своей атаки: то, желая казаться безпристрастною въ глазахъ толпы, уже не позволяющей ей обманывать себя, лукаво хвалить знаменитость, то, вновь приходя въ безсильную ярость отъ глубоко уязвленнаго самолюбія, изступленною бранью изобличаетъ притворство своихъ предательскихъ похвалъ. Это часто случается во всякой литературѣ, гдѣ есть дюжинные таланты, есть посредственность, и гдѣ, между ними, возникаетъ иногда могучій талантъ...

Кстати: что дѣлается въ нашей литературѣ? Увы, она предчувствуетъ весну, несмотря на зимній холодъ и снѣгъ, которые такъ некстати превратили весну въ зиму, — предчувствуетъ весну — и начинаетъ погружаться въ свою обычную летаргію, которая продолжится до послѣднихъ дней осени. И такъ, остаются одни журналы, которые, такъ и саякъ, но все же бодрствуютъ въ продолженіи цѣлаго года. Что же новаго въ журналахъ? — Самая послѣдняя и самая забавная новость въ нихъ—это рецензія «Библіотеки для Чтенія» на изданіе сочиненій Гоголя, въ четырехъ томахъ. Эта рецензія особенно замѣчательна тѣмъ, что, за исключеніемъ немногихъ умышленно и неумышленно-ложныхъ взглядовъ, выраженныхъ неприлично бранчивыми фразами, о самихъ сочиненіяхъ почти ничего не сказано, а между тѣмъ, рецензія довольно длинна. О чемъ же говорится въ ней? О томъ, что Гоголь зазнался, подчинясь прискорбному ослѣпленію самолюбія; что его понятія о своемъ значеніи въ искусствѣ «раздувались» болѣе и болѣе; что надобно же будетъ, рано или поздно, его «колоссальному тщеславію» подать

въ отставку отъ «потѣшнаго» званія «перваго поэта нашего времени» за «неспособностью къ этому званію» и за «ранами, нанесенными самолюбію» (чьему? — не сказано въ рецензіи, но должно думать, что самолюбію рецензента «Библиотеки»); что ему, рецензенту, иногда становится страшно, чтобы, для большаго эффекта, Гомеръ Второй (т. е. Гоголь) не закололся, и тому подобное... Все это не выдуманно и нисколько не преувеличено нами: все это напечатано въ «Литературной Лѣтописи» «Библиотеки для Чтенія» за мартъ нынѣшняго года. Мы сочли необходимымъ, подобное увѣреніе съ нашей стороны, что фразы «Библиотеки» переданы нами вѣрно, безъ искаженія и безъ преувеличенія: читая ихъ мы не вѣрили собственнымъ глазамъ, а когда убѣдились, что наши глаза не обманываютъ насъ, то не шутя стали бояться, чтобы «почтеннѣйшій» рецензентъ, для большаго эффекта, не закололся: ибо подобныя фразы явно обнаруживаютъ разстройство, вслѣдствіе сильнаго припадка отчаянія. Къ какой стати, вмѣсто разбора сочиненій автора, толковать о его самолюбіи, дѣйствительности котораго, къ довершенію всего, еще и доказать нечѣмъ? «Вечера на Хуторѣ» Гоголю кажутся менѣ заслуживающими вниманія публики, чѣмъ позднѣйшія его произведенія: если и допустить, что онъ ошибается, то гдѣ же тутъ самолюбіе? Развѣ смотрѣть ошибочно на свои произведенія—все равно, что увлекаться тщеславіемъ? Да и кто далъ право рецензенту «Библиотеки» на цензорство нравовъ писателей? Если онъ видитъ въ себѣ идеалъ скромности, при огромномъ талантѣ — передъ нимъ: онъ можетъ, сколько ему угодно, любоваться своими нравственными совершенствами, одному ему извѣстными; но пусть удержится отъ «скромнаго» стремленія называть печатно извѣстнаго писателя зазнайкою, хвастуномъ, помѣшаннымъ отъ самолюбія, и т. п. Такія замашки обнаруживаютъ явно безпокойство и смущеніе духа! Мы знаемъ, что рецензентъ «Библиотеки» никогда не

отличался эстетическимъ вкусомъ, мы помнимъ, что онъ бранилъ Пушкина и превозносилъ г. Тимофеева, поставилъ ни во что лучшее произведеніе Лажечникова — «Ледяной Домъ» и превозносилъ до небесъ плохой романъ г. Степанова — «Постоялый Дворъ»; съ презрѣніемъ отзывался объ историческихъ романахъ Вальтеръ Скотта — и провозгласилъ г. Кукольника великимъ геніемъ... И такъ, нисколько не удивительно, что сочиненія Гоголя недоступны, по своей высотѣ, для вкуса и разумія рецензента «Библіотеки», и еслибы его сужденія о нихъ происходили только изъ безвкусія и незнанія въ дѣлѣ изящнаго, то мы и не обратили бы на нихъ никакого вниманія, снисходительно позволя ему судить и рядить по крайнему его разумію. Но нѣтъ! Въ его бранчивыхъ приговорахъ, кромѣ безвкусія и невѣднія, выказывается еще и худо скрываема враждебность, какое-то ожесточеніе противъ таланта Гоголя. Люди, неимѣющіе эстетическаго вкуса и эстетическаго образованія, могутъ находить, напримѣръ, комедію Гоголя «Женитьба» слабою, неудачною, если хотите; но никто изъ людей грамотныхъ, не скажетъ, чтобы въ ней не было смысла. Что касается до «Разъѣзда», это превосходное произведеніе обратило на себя общее вниманіе и общія похвалы и друзей и недруговъ таланта Гоголя; а рецензентъ «Библіотеки» смѣло утверждаетъ, что нелѣпѣ этой пьесы міръ ничего не производилъ... Нѣтъ! какъ бы ни старался рецензентъ увѣрять насъ въ своемъ безвкусіи и невѣдніи, — мы повѣримъ ему только на половину, а другую отнесемъ къ раздражительности глубоко оскорбленнаго самолюбія, которое сознало наконецъ бѣдность своего авторскаго дарованія. И конечно Гоголь былъ виною этого сознанія, равно какъ и того, что «Дѣва Чудная», которую сочинитель общалъ, болѣе года назадъ тому, кончить и издать особою книгою, не являлась въ свѣтъ... Послѣ Гоголевскаго юмора, трудно имѣть свой юморъ; а послѣ «Миргорода», повѣ-

стей въ родѣ «Шинели», романа въ родѣ «Мертвыхъ Душъ», кто же улыбнется при чтеніи «Фантастическихъ Путешествій» барона Брамбеуса и его повѣстей, гдѣ мандаринши ищутъ у себя блохъ и подобныя тому грубыя сальности издаютъ отъ себя свой особенный запахъ?... Нѣтъ, прошла, давно прошла пора авторскаго и юмористическаго гарцованія для сочинителей въ родѣ барона Брамбеуса! Конечно, въ этомъ, опять-таки, виновать Гоголь же, но, какъ говорить пословица, безъ вины виновать. Забавнѣ всего нападки рецензента «Библіотеки» на грязныя картины въ сочиненіяхъ Гоголя: подумаешь, дѣло идетъ о повѣстяхъ барона Брамбеуса... Особенно возмущаетъ нашего благовоспитаннаго рецензента то, что герои Гоголя «сморкаются, чихаютъ» и «падаютъ», и что они ругаются «канальями, подлецами, мошенниками, свиньями, свинтусами и оетюками»... Все это кажется ему особенно несовмѣстнымъ съ идеею поэмы: видно, что эту идею онъ вычиталъ изъ піитики г. Толмачева или г. Георгіевскаго, гдѣ поэмы предписано сочинять непременно стихами и непременно «высокимъ слогомъ». Должно быть, ученому рецензенту неизвѣстно, какъ въ poemѣ поэма—«Илліадѣ» не только люди, но и боги ругаются другъ съ другомъ не лучше героевъ повѣстей Гоголя: такъ напримеръ, въ XXI пѣсни, Арей называетъ Палладу «наглою мухою», а Гера-богиня Артемиду-богиню—«безстыдною псицею», или, говоря проще—«сукою». Скажутъ: это недостатки поэзіи грубыхъ временъ: старыя пѣсни! не недостатки, а вѣрное изображеніе современной дѣйствительности, съ ея бытомъ и ея понятіями! Г. Полевой выдумалъ съ горя называть юморъ Гоголя «малороссійскимъ жартомъ»; рецензентъ «Библіотеки», во всемъ другомъ несогласный съ г. Полевымъ, съ радостію подхватилъ это слово «жартъ», — и вышла нелѣпость: ибо малороссійскій глаголъ «жартовать» значитъ—любезничать съ женщинами, слѣдовательно, слово «жартъ» не имѣетъ ни-

какого соотношенія съ понятіемъ о какомъ бы то ни было юморѣ — малороссійскомъ, или великороссійскомъ... Очень забавно также видѣть, какъ старается рецензентъ прикрыть неблаговидныя чувства свои къ таланту Гоголя противорѣчащими брани похвалами: изъ Поль-де-Кокковъ онъ уже произвелъ его въ Диккенса, «Вечера на Хуторѣ» похваливаетъ, «Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ» находитъ художественнымъ созданіемъ, съ похвалою отзывается о «Тарасѣ Бульбѣ, въ его первобытномъ видѣ, но для того, чтобы тѣмъ больше унижить это произведение вновь передѣланное авторомъ. И въ то же время, всѣ эти повѣсти, въ глазахъ нашего рецензента не болѣе, какъ анекдоты!... Какъ все это мелко и ничтожно!

Новое доказательство старой истины — что худо разсчитанные удары бьютъ по воздуху, или задѣваютъ самого же бойца, — представляетъ собою и наша журнальная кумушка «Сѣверная Пчела». Мы думали, что послѣ выхода 3-й книжки «Отечественныхъ Записокъ» она догадается, что пора ей замолчать, и мысленно уже прощались съ нею. Но привычка къ брани и мелочнымъ придирамъ — вторая природа для этой достолюбезной газеты, — и вотъ она снова придирается къ «Отечественнымъ Запискамъ». Заговаривать съ нею мы никогда не были и не будемъ намѣрены; но отвѣчать ей положили себѣ за неизмѣнное правило. Въ 52 № своемъ, умолчавъ о томъ, что разсердило ее въ 3-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» — «Сѣверная Пчела», ни съ того ни съ сего, какъ муха вокругъ огня, засуетилась около нашей статьи о Державинѣ и... опалила себѣ крылья. Выдергивая тамъ и сямъ отдѣльныя фразы изъ нашей статьи, «Сѣверная Пчела» прибавляетъ къ нимъ остроумныя восклицанія собственнаго изобрѣтенія, и думаетъ, что она говоритъ дѣльно, остро и доказательно. Давно ли она говорила, что Державинъ перейдетъ къ

потомству съ слишкомъ легкою ношею? а теперь, чтобы только попротиворѣчить «Отечественнымъ Запискамъ», разсуждаетъ о: Державинѣ уже совершенно другимъ тономъ — именно тономъ пѣнтинъ гг. Толмачева, Греча, Плаксина, Георгіевскаго и подобныхъ имъ. Державина идеи, говоритъ она, не для своего только времени, но всегда хороши, ибо онъ воспѣвалъ добродѣтель и истину. Прекрасно; но вопросъ заключается не въ одномъ томъ, что воспѣвалъ, но еще и какъ воспѣвалъ. Лучшимъ доказательствомъ этому могутъ служить стихи Державина же о безсмертіи души, выписанные въ статьѣ «Сѣверной Пчелы»: мысль стиховъ прекрасна и истинна, а стихи изъ рукъ вонъ — плохи. И потому стиховъ читать теперь никто не станетъ; слѣдственно, и мысли ихъ не узнаетъ. Надергавъ нѣсколько фразъ изъ разныхъ мѣстъ большой статьи, не мудрено найти между ними противорѣчіе, особенно при явномъ желаніи найти его во что бы ни стало: поэтому, мы не будемъ спорить съ «Сѣвѣрною Пчелою» объ этомъ предметѣ. Какъ понимаетъ, или какъ хочетъ понимать она все, касающееся до «Отечественныхъ Записокъ», — видно изъ того, что смѣшную пародію на пьяно-студентскіе стихи, напечатанную въ Смѣси «Отечественныхъ Записокъ», приняла она за настоящіе стихи!... Впрочемъ, можетъ-быть, она сдѣлала это и безъ умысла, въ простотѣ ума и сердца: вѣдь не всякому же дано понимать иронію, и есть много людей, которые все понимаютъ только въ буквальномъ смыслѣ, даже если ихъ увѣряютъ, что они необыкновенно умыны... Наконецъ «Сѣверная Пчела» всѣ эти мелкія придирки поворачиваетъ формальною выдумкою, какъ доказательствомъ своего безсилія. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1840 года (т. X. отд. V. стр. 29 — 30) было сказано, что послѣ Лермонтова, изъ современныхъ живыхъ поэтовъ (гг. Кукольника, Бенедиктова, Бернета, Красова, и проч.) «поэзія Кольцова есть не современно важное, но безотноси-

тельно примѣчательное явленіе» и что «никого изъ явившихся вѣстѣ съ нимъ и послѣ него нельзя поставить съ нимъ рядомъ». И что же? «Сѣверная Пчела» увѣряетъ, будто мы Кольцова поставили выше Гомера, Данта, Шекспира, Пушкина, Гоголя!!!... Вотъ до чего дошла эта жалкая газета: она перечитываетъ старые годы «Отечественныхъ Записокъ», чтобы переименовывать изъ нихъ фразы и навязывать имъ нелѣпости, которыхъ онѣ и не думали говорить!...

Въ 57 № той же газеты г. Булгаринъ сравниваетъ себя съ Сократомъ, въ котораго одинъ Аѳинянинъ бросилъ грязью; а «Отечественные Записки», «Литературную Газету» и «Москвитянина» сравниваетъ съ этимъ Аѳиняниномъ!... Вотъ по истинѣ забавное сравненіе! Г. Булгаринъ и — Сократъ!... Сократъ и — г. Булгаринъ!... Удивительное сближеніе! Дѣйствительно, въ жизни сихъ двухъ великихъ людей очень много сходнаго, хотя они и раздѣлены тысячелѣтіями!...

Въ прошлой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» мы представили публикѣ интересный по своей странности и дикости фактъ современной русской литературы: доказательства «Маяка», что русскіе литераторы должны выражаться «маленько мужицкими» словами: «Маякъ», въ отношеніи къ странности мнѣній и языка, можно назвать «Петербургскимъ Москвитяниномъ»; теперь мы представимъ не менѣе любопытный фактъ сужденій и тона «Московского Маяка». Разбирая въ мартовской своей книжкѣ «Утреннюю Зарю», альманахъ г. Владиславлева, вышедшій еще въ концѣ ноября прошлаго года, рецензентъ распространился, между прочимъ, о «Медвѣдѣ», повѣсти графа Соллогуба. и, по поводу этой повѣсти, повѣдалъ смиренной братіи мудрость велию въ сицевыхъ словесахъ:

«Знающіе наизусть всѣ подробности П(и)тербургскаго свѣта, говорятъ, что для нихъ повѣсть еще занимательнѣе, потому что они могутъ вѣрнѣе судить



о сходствѣ копій съ оригиналомъ самой жизни. Такое удовольствіе не красится искусства, но подаетъ намъ поводъ къ наблюденію надъ странною перемчивостію нашей сѣверной С(е)толицы и надъ нѣкоторыми особенностями ея нравовъ. Въ своенравномъ до безумія Парижѣ, явилась у людей странная охота титуловать себя именами животныхъ, называться львами, львицами, тиграми и проч. Если выскнуть въ дѣло, такъ вѣдь оно очень *гадко*: злѣ(и) шена не признакъ ли какого то матеріальнаго пресыщенія жизнію въ тѣхъ людяхъ, которые удалились отъ христіанства? Страннымъ покажется въ наше время такое возвращеніе ко временамъ языческимъ; а оно до того вѣрно, что слѣдующія слова Іоанна Златоуста какъ будто сегодня написаны. «Какое можешь представить благовидное извиненіе въ томъ, что *изъ льва оплаешь человека, а о себѣ не заботишься*, когда *изъ человека оплаешься львомъ*... Нейдетъ ли это къ нашему времени, когда человекъ постигъ чудное искусство доводить звѣрство львиное до кротости и общенія человѣческаго, а самъ вздумалъ называться именами самыхъ хищныхъ животныхъ, какъ будто хвастаясь своею животною натурою...

И проч. Всего не выписываемъ: довольно и этого; судить объ этомъ фактѣ не хотимъ: онъ говоритъ самъ за себя...

Недавно въ одномъ изъ листковъ «Сѣверной Пчелы» прочли мы извѣстіе, что г. Булгаринъ — Сократъ; теперь, изъ 86 № этой же газеты, узнаемъ, что г. Булгаринъ — Вальтеръ Скотъ!!! Въ Смѣси этого нумера «Сѣверной Пчелы» находится статья «Журнальная всякая всячина. Письмо въ Дерптъ къ О. Б.», а въ статьѣ изъясняется искреннее сожалѣніе, что некому описывать въ «Пчелѣ» балагановъ и другихъ праздничныхъ увеселеній, за отсутствіемъ г. Булгарина. Замѣчательны послѣднія строки этой примѣчательной статьи.

• Вотъ очеркъ того, что служило бы вамъ канвою для нынѣшняго фельетона. Мы не коснулись неистощимаго предмета — Адмиралтейской Площади, съ удивительными представленіями Легата и Сулье, качелями, каруселями и желѣзными дорогами, не коснулись общаго характера нынѣшняго гулянья, *которыя бы вы передали намъ въ живомъ разсказѣ, въ полупластическомъ (?) изображеніи, еслибы теперь не расхаживали въ помпичьей фуражкѣ и въ длинномъ деревенскомъ сертукѣ, по полямъ и садамъ вашего Абботсфорта, •*

Если сходство г. Булгарина съ Сократомъ не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію, то еще менѣе можно сомнѣваться въ сходствѣ мызы Карлово съ Абботсфортъ, а г. Булгарина съ Вальтеромъ Скоттомъ: известное дѣло, что когда великій романистъ шотландскій уѣзжалъ на лѣто въ свое помѣстье, то въ мелкихъ газетахъ Эдимборга не кому было описывать «полупластически» балагановъ и ихъ комедій, и тогда за это благодарное занятіе, по необходимости, принималась разная литературная тля.

Въ 84 № «Сѣверной Пчелы», издаваемой гг. Булгаринымъ и Гречемъ, напечатанъ самый лестный отзывъ о плохомъ книжномъ издѣліи г. Булгарина — «Очерки русскихъ нравовъ, или лицевая сторона и изнанка рода человѣческаго». Тутъ, конечно, нѣтъ дива: «Сѣверная Пчела», безпристрастная и строгая, всегда отдастъ справедливость всему хорошему, если только это хорошее сочинено или составлено гг. Булгаринымъ и Гречемъ, или ихъ почитателями. Не удивительно также и то, что эта газета смѣется надъ Жуи и разными пустынноиками, которыхъ повторяетъ и копируетъ г. Булгаринъ въ своихъ нраво-описательныхъ статьяхъ... Еще менѣе удивительнымъ покажется вамъ, если въ одномъ изъ ближайшихъ нумеровъ «Сѣверной Пчелы» вы прочтете столь же обязательную и любезную статью о вновь вышедшей «Исторіи Петра Великаго», соч. г. Полеваго. Это будетъ не первымъ и не послѣднимъ примѣромъ трогательной дружбы и свѣтской любезности, какими отличается наша литература, несмотря на всѣ «кочерыжныя» исторіи, которыя такъ нерѣдко случаются съ нею.

Нѣсколько словъ «Москвитяину». Въ 6-й книжкѣ медленно выходящаго «Москвитянина» помѣщено окончаніе разбора «Полной Русской Хрестоматіи» г. Галахова. Всѣмъ известно, какъ косо смотритъ аристархъ московскаго журнала на

эту книгу. Предоставляя самому г. Галахову раздѣляться съ его раздражительнымъ противникомъ, мы сами не можемъ не сдѣлать замѣтокъ на нѣкоторыя выходки г. Шевырева, устремленныя прямо на нашъ журналъ. У сего почтеннаго и достойнаго аристарха московскаго есть странная привычка — о чемъ бы ни говорилъ онъ, придирчиво касаться «Отечественныхъ Записокъ». Это, можно сказать, его манія, его болѣзнь. А что у кого болить, тотъ о томъ и говорить. Изъ состраданія къ такому состоянію души почтеннаго критика московскаго, мы хотимъ откровеннымъ объясненіемъ способствовать къ проясненію его сознанія, нѣсколько затемненнаго, можетъ быть, раздражительностію и пристрастіемъ.

Г. Шевыревъ находитъ страннымъ, что г. Галаховъ ставить имя Лермонтова не только вмѣстѣ съ именами Карамзина, Крылова, Жуковскаго и Пушкина, но даже Шиллера и Гёте. По нашему мнѣнію, если можно съ именами Шиллера и Гёте ставить не только Пушкина, но и Жуковскаго, и Крылова, и Карамзина, — то г. Галаховъ правъ, поставивъ вмѣстѣ въ нимъ имя Лермонтова. И ужь конечно, имя поэта Лермонтова скорѣе можетъ быть поставлено съ именами поэтовъ — Шиллера и Гёте, чѣмъ имя Карамзина, отличнаго литератора, известнаго историка, но ни сколько не поэта. Неужели это не известно г. Шевыреву?...

Вслѣдъ за этимъ страннымъ упрекомъ, г. Шевыревъ начинаетъ оправдываться передъ своими читателями (вѣроятно, предполагая, что у «Москвитянина» есть читатели) въ посягательствѣ на славу молодого поэта, т. е. Лермонтова. «Мы» говоритъ онъ: «знаемъ, что Россія лишилась въ немъ одной изъ лучшихъ надеждъ молодого поколѣнія. Мы съ радостью привѣтствовали прекрасное его дарованіе; не признавали только направленія въ нѣкоторыхъ піесахъ, но увѣрены были, что оно измѣнилось бы въ послѣдствіи, потому что не представляло

ничего оригинального, отзывалось очевиднымъ подраженіемъ, свойственнымъ всякому молодому таланту при началѣ его поприща». Всѣмъ извѣстно, что въ свое время г. Шевыревъ даже взялъ на себя трудъ показать, кому именно подражалъ Лермонтовъ, и открылъ, съ свойственною ему критическою проницательностію, что Лермонтовъ подражалъ не только Пушкину и Жуковскому, но даже и господину Бенедиктову!!... Въ доказательство удивительной способности г. Шевырева открывать духъ подражательности тамъ, гдѣ нѣтъ его и тѣни, указываемъ кстати на высказанное имъ въ этой же статьѣ мнѣніе, будто бы Лермонтовъ въ «Мцыри» подражалъ — Жуковскому!... Любопытно бы знать, какая изъ піесъ Жуковского послужила Лермонтову образцомъ для его «Мцыри»? Жаль, что г. Шевыревъ оставилъ насъ въ недоумѣніи касательно этого любопытнаго вопроса...

Почему же особенно негодуетъ г. Шевыревъ на упоминаніе имени Лермонтова вмѣстѣ съ именами нѣкоторыхъ нашихъ писателей старой школы? — потому что Лермонтовъ рано умеръ, а тѣ таки довольно прожили на свѣтѣ и успѣли написать и напечатать все, что могли и хотѣли. Вотъ по истинѣ странный критеріумъ для измѣренія достоинства писателей относительно другъ къ другу! Помилуйте: Грибоѣдовъ написалъ одну только комедію, да и ту несовершенную, какъ первый опытъ его самобытнаго творчества: неужели же Грибоѣдовъ, какъ поэтъ, не выше, напримѣръ, Озерова, написавшаго пять трагедій и нѣсколько мелкихъ піесъ? Безъ сомнѣнія, неизмѣримо выше, потому что, судя по пяти трагедіямъ, можно знать, что Озеровъ ничего не написалъ бы великаго, тогда какъ, судя по «Горе отъ Ума», нельзя ни опредѣлить, ни измѣрить высоты, на которую могъ бы подняться огромный талантъ (мы не боимся сказать — даже геній) Грибоѣдова. Лермонтовъ написалъ немного, но въ этомъ немногомъ видно очень многое. Если

г. Шевыревъ не видитъ этого. — мы не споримъ съ нимъ, ибо въ дѣлѣ личнаго вкуса спора быть не можетъ; но зачѣмъ же г. Шевыревъ непремѣнно хочетъ, чтобъ его личный вкусъ былъ нормою для вкуса всѣхъ и cadaго, и зачѣмъ же онъ смотритъ чуть-чуть не какъ на уголовного преступника — на всякаго, кто хочетъ имѣть свой вкусъ, независимо отъ личнаго вкуса его, г. Шевырева? Всякое достоинство, всякая сила спокойны, именно потому, что увѣрены въ самихъ себѣ: онѣ никому не навязываются, никому не напрашиваются, но идя своимъ ровнымъ шагомъ, не оборачиваются назадъ, чтобъ видѣть, кланяются ли имъ другіе. Только раздражительное литературное самолюбіе раздувается и пыхтитъ, чтобъ его слушали и съ нимъ соображались, а видя, что его не замѣчаютъ и идутъ своею дорогою, кричитъ «блво и дѣло!». Это не сила, а безсиліе, — не достоинство, а мелочность... Здѣсь кстати замѣтить, въ какомъ еще дѣтскомъ состояніи находится русская литература и критика: спорять и кричать о томъ, зачѣмъ такъ, а не иначе размѣщены имена писателей, а не разсуждаютъ объ истинномъ значеніи этихъ именъ. Слѣдя за рядомъ мыслей г. Шевырева, мы должны поблагодарить его за повтореніе нѣкоторыхъ мыслей, впервые высказанныхъ по русски въ нашемъ журналѣ, каковы слѣдующія: что Жуковский внесъ романтическую стихію въ нашу поэзію; что Пушкинъ воспринялъ въ себя все приготовленное предшественниками и творчески внесъ полное сознаніе народнаго духа въ поэзію. Правда, эти наши мысли не далеко разнесутся столь мало читаемымъ журналомъ, каковъ «Москвитининъ»; но все же мы благодарны г. Шевыреву и за внимательное изученіе критическихъ страницъ нашего журнала и за совѣстливое повтореніе ихъ, безъ всякаго искаженія. Однако жъ, мы еще были бы благодарны г. Шевыреву, еслибъ онъ указывалъ на источники, которыми иногда пользуется въ своихъ статьяхъ, и которымъ онъ обязанъ хорошими мѣстами и мыслями своихъ статей.

Г. Шевыревъ настаиваетъ на томъ, что въ Лермонтовѣ не было ничего оригинальнаго: дѣло его личнаго вкуса, и мы опять не споримъ! Но не можемъ не замѣтить снова, что напрасно г. Шевыревъ симптомы своего личнаго вкуса хочетъ выдать, во чтѣ бы то ни стало, за норму общаго здороваго вкуса. Онъ называетъ «Пѣсню про Царя Ивана Васильевича Молодаго Опричника и Удалаго Купца Калашникова» лучшимъ произведеніемъ Лермонтова, а характеры Мцыри и Печорина призраками. Можетъ-быть, г. Шевыревъ и правъ, думая такъ; но можетъ-быть, правы и другіе, думая не такъ. Вотъ, напримеръ, мы осмѣливаемся думать, что пѣса эта есть юношеское произведеніе Лермонтова, и что никогда бы онъ не обратился болѣе къ пѣсамъ такого содержанія. Кто читалъ Кошкина, тотъ не повѣритъ исторической правдоподобности «Пѣсни», особенно, если сравнить ее съ тою пѣснью въ сборникѣ Кирши Данилова, которая подала Лермонтову поводъ написать его «Пѣсню» и которая называется «Мастрюкъ Темрюковичъ». . . . Говоря о «Пѣснѣ» Лермонтова, г. Шевыревъ видитъ въ ней, между прочимъ, выраженіе «ироніи власти, какъ исторической черты въ характерѣ Іоанна Грознаго»: эта мысль намъ кажется справедливою; но хвалить ее не смѣемъ, ибо впервые она была высказана въ «Отечественныхъ Запискахъ».

До сихъ поръ г. Шевыревъ только излагалъ свои мысли, выдавая ихъ, съ нѣсколько раздражительною настойчивостью, за несомнѣнно истинныя; но теперь онъ начинаетъ сердиться и браниться. Ни съ того ни съ сего, переходитъ онъ вдругъ къ какимъ-то «литературнымъ промышленникамъ, которые, ниѣя въ рукахъ своихъ нѣкоторыя стихотворенія Лермонтова, подъ именемъ его же (подъ его же именемъ?) печатаютъ множество пустыхъ стиховъ». Обвиненіе немножко рѣзкое и несовсѣмъ вѣжливо и прилично выраженное! Слѣдовало бы доказать его фактами, перечисливъ по-именно это «множество пу-

стыхъ стихотвореній, подъ именемъ Лермонтова печатаемыхъ. Недавно въ «Отечественныхъ Запискахъ» напечатано было девять стихотвореній, изъ которыхъ восемь до того превосходны, что и безъ подписи имени автора всѣ люди съ эстетическимъ вкусомъ признали бы ихъ за стихотворенія Лермонтова. Неужели же г. Шевыревъ судить о достоинствѣ стихотвореній и узнаётъ къмъ они написаны, только по подписи имени?... Нѣтъ, это что-то не такъ! А вотъ и доказательство: вслѣдъ же за тѣмъ, г. Шевыревъ увѣряетъ, будто бы «одинъ журналъ, обанкрутившійся стихотворцами, общаетъ намъ продолженіе стихотвореній Лермонтовыхъ безконечное» (надобно было бы правильнѣе сказать по-русски: общаетъ намъ безконечное продолженіе Лермонтовскихъ стихотвореній) «до тѣхъ поръ, пока не создастъ себѣ живаго поэта на прокатъ, для подкраски своей нескончаемой французско-русской прозы (?)». Какой же это журналъ, г. Шевыревъ?—Но вы не можете отвѣтить на нашъ вопросъ, ибо вы сочинили, выдумали этотъ журналъ... Выдумывать неправду—не значить ли сердиться? Сердиться—не значить ли сознавать себя неправымъ, и, за свою вину, бранить другихъ?... Не хорошо!... Но это еще не все: гнѣвное вдохновеніе раздраженнаго московскаго критика создаетъ новыя призраки, чтобъ было ему надъ кѣмъ показать свою храбрость, достойную манческаго витязя... Этотъ же журналъ, по словамъ г. Шевырева, «самою позорною клеветою чернить со-вѣсть покойнаго поэта передъ глазами всей русской публики, и не въ шутку увѣряетъ ее, что русская поэзія въ лицѣ Лермонтова, въ первый разъ вступила въ самую тѣсную дружбу, съ кѣмъ бы вы думали?... съ чѣртомъ!»—«Такой чертовщины (прибавляетъ г. Шевыревъ) еще никогда не бывало ни въ русской литературѣ, ни въ русской критикѣ!»... Это ужъ слишкомъ! Подумалъ ли г. Шевыревъ объ этихъ словахъ, прежде чѣмъ сорвались они съ его пера, вѣроятно, «въ минуту жизни

трудную» для него?... Какъ! неужели плоская шутка, или умышленное непониманіе чужихъ словъ — тоже считаетъ онъ въ числѣ оружій противъ своихъ противниковъ? Дѣлая такую важную денонсіацію на нихъ, почему не почелъ онъ за нужное, и даже необходимое, выписать ихъ собственные слова, какъ это дѣлаютъ всѣ добросовѣстные критики?... «Наконецъ (говоритъ еще г. Шевыревъ) промышленники-книгопродавцы, вслѣдъ за промышленниками-журналистами, издаютъ три тома стихотвореній Лермонтова, и въ числѣ ихъ всѣ школьныя тетради покойнаго, всѣ тѣ поэмы и драмы, отъ которыхъ онъ со стыдомъ отрекся бы если бы былъ живъ, — и все это дѣлается подъ личиною уваженія къ поэту, а на самомъ дѣлѣ изъ однихъ корыстныхъ и низкихъ цѣлей, чтобы только именемъ Лермонтова привлекать невѣжественныхъ подписчиковъ и читателей». Подобныя обвиненія читали уже мы въ «Библіотекѣ для Чтенія», — и вотъ ихъ повторяетъ знаменитый критикъ, какъ будто въ оправданіе французской пословицы: *les beaux esprits se rencontrent*. Но основательны ли эти обвиненія? Не внушены ли они какимъ-нибудь другимъ чувствомъ — напри- мѣръ, завистью — видѣть стихотворенія Лермонтова сперва въ непріязненномъ журналѣ, а потомъ отдѣльно изданными, стало-быть никогда не видѣть ихъ въ своемъ журналѣ?... Какъ! неужели Лермонтовъ могъ написать что-нибудь такое, что не стояло бы печати, или могло оскорбить вкусъ публики, явившись въ печати? Кромѣ одного или, много, двухъ мелкихъ стихотвореній, по нашему убѣжденію, въ этихъ трехъ томахъ не найдется ни одного, которое было бы незначительно и не было въ тысячу разъ лучше лучшихъ стихотвореній, напри- мѣръ, гг. Языкова, Хомякова и Бенедиктова и *tutti quanti* — этихъ вѣчныхъ предметовъ критическаго удивленія г. Шевырева, который когда-то самъ писалъ стишонки немногимъ развѣ хуже ихъ... Такая поэма, какъ «Бояринъ Орша»,



неужели — не богѣ, какъ школьная тетрадь? И притомъ, по какому праву, на какомъ основаніи настаиваетъ г. Шевыревъ, чтобъ желаніе почитателей таланта Лермонтова имѣть у себя каждую строку его — было преступно, равно какъ и желаніе издателей Лермонтова удовлетворить этому желанію бѣдшей части русской публики? Мало ли чего не напечаталъ бы самъ Лермонтовъ: вѣдь и Пушкинъ не напечаталъ бы, при жизни своей, лицейскихъ стихотвореній; но кто же не благодаренъ издателямъ за помѣщеніе ихъ въ полномъ собраніи его сочиненій? Г. Шевыревъ говоритъ: «Любопытна для исторіи военная школа Наполеона, но не имѣетъ она значенія въ жизни молодого генерала, сраженнаго почти на первомъ шагу своего военного поприща». Но еслибъ этотъ генералъ былъ Наполеонъ послѣ итальянской кампаніи? Для г. Шевырева сдѣланное Лермонтовымъ кажется только замѣчательнымъ, а намъ оно кажется великимъ; г. Шевыреву кажется, что мы ошибаемся, а намъ кажется, что онъ ошибается: изъ чего жъ тутъ браниться и неужели безъ брани нельзя оставаться той и другой сторонѣ при своихъ убѣжденіяхъ? Мало того, что г. Шевыревъ печатно называетъ журналиста, печатавшаго въ своемъ журналѣ стихи Лермонтова, и при жизни и по смерти поэта, — журналистомъ-промышленникомъ, но даже позволяетъ себѣ сомнѣваться въ его уваженіи къ поэту и приписывать ему низкія и корыстныя цѣли... И противъ кого же онъ пишетъ это? — противъ журнала, который о немъ не позволяетъ себѣ такъ писать, хотя и могъ бы высказать ему много жесткихъ истинъ несовѣстнъ-то здоровыхъ для литературной репутаціи г. Шевырева. Далѣе, г. Шевыревъ видитъ какихъ-то необыкновенныхъ поэтовъ въ гг. Языковѣ, Бенедиктовѣ и Хомяковѣ, особенно въ послѣднемъ; наше мнѣніе о сихъ господахъ діаметрально противоположно его мнѣнію: мы не видимъ въ нихъ никакихъ поэтовъ, особенно въ послѣднемъ; но тѣмъ не менѣе

вѣримъ, что г. Шевыревъ восхищается ими *gratis*, не изъ какихъ-нибудь корыстныхъ и низкихъ цѣлей... Г. Шевыревъ видѣлъ въ Лермонтовѣ подражателя г. Бенедиктову; г. Павлова ставитъ онъ выше Гоголя; у поэзіи Жуковского и Пушкина отнималъ честь мысли и приписывалъ ее, на ихъ счетъ, г. Бенедиктову, — и мы вѣримъ, что все это дѣлалъ онъ безъ всякаго злостнаго умысла, а такъ, отъ доброты сердца, и съ самымъ простодушнымъ убѣжденіемъ...

Въ доказательство, какъ иногда опасно свой личный вкусъ выдавать за общій, и какъ, въ этомъ отношеніи, не всякому слѣдуетъ быть слишкомъ смѣлымъ, — обращаемъ вниманіе читателей на то, что г. Шевыревъ находить дурными эти превосходные стихи Лермонтова, представляющіе въ себѣ живую и роскошную картину Кавказа.

И надъ вершинами Кавказа  
Изгнанникъ рая пролеталъ.  
Подъ нимъ Казбекъ, какъ грань алмаза,  
Снѣгами вѣчными сіялъ;  
И, глубоко внизу чернѣя,  
Какъ трещина, жилище змѣя,  
Вился излучистый Дарьялъ;  
И Терекъ, прыгая, какъ львица,  
Съ косматой гривой на хребтѣ,  
Ревѣлъ, и хищный зверь, и птица,  
*Кружась въ лазурной высотъ,*  
*Глаголу водъ его внимали;*  
И золотыя облака,  
Изъ южныхъ странъ, издалека,  
Его на сѣверъ провожали;  
И скалы тѣсною толпой,  
Таинственной дремоты полны.  
Надъ нимъ склонялись головой,  
Слѣдя мелькающія волны;  
И башни замковъ на скалахъ,  
Смотрѣли грозно сквозь туманы:  
У вратъ Кавказа на часахъ  
Сторожевые великаны!

Г. Шевыревъ видитъ тутъ подражаніе Марлинскому, и ужасно радъ грамматической неловкости, вследствие которой безграмотному читателю, — но только безграмотному, — можетъ показаться, что хищный звѣрь кружится вмѣстѣ съ птицею въ лазурной высотѣ... Г. Шевыревъ видитъ отсутствіе полного грамматическаго смысла въ этихъ чудныхъ стихахъ Лермонтова:

А мой отецъ? Онъ какъ живой  
Въ своей одеждѣ боевой  
Являлся мнѣ, и помнилъ я:  
*Кольчуги звонъ, и блескъ ружья,*  
*И гордый, непреклонный взоръ,*  
*И молодыхъ моихъ сестеръ...*

Съ грамматическою указкою не мудрено доказать ничтожество стиховъ не только Державина, но и Жуковского и Пушкина, что и дѣлывали, бывало, педанты добраго стараго времени.

Въ числѣ важныхъ обвиненій на издателя «Новой Хрестоматіи», г. Шевыревъ приводитъ его предпочтеніе Кольцову «передъ лучшими(?) нашими лириками современными — Языковымъ и Хомяковымъ». Это несправедливо: гг. Языковъ и Хомяковъ давно уже не лучшіе и не современные лирики; оба они пишутъ теперь мало и рѣдко, и оба пишутъ, какъ писали назадъ тому около двадцати лѣтъ. Кольцовъ, безъ всякаго сомнѣнія, неизмѣримо выше ихъ уже и потому только, что онъ былъ истинный поэтъ по призванію, между тѣмъ, какъ они только звучные версификаторы, особенно послѣдній. Г. Шевыревъ говоритъ: «Въ Кольцовѣ весьма замѣчательна была склонность къ философско-религіозной думѣ, которая таится въ простонародіи русскомъ». Не правда: гдѣ доказательства этого элемента въ нашемъ простонародіи? Ужъ не въ народной ли русской поэзіи, гдѣ его нѣтъ ни слѣда, ни признака? Коль-

повъ потому и имѣлъ наклонность къ философско-религіозной думѣ, что самобытнымъ стремленіемъ своей мощной натуры совершенно оторвался отъ всякой нравственной связи съ простонародьемъ, среди котораго возросъ. Г. Шевыревъ, считая по пальцамъ слоги и ударенія въ стихахъ Кольцова, не замѣтилъ, что ихъ метръ совершенно особенный, образованный по метру народныхъ пѣсень, но принадлежавшій собственно Кольцову. Пропускаемъ безъ вниманія бранчивыя выраженія г. Шевырева, излившіяся изъ досады, что Кольцовъ выбиралъ себѣ знакомства не по рекомендаціи г-на Шевырева и держался не его литературной партіи.

Говоря о помѣщеніи въ «Хрестоматію» переводныхъ піесъ г. Струговщикова, г. Шевыревъ вспоминаетъ, что въ «Римскихъ Элегіяхъ» Гёте, переведенныхъ г. Струговщиковымъ, не было правильнаго пентаметра. Положимъ, что и такъ: но развѣ въ этомъ дѣло, а не въ вѣрной поэтической передачѣ подлинника? Мы уже не говоримъ о томъ, что г. Струговщиковъ не хуже г. Шевырева знаетъ метрику; но какъ же начинать свои привязки съ метра? Г. Шевыреву кажется, что покойный И. И. Дмитріевъ лучше г. Струговщикова передалъ піесу Гёте, названную имъ «Размышленіемъ по случаю грома, — и потомъ самъ же прибавляетъ, что Дмитріевъ далъ піесѣ другое значеніе, уклонясь отъ панъеистической мысли Гёте... Шутка! Послѣ этого, переводъ Дмитріева, разумѣется есть болѣе искаженіе, чѣмъ переводъ.

Г. Шевыревъ ниже всего низкаго поставилъ прекрасную піесу г. Огарева «Ноктурно», — и по дѣломъ: зачѣмъ г. Огаревъ печатаетъ свои стихотворенія въ «Отечественныхъ Запискахъ», а не въ «Москвитянинѣ»? Г. Шевыревъ называетъ повѣсти г. Панаева — «Дочь Чиновнаго Человѣка» и «Бѣлую Горячку» дюжинными повѣстями, годными только на пустыя страницы журналовъ: опять та же причина дурнаго распо-

ложенія московскаго критика и его пристрастнаго сужденія о повѣстяхъ г. Панаева — та же причина, т. е. «Отечественныя Записки»! И за что бы такъ почтенному критику сердиться на нашъ журналъ, столь изобильный хорошими и даже типическими произведеніями по части повѣствовательной?...

Далѣе, опять встречаемъ негодованіе московскаго критика за предпочтеніе, отданное г. Галаховымъ Кольцову передъ гг. Языковымъ и Хомяковымъ. Мы тоже съ этой стороны не совсѣмъ довольны издателемъ «Хрестоматіи»: ему бы совсѣмъ не слѣдовало помѣщать піесы гг. Языкова и Хомякова, особенно послѣдняго: зачѣмъ приучать мальчиковъ къ фразёрству и пустотѣ мыслей въ гладкихъ стихахъ? Г. Шевыревъ удивляется, что г. Галаховъ русскимъ пѣснямъ Кольцова отдаетъ преимущество передъ русскими пѣснями Дельвига: странное удивленіе! Да кто же не чувствуетъ и не знаетъ, что русскія пѣсни забытаго Дельвига столько же русскія, сколько, напр., идилліи г-жи Дезульеръ Теокритовскія; тогда какъ пѣсни Кольцова горятъ и трепещутъ, насквозь проникнутыя русскимъ чувствомъ, русскою душою?...

Заключимъ наши замѣтки указаніемъ на странную выходку г. Шевырева противъ «Похвальнаго Слова Петру Великому» почтеннаго профессора А. В. Никитенко, этого образцоваго произведенія, полного здравыхъ мыслей, краснорѣчія и отличающагося изящнымъ языкомъ. Московскаго критика возмутила слѣдующая мысль въ «Словѣ» г. Никитенко: «Но еслибъ и самый утонченный, расчетливый эгоизмъ вздумалъ спросить, что каждый изъ насъ почерпнулъ на свою долю въ новомъ порядкѣ вещей? мы отвѣчали бы: честь существовать по-человѣчески и облагодетворять свое существованіе всѣми нашими силами матеріальными и нравственными». Г. Шевыревъ испещряетъ эти строки г. Никитенко и курсивомъ и вопросительными знаками въ скобкахъ, а потомъ доноситъ... чита-

телю, что «это и неприлично, и безнравственно въ смыслѣ и религіозномъ и патріотическомъ, и исторически ложно!». Это, изволите видѣть, называется критикою у г. Шевырева!... А между тѣмъ, онъ же, г. Шевыревъ, очень наивно находитъ сравненіе Петра съ Богомъ, сдѣланное Ломоносовымъ, насколько не гиперболическимъ!... «Неужли же Русскій народъ до Петра Великаго не имѣлъ чести существовать по-человѣчески?» вопіетъ г. Шевыревъ. Если человѣческое существованіе народа заключается въ жизни ума, науки, искусства, цивилизаціи, общественности, гуманности въ нравахъ и обычаяхъ, то существованіе это для Россіи начинается съ Петра Великаго, — смѣло и утвердительно отвѣчаемъ мы г. Шевыреву. Да и кто въ этомъ не увѣренъ, вмѣстѣ съ ораторомъ, который во всей рѣчи своей имѣлъ одну цѣль — показать чѣмъ обязаны мы Петру, какъ просвѣтителю своему. Въ справедливости нашей мысли ссылаемся на любимые авторитеты г. Шевырева, и на Карамзина въ особенности. Петръ Великій—это новый Моисей, воздвигнутый Богомъ для изведенія русскаго народа изъ душнаго и темнаго плѣна азіатизма... Петръ Великій — это путеводная звѣзда Россіи, вѣчно долженствующая указывать ей путь къ преуспѣянію и славѣ... Петръ Великій—это колоссальный образъ самой Руси, представитель ея нравственныхъ и физическихъ силъ... Нѣтъ похвалы, которая была бы преувеличена для Петра Великаго, ибо онъ далъ Россіи свѣтъ и сдѣлалъ Русскихъ людьми... Г. Никитенко развиваетъ въ своей рѣчи эти же самыя мысли — и за одинъ-то изъ самыхъ простыхъ логическихъ изъ нихъ выводовъ г. Шевыревъ дѣлаетъ ему упреки, которые не знаемъ какъ и назвать; знаемъ только, что они въ высшей степени неприличны и нелѣпы. Пусть читатели сами разсудятъ, какое можно имѣть довѣріе къ критику, который такъ понимаетъ и толкуетъ разбираемыхъ имъ писателей...

Скажемъ въ заключеніе, что грустное зрѣлище представля-  
 етъ собою литература и критика, гдѣ считающіе себя пред-  
 ставителями науки и просвѣщенія — или занимаются мелкими  
 и пустыми вопросами, или на важные вопросы набрасываютъ  
 тѣнь подозрительныхъ и двусмысленныхъ намековъ, готовые  
 каждаго, кто не раздѣляетъ ихъ мнѣній, выставить какимъ-то  
 противосмысленнымъ общему порядку явленіемъ... И между  
 тѣмъ они-то первые и кричатъ противъ дурнаго тона, непри-  
 личной брани, грубаго неуваженія къ чужимъ мнѣніямъ, не-  
 образованной нетерпимости къ чужому убѣжденію, о безымян-  
 ныхъ рыцаряхъ, о жолтыхъ перчаткахъ... Милостивые госу-  
 дари! хотѣли бы мы сказать имъ: передъ вами ваши громкія  
 имена, гражданскія и литературныя; умѣйте же поддержать  
 предполагаемый вами блескъ, умѣйте заставить уважать свое  
 достоинство, уважая сами достоинство другихъ; передъ вами  
 ваши жолтыя перчатки — не марайте же ихъ грязью мелкой  
 журнальной брани и неприличныхъ выходокъ мелкаго и раз-  
 дражительнаго самолюбія...

Въ № 129-мъ «Сѣверной Пчелы», одинъ изъ ея фельето-  
 нистовъ объявилъ важную истину по вопросу, почему нынѣ  
 не пишутъ болѣе сказокъ въ родѣ «Модной Жены» Дмитріе-  
 ва? — Вы вѣрно скажете: потому же, почему нынѣ не пу-  
 дрятъ волосъ, не носятъ фижмъ и мушекъ, не танцуютъ мину-  
 ета и не поютъ:

Стонетъ, свизый голубочикъ,  
 Стонетъ онъ и день и ночь,  
 Его миленькій дружокъ  
 Отлетѣлъ далеко прочь!

и прочая. Извините! Г. фельетонистъ увѣряетъ, что не пи-  
 шутъ потому, что не умѣютъ писать такихъ сказокъ. А не  
 умѣютъ, разумеется, потому, что нынѣ нѣтъ талантовъ,

равныхъ таланту Дмитріева. Ну, посудите сами, хорошо ли это? Что Дмитріевъ былъ стихотворецъ съ большимъ талантомъ и даже поэтъ не безъ дарованія, — въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. А съ котораго времени перестали на Руси писать сказки въ родѣ «Модной Жены» Дмитріева, и вообще всякія сказки въ духѣ XVIII вѣка? Сколько мы помнимъ, давно! Послѣ Дмитріева, явился на Руси поэтъ неизмѣримо выше его — Жуковскій: онъ не написалъ ни одной сказки, и ужъ вѣрно не по недостатку таланта. Правда, поэтъ, бывшій послѣ Дмитріева и тоже стоящій неизмѣримо выше его — Батюшковъ, написалъ одну сказку; но его «Странствователь и Домосѣдъ» былъ послѣднею сказкою въ этомъ родѣ, появленіе которой, несмотря на достоинство языка и разсказа, уже не произвело никакого особеннаго впечатлѣнія на современниковъ. А сказка эта напечатана въ первый разъ въ «Амфіонѣ» Мерзлякова, въ 1815 году, слѣдовательно, около двадцати восьми лѣтъ тому назадъ, и съ тѣхъ поръ уже не было на русскомъ языкѣ ни одной сказки въ такомъ родѣ. Неужели же Батюшковъ былъ послѣдній даровитый поэтъ на Руси, и послѣ него не было ни одного поэта съ равнымъ ему талантомъ? Не знаемъ, право; но послѣ Батюшкова былъ Пушкинъ, Грибоедовъ, Лермонтовъ... Неужели же у этихъ поэтовъ не стало бы таланта для того, чтобъ написать бездѣлку въ родѣ «Модной Жены»?...

Все это г. Булгаринъ, можетъ-быть, понимаетъ и самъ какъ слѣдуетъ, да ему надобно, ему нужно понимать все это не такъ, какъ слѣдуетъ... Доказательство тому — въ слѣдующихъ словахъ того же фельетона: «Читайте даже по-русски, хотя бы изъ національной гордости. Скучно повторять старое, но я увѣренъ, что еще много есть людей, которымъ Карамзинъ, И. И. Дмитріевъ, Богдановичъ, Батюшковъ извѣстны или по отрывкамъ, или по слуху... обратитесь къ нимъ, и



вамъ не будетъ стыдно за русскую литературу! Теперь новые журналисты, которые сами не пишутъ вовсе ничего (?!!), а только читаютъ корректуры своихъ сотрудниковъ, и насъ, учениковъ Карамзина и Дмитріева, называютъ уже старыми»!!! А, вотъ что!—можемъ мы воскликнуть. Вотъ откуда оно, это благоговѣніе къ Карамзину и Дмитріеву! Ученикъ хвалить учителя, по простому расчету: если-де не будутъ читать моего учителя, который въ тысячу тысячъ разъ выше меня, то ужъ станутъ ли читать меня, который въ тысячу тысячъ разъ хуже моего учителя?... Это напоминаетъ намъ, между прочимъ, и басню Крылова «Орелъ и Паукъ»... Положимъ, что Карамзинъ и Дмитріевъ такъ хорошо писали, что ихъ и теперь еще слѣдовало бы читать; да васъ-то, господа, за что читать? — Мы ихъ ученики, воскликнете вы. — Прекрасно, но вѣдь это напоминаетъ стихъ: «да наши предки Римъ спасли!» Притомъ же, мало ли у инаго и дѣйствительно великаго мастера безталантныхъ учениковъ: мастеру честь по заслугамъ, а до учениковъ его кому какое дѣло?...

Въ этомъ же фельетонѣ находится забавная апологія Эжену Сю. Фельетонистъ видитъ генія въ этомъ блестящемъ, не бездарномъ, но поверхностномъ, пустомъ беллетристѣ французской литературы. Защищая его отъ нападокъ за безнравственность, фельетонистъ говоритъ въ заключеніе: «По моему мнѣнію, только Жоржъ Зандъ, т. е. г-жа Дюдеванъ, написала безнравственныя вещи, но и она теперь опомнилась, удостовѣрясь, что слава безнравственнаго писателя—жалкая слава!» За тѣмъ слѣдуетъ апологія книжному магазину г. Ольхина и клятвенныя увѣренія, что нѣтъ возможности перечислить и переименовать всѣ хорошія новыя русскія книги, которые продаются въ этомъ магазинѣ. Право, чѣмъ толковать о Жоржъ Зандѣ, лучше бы вамъ, господа, ограничиться

разсужденіями о Эженѣ Сю, да диаграммами разнымъ магазинамъ... Кстати о безнравственности Жоржъ Занда. О нравственности Гёте также много было толковъ и за и противъ; о ней спорять и теперь, соглашаясь однакожъ въ томъ, что Гёте былъ великій писатель. Но кто же и когда сомнѣвался въ нравственности Шиллера? Теперь не думаютъ этого даже люди, которые глупѣе самого Николая, нападавшаго на Шиллера и Гёте. Однакожъ, въ первыя минуты появленія своего, яркая звѣзда генія Шиллера не могла не показаться многимъ безнравственною, пока эти многіе не приглядились и не привыкли къ ея нестерпимому блеску. На Байрона смотрѣли, какъ на чудовище нечестія: теперь на него смотрятъ какъ на страдальца. Было время, когда у насъ Пушкина считали безнравственнымъ писателемъ, и боялись давать его читать дѣвушкамъ и молодымъ людямъ: теперь никто не побоится дать его въ руки даже дѣтямъ.

Фельетонъ 135 № «Сѣверной Пчелы» наполненъ льстивыми разглагольствованіями о провинціи. Тамъ-то—видите ли—процвѣтаютъ и просвѣщеніе, и добродѣтель, и счастье, и вкусъ изящный, и образованность, и начитанность, и патриотизмъ, и всѣ благородныя чувства, все великое, святое и прекрасное жизни; а отчего? — оттого, что оттуда присылаются требованія за пятью печатами на книги, журналы, газеты... Льстивыя разглагольствованія оканчиваются гимнами и диаграммами въ честь книжнаго магазина г. Ольхина и во славу издаваемыхъ имъ книжныхъ издѣлій... О tempora, о mores! Мимоходомъ разруганы «Мертвыя Души» и «Ревизоръ», какъ клевета на провинцію и каррикатуры на провинціальныя нравы. Жаль, что при этомъ удобномъ случаѣ не объявлено, почему же провинція съ такою жадностію расхвотала «Мертвыя Души» и «Ревизора»: объясненіе было бы очень интересно...

Между прочимъ, вотъ что еще сказано въ этой любопытной статьѣ: «Не многимъ изъ городскихъ жителей извѣстно, что нѣкоторые изъ господъ журналистовъ и книгопродавцевъ печатаютъ особыя объявленія для провинцій, и что въ этихъ объявленіяхъ они говорятъ о себѣ и о своихъ журналахъ и лавкахъ такія вещи, которыя возбудили бы общій хохотъ въ столицѣ, гдѣ на людей и на дѣла смотреть вблизи! Эти несчастные спекуляторы думаютъ, что они ловятъ на удочку простодушныхъ провинціаловъ, а въ провинціяхъ, напротивъ, платятъ имъ деньги изъ состраданія, изъ жалости — руководствуясь однимъ патрістизмомъ». О какихъ объявленіяхъ, секретно рассылаемыхъ въ провинціи, говорится здѣсь? Правда, было нѣкогда разослано въ провинціи печатное объявленіе о публичныхъ чтеніяхъ г-на Греча, очень ловко написанное, и оно было, въ свое время, перепечатано въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» (1840). Оно случайно попало въ редакцію этой газеты, будучи прислано изъ провинціи; иначе, Петербургъ и не увидѣлъ бы его. Что же касается до спекулянтскихъ книгопродавческихъ объявленій, — они безпрестанно попадаютъ даже въ фельетонахъ иныхъ газетъ, гдѣ изданія разныхъ вздоровъ, въ родѣ «Супружеской Истины» и перепечатку залежалыхъ издѣлій выписавшихся и вышедшихъ изъ моды старыхъ писакъ — величаютъ оживленіемъ русской литературы!

Въ этомъ же фельетонѣ замѣчено, что «есть и теперь въ провинціалахъ свое смѣшное и кое-что такое, что бѣ надлежало истреблять орудіемъ благонамѣренной сатиры, но до этого именно еще не коснулись выпѣшшіе комики и сатирики». Такъ кто же, по вашему мнѣнію, коснулся этого? Ужь не старые ли сатирики, ученики Карамзина и Динтріева? Гдѣ имъ! Понятіе о сатирѣ далеко ушло впередъ со временъ Карамзина и Динтріева. Теперь сатириками поставляютъ за

честь называть себя только выписавшіеся старые писаки — ученики, въ сатирѣ, Сумарокова. Сатиру замѣнили теперь художественныя созданія—романъ и комедія, какъ выраженія общественной жизни, и такой романъ имѣемъ мы въ «Мертвыхъ Душахъ», и такую комедію—въ «Ревизорѣ». — Тутъ же рассказанъ чувствительнымъ слогомъ учениковъ Карамзина трогательный примѣръ душевной болѣзни, которую Нѣмцы называютъ *Heimweh*, а Русскіе — тоскою по родинѣ. Кто-то до того близкій г. фельетонисту (собственные слова его), что его можно счесть за самого г. фельетониста, стосковался на чужбинѣ—по чемъ бы вы думали?—по какой-то рыбѣ (должно быть, соленой севрюжинѣ — самая національная рыба!) и гнилыхъ дикихъ грушахъ... Человѣкъ этотъ началъ худѣть и впалъ было въ меланхолію, да, къ счастью, успѣшилъ воротиться на родину... Нѣтъ, господа ученики Карамзина! вы отстали даже и отъ Карамзина, который никогда не поставлялъ любви къ родинѣ въ любви къ рыбѣ и гнилымъ грушамъ. А еще хотите, чтобъ васъ читали, и берете смѣлость восклицать къ людямъ, которые боятся скуки деревенской жизни: «А мы-то на что!» Такого рода деликатное восклицаніе могло сорваться только съ пера какого-нибудь дюжиннаго писаки...

Весь фельетонъ 140 № «Сѣверной Пчелы» наполненъ нападками на совмѣстничество, которымъ съ умыслу неправильно переводится слово: «сопситгенсе», означающее не совмѣстничество, а соревнованіе. «Сѣверная Пчела»—отъявленный врагъ всякаго соревнованія и страстная поклонница и любитель монополіи! Гдѣ теперь старинныя гродетуры и гроденапли, кожаные венеціанскіе золоченые и росписные обои, голубелены, обои шолковые, севрскій и майенскій фарфоръ, богемское стекло, брабантскія кружева, филиграновая работа? — восклицаетъ онъ. Всѣ эти вещи безспорно были очень хороши,

но такъ дороги, что ими пользовалась только небольшая часть привилегированныхъ людей. Благодаря дешевизнѣ, свободному производству и индустріи XIX вѣка, теперь несравненно большее противъ прошлаго вѣка число людей пользуется благами цивилизаціи и образованности; можно надѣяться, что со временемъ, благодаря имъ же, и еще несравненно большее число людей начнетъ жить по-человѣчески, т. е. съ удобствомъ, опрятностію и даже изящствомъ. Итакъ хвала соревнованію, свободному производству, индустріи и въ особенности благотѣльной дешевизнѣ—этому новому покровительному генію нашего времени! Ими спасется бѣдное, страдающее отъ разныхъ монополій человѣчество! «Сѣверную Пчелу» приводитъ въ негодованіе дешевизна поѣздокъ за границу. Другое дѣло, говоритъ она, когда ѣдетъ ученый; артистъ, фабрикантъ, мастеровой; а то праздношатающіеся, которые не читаютъ даже сочиненій учениковъ Карамзина и Дмитріева!... Но еслибы послѣдніе не могли ѣздить дешево, то и первые принуждены были бы сидѣть дома. По мнѣнію «Сѣверной Пчелы», соревнованіе, ошибочно называемое ею совмѣстничествомъ, погубило литературу и въ Европѣ и у насъ въ Россіи... Въ самомъ дѣлѣ, еслибъ, напримѣръ, «Сѣверная Пчела» одна пользовалась литературною монополіею, т. е. единоторжіемъ, мы увѣрены, русская литература разцвѣла бы въ одинъ годъ... Кто же усомнится въ этомъ!..

Въ слѣдующей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», между прочимъ, познакомимъ мы читателей съ другимъ фельетонистомъ «Сѣверной Пчелы». Подобно первому, онъ «знаменитый», хотя и не разъ немилосердо обруганный въ «Сѣверной Пчелѣ» романистъ; подобно первому, онъ написалъ въ жизнь свою томовъ семьдесятъ и намѣренъ еще столько же написать; сверхъ того, онъ еще и драматургъ не послѣдній... Имя его... но мы скажемъ вамъ знаменитое его имя въ слѣ-

дующій разъ; а пока заключимъ наши «Замѣтки» курьёзнымъ, но ни сколько не вымышленнымъ извѣстіемъ, что одинъ журналъ, издающійся въ монгольско-китайскомъ духѣ, находя языкъ Пушкина не русскимъ, вознамѣрился перевести всего Пушкина по-русски!!!... Для этого прискалъ онъ себя какого то дешеваго горемычнаго пѣту, существованіе котораго «мистеріозно», т. е. покрыто тайною... Вотъ какія чудныя дѣла готовы совершиться въ русской литературѣ!...

Въ предыдущей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» мы остановились на обѣщаніи познакомить читателей со вторымъ фельетонистомъ «Сѣверной Пчелы». Къ сожалѣнію, не можемъ теперь выполнить нашего обѣщанія: второй фельетонистъ такъ замѣчательнъ и оригиналенъ, что если знакомить его съ нашими читателями, такъ ужъ не черезъ легкій силуэтъ, не черезъ очеркъ, а черезъ портретъ — и не грудной портретъ, а портретъ во весь ростъ. Это требуетъ много времени и мѣста, а у насъ теперь не много и того и другаго, почему и принуждены мы исполненіе нашего обѣщанія отложить до слѣдующей книжки «Отечественныхъ Записокъ», гдѣ кстати ужъ познакомимъ читателей и съ третьимъ фельетонистомъ «Сѣверной Пчелы», г. Z. Z, мужемъ ума глубокаго и преисполненнаго, котораго эта газета выставляетъ впередъ только въ торжественныхъ случаяхъ. Теперь же поговоримъ о «Письмѣ г-на О. Б. къ г-ну Гречу, за границу», напечатанномъ въ 150 и 151 №№ «Сѣверной Пчелы», и еще кое о чемъ.

Не знаемъ достовѣрно, кто этотъ таинственный г. О. Б., но по всему видно онъ человѣкъ старый. «Я (говоритъ онъ) долго жилъ въ чужихъ краяхъ, въ Наполеоновской Франціи и въ политической Германіи, въ эпоху ея сладкихъ надеждъ и мечтательности, видѣлъ героическую Испанію во время борьбы ея за честь и правду. Слышите ли: былъ и въ Испаніи! Вотъ

истинно всемірный путешественник! За этимъ объясненіемъ слѣдуютъ похвалы тогдашней Германіи, и въ особенности, ея филістерской семейственности, ея гофратской патриархальности, и въ этихъ похвалахъ встрѣчается фраза: «потому что для того, чтобъ спѣть» и пр. Эта фраза свидѣлствуетъ, что почтенный старичокъ, авторъ ея, вѣроятно, плохой ученикъ Карамзина, подобно другимъ сотрудникамъ «Сѣверной Пчелы», пишетъ дѣйствительно лучше насъ, которыхъ эта газета упрекаетъ въ незнаніи и искаженіи русскаго языка. Но это пока въ сторону. Лучше всего, что нашъ старичокъ-весельчакъ, потѣшающій публику забавными разсказами, ставитъ тогдашней Германіи въ заслугу, что у нея «не было ни такой обширной, или, правильнѣе, такой всеобщей торговли, ни столько фабрикъ и мануфактуръ, какъ теперь»!... За то, говорить онъ, вовсе не было ропота, и роскошь состояла въ семейномъ счастіи. Знаемъ мы это нѣмецкое семейное счастье — возьмите его себѣ даромъ и восхищайтесь имъ сами! За тѣмъ, восторженные похвалы Нѣмкамъ: увы, и это теперь ужъ устарѣлая пѣсня, которой никто не слушаетъ и надъ которою всѣ смѣются!... Сколько ни высчитывайте сортовъ картофеля — все будетъ картофель!...

Послѣ Германіи, слѣдуютъ похвалы Наполеоновской Франціи, которую г. О. Б., по собственнымъ словамъ его, «прошелъ нѣсколько разъ вдоль и поперекъ». Военный терроризмъ Наполеона приводитъ его въ восторгъ; онъ восхищается даже конскрипціею, которая лишила Францію цвѣта молодого населенія, принесеннаго въ жертву Молоху ненасытнаго честолюбія... Жаль, что эта статья не переведена на французскій языкъ: ходившіе по бѣлому свѣту подъ орлами Наполеона солдаты пришли бы отъ нея въ неописанное восхищеніе... Прежніе веселые и легкіе Французы удостоились всей похвалы г. О. Б.; за то нынѣшніе, угрюмые, страждущіе обще-

ственными недугами, измученные общественными вопросами, подверглись всей его немилости. А за что, главное? Ты были весельчаки, кутилы... Чтобы убедить всех в истинѣ своей идеи, г. О. Б. выдумалъ, будто бы теперешняя французская литература снова возвращается къ вкусу безплоднаго и безвкуснаго, въ литературномъ отношеніи, Наполеоновскаго времени, будто является Жуи въ тысячѣ новыхъ видахъ и будто бы Скрибъ пишетъ комедіи въ родѣ Мариво!!... Что за дребедень! А если Парижъ ходитъ смотрѣть Рашель, такъ ужь давнымъ давно доказано, что въ этомъ нѣтъ никакого возвращенія къ старинѣ: смотрятъ Рашель, а не Корнеля и Расина; не будетъ Рашели—и Корнеля и Расина некому будетъ смотрѣть.

Далѣе, узнаёмъ мы, что тотъ же г. О. Б. не любитъ ни дилижансовъ, ни пароходовъ, ни желѣзныхъ дорогъ, ни остальныхъ въ трактирахъ: не мудрено—старость!

Книга г. Вольфсона о русской литературѣ не понравилась г. О. Б. еще больше желѣзныхъ дорогъ; начавъ ее бранить, онъ опять выказалъ все свое умѣніе писать, какъ онъ претендуетъ, Карамзинскимъ языкомъ: «Эти люди (пишетъ онъ) даже поверхностно не знаютъ Россіи, наполненной чужестранцами, которые находятъ у насъ помощь, гостепріимство, ласку и всякую — помощь!» Пламенная фантазія г. О. Б. сперва уноситъ его въ объятія достойнаго его друга, Менцеля, и потомъ къ западнымъ Славянамъ. Эти послѣдніе разспрашиваютъ его, что дѣлается въ русской литературѣ, и онъ, слагомъ Хераскова, повѣствуетъ имъ о войнѣ московскихъ литераторовъ съ петербургскими, и какъ нѣсколько истыхъ богатырей изъ московскихъ литераторовъ побратались (собственное выраженіе г. О. Б.) съ воинами петербургскими: вѣроятно, тонкій намекъ на дружбу г. Полеваго съ прежними его литературными противниками, гг. Гречемъ и Булгаринымъ!... Говоря о драмѣ г. Полеваго «Ломоносовъ», въ кото-



рой пляшетъ Тредьяковскій, г. О. Б. глубокомысленно замѣчаетъ: «Теперь, конечно, ни одинъ литераторъ не станетъ плясать за деньги, но изъ чести мало ли что дѣлается!» Не споримъ противъ этого...

Это длинное письмо г-на О. Б., напечатанное въ двухъ №№ «Сѣверной Пчелы» оканчивается торжественнымъ диамантомъ, въ прозѣ, въ честь новаго книгопродавца, г. Ольхина, и его книжнаго магазина... Итакъ, все это путешествіе по Франціи, Испаніи и Германіи сдѣлано было для того, чтобъ подъѣхать къ книжному магазину и воспѣть ему въ прозѣ оду громкую, какъ пѣвали ее своимъ милостивцамъ россійскіе пѣнты прошлаго вѣка?... было изъ чего хлопотать! Г. О. Б., въ своемъ пѣтическомъ (выражаясь его же словомъ) жару, приписываетъ г. Ольхину даже гражданскіе подвиги... Прислушайтесь сами: «Но вотъ, рядомъ съ Смирдинымъ, возсталъ новый дѣятель (какой высокій слогъ!), М. Д. Ольхинъ, и съ любовью къ русской литературѣ, съ Смирдинскимъ добродушіемъ, сложилъ на алтарѣ русскаго просвѣщенія значительный денежный капиталъ, безъ котораго, при лучшихъ намѣреніяхъ и желаніяхъ, литература невольнo отодвигается въ предгуттенберговскую эпоху, когда умственная дѣятельность сжималась въ тѣсныхъ манускриптахъ. Посмотрите на великолѣпное изданіе г. Ольхина, Полной Анатоміи геніяльнаго Пирогова! Какой книгопродавецъ, безъ чистой любви къ общему благу, рѣшился бы на этотъ подвигъ? Г. Ольхину природа дала то, чѣмъ прославились баронъ Котта, Брокгаузъ, Дидотъ, Лавока и другіе двигатели литературы; онъ умѣетъ цѣнить трудъ и людей — и, нѣтъ никакого сомнѣнія, что и русская публика его оцѣнитъ! Я слыхалъ (слышалъ?), что у г. Ольхина изготавляется изданій болѣе, чѣмъ на 280,000 рублей ассигнаціями. Вотъ это такъ книгопродавецъ! Дай Богъ ему и писателей по этому размѣру!»

Вотъ это еиниамъ, такъ ужъ еиниамъ! скажемъ мы отъ себя. И греческіе боги такого не нюхивали!... А между тѣмъ любопытно было бы знать, не этимъ ли 280,000, потраченнымъ г. Ольхынѣмъ на рукописи, обязаны своимъ существованіемъ: «Супружеская Истина», «Голосъ за Родное», «Полныя Сочиненія Ѳ. Булгарина», и многія другія въ этомъ же родѣ произведенія?... И изданіе ихъ не есть ли лепта на алтарь просвѣщенія.

Мы какъ-то разъ обѣщали читателямъ познакомить ихъ съ однимъ изъ фельетонистовъ «Сѣверной Пчелы», — и что же? наше обѣщаніе многими было растолковано въ дурную сторону. Говорили, что мы хотимъ написать типъ, составленный изъ чертъ частной жизни почтеннаго фельетониста... Что за смѣшные люди! Неужели не знаютъ они, что, во первыхъ, личности не могутъ быть печатаемы, и, во вторыхъ, что мы не любимъ ихъ и пишемъ всегда такъ, чтобъ читатель могъ сказать:

Тутъ не лицо, а только литераторъ!

Давно уже въ «Сѣверной Пчелѣ» печатаются фельетоны, подписываемые заветными и таинственными буквами Р. З. Эти буквы многихъ приводили въ крайнее изумленіе, и никто не хотѣлъ вѣрить, чтобъ онѣ означали г. Рафаила Зотова, о которомъ порядочная читающая публика узнала изъ перваго тома «Ста Русскихъ Литераторовъ».

Для насъ нисколько не было удивительно ни то, что г. Рафаилъ Зотовъ захотѣлъ быть фельетонистомъ «Сѣверной Пчелы», ни то, что «Пчела» рѣшилась г. Рафаила Зотова взять къ себѣ въ фельетонисты. Однакожь мы думали, что это дѣло, для пользы и чести обѣихъ сторонъ, останется въ секретѣ. Оно и было въ секретѣ довольно долго. Надъ фельетонами г. Рафаила Зотова читатели сперва смѣялись, потомъ зѣвали за ними,

а наконецъ вовсе перестали ихъ читать, — какъ вдругъ, въ 155 № «Сѣверной Пчелы» нынѣшняго года, великій незнакомецъ, подобно Вальтеръ Скотту, снялъ съ себя маску и, къ удивленію публики, рѣшился назваться собственнымъ своимъ именемъ. «Вы уже читали мой фельетонъ о нѣмецкой пѣвицѣ Валькеръ», говоритъ онъ, давая тѣмъ знать, что онъ фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» и что его фельетоны даже находятъ себѣ читателей. «Достается мнѣ, какъ фельетонисту Сѣверной Пчелы», — восклицаетъ онъ далѣе, давая тѣмъ знать, что у него есть даже враги, и что его фельетоны надѣлали ему враговъ... Не довольствуясь этими небылицами, онъ начинаетъ увѣрять, что «пишетъ по внутреннему убѣжденію и съ чистою благонамѣренностію». — «Я (говоритъ онъ) ищу лучшаго въ области искусствъ, хочу содѣйствовать къ усовершенствованію отечественныхъ дарованій, и самъ скромнымъ образомъ представляю къ этому (?) мои мнѣнія. Опытности моей — увы! — (именно, увы!) въ театральномъ дѣлѣ, вѣрно, у меня не отнимутъ и жесточайшіе враги мои. Давъ на сцену болѣе левяности піесъ (въ томъ числѣ болѣе двадцати оперъ), я, кажется, могу знать и сцену и музыку». Каковъ тонъ! Не правда ли, что и приличный и скромный?

Этого бы довольно для знакомства съ фельетонистомъ «Сѣверной Пчелы», но мы прибавимъ еще нѣсколько «нѣкоторыхъ чертъ». Въ 209 № той же газеты, г. Рафаилъ Зотовъ принялся разсуждать о новостяхъ французской литературы. Вотъ неоспоримыя доказательства: говоря о «Консюэло» Жоржъ Занда, г. Р. З. Пѣрпору вездѣ называетъ Порпозою; графъ Альбертъ Рудольштадтъ названъ у него Фридрихомъ; Консюэло, у нашего фельетониста является къ графу Рудольштадту съ рекомендательнымъ письмомъ отъ графа Джустиніани, — тогда какъ у Жоржъ Занда онъ является къ нему съ письмомъ отъ Пѣрпоры; наконецъ, у фельетониста, Пѣрпора не позво-

ляют Консюэлъ отвѣчать на письма Альберта, — тогда какъ, у Жоржъ Занда, Пюропора, не имѣвшій никакого права что либо запрещать Консюэлъ, крадетъ у нея, изъ корыстныхъ разсчетовъ, ея письмо къ Альберту... Изъ этого видно, что г. Рафаиль Зотовъ разсказалъ не содержаніе «Консюэлы», а пародію на содержаніе этого превосходнаго произведенія. — Говоря о романѣ Дюма «Жоржъ», фельетонистъ пускается въ любезности, напоминающія собою любезности князя Шаликова: «Много (говоритъ онъ) — есть неправдоподобнаго, но милыя читательницы вѣрно этого не замѣтятъ: сквозь слезы этого не видать». Какъ это остро и мило!...

Забавитѣ всего, что г. Рафаиль Зотовъ, въ одномъ изъ послѣднихъ номеровъ (№ 268) «Сѣверной Пчелы», не вытерпѣлъ и разразился такимъ гнѣвомъ на «Отечественныя Записки», что невозможно безъ улыбки состраданія читать его филиппики. Г. Р. Зотовъ кричитъ въ ужасѣ, что «критики Отечественныхъ Записокъ съ фанатическою яростію возстаютъ на всякое произведеніе не изъ ихъ литературной касты», общается критикамъ «Отечественныхъ Записокъ» «участъ лаятеля Зоила», и съ сокрушеннымъ сердцемъ старается убѣдить насъ, что «литературный приговоръ дѣло великое», что «онъ долженъ быть произносимъ съ осторожностью, потому что можетъ ободрить и убить дарованіе», что наконецъ «приговоръ Отечественныхъ Записокъ не можетъ оскорбить писателя» и пр. и пр. Но да успокоится почтенный фельетонистъ: никакая критика не убьетъ его «дарованія», по самой простой причинѣ.

Но довольно о г. Рафаиль Зотовѣ, фельетонистѣ «Сѣверной Пчелы» и авторѣ девяноста драматическихъ піесъ и полусотни невѣдомыхъ міру романовъ. Поговоримъ о третьемъ фельетонистѣ той же газеты.

Еще въ концѣ прошлаго года, «Сѣверная Пчела» возвѣстила, что съ будущаго 1843 года въ ней участвуетъ какой-то знаменитый русскій литераторъ; впрочемъ, рѣшающійся появляться въ ней не иначе, какъ инкогнито, подъ буквами Z. Z. Въ 197 № «Сѣверной Пчелы» напечатана статья этого втораго великаго незнакомца, г. Z. Z., о новомъ изданіи сочиненій Державина. Между прочими нескладницами, выданными, однакоже, за «вышіе взгляды», таинственный г. Z. Z. сильно нападаетъ на какого-то «журнальнаго смѣльчака», который будто-бы неуважительно отзывался о Державинѣ, и котораго отзывъ будто-бы встрѣченъ былъ всѣми съ должнымъ негодованіемъ. Разумѣется, тутъ дѣлаются, кстати, намеки на «завосчивую полуученость», на «удивительную дерзость» и подобные пороки, въ которыхъ, бывало, старики упрекали г. Полеваго даже за дѣльныя и здравыя его сужденія о Сумароковѣ, Херасковѣ и другихъ старыхъ и новыхъ знаменитостяхъ. Помнимъ, что его называли также и «смѣльчакомъ», и притомъ за такія мнѣнія, въ которыхъ теперь никто не видитъ ни малѣйшей смѣлости. Времена переходчивы, и жизнь страшно играетъ людьми: смѣлыхъ она лишаетъ смѣлости, «вышіе взгляды» превращаетъ въ плоскія общія мѣста, людей, которые думали, что за ними не посмѣваетъ время, превращаетъ въ отсталыхъ и ворчуновъ, для которыхъ каждая новая мысль есть преступленіе, — и... мало ли, какъ еще смѣется жизнь надъ людьми! Но, во всякомъ случаѣ, смѣлость — не порокъ, а достоинство, ибо она выходитъ изъ любви къ истинѣ и есть свойство души благородной и пылкой; тогда какъ робость — признакъ бѣдности духа и мелкости ума. Смѣлостью доходятъ люди до сознанія новыхъ истинъ; смѣлостью движется общество. Тѣ, которые чувствуютъ въ себѣ свѣжую силу дѣятельности и священный огонь истины — неужели должны смущаться криками и клеветою какихъ-нибудь заживо-умершихъ quasi-знаменито-

стей?.. О, нѣтъ! впередъ и впередъ! Ограниченность и зависть забудутся, а благая дѣятельность и любовь къ истинѣ всегда будутъ замѣчены и дадутъ плодъ свой во время свое...

«Сѣверная Пчела», которая, какъ извѣстно, состоитъ по особымъ порученіямъ при «Отечественныхъ Запискахъ», хлопотеть объ извѣстности ихъ, и умышленно, но съ добрымъ намѣреніемъ говорить о нихъ разными нелѣпостями. Въ «Отечественныхъ Запискахъ», въ отдѣлѣ Критики, печатались въ нынѣшнемъ году, по поводу «Сочиненій Пушкина» большія статьи, по части исторіи русской литературы; эти статьи имѣютъ связь между собою, и часто одна статья есть развитіе мыслей, едва обозначенныхъ въ предыдущей, или напротивъ, повтореніе въ краткихъ словахъ того, что было прежде въ подробности изложено<sup>1)</sup>. «Сѣверная Пчела», ревнуя къ пользѣ «Отечественныхъ Записокъ», догадалась, что имъ бы весьма хотѣлось обратить на эти историческія статьи вниманіе публики, и, въ порывѣ своей ревности, принялась за дѣло весьма ловко: она знаетъ, что въ предметъ столь щекотливомъ, какъ исторія литературы, особенно современной, значеніе каждаго слова измѣняется, смотря по тому, гдѣ оно поставлено, что ему предшествуетъ и что за нимъ слѣдуетъ, а наконецъ по тому, какой смыслъ данъ этому слову предшествовавшимъ изложеніемъ. По причинѣ этой умышленной и весьма благонамѣренной разсѣянности, «Сѣверная Пчела», выписавъ наудачу нѣсколько словъ о Карамзинѣ, Державинѣ, Жуковскомъ и другихъ, — такъ сводитъ ихъ вмѣстѣ, что нечитавшіе «Отечественныхъ Записокъ» могутъ подумать, будто онѣ питаютъ величайшую злобу противъ всѣхъ именъ, которымъ русская ли-

<sup>1)</sup> По этому самому мы соединимъ всѣ эти статьи, печатавшіеся четыре года—въ отдѣлѣ критики 1844 года.

переводчикомъ: кто читалъ нашу статью, тотъ помнитъ, что мы вездѣ называемъ Жуковского то превосходнымъ, то безпримѣрнымъ переводчикомъ. Что же причиною этого «изряднаго» искаженія нашихъ словъ, если не излишество усердія къ нашимъ пользамъ? «Сѣверная Пчела» ставитъ намъ (разумѣется, притворно) въ великую вину нашъ отзывъ о забытыхъ теперь балладахъ Жуковского «Людмила» и «Свѣтланѣ»; но кто изъ людей, имѣющихъ хоть сколько-нибудь смысла и вкуса, не согласится безусловно съ нашимъ мнѣніемъ объ этихъ незрѣлыхъ, юношескихъ произведеніяхъ поэта, столь богатаго другими произведеніями великаго достоинства? Вѣрно, чувствуя, что эта нападка на насъ уже черезчуръ усердна, «Сѣверная Пчела» придирается къ языку и восклицаетъ: «Зачѣмъ же вы, великіе мужи нашего времени, пишете, какъ писали подъячіе прошлаго времени? Стихи, которыми она, т. е. баллада писана! Такъ не напишетъ ни одинъ посредственный литераторъ!»... Часъ отъ часу лучше! Вѣдь можно сказать — и всѣ Русскіе всегда говорили, говорятъ и будутъ говорить: такая-то поэма писана гекзаметрами, а такая-то шестистопными ямбическими стихами, а нельзя, видите, сказать: стихи, которыми писана баллада... «Сѣверная Пчела» говоритъ, въ «Отечественныхъ Запискахъ» грамматики нѣтъ ни капли: чувствуете ли гиперболу? Чувствуете ли, что самъ фельетонистъ совсѣмъ этого не думаетъ и напередъ убѣжденъ, что никто ему не повѣритъ? «Сѣверная Пчела» какъ бы издѣвается надъ нашею фразою: «почувствуете себя скучающими и утомленными»: можетъ-быть, такъ нельзя сказать по-руськи, но по-русски это можно и очень можно сказать. — «Сѣверная Пчела» дѣлаетъ видъ, будто ее страшитъ то, что «Отечественныя Записки» овладѣваютъ безпрекословно литературнымъ поприщемъ и утверждаютъ на немъ свое мнѣніе. Тонкій намекъ, тонкая похвала, которую тотчасъ можно замѣтить подъ покро-

вомъ умышленной боязни! Разумѣется, «Сѣверная Пчела» очень хорошо понимаетъ, что достигъ этой цѣли журналъ можетъ только своимъ внутреннимъ достоинствомъ, силою своего мнѣнія, а не фельетонными продѣлками, т. е. криками о своихъ мнимыхъ заслугахъ, бранью на все талантливое и даровитое и т. п. — Добрая газета говорить, что «Отеч. Записки» льстятъ юношеству и дѣтей называютъ умнѣе отцовъ. Опять тонкая штука! Кто же повѣритъ, будто «Сѣв. Пчела» такъ ужъ недалковидна, будто не понимаетъ, что процессъ совершенствованія общества производится именно черезъ умственный и нравственный успѣхъ юныхъ поколѣній? Было время, когда жгли колдуновъ и пытали не однихъ обвиненныхъ, но и подозреваемыхъ въ преступленіи; теперь этого нѣтъ вовсе: не выше ли же, не умнѣ ли люди нашего времени людей тѣхъ варварскихъ и невѣжественныхъ временъ? А какимъ образомъ люди нашего времени стали такъ выше и такъ умнѣ людей того времени? — разумѣется, не вдругъ, а черезъ постепенное улучшеніе каждаго новаго поколѣнія передъ старымъ. Разумѣется, наши понятія свѣжѣе, шире и глубже понятій отцовъ нашихъ — такъ же, какъ понятія дѣтей нашихъ будутъ свѣжѣе, шире и глубже нашихъ понятій. Иначе, дѣти наши были бы жалкимъ поколѣніемъ, недостойнымъ дышать воздухомъ и видѣть свѣтъ Божій. — Дальше, «Сѣверная Пчела» советуется своимъ читателямъ внимательнѣе прочесть, въ нашей статьѣ о Жуковскомъ, мѣсто отъ словъ: «гораздо выше романтизмъ греческій» до словъ: «въ честь обоихъ погибшихъ и была воздвигнута статуя Антэросъ», и убѣждаетъ при этомъ отцовъ и матерей не давать въ руки своимъ дѣтямъ «Отечественныхъ Записокъ». Ловкій оборотъ, раздражающій любопытство тѣхъ, которые не читали нашей статьи о Жуковскомъ! Извѣстно, что все тавиственное, воспрещаемое, только привлекаетъ къ себѣ, а не отталкиваетъ. И потому, избави васъ Богъ подозревать въ



этихъ словахъ «Сѣверной Пчелы» злой умыселъ или черную клевету. Ничего этого нѣтъ. Все это не болѣе, какъ журнальная штука. Во первыхъ, «Сѣверная Пчела» знаетъ, что указываемое ею мѣсто заключаетъ въ себѣ такіе факты о древнемъ мірѣ, которые изучаются юношествомъ какъ предметъ искусства древностей и исторіи, и которые могутъ казаться неприличными только чопорному жеманству мѣщанъ во дворянствѣ. Во вторыхъ, какіе же родители позволяютъ малолѣтнимъ дѣтямъ читать журналы, издаваемые для взрослыхъ людей? Вѣроятно, если отецъ находитъ въ журналѣ что-нибудь интересное и полезное для дѣтей, самъ читаетъ имъ это, выпуская при чтеніи все, чего не слѣдуетъ дѣтямъ знать. Такъ, напримѣръ, чтѣ интереснаго и поучительнаго для дѣтей узнать изъ 170 № «Сѣверной Пчелы», что г. Гречъ, разсерженный голландскою медленностію, «не могъ удержаться отъ древняго восклицанія, которымъ на Руси выражаются всякія движенія душевныя», и которое заставило его просить у двухъ Нѣмцевъ извиненія въ томъ, что онъ Русскій («Сѣверная Пчела» № 170)?... Чтѣ полезнаго увидятъ они въ рассказахъ того же г. Греча (присылаемыхъ изъ Парижа) о подвигахъ парижскихъ воровъ и мошенниковъ, или о похожденияхъ французскихъ актрисъ, напримѣръ о болѣзни дѣвицы Рашель, которая избавится отъ этой болѣзни черезъ шесть недѣль? Чтѣ наставительнаго прочтутъ они въ «юмористическихъ» статейкахъ г. Булгарина, гдѣ говорится о взяточникахъ-подъячихъ, и проч., и проч. Дѣтямъ тутъ нечего читать; старики же посмѣиваются, поморщиваются, а все-таки читаютъ... «Сѣверная Пчела» знаетъ это очень хорошо, и потому-то такъ смѣло нападаетъ на «Отечественныя Записки».—Чтобъ не пропустить времени подписки на журналы, она теперь удваиваетъ свое усердіе и нарочно громоздитъ нелѣпость на нелѣпости, чтобъ только выказать намъ свою службу, за что мы и благодаримъ

ее всепокорно. Она ужъ прямо говорить, что всѣ наши сужденія о литературѣ (№ 256) «сущая нелѣпица и одинъ разсчетъ». Такъ и надо! она, вѣдь, знаетъ, что никто не повторитъ этого о журналѣ, который давно уже пользуется извѣстностью, какъ лучший русскій журналъ, и который пріобрѣлъ уже огромный успѣхъ и довѣріе въ публикѣ. Этого мало: она теперь, кажется, въ сотый разъ увѣряетъ, будто «Отечественныя Записки» издаются для какого-то бѣднаго семейства, тогда какъ давно уже доказано, что «Отечественныя Записки» никогда не издавались, не издаются и не будутъ издаваться въ пользу какого бы то ни было бѣднаго семейства, и что онѣ составляютъ собственность издателя ихъ, ни съ кѣмъ имъ не раздѣляемую. Такое усердіе къ нашимъ пользамъ намъ даже кажется немножко излишнимъ. Зачѣмъ прибѣгать къ подобнымъ ухищреніямъ для привлеченія намъ подписчиковъ, которыхъ и безъ того много? «Сѣверная Пчела» можетъ доставлять, какъ и доставляла до сихъ поръ, намъ читателей простыми средствами, т. е. браня насъ ежедневно. — Вотъ что касается до извѣщенія ея (№ 256), будто-бы «Отечественныя Записки» обязаны своимъ существованіемъ (?) великодушному самоотверженію бумажнаго фабриканта, бумагопродавца и типографшика г. Жернакова (!!!???), — это другое дѣло: она, во первыхъ, хотѣла риторическимъ языкомъ сказать простую истину — что «Отечественныя Записки» печатаются въ типографіи г. Жернакова, которая дѣйствительно работаетъ очень усердно, хотя и несоотвѣренно, потому что весьма исправно получаетъ за это довольно значительную плату; во вторыхъ, ей хотѣлось намекнуть, что «Отечественныя Записки» съ будущаго года не будутъ уже печататься въ типографіи г. Жернакова, а перенесутся въ другую типографію; но она остерегалась это сдѣлать, дожидаясь нашего о томъ извѣщенія; мы же, съ своей стороны, не считали за нужное извѣщать о такой

бездѣлицѣ. Но теперь, чтобъ выручить изъ бѣды «Сѣверную Пчелу», желавшую подать намъ случай опровергнуть объявленія ея, будто журналъ нашъ не могъ и не можетъ существовать безъ типографіи г. Жернакова, — вынуждены сказать, что, дѣйствительно, съ будущаго года «Отечественныя Записки» будутъ печататься въ типографіи г. Глазунова и К<sup>о</sup>, гдѣ уже, нарочно для нихъ, куплена большая скоропечатная машина, могущая отпечатывать до 1000 листовъ въ часъ, и приготовленъ новый шрифтъ изъ знаменитой словолитн г. Ревильйона. Первая книжка «Отечественныхъ Записокъ» 1844 года будетъ уже набрана этимъ шрифтомъ и отпечатана на этой машинѣ. Скорость печатанія доставитъ намъ возможность равнѣ разсылать книжки для иногородныхъ читателей, нежели какъ было дѣлаемо это до сихъ поръ. Довольно ли?

Но напрасно, намъ кажется, «Сѣверная Пчела» жалуется, будто мы обижаемъ ее за ея похвалы г. Ольхину. Опять не то, и вѣроятно опять изъ усердія къ намъ! Мы смѣемся только надъ гимнами и диэирамбами ея г. Ольхину, о которомъ она говоритъ, что — не то воздвигся, не то возсталъ новый дѣятель, котораго природа одарила дивными качествами ума и сердца, потому что онъ издаетъ сочиненія г. Θ. Булгарина, ничего ему за нихъ незаплативши (№ 256 «Сѣверной Пчелы»). Дѣйствительно, со стороны г. Ольхина очень великодушно употребить значительную сумму на изданіе стараго литературнаго хлама, котораго, конечно, у него никто покупать не будетъ; но что же въ этомъ пользы для русской литературы? По нашему мнѣнію, это даже и совсѣмъ не литературное дѣло. Въ томъ же номерѣ «Сѣверной Пчелы» говорится, «что иностранные журналы берутъ деньги съ актеровъ, авторовъ и книгопродавцевъ за похвалы» и къ этому прибавляетъ элегическимъ тономъ: «Быть можетъ: но у насъ нѣ(е)кому дать и нѣ(е)кому взять! Какой актеръ, какой авторъ, какой книгопродавецъ у

насъ дать деньги!» Въ самомъ дѣлѣ, должно быть прискорбно, — и мы не можемъ не уважить этого унынія нашей доброй газеты, хотя, право, никакъ не въ силахъ раздѣлять его, потому что ничего не понимаемъ по этой части... Но это эпизодъ, вставка: обратимся къ главному.

«Сѣверная Пчела» служить намъ не только тогда, когда бранить «Отечественныя Записки», вызывая этимъ насъ на побѣдоносное опроверженіе, но и тогда, когда восхваляетъ такіе журналы, похвалу которымъ всякій прійметъ не иначе, какъ за иронию. Прежде всего она преусердно хвалитъ самое себя: къ этому уже всѣ привыкли, и всякій знаетъ этому цѣну. Потому она увѣряетъ публику, что «Сынъ Отечества», подъ редакцію г. Масальскаго, сдѣлался «прекраснымъ, прелюбопытнымъ, справедливымъ и безпристрастнымъ въ своихъ сужденіяхъ журналомъ», и что будто бы сей г. Масальскій трудами своими заслужилъ почетное имя въ литературѣ, а благонамѣренностію своихъ критикъ приобрѣлъ уваженіе даже своихъ противниковъ», и что, къ совершенству издаваемого имъ «Сына Отечества» не достаетъ только аккуратности въ выходѣ книжекъ... Какъ непримѣтно и больно уколоть этимъ несчастный «Сынъ Отечества<sup>1)</sup>»!

Вотъ также черта услужливости «Сѣверной Пчелы» въ отношеніи къ намъ. Ей (№ 232) не понравилось сужденіе наше объ «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина, и она начинаетъ разсуждать, какое имѣетъ право судить объ исторіи Карамзина издатель «Отечественныхъ Записокъ»? и рѣшаетъ, что онъ не имѣетъ никакого права, ибо не написалъ нѣсколькихъ сочиненій, удовлетворяющихъ потребностямъ современнаго общества. Какъ, спросите вы: неужели для того,

<sup>1)</sup> А «Сына Отечества» до сихъ поръ вышло только пять книжекъ, т. е. послѣдняя книжка его была за май, тогда какъ у насъ теперь декабрьскіе морозы!

чтобъ имѣть право критиковать, напримѣръ, «Иліаду» критикъ сперва самъ долженъ написать поэму не хуже Гомеровою? Неужели критика не есть самостоятельный талантъ, который выказывается не въ своемъ призваніи, въ своемъ дѣлѣ, т. е. въ критикѣ, а въ поэзіи, въ исторіи и т. д.?... Да послѣ этого, не только поэты и историки лишатъ критиковъ права судить о поэтическихъ и историческихъ сочиненіяхъ, но нельзя будетъ сказать и портному, зачѣмъ онъ вамъ испортилъ фракъ, не опасаясь услышать отъ него, въ оправданіе: «а вы развѣ умѣете сшить фракъ лучше моего, что беретесь критиковать мою работу?» — Еще образчикъ: «Сѣверная Пчела» выдумываетъ (№ 250), будто мы упрекаемъ г. Θ. Булгарина въ старости, словно въ порокъ какомъ-нибудь, тогда какъ мы говорили не о старости его, а о томъ, что онъ выдаетъ за новостъ понятія и идеи, которыя были новы, интересны и основательны назадъ тому лѣтъ тридцать съ небольшимъ, и о томъ еще, что г. Θ. Булгаринъ давно уже весь выписался... Чтѣ же дѣлаетъ «Сѣверная Пчела»? Она, примѣромъ Вальтеръ Скотта, Вольтера, Гёте, Шарля Нодье, Ламартина, Кузена, Вильмена, Гизо, Баранта, Шатобріана, Карамзина и Жуковского начала доказывать, что г. Θ. Булгаринъ и въ преклонныхъ лѣтахъ можетъ быть отличнымъ прозаикомъ, критикомъ, историкомъ и романистомъ!!!... Скажите, пожалуйста, можно ли такъ шутить!..

Лестное вниманіе къ намъ со стороны «Сѣверной Пчелы» и вѣрная долговременная служба ей «Отечественнымъ Запискамъ» трогаетъ насъ до глубины души. и мы, въ концѣ года, обязанностію считаемъ свидѣтельствовать ей нашу искреннюю благодарность. Почти не бываетъ нумера этой газеты, въ которомъ не говорилось бы, прямо, или косвенно, объ «Отечественныхъ Запискахъ», особенно въ субботнихъ фельетонахъ, которые пишутся исключительно для однихъ «Отечественныхъ Записокъ». «Сѣверная Пчела» учитъ наизусть и знаетъ всѣ

статьи наши, особенно критическія, библиографическія и «журнальныя замѣтки», въ то же время притворно увѣряя публику, будто ея издатели и сотрудники и въ руки не берутъ «Отечественныхъ Записокъ», почитая для себя унижительнымъ читать ихъ, и еще болѣе — писать о нихъ. Намъ не для чего притворяться, и потому мы можемъ прямо и открыто сказать, что читаемъ въ «Сѣверной Пчелѣ» аккуратно всѣ статьи и статейки, въ которыхъ упоминается что-либо объ «Отечественныхъ Запискахъ». Благодарность — чувство невольное, а мы такъ одолжены «Сѣверной Пчелою»! Будемъ надѣяться, что въ слѣдующемъ году усердіе «Сѣверной Пчелы» не ослабнетъ, и она не разъ подастъ намъ поводъ поговорить о самихъ себѣ публикѣ: она знаетъ, что безъ этого повода мы никогда не говоримъ о себѣ. Итакъ, добрая сотрудница наша, до новаго года!...

---



**IV**

**ТЕАТРЪ.**





### РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

**ЖЕНИТЬБА.** Оригинальная комедія въ двухъ дѣйствіяхъ, сочиненіе Н. В. Гоголя (автора «Ревизора»).

Въ ожиданіи выхода полного собранія сочиненій Гоголя скажемъ здѣсь нѣсколько словъ о характерахъ въ новой комедіи его «Женитьба». Подколесинъ — не просто вялый и нерѣшительный человекъ съ слабою волею, которымъ можетъ всякій управлять: его нерѣшительность преимущественно выказывается въ вопросѣ о женитьбѣ. Ему страхъ какъ хочется жениться, но приступить къ дѣлу онъ не въ силахъ. Пока вопросъ идетъ о намѣреніи, Подколесинъ рѣшителенъ до героизма; но чуть коснулось исполненія — онъ труситъ. Это недугъ, который знакомъ слишкомъ многимъ людямъ, поумнѣе и пообразованнѣе Подколесина. Въ характерѣ Подколесина авторъ подмѣтилъ и выразилъ черту общую, слѣдовательно, идею. Подколесинъ покоряется одному Кочкареву, потому что тотъ нахаль, которому не уступить — значитъ рѣшиться на исторію, конечно, не опасную, но за то неприличную, а одно стоитъ другаго. Кочкаревъ — добрый и пустой малый, нахаль и разбитная голова. Онъ скоро знакомится, скоро дружится и сейчасъ на *ты*. Горе тому, кто удостоится его дружбы! Кочкаревъ переставитъ у него по своему мебель въ комнату, да еще будетъ ругать, если тотъ не усердно будетъ

помогать ему распоряжаться въ своемъ домѣ. Кочкаревъ навязываетъ другу своего портнаго, своего сапожника не потому, чтобъ убѣжденъ былъ въ ихъ превосходствѣ, а для того только, чтобъ сказать: «я рекомендовалъ». Кочкаревъ хочетъ, чтобъ все шло и дѣлалось черезъ него, и чтобъ всѣ говорили: «этотъ человѣкъ на всѣ руки». Для этого онъ готовъ хлопотать, биться до поту лица, перенести что угодно. Другъ его собирается купить домъ: у Кочкарева ужъ есть на примѣтѣ домъ — отличнѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ, именно такой, какой нуженъ его другу; онъ самъ, правду сказать, и не былъ въ этомъ домѣ, но готовъ сейчасъ же расписать расположеніе его комнатъ, доказать его удобство, выгодность, побожиться за достоинство каждой половицы, cadaго стропила. Если другъ не захочетъ смотрѣть этого дома, онъ потащитъ его, будетъ упрашивать, умолять, а въ случаѣ рѣшительнаго отказа, разсорится съ другомъ по своему: назоветъ его и «свиньей» и «подлецомъ». Первые слова его свахѣ, которую засталъ онъ у Подколесина, были: «Ну, послушай, на кой чортъ ты меня женила?» Изъ этого видно уже, что женитьба не очень осчастливила его, и что не ему бы хлопотать о женитьбѣ другихъ. Но не тутъ то было: провѣдавъ о чужомъ дѣлѣ, онъ уже похожъ на гончую собаку, почуявшую зайца; чтобъ похлопотать, онъ описываетъ женитьбу самыми обольстительными красками, какія только можетъ ему дать его грубая фантазія. И потому, если актёръ, выполняющій роль Кочкарева, услышавъ о намѣреніи Подколесина жениться, сдѣлаетъ значительную мину, какъ человѣкъ, у котораго есть какая-то цѣль, — то онъ испортитъ всю роль съ самаго начала. Въ концѣ пьесы, Кочкаревъ, взбѣсившись на Подколесина, самъ говоритъ: «Да если ужъ пошло на правду, то и я хорошъ. Ну, скажите, пожалуйста, вотъ я на васъ всѣхъ сошлюсь: ну не олухъ ли я, не глупъ ли я? Изъ чего бьюсь, кричу, инда горло пере-

сохло? Скажите, что онъ мнѣ? родня что ли? И что я ему такое — нянька, тетка, свекруха, кума что ли? Изъ какого же дьявола, изъ чего, изъ чего я хлопочу о немъ, не знаю себя покою, нелегкая прибрала бы его совѣсть? — А просто чортъ знаетъ изъ чего! поди ты, спроси иной разъ челоѣтка, изъ чего онъ что-нибудь дѣлаетъ!» Въ этихъ словахъ — вся тайна характера Кочкарева. Жевакинъ — не кривляка, не шутъ: это старый селадонъ, а потому и шеголь, несмотря на свой старинный мундиръ. Куда бы ни занесла его судьба — хоть въ Китай, не только въ Сицилію, — онъ вездѣ замѣтитъ одно только: «розанчики этакіе». Кромѣ «розанчиковъ» для него ничто на свѣтѣ не существуетъ. — Анучкинъ — челоѣкъ, живущій и бредящій однимъ — высшимъ обществомъ, котораго онъ никогда и воснѣ не видывалъ и съ которымъ у него нѣтъ ничего общаго. Онъ почитаетъ себя образованнымъ челоѣкомъ, и, услышавъ о Сициліи, сейчасъ захотѣлъ узнать, говорятъ ли тамъ «барышни» по-французски. Барышни, французскій языкъ и обхожденіе высшаго общества — въ этомъ для него и смыслъ жизни и цѣль жизни, и кромѣ этого, для него ничто не существуетъ. Много попадаетъ Анучкиныхъ на бѣломъ свѣтѣ: они-то громче всѣхъ хлопаютъ актѣрамъ и вызываютъ ихъ; они-то восхищаются всякимъ плоскимъ и грубымъ двусмысліемъ въ водевилѣ, и осуждаютъ піесы за неприличный тонъ; они-то не любятъ ни на сценѣ, ни въ книгахъ людей низкаго званія и грубыхъ выраженій. Анучкинъ — въ высшей степени типическое лицо, для представленія котораго на театрѣ нужно много ума и таланта. — Пятое дѣйствующее лицо — Яичница (экзекуторъ). Это челоѣкъ грубый, матеріальный; но онъ живетъ и служитъ въ Петербургѣ — стало-быть не похожъ на провинціальнаго медвѣдя. Вообще, для хорошаго выполненія ролей, созданныхъ Гоголемъ, актѣрамъ всего нужнѣе — наивность, отсутствіе всякаго желанія и уси-

лія смѣшить. Если человѣкъ имѣетъ смѣшную или слабую сторону, онъ тѣмъ и возбуждаетъ смѣхъ, что не предполагаетъ въ себѣ ничего смѣшнаго, или страннаго. Въ обществѣ, никто не станетъ стараться смѣшить другихъ на свой счетъ, а сцена должна быть зеркаломъ общества...

Лицо Свахи въ «Женитьбѣ» — одно изъ самыхъ живыхъ и типическихъ созданій Гоголя. Бойкость, яркость движеній, трещоточный разговоръ, должны быть прежде всего схвачены актрисою, выполняющею эту роль; малѣйшая вялость, тяжело-ватость сейчасъ испортятъ дѣло. Это баба, наметавшаяся въ своемъ ремеслѣ; ея не разстроить никакое обстоятельство, не смутитъ никакое возраженіе; у нея готовъ отвѣтъ на всякій вопросъ. Невѣста спрашиваетъ сваху про одного изъ жениховъ, не пьетъ ли онъ. «А пьетъ, не прекословлю, пьетъ! Чтѣ же дѣлать? ужъ онъ титулярный совѣтникъ, зато такой тихій, какъ шолкъ», отвѣчаетъ сваха и, въ утѣшеніе, прибавляетъ: «Впрочемъ, чтѣ жъ такого, что иной разъ выпьетъ лишнее? Вѣдь не всю же недѣлю бываетъ пьянъ — иной день выберется и трезвый». Про другаго она говоритъ: «Немножко заикается, за то ужъ такой скромный».

Сколько юмора, какой языкъ, какіе характеры, какая типическая вѣрность натурѣ! Но, увы, словно нетопыри прекраснымъ зданіемъ, овладѣли нашею сценою пошлыя комедіи съ пряничною любовью и неизбежною свадьбою! Это называется у насъ «сюжетомъ». Смотря на наши комедіи и водевили и принимая ихъ за выраженіе дѣйствительности, вы подумаете, что наше общество только и занимается, что любовью, только и живетъ и дышетъ, что ею! И какою любовью—безкорыстною, безъ всякаго разсчета на приданое, на связи и покровительство!...

**РУССКАЯ БОЯРЫНЯ XVII столѣтія.** *Драматическое представле-  
ніе въ одномъ дѣйствіи, съ свадебными пѣснями и  
пляской соч. П. Г. Ободовскаго.*

Трагедія, водевиль и балетъ, вмѣстѣ взятые, составляютъ «драматическое представле-  
ніе», по мнѣнію знаменитыхъ дра-  
матурговъ Александринскаго театра — гг. Полеваго и Обо-  
довскаго.

У нихъ, какъ у истинныхъ геніевъ, своя логика и своя эс-  
тетика! Собственно «драматизмъ», по этой оригинальной ло-  
гикѣ и глубокомысленной эстетикѣ, долженъ заключаться въ  
внезапныхъ встрѣчахъ отцовъ съ дѣтьми, мужей съ женами,  
любовниковъ съ любовницами. Окончаніе всегда должно быть  
счастливое — торжество добродѣтели, наказаніе порока: это  
ужь для нравственности. Сочинивъ такой замысловатый ре-  
цептъ изъ такихъ простыхъ и дешевыхъ снадобій, сіи достой-  
ные драматурги много уже составили по немъ прекраснѣйшихъ  
«драматическихъ представле-  
ній», которыя достойно удивили и  
восхитили публику Александринскаго театра. Не станетъ ни  
чьей памяти сосчитать, въ который уже разъ г. Ободовскій  
удостоился лавроваго вѣнка Софокла, когда восхищенная и до  
глубины тронутая публика Александринскаго театра такъ еди-  
нодушно хлопала, слушая восхитительное пѣніе г-жи Гусевой  
и смотря на очаровательную пляску г-жи Каратыгиной. Содер-  
жаніе «Боярыни XVII Столѣтія» состоитъ въ томъ, что въ де-  
ревню и домъ жены псковскаго воеводы Морозова пожаловалъ  
невзначай отрядъ Шведовъ, которые напились пьяны, заста-  
вили Морозову (назвавшуюся женою дворецкаго) плясать, и  
предводитель ихъ клялся, если найдетъ семейство Морозовыхъ,  
отомстить ему за смерть своего отца; а Морозова призрѣла у  
себя взятаго вмѣстѣ съ мертвыми съ поля битвы старика-  
Шведа; и вотъ, какъ предводитель отряда наконецъ узналъ,

что онъ въ домѣ у Морозовой и что она его одурачила, то и началъ «клятися и ратитися», махать руками и кричать, да и схватился было за мечъ; тогда Морозова бросается съ своимъ малолѣтнимъ сыномъ въ комнату, гдѣ стоялъ бочонокъ съ порокомъ, и въ великолѣпномъ монологѣ, не жалѣя груди, грозитъ поднести свѣчу къ бочонку; но какъ въ такомъ случаѣ погибла бы добродѣтель и восторжествовалъ бы порокъ, а сверхъ того и взрывъ большой избы, набитой народомъ, неудобоисполнителенъ на сценѣ, то по всемъ симъ причинамъ, вдругъ выздоравливаетъ старикъ Шведъ и, съ крикомъ: «сынъ!» бросается къ начальнику шведскаго отряда, а тотъ кричитъ: «родитель мой!» и бросается къ старику, а рабъ хлопаетъ...

Очевидно, что содержаніе новаго «драматическаго представленія» г. Ободовскаго есть не что иное, какъ переложеніе русской исторіи на римскіе нравы, по незнанію русскихъ нравовъ... Сочинители извѣстнаго разряда не понимаютъ, что каждый народъ доблестенъ по своему, въ своихъ формахъ — Русскіе по-русски, Римляне по-римски, что Пожарскій, Мининъ и Сусанинъ совершили свои великія дѣла безъ монологовъ изъ Расиновскихъ трагедій, не рисуясь по театральному. Но угадывать форму идеи есть дѣло таланта: посредственность все представляетъ въ одинаковыхъ риторическихъ формахъ. Впрочемъ, какъ пѣніе г-жи Гусевой и пляска г-жи Каратыгиной, такъ и «драматическое представленіе» г. Ободовскаго совершенно пришлось по вкусу нѣкоторой части публики: авторъ былъ вызванъ, и мы сами слышали, какъ многіе, даже весьма почтенные люди, т. е. люди въ лѣтахъ и съ вѣсомъ, говорили: «Вотъ это — піеса; это не то, что какая-нибудь Женитьба!» Именно, совсѣмъ не то — мы согласны съ этимъ...

**БРАТЯ КУНЦЫ, ИЛИ ИГРА СЧАСТІЯ.** Драма въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, переведенная съ нѣмецкаго. П. Г. Ободовскимъ.

**РУБЕНСЪ ВЪ ШАДРИТЬ.** Историческая драма въ четырехъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ, передѣланная съ нѣмецкаго. Дѣйствіе 1-е: честь таланту; дѣйствіе 2-е: вражда и нужда; дѣйствіе 3-е: любовь и долгъ; дѣйствіе 4-е: картина смерти.

Поэзія каждаго народа тѣсно сопряжена съ его жизнію и исторіею. Отсюда изъясняются успѣхи извѣстнаго народа въ одномъ родѣ поэзіи и неуспѣхи его въ другомъ. Какъ нація, отличающаяся внутреннею, субъективною настроенностію духа, Германія вся высказалась и вылилась въ лирической поэзіи. Ни одинъ народъ въ Европѣ не имѣетъ столько замѣчательныхъ лириковъ, какъ Нѣмцы, и ни въ одной европейской литературѣ лирическая поэзія не развилась до такой степени, какъ въ нѣмецкой литературѣ. Созерцательность, какъ начало внутреннее и спокойное, противоположное дѣятельному началу, составляетъ отличительную черту мыслительно-идеальнаго характера Нѣмцевъ, — и ей-то обязаны они своею музыкальностію и своимъ лиризмомъ. За то, какъ у народа, болѣе семейственнаго, чѣмъ общественнаго, болѣе созерцающаго, чѣмъ дѣйствующаго, у Нѣмцевъ нѣтъ ни драмы, ни романа. Всѣ попытки ихъ въ этихъ родахъ ознаменованы печатію особеннаго ничтожества, жалкаго безсилія и смѣшнаго уродства. Въ этомъ случаѣ, должно исключить одного Шиллера. Но и этотъ великій поэтъ въ драмахъ своихъ остался вѣренъ національному духу: преобладающій характеръ его драмъ — чисто-лирическій, и онѣ ничего общаго не имѣютъ съ прототипомъ драмы, изображающей дѣйствительность — съ драмою Шекспира. Въ своей сферѣ, драмы Шиллера — великія, вѣковыя созданія; но ихъ не



должно сѣшивать съ настоящею драмою новаго міра, и онѣ гораздо больше имѣютъ общаго съ греческою трагедіею, чѣмъ съ Шекспировскою драмою. Для большаго поясненія нашей мысли скажемъ, что къ такому роду драмъ, какъ Шиллеровскія, относится и «Манфредъ» Байрона. Надо быть слишкомъ великимъ лирикомъ, чтобы свободно ходить на котурнѣ Шиллеровской драмы: простой талантъ, взобравшійся на ея котурнѣ, непременно падаетъ съ него — прямо въ грязь. Вотъ отчего всѣ подражатели Шиллера такъ приторны, пошлы и несносны. «Фаустъ» и «Прометей» Гёте — тоже національныя нѣмецкія драмы, ибо глубокое философское содержаніе высказалось въ нихъ бурнымъ потокомъ лирическаго пафоса, а драматизмъ ихъ одна внѣшняя форма; отъ драматизма онѣ взяли только діалогъ. За то, всѣ прочія драмы Гёте, кромѣ одного «Гётца», представляющаго собою какое-то странное исключеніе изъ общаго правила, — живыя свидѣтельства неспособности Нѣмцевъ къ драмѣ, какъ выраженію дѣйствительности. Не говоря уже о такихъ жалкихъ созданіяхъ, какъ «Клавиго», «Стелло», «Братъ и Сестра», — самымъ «Эгмонтомъ» Гёте можетъ, какъ драмою, очаровываться только неопытное эстетическое чувство, не умѣющее отличать поддѣлки и ложныхъ усилій отъ свободного творчества. Изъ романа Нѣмцы сдѣлали какой-то свой особенный родъ поэзіи; они въ немъ то сентиментальничали, съ Августомъ Лафонтеномъ, то тѣшились фантазмагорическими аллегоріями, съ Шписомъ, то превращали дѣйствительность въ фантазмагорію, съ геніальнымъ сумасбродомъ Гофманомъ, котораго геній задохся въ тѣснотѣ идеальной и гофратской дѣйствительности. Отъ этого въ литературномъ мірѣ нѣтъ ничего хуже нѣмецкихъ романовъ, повѣстей и, въ особенности, драмъ. Къ несчастію, число послѣднихъ безконечно велико, и со дня на день все прибываетъ, какъ полая вода весною, грозя затопить театръ. Но Англичанъ и Французовъ, имѣющихъ свою

національную и истинную драму, не легко обморочить сладкими супами нѣмецкой драматической кухни; они на нихъ не смотрятъ. Благодаря досужеству и бездарности нѣкоторыхъ российскихъ сочинителей и переводчиковъ, намъ, Русскимъ, досталось на долю, зѣвая и морщась, лакомиться приторными отъ сладости драматическими супами Нѣмцевъ. Въ XVII № «Репертуара» за прошлый годъ, напечатана драма Гуцкова «Вернеръ, или Сердце и Свѣтъ»: Боже великій, что это за дивная галиматья, что за геніяльность бездарности! Не знаешь, чему болѣе дивиться въ ней: незнанію ли сердца человѣческаго, или незнанію свѣта! Нѣтъ, не далась Нѣмцамъ драма, не дался имъ и театр: въ послѣднемъ, у нихъ много изученія, ума, даже учености, но нѣтъ жизни и натуры. — натянута въ позахъ, въ манерахъ, въ дикціи. бюргерство и честность, гофратство и аккуратность, но не сценическое искусство, не поэзія...

«Братья Купцы» и «Рубенсъ въ Мадритѣ» принадлежать къ самымъ образцовымъ уродамъ драматической нѣмецкой кунсткамеры. Скучно, тяжело, и для насъ и для читателей, было бы пересказывать этой путаницы приключеній и походовъ, лишенныхъ всякой правдоподобности и естественности, — путаницы, которая составляетъ содержаніе этихъ двухъ приторныхъ драмъ. Жили да были, — изволите видѣть — два брата въ Лондонѣ: одинъ изъ нихъ бѣднякъ и гуляка, а другой человѣкъ твердый, какъ говорятъ у насъ на Руси, и богачъ; бѣднякъ совѣтъ проигрался и, попавъ въ тюрьму, проситъ брата помочь ему, но тотъ и слышать не хочетъ; вотъ Нѣмцу и стало досадно на жестокосердіе брата-богача; черкнулъ перомъ Нѣмецъ — и богачъ сталъ бѣденъ и попалъ въ тюрьму, а бѣднякъ разбогатѣлъ, и бывший богачъ проситъ милостыни у бывшего бѣняка; бывший бѣднякъ заупрямился было, но авторъ-Нѣмецъ, видя, что это безнравственно, заставилъ братьевъ помириться: они обнимаются и плачутъ, какъ два подгулявшіе бюргера;

раёкъ хлопаеть, и занавѣсъ опускается. Этотъ вздоръ переведенъ достойными его стихами, тщаніемъ и усердіемъ извѣстнаго драматурга Александринскаго театра.—Рубенса не любить испанскій грандъ, г. Толченонъ 1-й; за то его любить грандесса, которую онъ тоже обожаетъ. Грандъ, чтобъ уронить Рубенса при испанскомъ дворѣ, выписываетъ изъ Голландіи учителя его, старика фанъ-Орста; но Рубенсъ посылаетъ тому вдвое больше денегъ, входитъ, переряженный, подъ именемъ фанъ-Орста, въ домъ гранда, и пишетъ портретъ съ его жены. Тутъ, разумѣется, нѣжныя и патетическія сцены любви въ нѣмецкомъ вкусѣ, ахи, страхи, охи, вздохи, слезы, фразы; обманъ открывается, грандъ такъ и лѣзетъ на стѣну—хочетъ Рубенса вѣсьма живота лишитъ; а тотъ, махая мечомъ картоннымъ, пугаетъ и гранда и слугъ его, идетъ во дворецъ, — и навлекаетъ на себя гнѣвъ короля; но королева спасаетъ Рубенса, приходитъ въ его мастерскую, заставляетъ соперниковъ помириться и объявляетъ имъ, что оба они назначены посланниками—одинъ въ Римъ, другой въ Лондонъ. Рубенсъ выставленъ въ этой драматической шумихѣ шутомъ, фарсёромъ и фразёромъ; великаго человѣка и художника нѣтъ и тѣни.

**Ломоносовъ, или жизнь и поэзія.** *Драматическая повесть въ пяти дѣйствіяхъ, въ прозѣ и стихахъ, соч. Н. А. Полевою. Дѣйствіе первое:* рыбакъ; *дѣйствіе второе:* поэтъ; *дѣйствіе третье:* цѣпи жизни; *дѣйствіе четвертое:* поэтъ и люди; *дѣйствіе пятое:* великій человѣкъ.

Г. Полевой и г. Ободовскій завладѣли сценою Александринскаго театра, вниманіемъ и восторгомъ его публики. И если нельзя не завидовать лаврамъ сихъ достойныхъ драматурговъ, то нельзя не завидовать и счастью публики Александринскаго театра; она счастливѣе и англійской публики, которая имѣла одного только Шекспира, и германской, которая

имѣла одного только Шиллера: она, въ лицѣ гг. Полеваго и Ободовскаго, имѣетъ вдругъ и Шекспира и Шиллера! Г. Полевой—это Шекспиръ публики Александринскаго театра; г. Ободовскій — это ея Шиллеръ. Первый отличается разнообразіемъ своего генія и глубокимъ знаніемъ сердца человѣческаго; второй избыткомъ лирическаго чувства, которое такъ и хлещетъ у него черезъ край, потокомъ огнедышащей лавы. Тамъ, гдѣ у г. Полеваго не хватаетъ генія, или оказывается недостатокъ въ сердцевѣдѣніи; онъ обыкновенно прибѣгаетъ къ балетнымъ сценамъ и, подъ звуки жалобно протяжной музыки, устраиваетъ патетическія сцены разставанія нѣжныхъ дѣтей съ дражайшими родителями, или вѣрнаго супруга съ обожаемою супругою. Тамъ, гдѣ у г. Ободовскаго изсякаетъ на минуту самородный источникъ бурно-пламеннаго чувства, онъ прибѣгаетъ къ пляскѣ, заставляя героя (а иногда и героиню) патетически-патріотической драмы отхватывать въ присядку какой-нибудь національный танецъ. Обвиняютъ г. Ободовскаго въ подражаніи г. Полевому; но вѣдь и Шиллеръ подражалъ Шекспиру! Обвиняютъ г. Полеваго въ похищеніяхъ у Шекспира, Шиллера, Гёте, Мольера, Гюго, Дюма и прочихъ; но это не только не похищенія—даже не заимствованія; извѣстно, что Шекспиръ бралъ свое гдѣ ни находилъ его: то же дѣлаетъ и г. Полевой, въ качествѣ Шекспира Александринскаго театра. Г. Полевой пишетъ и драмы, и комедіи, и водевили; Шекспиръ писалъ только драмы и комедіи: стало-быть, геній г. Полеваго еще разнообразнѣе, чѣмъ геній Шекспира. Шиллеръ писалъ однѣ драмы и не писалъ комедій: г. Ободовскій тоже пишетъ однѣ драмы и не пишетъ комедій. Г. Полевой началъ свое драматическое поприще подражаніемъ «Гамлету» Шекспира; г. Ободовскій началъ свое драматическое поприще переводомъ «Дона-Карлоса» Шиллера. Подобно Шекспиру, г. Полевой началъ свое драматическое поприще уже

въ лѣтахъ зрѣлаго мужества, а до тѣхъ поръ, подобно Шекспиру, съ успѣхомъ упражнялся въ разныхъ родахъ искусства, свойственныхъ незрѣлой юности, и, подобно Шекспиру, началъ свое литературное поприще нѣсколькими лирическими піесами, о которыхъ, въ свое время, извѣстилъ російскую публику г. Свиньинъ. Г. Ободовскій, подобно Шиллеру, началъ свое драматическое поприще въ лѣта пылкой юности. Намъ возразятъ, можетъ-быть, что Шекспиръ не прибѣгалъ къ балетнымъ сценамъ, и Шиллеръ не заставлялъ плясать своихъ героевъ: такъ; но вѣдь нельзя же ни въ чемъ найти совершеннаго сходства; притомъ же, балетныя сцены и пляски можно отнести скорѣе къ усовершенствованію новѣйшаго драматическаго искусства на сценѣ Александринскаго театра, чѣмъ къ недостаткамъ его. Послѣ Шекспира и Шиллера, драматическое искусство должно же было подвинуться впередъ,—и оно подвинулось: въ драмахъ г. Полевого, съ приличною важностію минуэтной выступки, а въ драмахъ г. Ободовскаго, съ дробною быстротою малороссійскаго трепака, — въ чемъ, сверхъ того, выразились и степенныя лѣта перваго сочинителя, и порывистая юность втораго. Что же касается до несходствъ, — ихъ можно найти и еще нѣсколько. Шекспиръ началъ свое поприще несчастно: г. Полевой счастливо; Шекспиръ не обольщался своею славою и смотрѣлъ на нее съ улыбкою горькаго британскаго юмора: г. Полевой вполнѣ умѣетъ цѣнить пожатыя имъ на сценѣ Александринскаго театра лавры. Шиллеръ былъ гонимъ въ юности и уважаемъ въ лѣта мужества: г. Ободовскій былъ ласкаемъ и уважаемъ со дня вступленія своего на драматическое поприще, и т. д.

Если бы не усердіе и трудолюбіе сихъ достойныхъ драматурговъ,—русская сцена пала бы совершенно, за неимѣніемъ драматической литературы. Теперь она только и держится, что гг-ми Полевымъ и Ободовскимъ, которыхъ, по этому, можно

назвать русскими драматическими Атлантами. Обыкновенно, они дѣйствуютъ такъ: когда сцена истощится, они пишутъ новую піесу, и піеса эта дается разъ пятьдесятъ сряду, а потомъ уже совсѣмъ не дается. Такъ недавно тѣшилъ г. Ободовскій публику Александринскаго театра своею безподобною драмою «Русская Боярыня XVII столѣтія»; такъ недавно тѣшилъ г. Полевой публику Александринскаго театра «Еленою Глинскою», а на прошлой масляницѣ потѣшалъ ее «Ломоносовымъ», который былъ данъ ровно девятнадцать разъ, и который уже едва ли данъ будетъ въ двадцатый разъ. Сама «Сѣверная Пчела» (зри 35 №) выразилась объ этомъ такъ: «Дайте десять разъ сряду піесу, и она уже старая! Всѣ ее видѣли, всѣ наслаждались ею, и занимательность пропала. А пусть бы играли ту же піесу два раза въ недѣлю, она была бы свѣжа въ теченіе года. Вотъ придетъ масляница, и къ посту піеса превратится въ дѣмьянову уху». Полно, правда ли это? Намъ кажется, что для такой піесы, какъ «Ломоносовъ», очень выгодно быть представленной девятнадцать разъ въ продолженіе двадцати дней, по пословицѣ: куй желѣзо, пока горячо. Чтò изыщно, то всегда интересно, и занимательность хорошей піесы не можетъ пропасть ни съ того ни съ сего. «Горе отъ Ума» и «Ревизоръ» и теперь даются и всегда будутъ даваться. А «Ломоносовъ» и К<sup>о</sup> пошумятъ, пошумятъ недѣли двѣ-три, да и умрутъ скоростижно, пропадутъ безъ вѣсти.

Г. Ксенофонтъ Полевой сдѣлалъ изъ жизни Ломоносова нѣчто среднее между повѣстью и біографіею. Онъ вѣрно придерживался тѣхъ немногихъ и главныхъ фактовъ жизни Ломоносова, которые дошли до нашего времени, вѣрно держался духа, разлитаго въ твореніяхъ Ломоносова, и очень искусно замѣстилъ пробѣлы въ жизни Ломоносова возможными и вѣроятными распространеніями и вымыслами, которые не противорѣчатъ ни извѣстнымъ фактамъ жизни, ни духу твореній

Ломоносова. Такимъ образомъ, у г. К. Полеваго вышла книга, искусно изложенная. Г. Н. Полевой, соревнующій всѣмъ прошедшимъ успѣхамъ, отъ водевиля Аблесимова, драмъ Иванова и Ильина, до многочисленныхъ драматическихъ опытовъ князя Шаховскаго, поревновалъ и успѣху брата своего, г. К. Полеваго, — и изъ хорошей книги выкроилъ плохую драму, въ которой, ради драматической шумихи дурнаго тона и трескучихъ эффектовъ, нарушилъ историческую истину и изъ характера отца русской учености и литературы, сдѣлалъ жалкую каррикатуру. Жизнь Ломоносова нисколько не драматическая, и г. К. Полевой очень хорошо поступилъ, сдѣлавъ изъ нея нѣчто среднее между біографіею и повѣстью. Ломоносовъ былъ чело-вѣкъ съ душою поэтической; мы охотно допускаемъ въ немъ и талантъ поэтическій; но кому же не извѣстно, что наука была преобладающею страстью его и что заслуги его въ области науки несравненно значительнѣе и выше, чѣмъ въ области поэзіи и краснорѣчія? Г. Полевой, не разъ печатно говорившій, что Ломоносовъ не поэтъ, сдѣлалъ въ своей драмѣ Ломоносова по преимуществу поэтомъ, и на его поэтическомъ стремленіи основалъ павосъ своей драмы. Какъ вамъ покажется это противорѣчіе критика съ поэтомъ (ибо г. Полевой нешутя считаетъ себя поэтомъ)? Но это противорѣчіе не единственное: г. Полевой, въ продолженіе почти десятилѣтняго изданія своего «Телеграфа», постоянно и съ какимъ-то ожесточеніемъ преслѣдовалъ драматическіе труды князя Шаховскаго, а теперь самъ неутомимо подвизается на его поприщѣ, и притомъ въ томъ же духѣ, въ тѣхъ же понятіяхъ объ искусствѣ, только съ меньшимъ талантомъ, нежели князь Шаховской. И такихъ противорѣчій между г. Полевымъ, какъ бывшимъ критикомъ, и между г. Полевымъ, какъ теперешнимъ дѣйствителемъ на поприщѣ изящной словесности, можно найти много. Откуда же происходятъ эти противорѣчія, въ чемъ ихъ источ-

никъ, гдѣ ихъ причина? По нашему мнѣнію, эти противорѣчія суть нѣчто кажущееся, — въ самомъ же дѣлѣ ихъ нѣтъ. Какъ критикъ, г. Полевой не выше г. Полеваго, романиста и драматурга. Критика г. Полеваго отличалась вкусомъ, остроуміемъ, здравымъ смысломъ, когда въ нее не вмѣшивались пристрастіе и оскорбленное сочинительское самолюбіе; но законы изящнаго, глубокой смыслъ искусства всегда были и навсегда остались тайною для критики г. Полеваго. Вотъ почему теперь пріятнѣе перечитывать его рецензіи, чѣмъ его критики, и вотъ почему въ его критикахъ теперь уже не находятъ мыслей и даже не могутъ понять, о чемъ въ нихъ толкуется, и видятъ въ нихъ однѣ фразы и слова. Кто глубоко понимаетъ сущность искусства, тотъ благоговѣнно чтить искусство, и никогда не рѣшится унижать его литературною дѣятельностію безъ призванія, безъ таланта. Но положимъ, что могутъ иногда быть подобныя нравственныя аномаліи, и что человекъ, глубоко понимающій искусство, можетъ имѣть иногда слабость чувствовать въ себѣ призваніе, котораго ему не дано, и видѣть въ себѣ талантъ, котораго въ немъ нѣтъ: все же въ его произведеніяхъ, какъ бы ни были они холодны, сухи и скучны, будутъ видны его понятія объ искусствѣ. Но драмы г. Полеваго — живое опроверженіе того, что онъ писывалъ, бывало, о чужихъ драмахъ, а критика его — рѣшительное ауто-да-фе для его драмъ. Нѣтъ, поверхностная критика г. Полеваго была зерномъ его теперешнихъ драмъ, и между ею и ими нѣтъ большаго противорѣчія. Критикъ г. Полевой былъ моложе, слѣдовательно, живѣе и сильнѣе нравственно; драматургъ г. Полевой уже сочинитель, который все для себя рѣшилъ и опредѣлилъ, которому нечего больше узнавать, нечему больше учиться: вотъ и вся разница...

И, однакожъ, основать драму жизни Ломоносова на исключительномъ стремленіи къ поэзіи, понимая Ломоносова совѣмъ



не какъ поэтъ, — это противорѣчіе уже не эстетикѣ, а развѣ здравому смыслу. Но что г. Полевой человѣкъ умный въ этомъ никто не сомнѣвается, и мы увѣрены, что онъ самъ прежде другихъ видѣлъ несообразность въ основной идее своей «драматической повѣсти». Зачѣмъ же допустилъ онъ эту несообразность? Очевидно, что здѣсь увлекла его непреодолимая охота быть драматургомъ вопреки призванію и способностямъ. Какъ умный человѣкъ, онъ понималъ очень хорошо, что нѣтъ никакой возможности заинтересовать толпу идеею стремленія къ наукѣ, и что стремленіемъ къ поэзіи можно заинтересовать толпу, хотя она и не понимаетъ, что такое поэзія. Конечно, это показываетъ въ сочинителѣ легкость и неглубокость эстетическихъ, ученыхъ и литературныхъ убѣжденій. Что за любовь, что за уваженіе къ искусству, если хлопанье, крики и вызовы толпы могутъ ихъ ослаблять и уничтожать?

Когда идея, взятая въ основаніе произведенія, ложна сама въ себѣ, то и при талантѣ автора произведеніе не можетъ быть удачно; если же тутъ дѣло идетъ о сочинителѣ безъ призванія и способности, то изъ произведенія выходитъ негѣпость. Если эта негѣпость исполнена трескучихъ и грубыхъ эффектовъ и выставляется на удивленіе толпы, — то она можетъ имѣть сильный, хотя и мгновенный успѣхъ...

Но мы отдалились отъ предмета статьи — «драматической повѣсти» г. Полеваго: обратимся къ ней. Рассказывать ея содержанія не будемъ, потому что это содержаніе — повтореніе тѣхъ изношенныхъ эффектовъ и истертыхъ общихъ мѣстъ, изъ которыхъ уже сто разъ клепалъ г. Полевой свои «драматическія представленія». Первый актъ вертится весь на любви — не Ломоносова, слава Богу, а Вавилы къ Настѣ, на которой отецъ хочетъ заставить Ломоносова жениться. Любовь — самый ложный мотивъ въ русской драмѣ, когда дѣло идетъ о женитьбѣ. Въ мужицкомъ быту не бываетъ французскихъ водевилей. Это

ложь! Второй актъ опять состоитъ изъ любви—Ломоносова къ дочери его хозяйки, Христины. Скрига и ростовщикъ Кляуза далъ матери Христины денегъ взаймы, и зная, что ей нечѣмъ заплатить, хочетъ заставить ее выдать за него дочь свою или пойти въ тюрьму. Когда уже старуху тащутъ въ тюрьму, Ломоносовъ кстати является съ деньгами, платитъ долгъ, выгоняетъ Кляуза, признается г-жѣ Энглебенъ въ любви къ ея дочери, проситъ ея руки. Какъ все это старо, пошло и приторно! Въ третьемъ актѣ, Ломоносовъ презируетъ Вольфа, не ходитъ къ нему на лекціи, терпитъ нужду и говоритъ фразы. Пришедши разъ домой, онъ видитъ, что жена его спитъ у колыбели дочери, горестно задумывается, цѣлуетъ дочь, становится на колѣни, читаетъ молитву, и, разыгравъ эту минутную сцену, уходитъ въ Россію. Эпизодъ завербованія, въ третьемъ актѣ, лишенъ всякой правдоподобности, всякой исторической истины и всякаго смысла. Въ четвертомъ актѣ, г. Полевой хотѣлъ изобразить въ лицѣ Ломоносова отношеніе поэта къ людямъ; людей онъ дѣйствительно представилъ довольно полными, но въ Ломоносовѣ показалъ не поэта, не ученаго, а какого-то брызгу, который на словахъ города беретъ, а на дѣлѣ малодушенъ и слабохарактеренъ, какъ плаксивый ребенокъ. Въ пятомъ актѣ, г. Полевой показываетъ намъ большой свѣтъ: вотъ это ужъ совсѣмъ напрасно! Его большой свѣтъ похожъ на пирушку подгулявшихъ сочинителей средней руки, которые, подъ-хмелькомъ, мирятся послѣ своихъ грязныхъ ссоръ, обнимаются, цѣлуются, называютъ другъ друга «почтеннѣйшими» и даже пляшутъ въ присядку, подогнувъ свои мелодраматическія колѣни. Кстати: на вельможескомъ балѣ, изображенномъ чудною кистію г. Полеваго, пляшетъ Тредьяковскій, подъ напѣвъ глупыхъ стиховъ своихъ. Что даже и вельможи стараго времени любили иногда потѣшиться ученымъ народомъ, который по большой части былъ горькимъ пьяницей

и добровольнымъ шутомъ, — это фактъ; но чтобъ у вельможи на балѣ могъ плясать въ присядку Тредьяковскій, — это вѣроятно, принадлежитъ къ поэтическому вымыслу г. Полеваго. Но нападки на г. Полеваго нѣкоторыхъ литераторовъ за Тредьяковского совершенно несправедливы. Мы помнимъ, что за это нападали на г. Лажечникова и «Библиотека для Чтенія», а въ драмѣ г. Полеваго, характеръ Тредьяковского есть повтореніе созданнаго г. Лажечниковымъ характера Тредьяковского въ «Ледяномъ Домѣ». Говорятъ, что Тредьяковскій могъ писать плохіе стихи, и все-таки быть порядочнымъ человѣкомъ. Не знаемъ, такъ ли это, но вотъ анекдотъ о Тредьяковскомъ, изъ записокъ Пушкина.

Тредьяковскій пришелъ однажды жаловаться Шувалову на Сумарокова. «Ваше высокопревосходительство! Меня Александръ Петровичъ такъ ударилъ въ правую щеку, что она до сихъ поръ у меня болитъ». — Какъ же, братецъ? отвѣчалъ ему Шуваловъ: у тебя болитъ правая щека, а ты держишься за лѣвую? — «Ахъ, В. В., вы имѣете резонъ», отвѣчалъ Тредьяковскій и перенесъ руку на другую сторону. Тредьяковскому не разъ случалось быть битымъ. Въ дѣлѣ Волинскаго сказано, что сей однажды въ какой-то праздникъ потребовалъ оду у придворнаго пѣнты Василья Тредьяковского; но ода была не готова, и пылкій статсъ-секретарь наказалъ тростію оплошнаго стихотворца.

Хорошъ порядочный человѣкъ! Скажутъ: то было такое время! Однакожъ, въ такое же время Ломоносовъ писалъ къ Шувалову, хотѣвшему помирить его съ Сумароковымъ: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельможъ, но ниже у Господа моего Бога дуракомъ быть не хочу».

**ИГРОКИ.** *Оригинальная комедія въ одномъ дѣйствіи. Соч. Гоголя.*

Драматическіе опыты Гоголя представляютъ собою какое-то исключительное явленіе въ русской литературѣ. Если не принимать въ соображеніе комедіи Фонъ-Визина, бывшія въ свое время исключительнымъ явленіемъ, и «Горе отъ Ума», тоже

бывшее исключительнымъ явленіемъ въ свое время, — драматическіе опыты Гоголя среди драматической русской поэзіи съ 1835 года до настоящей минуты — это Чимборазо среди низменныхъ, болотистыхъ мѣстъ, зеленый и роскошный оазисъ среди песчаныхъ степей Африки. Послѣ повѣстей Гоголя, съ удовольствіемъ читаются повѣсти и нѣкоторыхъ другихъ писателей; но послѣ драматическихъ піесъ Гоголя, ничего нельзя ни читать, ни смотрѣть на театрѣ. И между тѣмъ, только одинъ «Ревизоръ» имѣлъ огромный успѣхъ, а «Женитьба» и «Игроки» были приняты или холодно, или даже съ неприязнію. Не трудно угадать причину этого явленія: литература наша хотя и медленно, но все же идетъ впередъ, а театръ давно уже остановился на одномъ мѣстѣ. Публика читающая и публика театральная — это двѣ совершенно различныя публики, ибо театръ посѣщаютъ и такіе люди, которые ничего не читаютъ и лишены всякаго образованія. У Александринскаго театра своя публика, съ собственною фізіономію, съ особенными понятіями, требованіями, взглядомъ на вещи. Успѣхъ піесы состоитъ въ вызовѣ автора, и, въ этомъ отношеніи, не успѣваютъ только или ужъ черезчуръ безсмысленныя и скучныя піесы, или ужъ слишкомъ высокія созданія искусства. Слѣдовательно, ничего нѣтъ легче, какъ быть вызваннымъ въ Александринскомъ театрѣ, — и дѣйствительно, тамъ вызовы и громки и многократны: почти каждое представленіе вызываютъ автора, а инаго по два, по три, по пяти и по десяти разъ. Изъ этого видно, какіе патріархальные нравы царствуютъ въ бѣльшей части публики Александринскаго театра! За границею вызовъ бываетъ наградою подвига и признакомъ неожиданно великаго успѣха, — то же, что триумфъ для римскаго полководца. Въ Александринскомъ театрѣ вызовъ означаетъ страсть пошумѣть и покричать на свои деньги — чтобъ не даромъ онѣ пропадали; къ этому надо еще прибавить спо-

способность восхищаться всякимъ вздоромъ и простодушное неуменіе сортировать по степени достоинства однородныя вещи. Отсюда происходитъ и страсть вызывать актеровъ. Инаго вызываютъ десять разъ, и ужъ рѣдкаго не вызвать ни разу. Вызываютъ актѣровъ не по одному разу и въ Михайловскомъ театрѣ, но очень рѣдко, какъ и слѣдуетъ, — именно въ тѣхъ только случаяхъ, когда артистъ, какъ говорится, превзойдетъ самого себя. Въ Михайловскомъ театрѣ тоже аплодируютъ, кричатъ «браво», и въ остроумныхъ пьесахъ выражаютъ свой восторгъ смѣхомъ; но все бываетъ тамъ кстати, именно тогда только, когда нужно, и во всемъ присутствуетъ благородная умѣренность — признакъ образованности и уваженія къ собственному достоинству человѣка. Кого легко разсмѣшить, тому непонятна истинная острота, истинный комизмъ. Пьесы, восхищающія большую часть публики Александринскаго театра, раздѣляются на поэтическія и комическія. Первые изъ нихъ — или переводы чудовищныхъ нѣмецкихъ драмъ, составленныхъ изъ сентиментальности, пошлыхъ эффектовъ и ложныхъ положеній, — или самородныя произведенія, въ которыхъ, надутую фразеологією и бездушными возгласами, унижаются почтенныя историческія имена; пѣсни и пляски. кстати и некстати доставляющія случай любимой актрисѣ пропѣть или проплясать, и сцены сумасшествія, составляютъ необходимое условіе драмъ этого рода, возбуждаютъ крики восторга, бѣшенство рукоплесканій. Пьесы комическія всегда — или переводы, или передѣлки французскихъ водевилей. Эти пьесы совершенно убили на русскомъ театрѣ и сценическое искусство и драматическій вкусъ. Водевиль есть легкое, граціозное дитя общественной жизни во Франціи: тамъ онъ имѣетъ смыслъ и достоинство; тамъ онъ видитъ для себя богатые матеріалы въ ежедневной жизни, въ домашнемъ быту. Къ нашей русской жизни, къ нашему русскому быту, водевилъ идетъ,,

какъ санная ѣзда и овчинныя шубы къ жителямъ Неаполя. И потому переводный водевиль еще имѣетъ смыслъ на русской сценѣ, какъ любопытное зрѣлище домашней жизни чужаго народа; но передѣланный, переложенный на русскіе нравы, или, лучше сказать, на русскія имена, водевиль есть чудовище безсмыслицы и нелѣпости. Содержаніе его, завязка и развязка, словомъ—баснь (*fable*), взяты изъ чуждой намъ жизни, а между тѣмъ большая часть публики Александринскаго театра увѣрена, что дѣйствіе происходитъ въ Россіи, потому что дѣйствующія лица называются Иванами Кузьмичами и Степанидами Ильинишными. Грубый каламбуръ, плоская острота, плохой куплетъ—дополняютъ очарованіе. Какое же тутъ можетъ быть драматическое искусство? Оно можетъ развиваться только на почвѣ роднаго быта, служа зеркаломъ дѣйствительности своего народа. Но эти незаконные водевили не требуютъ ни естественности, ни характеровъ, ни истины; а между тѣмъ они служатъ прототипомъ и нормою драматической литературы для публики Александринскаго театра. Артисты его (между которыми есть люди съ яркими дарованіями и замѣчательными способностями), не имѣя ролей, выражающихъ взятые изъ дѣйствительности и творчески обработанные характеры, не имѣютъ нужды изучать ни окружающей ихъ дѣйствительности, которую они призваны воспроизводить, ни своего искусства, которому они призваны служить. Не играя піесъ, проникнутыхъ внутреннимъ единствомъ, они не могутъ сдѣлать привычки къ единству и цѣлостности (*ensemble*) хода представленія. и каждый изъ нихъ старается фигурировать передъ толпою отъ своего лица, не думая о піесѣ и о своихъ товарищахъ. Мы несправедливы были бы по крайней мѣрѣ къ нѣкоторымъ изъ нихъ, еслибъ стали отрицать въ нихъ всякій порывъ къ истинному искусству; но противъ теченія плыть нельзя, и, видя холодность и скуку толпы, они по неволѣ принимаются за ложную манеру, ради

рукоплесканій и вызововъ. И вотъ, когда имъ случится играть піесу, созданную высокимъ талантомъ изъ элементовъ чисто русской жизни, — они дѣлаются похожими на иностранцевъ, которые хорошо изучили нравы и языкъ чуждаго имъ народа, но которые все-таки не въ своей сферѣ и не могутъ скрыть поддѣлки. Такова участь піесъ Гоголя. Чтобъ наслаждаться ими, надо сперва понимать ихъ, а чтобъ понимать ихъ, нужны вкусъ, образованность, эстетическій тактъ, вѣрный и тонкій слухъ, который уловитъ всякое характеристическое слово, поймаетъ на лету всякій намекъ автора. Одно уже то, что лица въ піесахъ Гоголя — люди, а не маріонетки, характеры, выхваченные изъ тайника русской жизни, — одно уже это дѣлаетъ ихъ скучными для бѣльшей части публики Александринскаго театра. Сверхъ того, въ піесахъ Гоголя нѣтъ этого пошлаго, избитаго содержанія, которое начинается прѣвѣчною любовью, а оканчивается законнымъ бракомъ; но вмѣсто этого, въ нихъ развиваются такія событія, которыя могутъ быть, а не такія, какихъ не бываетъ и какія не могутъ быть. Простота и естественность недоступны для толпы.

«Игроки» Гоголя давно уже напечатаны; слѣдовательно, нѣтъ никакой нужды рассказывать ихъ содержаніе. Скажемъ только, что это произведеніе, по своей глубокой истинѣ, по творческой концепціи, художественной отдѣлкѣ характеровъ, по выдержанности въ цѣломъ и въ подробностяхъ, не могло имѣть никакого смысла и интереса для бѣльшей части публики Александринскаго театра, которая, къ довершенію всего, — по тому случаю, что въ тотъ же вечеръ Рубини игралъ на Большомъ театрѣ, — была и очень немногочисленна и ужь слишкомъ неразборчиво составлена. Изъ ролей особенно хорошо были выполнены роль Швахнева (г. Самойловымъ) и Заухрышкина (г. Каратыгинымъ 2-мъ).

Кстати: въ 18 № «Московскихъ Вѣдомостей» пишутъ о бенефисѣ Щепкина, въ который давались «Женитьба» и «Игроки» Гоголя. Изъ статьи этой видно, что объ пьесы были разыграны прекрасно. Кто знаетъ московскій театръ, тотъ повѣритъ, что пьесы Гоголя были представлены достойнымъ образомъ, достойнымъ и ихъ и громкаго имени творца ихъ. Въ русскія пьесы, т. е. хорошія русскія пьесы, а не «Боярыня XVII вѣка» и «Елена Глинская», идутъ на московскомъ театрѣ гораздо лучше, чѣмъ переводныя. «Горе отъ Ума» играется тамъ прекрасно; «Ревизоръ» тоже (за исключеніемъ роли Хлестакова, для которой не нашлось актёра въ обѣихъ столицахъ нашихъ). Жаль, что въ статьѣ «Московскихъ Вѣдомостей» ничего не говорится о приѣмѣ, какой публика отдала пьесамъ Гоголя, превосходнымъ по себѣ и прекрасно разыграннымъ. На Александринскомъ театрѣ «Женитьба» была принята очень дурно, — и не мудрено: вкусъ нѣкоторыхъ почитателей Александринскаго театра избалованъ такими высокими созданіями, каковы: «Федосья Сидоровна, или Война съ Китайцами», «Русская Боярыня XVII Вѣка» и «Еще Русланъ и Людмила»...

**ВОЛШЕБНЫЙ ВОЧЕНОКЪ, или сонъ на яву.** *Старинная нѣмецкая сказка, въ двухъ дѣйствіяхъ, соч. Н. А. Полеваго.*

Это новое «драматическое представленіе» нашего знаменитаго драматурга все составлено или изъ сентиментально-мѣщанскихъ, или изъ юмористическихъ сценъ. Сынъ знатнаго барона живетъ у бочара въ подмастерьяхъ, изъ любви къ дочери его, Гретхенъ; любовники воркуютъ, цѣлуются и говорятъ другъ другу сладенькія пошлости. Губертъ, другой подмастерье бочара Гамца, ревнуетъ къ Фрицу Гретхенъ, подсматриваетъ за ними и рассказываетъ все Кунигундѣ, злой и бранчивой женѣ бочара. Кунигунда кричитъ, бранится, выходитъ изъ



себя; ее никто не слушает. Является Иоганъ Пумпанкикокъ, управитель барона Гохвольшпицвица, отца мнимаго Фрица; потомъ самъ баронъ, — и уводятъ силою подмастерья-самозванца. Во второмъ актѣ, Илья Бушъ, старый пьяница, рассказываетъ Ганцу о какомъ-то кладѣ, который можетъ дасться только тому бочару, въ дочь котораго влюбился бы баронъ, и такъ далѣе. Ганцъ исчезаетъ съ Бушемъ, и въ его отсутствіе домъ его описывается за долги, а жена съ дочерью выгоняются изъ описаннаго дома. Наконецъ, является Ганцъ; онъ везетъ на тачкѣ боченокъ, и кто ни заглянетъ въ этотъ боченокъ — даже самъ бурмейстеръ — всѣ кланяются Ганцу. Ганцъ велитъ бурмейстеру проплясать съ однимъ изъ почетныхъ жителей городка, — и г. Толченковъ 1-й (бурмейстеръ) пускается съ г. Дранше (Кондрадъ Шварцъ) въ плясъ. Разумѣется, публика Александринскаго театра, при сей вѣрной оказіи, предается громкому хохоту, а раѣкъ, какъ говорится въ простонародіи, животики надрываетъ со смѣху. Тогда актёръ, игравшій бочара Ганца (г. Сосницкій), обращается къ зрителямъ, говоря имъ что-то въ родѣ слѣдующаго: «Что-де вы такъ смѣтаетесь, какъ будто бы между вами есть хоть одинъ, который не проплясалъ бы ради этого боченка?» Черта знанія человѣческаго сердца истинно-Шекспировская! Изъ нея видно, что сочинитель долго и основательно изучалъ науку сердца человѣческаго... Надо сказать, что въ это время Ганцъ успѣлъ уже купить себѣ баронскій замокъ и, слѣдовательно, баронское званіе. Затѣмъ, является баронъ Гохвольшпицвицъ и униженно соглашается на бракъ своего сына съ баронессою Гретхенъ. Ганцъ ломается, дѣлаетъ извительныя выходки на счетъ волшебнаго всемогущества золота надъ душою человѣка, и т. п. Піеса оканчивается, какъ водится, пріятными восторгами жениха съ невѣстою. Чтобы дополнить характеристику этого новаго «драматическаго представленія» знаменитаго нашего «драмати-

ческаго представителя», г. Николая Полеваго, мы должны прибавить еще, что оное «драматическое представлѣніе» во многихъ мѣстахъ, для услажденія вкуса почтеннѣйшей публики Александринскаго театра, съ избыткомъ одобрено и начинено знатнымъ количествомъ оплеухъ, тумачковъ, паденій вверхъ ногами и тому подобными драматическими эффектами... Зато вѣдь ужъ и смѣху-то что было! Любо-дорого послушать!

ПОЛЧАСА ЗА КУЛИСАМИ. *Комедія въ одномъ дѣйствіи, соч. Н. А. Полеваго.*

О, неутомимый нашъ «драматическій представитель»! когда находите вы время писать такое множество «драматическихъ представлений»? О вы, который написали намъ неконченную «Исторію Русскаго Народа» для взрослыхъ людей, и потомъ, тоже неконченную, исторію Россіи для малолѣтнихъ читателей; оставшуюся въ рукописи «Исторію Петра Великаго» — вѣроятно для взрослыхъ людей, и потомъ напечатанную «Исторію Петра Великаго» — кажется, для малолѣтнихъ читателей; вы, который обѣщали издать многое множество до сихъ поръ неизданныхъ книгъ; вы, который написали нѣсколько романовъ, много повѣстей, издали нѣсколько томовъ юмористическихъ статей, нѣсколько томовъ переводныхъ повѣстей и всякой всячины, помѣщавшейся въ вашемъ журналѣ; вы, который писали о философіи, объ исторіи, о политической экономіи, о невещественномъ капиталѣ, о политикѣ, объ агрономіи и сельскомъ хозяйствѣ, о санскритской и китайской грамматикахъ, о лингвистикѣ, о литературахъ и языкахъ всего земнаго шара, объ эстетикѣ, и проч. и проч., — гдѣ же и перечислить намъ все, что вы знаете, и о чемъ вы писали на вѣку своемъ! Скажите намъ, о, нашъ Вольтеръ и Гёте, по всеобъемлемости свѣдѣній, многосторонности генія и разнообразію произведеній! скажите намъ, когда успѣли вы написать столько «драматическихъ

представлений? Они родятся у васъ, какъ грибы послѣ дождя; вы производите ихъ дюжинами! Не изобрѣли ли вы паровой машины для изготовленія этого товара, — машины, въ которой перемалываются Шекспиръ, Шиллеръ, Вальтеръ Скоттъ, Коцебу, князь Шаховской, г. Б Ф(Ѳ)едоровъ и вашъ собственный гений, и изъ смѣси всего этого выходятъ «драматическія представленія»? Вотъ сейчасъ любовались мы вашимъ «Волшебнымъ Боченкомъ», до краевъ наполненнымъ чистымъ золотомъ истинно-Шекспировской фантазіи, истинно-Шекспировскаго юмора, — и не успѣли мы отдохнуть отъ могущественныхъ и сладостныхъ впечатлѣній вашей бочарной пѣссы, какъ вы неутомимый чародѣй, ведете насъ, въ новой пѣсѣ, на полчаса за кулисы, гдѣ, вѣроятно, увидимъ мы чудеса...

Такъ думали мы про себя въ антрактѣ между «Разсказомъ г-жи Курдюковой» и пѣсью г. Полеваго «Полчаса за Кулисами»... Взыгравшійся занавѣсъ прервалъ наши думы. Вглядываемся, вслушиваемся... ба! да это что-то знакомое! гдѣ-то мы читали это... А! да это старая пѣса «Утро въ кабинетъ знатнаго барина» изъ «Новаго Живописца Общества и Литературы», издававшаяся при «Московскомъ Телеграфѣ». Любопытные могутъ найти ее въ тридцать третьей части «Московского Телеграфа» (1830): въ отдѣльно изданномъ, въ 1832 году, «Новомъ Живописцѣ Общества и Литературы» ея почему-то нѣтъ... «Полчаса за Кулисами» отличается отъ «Утра въ Кабинетъ Знатнаго Барина» только собственными именами дѣйствующихъ лицъ: г. Беззубовъ послѣднiй названъ въ первомъ дюкомъ де-Шапюи; остальное также немножко офранцужено. Итакъ, новому «драматическому представленію» г. Полеваго тринадцать лѣтъ. Порадовавшись неожиданному свиданію съ старымъ знакомымъ, мы подивились экономіи сочинителя, у котораго всякая дрянъ идетъ въ дѣло.

**РАЗСКАЗЪ Г-ЖИ КУРДЮКОВОЙ ОБЪ ОТЪЪЗДѢ ЕЯ ЗА ГРАНИЦУ.**

Не понимаемъ, какимъ образомъ этотъ разсказъ попалъ въ число «драматическихъ представленій», но онъ дѣйствительно былъ представленъ на сценѣ Александринскаго театра, въ бенефисъ г-жи Сосницкой. Впрочемъ, мы уже слышали его на сценѣ Александринскаго театра: тогда онъ доставилъ намъ гораздо больше удовольствія, потому, во первыхъ, что мы слышали его въ первый разъ, и потому, во вторыхъ, что тогда онъ былъ гораздо короче... Для всякой шутки есть свое время, и повтореніе сегодня того, что, можетъ-быть, смѣшило вчера, наводитъ скуку и возбуждаетъ досаду. Мы думаемъ, что русское общество теперь уже далеко впереди г-жи Курдюковой... Впрочемъ, и то сказать: публика Александринскаго театра крѣпко и громко хлопала сенсациямъ г-жи Курдюковой: видно, онъ для нея и новы и забавны...

**РЕЦЕПТЪ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНІЯ МУЖЕЙ.** *Комедія-водевиль въ двухъ дѣйствіяхъ, взятая съ французскаго Н. А. Коровкинымъ.*

На этотъ разъ, драматическій геній г. Коровкина едва ли не одержалъ блистательной побѣды надъ драматическимъ геніемъ г-на Полеваго: по крайней мѣрѣ, во время этой пьесы всѣ казались какъ-то оживленнѣе, какъ люди, очнувшіеся послѣ приѣма дурмана. Содержаніе этой пьесы состоитъ въ томъ, что одна молодая женщина, по совѣту доктора, исправляетъ мужа повѣсу, начавъ сама рыскать по баламъ и давать балы. Пьеса недурна и разыграна была хорошо.

**СПИСОКЪ КНИГЪ, ОТЗЫВЫ О КОТОРЫХЪ, ПО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ  
СВОЕЙ, НЕ ВОШЛИ ВЪ СЕДЬМУЮ ЧАСТЬ ЭТОГО СОБРАНІЯ.**

1843 г. *Отечественныя Записки. Кн. 2.* Сказка за сказкой. Т. III. — Мысли Русскаго вслухъ на новый годъ. — *Кн. 3.* Повѣсти и Разказы, Н. Кукольника. Т. I — Статейки въ стихахъ Т. I. — *Кн. 4.* Записки покойнаго Колечкина. — *Кн. 5.* Книга судьбы или чародѣй въ гостинныхъ. — Петербургскій театраль. — *Кн. 7.* На сонъ грядущій, соч. г. Сологуба — Статейки въ стихахъ Т. II. — Мысли Паскаля. — *Кн. 8.* Странствователь по сушѣ и морямъ. Кн. 1. — Драгоцѣнный подарокъ дѣтямъ, или русская азбука. — Разказъ П. М. Средство выдавать дочерей замужъ. — *Кн. 9.* Исповѣдь. — Исторія похода 1815 г. соч. Фонъ-Дамница. — Библіотека хозяйственныхъ и коммерческихъ знаний. — *Кн. 10.* Сочиненія Зеневы Р-вой. — Паматная книжка для молодыхъ людей. — Притчи и повѣсти, выбранныя изъ Крумахера. — *Кн. 11.* Повѣсти и разказы Кукольника. Т. II. — Картины русскихъ нравовъ. — Странствователь по сушѣ и морямъ Кн. II. — Разказъ П. М. — Памятникъ искусствъ. — *Кн. 12.* Молодикъ на 1843 годъ. —

**КОНЕЦЪ СЕДЬМОЙ ЧАСТИ.**

## ОГЛАВЛЕНІЕ СЕДЬМОЙ ЧАСТИ.

1843.

### ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

1.

#### КРИТИКА.

	Стр.
Русская литература въ 1842 г. . . . .	5
Сочиненія Державина . . . . .	35
Сочиненія Зененды Р-вой . . . . .	151

2.

#### БИБЛИОГРАФІЯ.

Стихотворенія Лермонтова . . . . .	197
Сочиненія Державина . . . . .	198
Сказка за сказкой. Т. II. . . . .	201
Были и небылицы . . . . .	206
Исторія Суворова . . . . .	209
Супружеская истина . . . . .	213
Сочиненія Н. Гоголя . . . . .	217
Божественная комедія Данте, пер. Фанъ-Дима . . . . .	223
Драматическія сочиненія и переводы Н. Полеваго. Т. III. . . . .	224
Переводчикъ или сто одна повѣсть . . . . .	233
Аристократка, былъ рассказанная Л. Брантомъ. . . . .	235
Сельское чтеніе . . . . .	242
Драматическія сочиненія и переводы Н. Полеваго. Т. IV. . . . .	246
Физиологія женатаго человѣка . . . . .	248
Путевыя записки по Россіи . . . . .	249
Параша, рассказъ въ стихахъ. Т. I. . . . .	258
Физиологія театровъ въ Парижѣ и въ провинціяхъ.—Физиологія Вивера . . . . .	278
Молодикъ украинскій литературный сборникъ . . . . .	279
Казаки, повѣсть Александра Кузьмича . . . . .	282
Повѣсти Ивана Гудошника . . . . .	288

	Стр.
Князь Курбскій, соч. Б. Федорова . . . . .	294
Исторія государства Россійскаго, соч. Карамзина . . . . .	305
Стихотворенія Милытѣва . . . . .	308
Русская грамматика для Русскихъ, соч. Половцова . . . . .	320
Сказка, о мельничѣ кодаутѣ и проч. соч. Алдипавова . . . . .	323
Повѣсти А. Вельтмана . . . . .	325
Провинціальная жизнь, соч. Егора Класовна . . . . .	328
Разныя повѣсти . . . . .	332
Голось за родное, подаетъ Фанъ-Диня . . . . .	335
Рѣчь объ истинномъ значеніи поэзіи, Метлинскаго . . . . .	336
Осада Троице-Сергіевской Лавры, историческій романъ . . . . .	338
Демонъ стихотворства, комедія . . . . .	340

### 3.

#### ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ (некрологъ) . . . . .	349
Библиографическія и журнальныя извѣстія . . . . .	353
Литературныя и журнальныя замѣтки . . . . .	367

### 4.

#### ТЕАТРЪ.

Русскій театръ въ Петербургѣ . . . . .	443
--	-----

Списокъ книгъ, отзывы о которыхъ, по незначительности своей не вошли въ седьмую часть . . . . .	470
---	-----







PG  
2933  
B4  
1860  
v.7

**Stanford University Libraries  
Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**



PG  
2933  
B4  
1860  
v.7

**Stanford University Libraries  
Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**

